



ОСКАР
УАЙЛДС

Собрание
сочинений

ОСКАР УАЙЛЬД

Собрание сочинений
в трех томах

ОСКАР УАЙЛЬД

Собрание сочинений
в трех томах

ОСКАР УАЙЛЬД

Собрание сочинений

Том первый

Портрет Дориана Грея

Рассказы

Сказки



Москва

ТЕРРА-КНИЖНЫЙ КЛУБ

2003

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
У12

Составитель
А. Дорошевич

Оформление художника
А. Зарубина

Уайльд О.

У12 Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Портрет Дориана Грея: Роман; Рассказы; Сказки / Пер. с англ.; Сост., вступ. ст. А. Дорошевича; Коммент. А. Зверева, В. Мурат. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2003. — 512 с.

ISBN 5-275-00919-4 (т. 1)

ISBN 5-275-00918-6

Трехтомное Собрание сочинений английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900) — наиболее полное из опубликованных на русском языке. Знаменитый эстет и денди конца прошлого века, забавлявший всех своей экстравагантностью и восхищавший своими парадоксами, человек, гнавшийся за красотой и чувственными удовольствиями, но в конце концов познавший унижение и тюрьму, Уайльд стал символической фигурой для декаданса конца прошлого века. Его удивительный талант беседы нашел отражение в пьесах, до сих пор не сходящих со сцены, размышления о соотношении красоты и жизни обрели форму философского романа «Портрет Дориана Грея», а предсмертное осознание «Смысла и красоты Страдания» дошло до нас в том отчаянном вопле из-за тюремных стен, который, будучи полностью опубликован лишь сравнительно недавно, получил название «De Profundis».

Характернейшая фигура конца прошлого века, Уайльд открывается новыми гранями в конце века нынешнего.

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-275-00919-4 (т. 1)
ISBN 5-275-00918-6

© А. Дорошевич. Сост., вступ. ст., 2003
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2003

КОРОЛЬ ЖИЗНИ

Я был символом искусства и культуры своего века.

О. Уайльд

Оскар Уайльд умер на самом исходе XIX века, 30 ноября 1900 года, в маленькой неказистой гостинице на парижской улице «де Боз-Ар» (улице Искусств). Он ушел из жизни после трехлетнего добровольного изгнания, оставленный семьей и большей частью друзей, испытав на родине позор судебного приговора, обрекшего его по обвинению в безнравственном поведении на два мучительных года каторжной тюрьмы. Еще совсем недавно вознесенный на вершину славы модный драматург, знаменитый эстет с зеленой гвоздикой в петлице, любимец лондонских салонов, где он горстями разбрасывал свои знаменитые парадоксы и остроты, Уайльд оказался вычеркнутым из английской литературной жизни. Имя его старались не упоминать в светских собраниях, а наивным иностранцам, интересовавшимся мнением соотечественников знаменитого писателя о его художественных достоинствах, холодно отвечали, что «у нас в Англии очень много писателей» (в такой ситуации оказался в свое время Бальмонт).

Со временем атмосфера скандала несколько утихла, пьесы снова пошли в театре, но какого бы то ни было весомого места в истории английской литературы Уайльд так и не занял. О нем гораздо чаще вспоминали во Франции, родине «декаданса», неотъемлемой частью которого стало имя Уайльда, или в России, где смыкавшийся с декадансом символизм воспринимался не просто как одна из литературных школ, но как широкое культурное явление и где уже в 1912 году вышло четырехтомное «Полное собрание сочинений», изданное К. И. Чуковским.

Подобная посмертная судьба имела свою логику. Ведь даже французский почитатель Уайльда Андре Жид в мемуарном очерке о своем обожаемом старшем друге, написанном через год после его смерти, откровенно признает: «Уайльд не является великим писателем». Что это, полная переоценка былого кумира? Совсем нет. Вслед за этим заявлением

Жид приводит слова самого Уайльда, неоднократно повторявшиеся им: «В мою жизнь я вложил весь свой гений, в мои произведения — только талант». И далее продолжает: «Он не «великий писатель», а «великий вивёр», если позволительно придать этому слову его полный смысл».

«Король жизни», как его часто называли, Уайльд даже посмертно так и не стал «королем литературы». Впрочем, его с полным основанием можно считать «принцем», принцем-наследником, мотом и гулякой, обаятельным и многообещающим, находящимся в вечном конфликте со старшими. Принц выбирает жизнь, а не этикет, удовольствия, а не следование долгу.

Не случайно герои уайльдовских сказок — именно принцы, а если и короли, то «юные». Титул «Принц Парадокс» присваивают лорду Генри Уоттону, герою «Портрета Дориана Грея», воспроизводящему остроты из застольных бесед самого Уайльда. Такого рода наследным принцем ощущал себя и он сам, вспомним строки из своеобразной исповеди, длинного письма из тюрьмы, адресованного лорду Альфреду Дугласу: «Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный дерзкий ум... что бы я ни говорил, что бы ни делал, — все повергало людей в изумление». Он был настоящий денди, то есть существо, по определению Бодлера, чье «единственное назначение... — культивировать в самих себе утонченность, удовлетворять свои желания, размышлять и чувствовать». В основе же дендизма, согласно тому же Бодлеру, лежит «непреодолимое тяготение к оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых условностей. Это нечто вроде культа собственной личности...» Определение, данное дендизму автором «Цветов зла», относится к 1863 году. Уайльду в это время нет еще и десяти лет, однако слова о культе собственной личности сказаны, кажется, именно про него.

Речь, следовательно, идет не только об уникальной персоне Фингала О'Флаэрти Уилса Оскара Уайльда, родившегося в Дублине 16 октября 1854 года (некоторые биографы полагают, что 1856 года) от отца, врача-окулиста сэра Уильяма Уайльда, и матери, леди Джейн Франчески, до замужества под псевдонимом Сперанца (*ит.* «надежда»), сотрудничавшей в националистической ирландской прессе.

Осознание неограниченных возможностей, заложенных в каждой отдельной личности, стало к концу XIX века одним из главных факторов художественной и интеллектуальной жизни. Еще в 1865 году известный деятель просвещения вре-

мен королевы Виктории, поэт и критик Мэтью Арнольд в одном из своих эссе назвал наступающую эпоху «эпохой экспансии», считая, что бурный прогресс материальной жизни должен привести к интенсификации явлений в духовной сфере. Интуиция Арнольда была подтверждена. Уже в 1913 году, описывая духовный климат последнего десятилетия XIX века и, в частности, «декаданс», английский историк Дж. Холбрук определял его как «форму империализма духа, честолюбивого, самонадеянного, агрессивного, водружающего флаг внутренних возможностей человека на все более и более обширной территории». (Термин «империализм» был, скорее всего, позаимствован им из так озаглавленного труда социолога Дж. А. Хобсона, вышедшего в 1902 году и повлиявшего, кстати, на русского публициста, писавшего под псевдонимом Н. Ленин).

Идея экспансии — материальной, территориальной, духовной — воплотила в себе веяние времени. Не она ли заставила Ницше сформулировать свою знаменитую категорию *Wille zu Macht*, не совсем верно переведенную как «Воля к власти»? Это, по мысли умершего в один год с Уайльдом базельского философа, — данное изначально всякой форме жизни бессознательное стремление к постоянному возрастанию внутренней мощи (*Macht*), направленность на собственное расширение, тоже своего рода «империализм», правда, уже не духа, а тела.

Следует лишь отметить, что оптимист-викторианец Арнольд видит прямую зависимость там, где в гораздо большей степени работала зависимость обратная, когда «культ личности», желание ее экспансии является негативной реакцией на нивелирующий личность материальный прогресс. И тогда «презренной пользе», утилитарности противопоставляется довлеющая себе самой красота, внутренне неотделимая от полнокровного цветения жизни, образцы которого извлекаются прежде всего из прошлых эпох. (Подобное сближение Уайльд сформулировал с присущей ему афористичностью: «Стремление к красоте является не чем иным, как возвеличенной жадной жизни»). О том, что явление это было универсальным, говорят хотя бы категоричные высказывания русского религиозного мыслителя Константина Леонтьева, фигуры, казалось бы, достаточно удаленной от английского парадоксалиста, но так же, как и он, влюбленного во все изящное и красивое, и точно так же полагавшего, что «видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами — творческой силы».

«Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, — писал Леонтьев, — что Моисей восходил на Синай, что эллины строили себе изящные Акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий или русский буржуа в безобразной комической своей одежде благодушествовал бы «индивидуально» и «коллективно» на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы человечеству, чтобы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки». (Кстати, именно одежде и тому, что «основы ее» должны «диктоваться искусством», Уайльд посвятил несколько статей.)

В Англии идею эстетизма как максимального проявления интенсивности и напряжения жизненных сил проповедовал оксфордский профессор Уолтер Пейтер, прилежным слушателем которого Уайльд был в период своего обучения в колледже Св. Магдалины. (1874 — 1877). «Не плоды жизненного опыта, но сам он является целью», — писал Пейтер в своем знаменитом труде «Ренессанс» (1873). На страницах уайльдовского «Портрета Дориана Грея» мы находим почти буквальное воспроизведение формулы Пейтера: «Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие». И подобные косвенные цитаты встречаются практически во всех произведениях писателя, называвшего своего учителя «одним из величайших нынешних критиков».

Особенно близкой оказалась Уайльду данная Пейтером трактовка эстетического переживания как высшей формы всякого жизненного переживания: «И больше всего житейской мудрости именно в поэтической страсти, в стремлении к красоте, в любви к искусству ради искусства. Ибо искусство приходит к нам с простодушным намерением дать наивысшую радость быстролетным мгновениям нашей жизни, и просто ради этих мгновений». От подобной, столь характерной для университетского эстета импрессионистической приверженности интенсивному, но при этом чисто художественному наслаждению отдельными мгновениями Уайльд, вернее, его герой Дориан Грей, делает следующий шаг: к утверждению «нового гедонизма», который «научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение», при этом не обязательно в согласии с нормами морали.

И если, как говорили, на вопрос студента: «Но почему мы должны быть хорошими, мистер Пейтер?» — последний отвечал: «Ведь это так красиво», со временем слова в формуле оказались переставлены: красивое по определению стало хорошим.

Предшествующее Уайльду поколение поэтов и художников, которые объединились в 1848 году в «Прерафаэлитское братство» (Д. Г. Россетти, У. Х. Хант, Д. Э. Миллес), ориентировалось на преобладание духовного начала над материальным. Его они находили в искусстве позднего Средневековья и раннего Возрождения («до Рафаэля», откуда и название кружка). Уайльд в своей американской лекции «Ренессанс английского искусства» (1882) восхищался прерафаэлитской школой, называл ее «великим романтическим движением», однако, констатируя, что она хотела «повысить духовную ценность искусства», гораздо более ценил ее «декоративную ценность», поскольку находил, что «социальная идея искусства... не в сюжете, а в форме, — в очаровании линий, в чуде красок, в радующей прелести рисунка». Сенсуализм и индивидуализм Возрождения оказались гораздо ближе эстетам конца XIX века, нежели средневековый спиритуализм (недаром именно в эти годы появились оказавшие огромное влияние на современников труды по истории европейского Ренессанса и Пейтера, и швейцарца Якоба Буркхардта), однако сама чувственность в их глазах начинала приобретать некое мистическое измерение.

Ощущение преходящести переживаемых моментов жизни, характерное для импрессионистического мироощущения, соседствовало с мистическим ощущением тайны, кроющейся за прихотливой рябью на поверхности вещей, а это уже была область символизма.

Эстетизм Уайльда подошел к этой грани. Он отдал дань импрессионистскому восприятию мира в раннем поэтическом творчестве и даже назвал несколько своих стихотворений «Impressions», будучи, впрочем, гораздо ближе по духу декоративному словесному живописанию «парнасцев» во главе с Теофилом Готье. Далее, особенно в написанной по-французски драме на библейскую тему «Саломея» (1892), он, подобно своим учителям, французским символистам и Метерлинку, попытался все же освоить область пугающего и непознанного в человеческой душе. Однако углубляться туда не стал, заявив, что «жизнь слишком серьезная вещь, чтобы всерьез говорить о ней». Ранний рассказ «Сфинкс без загадки» (1887), иронически дезавуирующий

всякую претензию на скрытую от глаз тайную сторону жизни, — один из наиболее характерных примеров подобной позиции. Впрочем, удержаться на ней Уайльд так и не смог, о чем свидетельствуют не только «Саломея» и «Портрет Дориана Грея», но и собственная личная трагедия.

Границу, на которой пытался остановиться Уайльд, проницательный теоретик символизма, выдающийся культуролог и поэт Вячеслав Иванов в статье 1907 года увидел как переход от «дифференцированных культурных сил», конца XIX века к «новому синтетическому мирозерцанию и целостному жизнестроительству». Самого же Уайльда он рассматривал как художника, все-таки совершившего этот переход: «И декадент-эллинист Оскар Уайльд должен, покорный закону варварской души, стать предателем идеи эстетического индивидуализма во имя идеи соборной».

Это заявление, на первый взгляд не совсем понятное (ну как можно изысканнейшего эстета Уайльда назвать «варварской душой», да еще приверженцем соборности), прежде всего обязано принципам, на основе которых Иванов строил свою модель культурной ситуации конца XIX века. Исходил же он из впервые высказанного Фридрихом Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки» (1871) утверждения, что «поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал», когда первое, соответствующее художественному миру сновидения, рождает все пластически оформленное, индивидуальное, внешнее и при этом иллюзорное, в то время как второе соответствует «действительности опьянения», которая, согласно немецкому философу, «нимало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства».

Взяв на вооружение эту изначальную дихотомию, Иванов раскрывает суть духовных процессов, развернувшихся в конце XIX века и в значительной мере определивших культурный климат всего последующего столетия. Дело в том, что саму «идею эстетического индивидуализма» (соответствующую ницшевскому аполлоническому началу), представителем которой Иванов совершенно справедливо видел Уайльда, принес в конце XIX века, как он сформулировал, «новый «александрийский период» истории... когда так много накопилось ценностей и сокровищ в прошлом, что поколения поставили своею ближайшей задачей их собирание, сохранение и, наконец, подражательное, повторное воспроизведение...». Такую позднеантичную по духу «внутреннюю

раздробленность культуры», присущую «усталым утонченникам», Иванов видел прежде всего во французском «декадансе».

Декадентскому неозеллинистическому упадку он противопоставил своеобразное «варварское возрождение», которое, находя образцы его в творчестве Уитмена и Ибсена, считал «по преимуществу англо-германским», усматривал в нем «попытку синтетического творчества» и «высвобождение невоплощенных энергий новой жизни». Все это Иванов считал признаками «истинного символизма», где главенствует «принцип сверхиндивидуального», т. е. ницшевский дионисийский экстаз, через символ и миф преображающийся в «соборное единомыслие». И если в прямом смысле слова понятие «соборное единомыслие» как-то мало вяжется с фигурой Уайльда, оно, по определению Иванова, имеет непосредственное отношение к тому факту, что «вся жизнь... смиренного мученика Редингской тюрьмы обратилась в религию Голгофы вселенской».

Что касается «александрийства», музейного и библиотечного собирательства в творчестве «декадента-эллиниста», то достаточно прочесть поэму «Сфинкс» с ее перечислением античных мифологических мотивов и реалий, чтобы увидеть там прямую иллюстрацию рассуждений Иванова о воспроизведении в «изысканной и утонченной миниатюре» ценностей и сокровищ прошлого. Прямым предшественником и учителем Уайльда в этом отношении был французский писатель Жорис-Карл Гюисманс, в романе которого «Наоборот» его герой герцог дез Эссент предается своеобразному нарциссическому коллекционированию своих эстетических впечатлений от образцов всей культуры прошлого и настоящего, как материальной, так и духовной.

Книгу Гюисманса Уайльд называл «Кораном декаданса» и, не приводя названия (*sapienti sat!*), пропел ей хвалу в «Портрете Дориана Грея»: «То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа... Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности». И в другом месте: «Герой книги... казался Дориану прототи-

пом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил».

Однако, если герой Гюисманса, испробовав все яства жизни, с отвращением отказывается от них, для уайльдовского гедониста, пресыщенного удовольствиями и новыми ощущениями, «в иные минуты Зло было... лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни». Таким образом, именно красота оказывается для Уайльда тем полем, где сходятся взаимоисключающие, казалось бы, противоположности. «Каждый из нас носит в себе Ад и Небо», — заявляет Дориан Грей, почти буквально повторяя слова другого персонажа из другого романа: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

При цитировании этих широко известных слов Мити Карамазова как-то мало обращают внимания на то, что речь идет не просто о борьбе двух начал в человеческой душе. Для Достоевского очень важно, в какой именно области эта борьба происходит. При решении этических проблем, твердо очерченных общепринятой моралью, каждая из сторон занимает свое определенное место, ни на какое другое не претендуя. Битва начинается лишь тогда, когда речь заходит о красоте, тут действительно «все противоречия вместе живут». Только здесь, в царстве страшного и таинственного, «идеал Мадонны» можно подменить «идеалом содомским».

Воплощением такого рода извращенной сатанинской красоты и двусмысленности стала для Уайльда Саломея, излюбленный персонаж многих художников и писателей его времени. Подобно герою «Баллады Редингской тюрьмы» она убивает того, кого любит, демонстрируя столь занимавшую декадентские умы проблему амбивалентности, одновременного сосуществования в человеке диаметрально противоположных импульсов.

О роли, какую это открытие сыграло в идеологии модернизма, говорит хотя бы тот факт, что при характеристике разных исторических эпох именно амбивалентность немецкий поэт и критик Готфрид Бенн считал главной чертой современной культуры: «Фенотип XII и XIII веков возвеличивал куртуазную любовь, в XVII веке это было уже показное великолепие, в XVIII веке — секуляризированное знание, сегодня же он пришел к интегрированной амбивалентности, слиянию каждой вещи со своей противоположностью».

В 1886 году большое впечатление на читающую публику произвела повесть современника Уайльда (он был лишь на

четыре года старше) Р. С. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», где врачу по имени Джекил с помощью некоей химической субстанции удается обособить темные силы своей души. Превращаясь при этом в отвратительного уродца, он без всякого контроля со стороны разума и морали предается разрушительному инстинкту убийства. Таким образом, почти за десять лет до публикации фрейдовского «Исследования истерии», впервые предлагавшего различие сознательного и бессознательного в человеческой психике, литература предлагает фантастический сюжет, предвосхищающий открытие Фрейда, человека того же поколения, что Стивенсон и Уайльд.

В «Портрете Дориана Грея» тему внутреннего двойника Уайльд строит по-другому: герой сохраняет, подобно Фаусту, свежесть, юность и красоту, в то время как возраст, порочная жизнь и преступления кладут свой отпечаток на его портрет. В исходной ситуации писателя привлекает парадоксальный ход: живой человек становится своего рода произведением искусства среди других таких же прекрасных произведений, чуждым морали и «человеческим, слишком человеческим» страстям. Одновременно произведение искусства, портрет становится неким зеркалом, отражающим внутренние изменения души героя. Когда в отчаянной попытке уничтожить последнего нелицеприятного свидетеля своего падения Дориан Грей бросается с ножом на холст, изображающий гнусного, рано состарившегося человека с кровью на руках, он лишь уничтожает самого себя: на следующее утро слуги находят труп отвратительного, сморщенного старика с ножом в груди, а на стене перед ними — портрет Дориана Грея «во всем блеске его дивной молодости и красоты». Искусство, согласно концепции Уайльда, в конечном итоге торжествует, однако лишь в своей, отделенной от жизни сфере. Стремление же подчинить жизнь внеморальному эстетическому началу ведет к трагедии, что доказала и сама судьба знаменитого эстета.

Тема двойной жизни, соотношения ее скрытой от общества стороны с той, что у всех на виду, стала главной в драматургии Уайльда. Будь то давнее должностное преступление, раскрытие которого грозит катастрофой («Идеальный муж»), или простое желание сочинить себе на время другое лицо и биографию, чтобы отдохнуть от светской круговерти («Как важно быть серьезным»), — в его салонных комедиях герои всегда сталкиваются с необходимостью примирить противоположности, совместить несовместимое.

Главным способом перепрыгнуть эту пропасть является

для драматурга парадокс. Персонажи, подобные лорду Генри из «Дориана Грея», сыплющие изящными и одновременно циничными парадоксами, всегда присутствуют в его пьесах. Невозмутимые светские остроумцы лорд Горинг, Алджернон Монкриф, лорд Дарлингтон, — вот кто обеспечил им долгую сценическую жизнь. По большей части они воспроизводят застольные разговоры самого Уайльда, поражавшего своих светских слушателей и слушательниц бесстрашным переворачиванием с ног на голову всевозможных общих мест и прописных истин. Как отмечает один из собеседников лорда Генри, «правда жизни открывается нам именно в форме парадокса. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате».

В парадоксе меняются местами причина и следствие, то, что раньше было формой, становится смыслом, а смысл — всего лишь формой. Таким образом обесценивается содержательность общепринятого суждения при воспроизведении его логической словесной упаковки. Обесценивается при этом и господствующая мораль того, что Томас Манн назвал в своем очерке о Ницше «викторианским буржуазным столетием». Мораль его современников давно продемонстрировала в глазах Уайльда свою фальшь. В здравом смысле, в формальной самодовольной филантропии, которую ядовито высмеивал еще Диккенс, он видит лишь торжественно навязываемую ложь, почему и называет Англию «родиной лицемеров». И если эта ложь рядится в тогу высокой морали, то тем хуже для морали. В этом отношении выпады против нее как самого Уайльда, так и его героев определенным образом осуществляют призыв Ницше к «переоценке всех ценностей», что было в свое время замечено современниками и что уже в наше время констатировал в упомянутом очерке Томас Манн. Сокрушая лживые ценности и основанную на них «рабью мораль», Ницше противопоставлял им довлеющее самому себе жизненное начало, *Wille zu Macht*, Уайльд же — красоту, ибо только в ней была для него воплощена «жажда жизни».

Интересно отметить, что Уайльд периода «эстетического индивидуализма», изящный и демонстративно поверхностный, больше соответствует «позднему» Ницше, отказавшемуся от идеи дионисического искусства в пользу иллюзорно-лживого и «восхитительно поверхностного» искусства аполлонического. Иные его парадоксы почти буквально воспроизводят философские афоризмы Ницше. Уайльд: «Если в Природе видеть совокупность явлений, выступающих внешними по отношению к человеку, в ней человек может

найти лишь то, что сам в нее внес». Ницше: «Сущность вещи есть только мнение о вещи». Уайльд: «Только пустые люди судят не по наружности. Не невидимое, а видимое — вот подлинная загадка мира». Ницше: «Мнение, будто истина важнее видимости, не более, чем моральный предрассудок».

В своих эссе «Упадок лжи», «Истина масок», «Перо, полотно и отравы» Уайльд каждой строкой утверждает автономность искусства, которое он упорно хочет представить как единственную осязаемую и доступную реальность. С какой-то фанатической назойливостью, приводя новые и новые примеры, поражая читателя своей эрудицией, он снова и снова повторяет, что жизнь лишь копирует искусство, марионетки — натуральнее людей, а истины метафизики — это истины масок.

Лишь в письме к Альфреду Дугласу, страсть к которому и послужила причиной жизненного краха Уайльда, в этой итоговой исповеди, известной под названием «De Profundis», заключенный С 33 ощутил свои индивидуальные мучения как «Голгофу вселенскую», а Страдание как «высшую ступень совершенства», поскольку в нем соединяются и Жизнь и Искусство. В страдании они тождественны, поскольку «Боль, в отличие от Наслаждения, не носит маски». (Много позже именно этими словами Теодор Адорно, а вслед за ним и Томас Манн будут характеризовать «новую музыку».)

К фигуре Христа Уайльд обращался и до своей тюремной исповеди. Его Христос — это прежде всего Христос Ренана, символическая фигура, воплотившая в себе идеал неповторимой личности. В эссе «Душа человека при социализме» христианскому идеалу личности Уайльд противопоставляет Индивидуализм, к которому общество должно по его утопической идее прийти через Социализм, поскольку именно этот последний призван открыть неограниченные человеческие возможности, но не через страдание и боль, как Иисус, а через радость.

Находясь *In carcere et vinculis* («в тюрьме и оковах» — так сам он назвал свое письмо), узник Редингской тюрьмы взглянул на Христа уже по-другому. Христос, по его словам, «указал, что нет никакого различия между чужой и своей жизнью. И этим он даровал человеку безграничную личность, личность Титана. С его приходом история каждого отдельного человека стала — или могла бы стать — историей всего мира». Судя по всему, именно эти слова дали возможность Иванову говорить об «идее соборной» применительно к Уайльду.

Неудивительно, что в «Балладе Редингской тюрьмы»,

одном из лучших, если не лучшим его произведении, авторское «я» почти неотделимо от «мы» остальных узников, а казнь одного из них, приговоренного к повешению гвардейца, убившего из ревности жену, равно как и само его преступление, переживается всеми как вселенская, общечеловеческая трагедия.

В этой перспективе особый интерес представляет оценка русской литературы, высказанная Уайльдом после выхода из тюрьмы и записанная Андре Жидом. «Русские писатели — люди совершенно изумительные. То, что делает их книги такими великими, — это вложенное в их произведения сострадание. Не правда ли, прежде я очень любил «Мадам Бовари»; но Флобер не пожелал допустить сострадание в свои создания, и это их сузило и замкнуло в себе; сострадание — это та сторона, которая раскрывает произведение, то, благодаря чему оно кажется нам бесконечным. Знаете ли, dear, одно лишь сострадание помешало мне покончить с собой? Да, в течение первых шести месяцев я был ужасно несчастлив, так несчастлив, что мне захотелось себя убить; меня удержало то, что, наблюдая там *всех остальных*, я увидел, что они так же несчастны, как и я, и почувствовал сострадание. О, dear, сострадание — это замечательная вещь; но я не знал его прежде... Я каждый вечер благодарю Бога за то, что он позволил мне его узнать. Ибо в тюрьму я вошел с каменным сердцем, думая только о наслаждении, теперь же мое сердце окончательно надломилось; в мое сердце вступило сострадание, и я понял теперь, что это самая великая, самая прекрасная вещь на свете».

И еще одно высказывание певца «империализма личности» записал его французский ученик: «Обещайте мне на будущее время никогда не писать «Я»... Видите ли, в искусстве нет места для *первого* лица». Такое прозрение ситуации XX века вряд ли можно найти у кого-либо из уайльдовских современников*.

Посмертная судьба Уайльда была довольно неровна. Из его наследия только комедии никогда не теряли популярности и прочно занимали почетные места в репертуаре театров.

* Говоря о предвидениях, стоит упомянуть также и фразу из «De Profundis», характеризующую революционера-анархиста князя Кропоткина, в 80-е годы сидевшего во французских тюрьмах: «Человек, несущий в душе того прекрасного белоснежного Христа, который как будто грядет к нам из России». Не блоковский ли это Христос «в белом венчике из роз»?

Он навсегда остался в памяти как неповторимый остроумец и парадоксалист, однако его идеалы «эстетического индивидуалиста» выглядели несколько архаично на фоне бурного XX века, который предпочел массовые дионисийские экстазы культуре салона и библиотеки. Культура предметной среды также сдвинулась в сторону Природы, то, что в эпоху декадентства считалось красотой, обернулось претенциозной красотостью, спсиходительное отношение к ней коснулось и пышных описаний уайльдовской прозы.

Тем не менее эффектный ход «Портрета Дориана Грея» прочно вошел в сокровищницу ставших мифами литературных сюжетов, меланхолические сказки, сочиненные в свое время Уайльдом для маленьких сыновей, неизменно включаются во все антологии произведений для юношества, а «Баллада Редингской тюрьмы» совершенно справедливо считается одним из лучших произведений английской поэзии.

На отношение к личности и творчеству Уайльда во многом повлияла атмосфера некоторой недоговоренности и тайны, витавшая вокруг его гомосексуальности, о которой не принято было говорить вслух. Одних это отталкивало, других, как запретный плод, привлекало.

Ситуация несколько изменилась к концу XX века, когда постструктуралисты в критике и постмодернисты в искусстве, отшатнувшись вслед за заново перечитанным Ницше от метафизики и ценностного подхода, увидели сходные позиции в эстетике Уайльда, демонстративно не признававшей за поверхностью произведения искусства никаких дополнительных смыслов. Высказывание, например, утверждающее, что «искусствам приходится заимствовать сюжеты не из жизни, а друг у друга», вполне можно подверстать к современному понятию интертекстуальности. На него же работает и «александрийство» Уайльда и вообще конца XIX века. Что же касается гомосексуализма, он стал одной из самых модных тем современного политкорректного культурного обихода.

Как бы ни менялась литературная мода, какое бы множество превратностей ни испытала оценка его произведений в связи с переменами во вкусах и взглядах, сама фигура «Короля жизни» и его драматическая судьба всегда интересовали читающую публику. «Символ искусства и культуры своего века», как он сам назвал себя, Уайльд может многое рассказать о себе и своем времени внимательному читателю.

А. Дорошевич

ХРОНИКА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ОСКАРА УАЙЛЬДА

- 1854, 16 октября* — в семье дублинского врача-окулиста Уильяма Уайльда рождается сын, названный Фингал О'Флаэрти Уилс Оскар. Отец был известен и как собиратель ирландского фольклора (издал в 1852 году сборник «Народные поверья и предрассудки ирландцев»), а также как археолог-любитель. Мать, леди Джейн Франческа, под псевдонимом Сперанца (Надежда) регулярно публиковала стихи и публицистические статьи в газете «Нейшн», главном печатном органе движения «Молодая Ирландия», боровшегося за освобождение от колониального владычества Англии.
- 1871—1874* — Уайльд учится в дублинском Тринити-колледже, выказывая особую одаренность к древним языкам и интерес к культурному наследию Эллады.
- 1874—1877* — Уайльд учится в Оксфорде (колледж Св. Магдалины), где испытывает сильное влияние философа и критика Джона Рёскина (1819—1890), страстного пропагандиста античной культуры и итальянского искусства эпохи Ренессанса, а затем сближается с «Эстетическим движением», возглавляемым эссеистом и критиком Уолтером Пейтером (1839—1894), ранним пропагандистом художественных идей декаданса и символизма в Англии.
- 1875, июнь* — первая поездка в Италию.
- 1876, 19 апреля* — смерть отца. Его кончине предшествовала тянувшаяся много лет тяжба по иску пациентки, обвинившей д-ра Уайльда в посягательствах на ее честь.
- 1877, весна* — путешествие в Грецию.
- 1878, июнь* — стихотворение «Равенна», проникнутое отголосками идей Рёскина и Пейтера, удостоено почетной премии Ньюдигейта, присуждаемой оксфордским студентам и выпускникам за успехи на литературном поприще.

- 1879, *весна* — начало систематической литературной работы. Страстное увлечение театром, в особенности искусством часто гастролировавшей в Лондоне знаменитой французской актрисы Сары Бернар и ее английской соперницы Лилли Лэнгтри. Уайльд обосновывается в Лондоне на Тайт-стрит и старательно создает образ денди — экстравагантного молодого щеголя, более всего на свете дорожащего независимостью своих мнений и поступков.
- 1881, *весна* — выходит в свет книга Уайльда «Стихотворения».
- 1881, *23 апреля* — премьера комической оперы У. С. Гилберта и А. Салливана «Терпение», в которой высмеивается мода на дендизм. Герой оперы, имеющей триумфальный успех, обладает очевидным сходством с Уайльдом.
- 1882, *2 января* — начало американского турне Уайльда, выступающего с лекциями об «Эстетическом движении» и чтением собственных произведений. Турне продлилось около года, маршрут проходил через десятки городов США.
- 1883, *август* — нью-йоркская премьера пьесы «Вера, или Нигилисты», сюжет которой навеян Уайльду русским революционным движением, известным ему, впрочем, лишь по литературным откликам.
- 1884, *24 мая* — брак с Констанс Ллойд. В семье Уайльда будет два сына, Сирил и Вивиан.
- 1885 — 1887 — время активного сотрудничества Уайльда в изданиях, ставших рупорами новых эстетических веяний, связанных с декадансом. Уайльд, олицетворение этих веяний в Англии, завоевывает славу лидера эстетизма. Самые ранние достоверные свидетельства перверсии.
- 1887, *февраль* — опубликован рассказ «Кентервильское привидение».
- 1888 — «Счастливый Принц», книга сказок, сочиненных для сыновей. Начало европейской известности Уайльда.
- 1890, *20 июня* — выходит в свет номер «Липпинкотс мансли мэгэзин», где в первой редакции опубликован роман «Портрет Дориана Грея». В книжном издании (апрель 1891) появятся шесть дополнительных глав.
- 1891 — вторая книга сказок «Гранатовый домик». Сборник рассказов «Преступление лорда Артура Сэвила». Пьеса в стихах «Герцогиня Падуанская». Книга программных эссе Уайльда о природе искусства «Замыслы».

- 1891 — 1892 — Уайльд работает над драмой «Саломея», написанной по-французски для Сары Бернар, поскольку надежд на ее постановку в Англии у него нет. Английский перевод появится в 1894 году, он сделан лордом Альфредом Дугласом (Бози), с которым Уайльда познакомили летом 1891-го, когда Бози, сыну маркиза Куинсберри, было двадцать лет. Это знакомство и последующая бурная связь завершатся для Уайльда тюрьмой.
- 1892 — 1895 — театральные триумфы Уайльда: одна за другой на лучших сценах Лондона поставлены его комедии «Веер леди Уиндермир» (1892), «Женщина, не стоящая внимания» (1893), «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным» (обе — 1895).
- 1895, весна — Уайльд получает от маркиза Куинсберри оскорбительное послание и начинает его преследование за клевету. Однако жертвой судебного процесса оказывается сам Уайльд, приговоренный к трем годам тюрьмы за аморальное поведение, выразившееся в гомосексуальных связях. Исход процесса означал для Уайльда и финансовое банкротство, от которого он не оправился. Констанс развелась с мужем и вернула себе девичью фамилию, под которой жила до своей смерти в 1899 году.
- 1895, 27 мая — 1897, 19 мая — Уайльд отбывает срок в различных английских тюрьмах. В заключении написаны обращенная к лорду Дугласу исповедь «De Profundis» (впервые опубликована с сокращениями в 1905 году) и «Баллада Редингской тюрьмы» (1898). Освободившись, Уайльд поселяется во Франции и избирает для себя имя Себастьян Мельмот, напоминающее о демоническом герое знаменитого романа тайн «Мельмот-ски-талец» (1820), принадлежащего перу ирландского романтика Чарлза Мэтьюрина.
- 1897 — 1900 — годы нищеты и бедствий во французской провинции, а затем в Париже. Постановлением суда Уайльд лишен родительских прав, гонорары за переиздания его книг уходят в возмещение долгов.
- 1900, 30 ноября — Уайльд умирает в третьеразрядном парижском пансионе «Эльзас». Похоронен на кладбище в Баньо. Через 9 лет останки перенесены на кладбище Пер-Лашез.

A decorative frame consisting of two large, overlapping, stylized loops that resemble calligraphic flourishes or a pair of parentheses. The lines are thick and black, with a slight shadow effect. The text is centered within the upper part of this frame.

Портрет
Дориана Грея

Роман

ПРЕДИСЛОВИЕ

Художник — тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника — вот к чему стремится искусство.

Критик — это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики — один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, — люди испорченные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способен узреть в прекрасном его высокий смысл, — люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник — тот, кто в прекрасном видит лишь одно: Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму — это ярость Калибана¹, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму — это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека — лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства — в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать все.

Мысль и Слово для художника — средства Искусства.

Порок и Добродетель — материал для его творчества.

Если говорить о форме, — прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве — искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство — зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры, — значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, — художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

Оскар Уайльд

ГЛАВА I

Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст раkitника — его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетающих мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, — и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд², чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отобранного им на портрете, и доволь-

ная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

— Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, — лениво промолвил лорд Генри. — Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор³. В Академию не стоит. Академия слишком обширна и общедоступна⁴. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удается людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место — это Гровенор.

— А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, — отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, подтрунивали его товарищи в Оксфордском университете. — Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

— Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

— Знаю, ты будешь надо мною смеяться, — возразил художник, — но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

— Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

— Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый,

суроволицый друг, и этим юным Адонисом⁵, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он — Нарцисс, а ты... Ну, конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высоко развитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии — как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, — но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, — естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портрету, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, — значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он — безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, — чтобы радовали глаза, а летом — чтобы освежали разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

— Ты меня не понял, Гарри, — сказал художник. — Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое — точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, — без всяких тревожений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант,

как бы он ни был мал, у Дориана Грея — его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

— Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? — спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

— Да. Я не хотел называть его имя...

— Но почему же?

— Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь — я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им — и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

— Нисколько, — возразил лорд Генри. — Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, — а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе, обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, — мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

— Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, — сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. — Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного — и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм — только поза.

— Знаю, что быть естественным — это поза, и са-

мая ненавистная людям поза! — воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

— Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, — сказал он. — Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

— Какой вопрос? — спросил художник, не поднимая глаз.

— Ты отлично знаешь какой.

— Нет, Гарри, не знаю.

— Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея. Я хочу знать правду.

— Я и сказал тебе правду.

— Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

— Пойми, Гарри. — Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. — Всякий портрет, написанный с любовью, — это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставить.

Лорд Генри расхохотался.

— И что же это за тайна? — спросил он.

— Так и быть, расскажу тебе, — начал Холлуорд как-то смущенно.

— Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, — настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

— Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

— Я совершенно уверен, что пойму, — отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. — А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок потряхнул несколько цветков с деревьев; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

— Ну, так вот... — заговорил художник, немного помолчав. — Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяснить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

— Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» — официальное название трусости, вот и все.

— Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, — быть может, из гордости, так как я очень горд, — я стал

пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» — закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

— Еще бы! Она — настоящий павлин, только без его красоты, — подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

— Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендовала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, — во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомиться нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

— А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? — спросил лорд Генри. — Я ведь знаю ее манеру бегло давать *récis** каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом — его, наверное, слышали все в гостиной — сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на аукционе продающиеся с молотка вещи: она либо рас-

* Краткая характеристика, краткий обзор (фр.).

сказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

— Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, — рассеянно заметил Холлуорд.

— Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

— Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

— Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, — заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

— Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, — сказал он тихо. — Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех — значит не любить никого. Тебе все одинаково безразлично.

— Как ты несправедлив ко мне! — воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. — Да, да, возмутительно несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели — людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они — люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

— И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

— Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

— И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

— Ну, нет! К братьям своим я не питаю нежных

чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

— Гарри! — остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

— Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми «пороками высших классов». Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть их привилегиями, и если кто-либо из нас страдает этими пороками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саутуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

— Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

— Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, — а это большая неосторожность! — так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего — люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

— Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

— Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

— Дориан для меня теперь — все мое искусство, — сказал художник серьезно. — Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый — это появление в искусстве новых средств выражения, второй — появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры — лик Антиноя⁶. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу — то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все воспринимаю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», — кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика — в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, что значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма. Гармония духа и тела — как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, что для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгнью предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то его неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть

в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

— Бэзил, это поразительно? Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

— Пойми, Гарри, — сказал он, — Дориан Грей для меня попросту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу все... И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и все.

— Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? — спросил лорд Генри.

— Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.

— А вот поэты — те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

— Я презираю таких поэтов! — воскликнул Холлуорд. — Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, — и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

— По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить. Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

— Дориан ко мне привязан, — ответил он после недолгого молчания. — Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, — хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно не чуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она — то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

— Летние дни долги, Бэзил, — сказал вполголоса лорд Генри. — И быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально. Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведущий человек — вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека — это нечто страшное. Он подобен лавке антиквария, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первый. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга — и красота его покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, — настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек — увы! — становится так прозаичен!

— Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

— Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее их мыслей! — говорил себе лорд Генри. — Собственная душа и страсти друзей — вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться: богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду:

— Знаешь, я сейчас вспомнил...

— Что вспомнил, Гарри?

— Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

— Где же? — спросил Холлуорд, сдвинув брови.

— Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде⁷, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, — во всяком случае, добродетельные женщины, — не ценят красоту. Тетушка сказала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, — и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан — твой друг.

— А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы познакомились.

— Не хочешь, чтобы мы познакомились?

— Нет.

— Мистер Дориан Грей в студии, сэръ, — доложил лакей, появляясь в саду.

— Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомить! — со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял, жмурясь от солнца.

— Попросите мистера Грея подождать, Паркер: я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

— Дориан Грей — мой лучший друг, — сказал он. — У него открытая и светлая душа — твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей. Так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее художника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

— Что за глупости! — с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

ГЛАВА II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные сцены»⁸.

— Что за прелесть! Я хочу их разучить, — сказал он, не оборачиваясь. — Дайте их мне на время, Бэзил.

— Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

— Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, — возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от

смущения. — Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

— Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

— Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, — сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. — Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы — ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

— Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, — отозвался Дориан с забавно-покаянным видом. — Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчеплский клуб⁹ — и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, — кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

— Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, — ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

— Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, — сказал Дориан, смеясь.

Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

— Ну можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, — сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее заме-

чание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

— Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

— Уйти мне, мистер Грей?

— Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

— Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

— Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоти — закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

— Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе¹⁰. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

— Бэзил, — воскликнул Дориан Грей, — если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

— Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, — сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. — Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

— А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся:

— Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и

поменьше вертитесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри — он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помо-ст и, сделав легкую поце*, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэ-зил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

— Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на других?

— Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, — безнравственно с научной точки зрения.

— Почему же?

— Потому что влиять на другого человека — это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, — если предположить, что таковые вообще существуют, — будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни — самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность — вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг — это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед Богом, страх, на котором держится религия, — вот что властвует над нами. Между тем...

— Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, — попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

— А между тем, — своим низким, певучим голосом продолжал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятными всем, кто знал его еще в

* Недовольная гримаса (фр.).

Итоне, — мне думается, что, если бы каждый человек мог жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, — мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни Средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление — это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения — уступить ему. А если вздумашь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире — это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда...

— Пойдите, пойдите! — пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. — Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полукрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем

какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее — новый хаос. А тут прозвучали *слова!* Простые слова — но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем — какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, слаще звуков лютни и виолы. Только слова! Но есть ли что-либо веселее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял все. Жизнь вдруг за сверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые — в искусстве по крайней мере — всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

— Бэзил, я устал стоять, — воскликнул вдруг Дориан. — Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

— Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах... Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем

лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

— Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

— Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, — сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. — Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад, здесь невыносимо жарко. Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

— С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя, надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий — вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

— Вот это правильно, — сказал он тихо. — Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди. Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

— Да, — продолжал лорд Генри, — надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы — удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движе-

ниях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, — и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзиллом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец — и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

— Давайте сядем где-нибудь в тени, — сказал лорд Генри. — Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять на солнцепеке, вы подурнеете, и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

— Эка важность, подумаешь! — засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

— Для вас это очень важно, мистер Грей.

— Почему же?

— Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость — единственное богатство, которое стоит беречь.

— Я этого не думаю, лорд Генри.

— Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избороздят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, — вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота — один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она — одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота — это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота — чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заключена в

зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота — и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили вас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм ¹¹ — вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Много в вас меня пленило, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом ракичник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его

пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую. Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку вьюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

— Я жду, — крикнул художник. — Идите же! Освещение сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

— Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? — сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

— Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

— Всегда!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» — это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

— Если так, пусть наша дружба будет капризом, — шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем взошел на подмости и стал в позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршанье кисти по полотну, затихавшее, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали зо-

лотые пылинки. Приятный аромат роз словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго, — на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

— Готово! — воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

— Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души, — сказал он. — Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

— В самом деле кончено? — спросил он, сходя с подмостков.

— Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

— За это надо благодарить меня, — вмешался лорд Генри. — Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит

день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. словно ледяная рука легла ему на сердце.

— Разве портрет вам не нравится? — воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятым молчанием Дориана.

— Ну конечно нравится, — ответил за него лорд Генри. — Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

— Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

— А чей же?

— Дориана, разумеется, — ответил художник.

— Вот счастливец!

— Как это печально! — пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. — Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

— Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! — воскликнул лорд Генри со смехом. — Тяжела тогда была бы участь художника!

— Да, я горячо протестовал бы против этого, — отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

— О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все гла-

за. Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

— Да, да, — продолжал Дориан. — Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес¹² из слоновой кости. Их вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю — когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость — единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

— Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

— Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

— Это ты наделал, Гарри! — сказал художник с горечью.

Лорд Генри пожал плечами:

— Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

— Неправда.

— А если нет, при чем же тут я?

— Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

— Я остался по твоей же просьбе, — возразил лорд Генри.

— Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого, занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей, — видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

— Не смейте, Бэзил! Не смейте! — крикнул он. — Это все равно что убийство!

— Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад, — сказал художник сухо, когда опомнился от удивления. — А я на это уже не надеялся.

— Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет — часть меня самого.

— Ну и отлично. Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой, что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

— Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

— Я обожаю простые удовольствия, — сказал лорд Генри. — Они — последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек — разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне *очень* хочется.

— Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! — воскликнул Дориан Грей. — И я никому не позволю обзывать меня «глупым мальчиком».

— Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

— А на меня не обижайтесь, мистер Грей, — сказал

лорд Генри. — Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

— Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

— Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.

В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюда, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

— А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? — предложил лорд Генри. — Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта¹³, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

— Ох, надевать фрак! Как это скучно! — буркнул Холлуорд. — Терпеть не могу фраки!

— Да, — лениво согласился лорд Генри. — Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

— Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

— При котором из них? При том, что наливает нам чай, или том, что на портрете?

— И при том, и при другом.

— Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, — промолвил Дориан.

— Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

— Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

— Ну, так мы пойдем вдвоем — вы и я, мистер Грей.

— Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.

— А я останусь с подлинным Дорианом, — сказал он грустно.

— Так, по-вашему, это — подлинный Дориан? — спросил Дориан Грей, подходя к нему. — Неужели я в самом деле такой?

— Да, именно такой.

— Как это чудесно, Бэзил!

— По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь, — со вздохом сказал Холлуорд. — А это чего-нибудь да стоит.

— Как люди гонятся за постоянством! — воскликнул лорд Генри. — Господи, да ведь и в любви верность — это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны — и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и все.

— Не ходите сегодня в театр, Дориан, — сказал Холлуорд. — Оставайтесь у меня, пообедаем вместе.

— Не могу, Бэзил.

— Почему?

— Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

— Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу, не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

— Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

— Нет, я должен идти, Бэзил.

— Как знаете. — Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. — В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свиданья, Гарри. До свиданья, Дориан. Приходите поскорее — ну, хотя бы завтра. Придете?

— Непременно.

— Не забудете?

— Нет, конечно, нет! — заверил его Дориан.

— И вот еще что... Гарри!

— Что, Бэзил?

— Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

— А я уже забыл, о чем именно.

— Смотри! Я тебе доверяю.

— Хотел бы я сам себе доверять! — сказал лорд Генри со смехом. — Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довести вас до дому. До свиданья, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.

ГЛАВА III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился в Олбени¹⁴. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу — щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла была молода, а Прима еще и в помине не было¹⁵. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним — что тогда все считали безрассудством — и, несколько месяцев спустя унаследовав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотным, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копиям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, — в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов. Он героически воевал со сво-

им камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

— А, Гарри! — сказал почтенный старец. — Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

— Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

— Денег, вероятно? — сказал лорд Фермор с кислым видом. — Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги — это все.

— Да, — согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. — А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, — они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит — это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, — и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными: за бесполезными.

— Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Сине́й книге Англии¹⁶, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, — это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты не джентльмен, то знания тебе только во вред.

— Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, — небрежно заметил лорд Генри.

— Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? — спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

— Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он — внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, — так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересуется.

— Внук Келсо! — повторил старый лорд. — Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой, — он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста, чтобы тот публично оскорбил его зятя... понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу, — и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро — года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый малый.

— Да, очень красивый, — подтвердил лорд Генри.

— Надеюсь, он попадет в хорошие руки, — продолжал лорд Фермор. — Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня,

кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

— Этого я не знаю, — отозвался лорд Генри. — Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

— Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немного стоили, но женщины, ей-богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет — он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним. Да, кстати о дурацких браках, — что это за вздор молот твой отец насчет Дартмура, — будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

— Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

— Ну а я — за англичанок и готов спорить с целым светом! — Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

— Ставка нынче только на американок.

— Я слышал, что их ненадолго хватает, — буркнул дядя Джордж.

— Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

— А кто ее родители? — ворчливо осведомился лорд Фермор. — Они у нее вообще имеются?

Лорд Генри покачал головой.

— Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы — свое прошлое, — сказал он, вставая.

— Должно быть, папаша ее — экспортер свинины?

— Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, что-

бы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

— А эта американка, по крайней мере, хорошенькая?

— Подобно большинству американок, она ведет себя так, как будто бы она красавица. В этом — секрет их успеха.

— И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин — рай.

— Так оно и есть. Потому-то они, подобно праматери Еве, и стремятся выбраться оттуда, — пояснил лорд Генри. — Ну, до свиданья, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего — о старых.

— А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

— У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он — ее новый протеже.

— Гм!.. Так вот что, Гарри: передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

— Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполезно. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился в Берклей-сквер. Он вспомнил то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом — месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына — сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда

скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветочек, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно — проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другого, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент как тончайший флюид или своеобразный аромат, — это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, — замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть все — обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном — или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада¹⁷, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, которой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более

совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом¹⁸. А Буонарроти¹⁹? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, — собственно, он уже наполовину этого достиг, — и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую, дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

— Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! — воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной — сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляповатом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непростительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.

— Мы говорим о бедном Дартмуре, — громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. — Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

— Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

— Какой ужас! — воскликнула леди Агата. — Право, следовало бы помешать этому!

— Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим товаром, — с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрден.

— А мой дядя утверждает, что свиной, сэр Томас.

— Что это еще за «убогий» товар? — осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.

— Американские романы, — пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиня была озадачена.

— Не слушайте его, дорогая, — шепнула ей леди Агата. — Он никогда ничего не говорит серьезно.

— Когда была открыта Америка... — начал радикал — и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

— Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! — воскликнула она. — Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

— Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, — заметил мистер Эрскин. — Она еще только обнаружена.

— О, я видела представительниц ее населения, — неопределенным тоном отозвалась герцогиня. — И должна признать, что большинство из них — прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

— Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, — изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных остроумий.

— Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? — поинтересовалась герцогиня.

— В Америку, — пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас сдвинул брови.

— Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, — сказал он леди Агате. — Я изъездил ее всю вдоль и поперек, — мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны, — и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

— Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? — жалобно спросил мистер Эрскин. — Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

— Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы — очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

— Какой ужас! — воскликнул лорд Генри. — Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком — в этом есть что-то неблагородное. Это, значит — предавать интеллект.

— Не понимаю, что вы этим хотите сказать, — отозвался сэр Томас, побагровев.

— А я вас понял, лорд Генри, — с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

— Парадоксы имеют свою прелесть, но... — начал баронет.

— Разве это был парадокс? — спросил мистер Эрскин. — А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.

— Господи, как мужчины любят спорить! — вздохнула леди Агата. — Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

— А я хочу, чтобы он играл для меня, — смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

— Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! — не унималась леди Агата.

— Я сочувствую всему, кроме людского горя. — Лорд Генри пожал плечами. — Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

— Но Ист-Энд — очень серьезная проблема, — внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

— Несомненно, — согласился лорд Генри. — Ведь это — проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.

Старый политикан пристально посмотрел на него.

— А что же вы предлагаете взамен? — спросил он.

Лорд Генри рассмеялся:

— Я ничего не хотел бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание.

И потому, мне кажется, наставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уводят нас с этого пути, а Наука — тем, что она не знает эмоций.

— Но ведь на нас лежит такая ответственность! — робко вмешалась миссис Ванделер.

— Громадная ответственность! — поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

— Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это — его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

— Вы меня очень утешили, — проворковала герцогиня. — До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

— Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, — заметил лорд Генри.

— Только в молодости, — возразила она. — А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

— Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? — спросил он, наклонясь к ней через стол.

— Увы, и не одну!

— Тогда совершите их все снова, — сказал он серьезно. — Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

— Замечательная теория! — восхитилась герцогиня. — Непременно проверю ее на практике.

— Теория опасная! — процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

— Да, — продолжал лорд Генри. — Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единствен-

ное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии: он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот Философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в иступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного Силен²⁰. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давилъни, на котором восседает мудрый Омар²¹, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети — за легендарным дудочником²². Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как замороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец Действительность в костюме нашего века вступила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заламила руки.

— Экая досада! Приходится уезжать. Я должна захватить в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка: она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погу-

бить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы — прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы куда не приглашены?

— Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, — сказал с поклоном лорд Генри.

— О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно, — воскликнула почтенная дама. — Так помните же, мы вас ждем. — И она величаво выплыла из комнаты, а за ней — леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

— Ваши речи интереснее всяких книг, — начал он. — Почему вы не напишете что-нибудь?

— Я слишком люблю читать книги, мистер Эрскин, и потому не пишу их. Конечно, хорошо бы написать роман, роман чудесный, как персидский ковер, и столь же фантастический. Но у нас в Англии читают только газеты, энциклопедические словари да учебники. Англичане меньше всех народов мира понимают красоты литературы.

— Боюсь, что вы правы, — отозвался мистер Эрскин. — Я сам когда-то мечтал стать писателем, но давно отказался от этой мысли... Теперь, мой молодой друг, — если позволите вас так называть, — я хочу задать вам один вопрос: вы действительно верите во все, что говорили за завтраком?

— А я уже совершенно не помню, что говорил. — Лорд Генри улыбнулся. — Какую-нибудь ересь?

— Да, безусловно. На мой взгляд, вы — человек чрезвычайно опасный, и, если с нашей милой герцогиней что-нибудь стряется, все мы будем считать вас главным виновником... Я хотел бы побеседовать с вами о жизни. Люди моего поколения прожили жизнь скучно. Как-нибудь, когда Лондон вам надоест, приезжайте ко мне в Тредли. Там вы изложите мне свою философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которое у меня, к счастью, еще сохранилось.

— С большим удовольствием. Сочту за счастье побывать в Тредли, где такой радушный хозяин и такая замечательная библиотека.

— Вы ее украсите своим присутствием, — отозвался старый джентльмен с учтивым поклоном. — Ну а теперь пойду прощусь с вашей добрейшей тетушкой. Мне пора в Атенеум²³. В этот час мы обычно дремлем там.

— В полном составе, мистер Эрскин?

— Да, сорок человек в сорока креслах. Таким образом мы готовимся стать Английской академией литературы²⁴.

Лорд Генри расхохотался.

— Ну а я пойду в Парк, — сказал он, вставая.

У двери Дориан Грей дотронулся до его руки.

— Можно и мне с вами?

— Но вы, кажется, обещали навестить Бэзила Холлуорда?

— Мне больше хочется побыть с вами. Да, да, мне непременно надо пойти с вами. Можно? И вы обещаете все время говорить со мной? Никто не говорит так интересно, как вы.

— Ох, я сегодня уже достаточно наговорил! — с улыбкой возразил лорд Генри. — Теперь мне хочется только наблюдать жизнь. Пойдемте и будем наблюдать вместе, если хотите.

ГЛАВА IV

Однажды днем, месяц спустя, Дориан Грей, расположившись в удобном кресле, сидел в небольшой библиотеке лорда Генри, в его доме в Мэйфере²⁵. Это была красивая комната, с высокими дубовыми оливково-зелеными панелями, желтоватым фризом и лепным потолком. По кирпично-красному сукну, покрывавшему пол, разбросаны были шелковые персидские коврики с длинной бахромой. На столике красного дерева стояла статуэтка Клодиона, а рядом лежал экземпляр «*Les Cent Nouvelles*»^{*} в переплете работы Кловиса Эв²⁶. Книга принадлежала некогда Маргарите Валуа²⁷, и переплет ее был усеян золотыми маргаритками — этот цветок королева избрала своей эмблемой. На камине красовались пестрые тюльпаны в больших голубых вазах китайского фарфора. В окна с

* «Сто новелл» (фр.).

частым свинцовым переплетом вливался абрикосовый свет летнего лондонского дня.

Лорд Генри еще не вернулся. Он поставил себе за правило всегда опаздывать, считая, что пунктуальность — вор времени. И Дориан, недовольно хмурясь, рассеянно перелистывал превосходно иллюстрированное издание «Манон Леско», найденное им в одном из книжных шкафов. Размеренно тикали часы в стиле Людовика Четырнадцатого, и даже это раздражало Дориана. Он уже несколько раз порывался уйти, не дождавшись хозяина.

Наконец за дверью послышались шаги, и она отворилась.

— Как вы поздно, Гарри! — буркнул Дориан.

— К сожалению, это не Гарри, мистер Грей, — отозвался высокий и резкий голос.

Дориан поспешно обернулся и вскочил.

— Простите! Я думал...

— Вы думали, что это мой муж. А это только его жена, — разрешите представиться. Вас я уже очень хорошо знаю по фотографиям. У моего супруга их, если не ошибаюсь, семнадцать штук.

— Будто уж семнадцать, леди Генри?

— Ну, не семнадцать, так восемнадцать. И потом я недавно видела вас с ним в опере.

Говоря это, она как-то беспокойно посмеивалась и внимательно смотрела на Дориана своими бегающими, голубыми, как незабудки, глазами. Все туалеты этой странной женщины имели такой вид, как будто они были задуманы в припадке безумия и надеты в бурю. Леди Уоттон всегда была в кого-нибудь влюблена — и всегда безнадежно, так что она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть эффектной, но выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она до страсти любила ходить в церковь — это превратилось у нее в манию.

— Вероятно, на «Лознгрине»²⁸, леди Генри?

— Да, на моем любимом «Лознгрине». Музыка Вагнера я предпочитаю всякой другой. Она такая шумная, под нее можно болтать в театре весь вечер, не боясь, что тебя услышат посторонние. Это очень удобно, не так ли, мистер Грей?

Тот же беспокойный и отрывистый смешок сорвался

с ее узких губ, и она принялась вертеть в руках длинный черепаховый нож для разрезания бумаги.

Дориан с улыбкой покачал головой.

— Извините, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я всегда слушаю музыку внимательно и не болтаю, если она хороша. Ну а скверную музыку, конечно, следует заглушать разговорами.

— Ага, это мнение Гарри, не так ли, мистер Грей? Я постоянно слышу мнения Гарри от его друзей. Только таким путем я их и узнаю. Ну а музыка... Вы не подумайте, что я ее не люблю. Хорошую музыку я обожаю, но боюсь ее — она настраивает меня чересчур романтично. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда влюбляюсь даже в двух разом — так уверяет Гарри. Не знаю, что в них так меня привлекает... Может быть, то, что они иностранцы? Ведь они, кажется, все иностранцы? Даже те, что родились в Англии, со временем становятся иностранцами, не правда ли? Это очень разумно с их стороны и создает хорошую репутацию их искусству, делает его космополитичным. Не так ли, мистер Грей?.. Вы, кажется, не были еще ни на одном из моих вечеров? Приходите непременно. Орхидей я не заказываю, это мне не по средствам, но на иностранцев денег не жалею — они придают гостиней такой живописный вид! Ага! Вот и Гарри! Гарри, я зашла, чтобы спросить у тебя кое-что, — не помню, что именно, — и застала здесь мистера Грея. Мы с ним очень интересно поговорили о музыке. И совершенно сошлись во мнениях... впрочем, нет — кажется, совершенно разошлись. Но он такой приятный собеседник, и я очень рада, что познакомилась с ним.

— Я тоже очень рад, дорогая, очень рад, — сказал лорд Генри, поднимая темные изогнутые брови и с веселой улыбкой глядя то на жену, то на Дориана. — Извините, что заставил вас ждать, Дориан. Я ходил на Уорддор-стрит, где присмотрел кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа²⁹. В наше время люди всему знают цену, но понятия не имеют о подлинной ценности.

— Как ни жаль, мне придется вас покинуть! — объявила леди Генри, прерывая наступившее неловкое молчание, и засмеялась — как всегда, неожиданно и некстати. — Я обещала герцогине поехать с ней катать-

ся. До свиданья, мистер Грей! До свиданья, Гарри. Ты, вероятно, обедаешь сегодня в гостях? Я тоже. Может быть, встретимся у леди Торнбэри?

— Очень возможно, дорогая, — ответил лорд Генри, закрывая за ней дверь. Когда его супруга, напоминая райскую птицу, которая целую ночь пробыла под дождем, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах жасмина, он закурил папиросу и развалился на диване.

— Ни за что не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, — сказал он после нескольких затяжек.

— Почему, Гарри?

— Они ужасно сентиментальны.

— А я люблю сентиментальных людей.

— Да и вообще лучше не женитесь, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование.

— Вряд ли я когда-нибудь женюсь, Гарри. Я слишком влюблен. Это тоже один из ваших афоризмов. Я его претворяю в жизнь, как и все, что вы проповедуете.

— В кого же это вы влюблены? — спросил лорд Генри после некоторого молчания.

— В одну актрису, — краснея, ответил Дориан Грей.

Лорд Генри пожал плечами.

— Довольно банальное начало.

— Вы не сказали бы этого, если бы видели ее, Гарри.

— Кто же она?

— Ее зовут Сибила Вэйн.

— Никогда не слышал о такой актрисе.

— Никто еще не слышал. Но когда-нибудь о ней узнают все. Она гениальна.

— Мой мальчик, женщины не бывают гениями. Они — декоративный пол. Им нечего сказать миру, но они говорят — и говорят премо. Женщина — это воплощение торжествующей над духом материи, мужчина же олицетворяет собой торжество мысли над моралью.

— Помилуйте, Гарри!..

— Дорогой мой Дориан, верьте, это святая правда.

Я изучаю женщин, как же мне не знать! И, надо сказать, не такой уж это трудный для изучения предмет. Я пришел к выводу, что в основном женщины делятся на две категории: ненакрашенные и накрашенные. Первые нам очень полезны. Если хотите приобрести репутацию почтенного человека, вам стоит только пригласить такую женщину поужинать с вами. Женщины второй категории очаровательны. Но они совершают одну ошибку: красятся лишь для того, чтобы казаться моложе. Наши бабушки красились, чтобы прослыть остроумными и блестящими собеседницами: в те времена «gouge»* и «esprit»** считались неразлучными. Нынче все не так. Если женщина добилась того, что выглядит на десять лет моложе своей дочери, она этим вполне удовлетворяется. А остроумной беседы от них не жди. Во всем Лондоне есть только пять женщин, с которыми стоит поговорить, да и то двум из этих пяти не место в приличном обществе... Ну все-таки расскажите мне про своего гения. Давно вы с ней знакомы?

— Ах, Гарри, ваши рассуждения приводят меня в ужас.

— Пустяки. Так когда же вы с ней познакомились?

— Недели три назад.

— И где?

— Сейчас расскажу. Но не вздумайте меня расхолаживать, Гарри. В сущности, не встретиться я с вами, ничего не случилось бы: ведь это вы разбудили во мне страстное желание узнать все о жизни. После нашей встречи у Бэзила я не знал покоя, во мне трепетала каждая жилка. Шатаюсь по Парку или Пикадилли, я с жадным любопытством всматривался в каждого встречного и пытался угадать, какую жизнь он ведет. К некоторым меня тянуло. Другие внушали мне страх. Словно какая-то сладкая отравка была разлита в воздухе. Меня мучила жажда новых впечатлений... И вот раз вечером, часов в семь, я пошел бродить по Лондону в поисках этого нового. Я чувствовал, что в нашем сером огромном городе с мириадами жителей, мерзкими грешниками и пленительными пороками — так вы описывали мне его — припасено кое-что и для

* Румяна (фр.).

** Остроумие (фр.).

меня. Я рисовал себе тысячу вещей... Даже ожидающие меня опасности я предвкушал с восторгом. Я вспоминал ваши слова, сказанные в тот чудесный вечер, когда мы в первый раз обедали вместе: «Подлинный секрет счастья — в искании красоты». Сам не зная, чего жду, я вышел из дому и зашагал по направлению к Ист-Энду. Скоро я заблудился в лабиринте грязных улиц и унылых бульваров без зелени. Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрлика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня, и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной — но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, — ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни!.. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно!

— Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше: «первый». В вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. *Grande passion** — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало.

— Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком? — воскликнул Дориан Грей.

— Наоборот, глубоко чувствующим.

— Как так?

— Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство — лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви,

* Великая страсть (фр.).

как и последовательность и неизменность мыслей, — это попросту доказательство бессилия... Верность! Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем — жадность собственника. Многие мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет... Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше.

— Так вот — я очутился в скверной, тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был аляповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан с мишурной роскошью, везде — купидоны и рога изобилия³⁰, как в дешевом свадебном торте. Галерея и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи.

— Точь-в-точь как в славные дни расцвета британской драмы³¹!

— Да, наверное. Обстановка эта действовала угнетающе. И я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?

— Ну, что-нибудь вроде «Идиот, или Нем, но невиновен». Деда наши любили такие пьесы. Чем дальше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу: то, чем удовлетворялись наши деда, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, *les grand-pères ont toujours tort**.

— Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша: это был Шекспир, «Ромео и Джульетта». Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но наконец занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными жженой пробкой бровями и хриплым тра-

* Деда всегда не правы (фр.).

гическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бо-
чонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль ис-
полнял комик, который привык играть в фарсах. Он
вставлял в текст отсебятину и был в самых дружеских
отношениях с галеркой. Оба эти актера были так же
нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало яр-
марочный балаган. Но Джульетта!.. Гарри, предста-
вьте себе девушку лет семнадцати, с нежным, как цве-
ток, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными
косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепест-
ки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную
красоту! Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не
трогает, но красота, одна лишь красота способна вы-
звать у вас слезы. Так вот, Гарри, я с трудом мог раз-
глядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне
глаза. А голос! Никогда я не слышал такого голоса!
Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая,
ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши.
Потом он стал громче и звучал, как флейта или дале-
кий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот
трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне со-
ловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем ис-
ступленное пение скрипок. Вы знаете, как может вол-
новать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибилы
Вэйн мне не забыть никогда! Стоит мне закрыть гла-
за — и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит
мне другое, и я не знаю, которого слушаться... Как
мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для
меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня
она — Розалинда, завтра — Имоджена. Я видел ее в
Италии умирающей во мраке склепа, видел, как она в
поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за
ней, когда она бродила по Арденнским лесам, пере-
одетая юношей, прелестная в этом костюме — корот-
ком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах,
изящной шапочке. Безумная, приходила она к пре-
ступному королю и давала ему руту и горькие травы.
Она была невинной Дездемоной, и черные руки рев-
ности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку³². Я
видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкно-
венные женщины не волнуют нашего воображения.
Они не выходят за рамки своего времени. Они не спо-
собны преображаться как по волшебству. Их души

нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в Парке, днем болтают со знакомыми за чайным столом. У них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас — открытая книга. Но актриса!.. Актриса — совсем другое дело. И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?

— Оттого, что я любил очень многих актрис, Дориан.

— О, знаю я каких: этих ужасных женщин с крашеными волосами и размалеванными лицами.

— Не презирайте крашенные волосы и размалеванные лица, Дориан! В них порой находишь какую-то удивительную прелесть.

— Право, я жалею, что рассказал вам о Сибиле Вэйн!

— Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне поверять все.

— Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня.

— Такие, как вы, Дориан, — своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь, — не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо! Ну, теперь скажите... Передайте мне спички, пожалуйста! Благодарю... Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вэйн?

Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали.

— Гарри! Сибила Вэйн для меня святыня!

— Только святыни и стоит касаться, Дориан, — сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе. — И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?

— Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта

умерла несколько сот лет тому назад и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением, — наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского...

— Вполне возможно.

— Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него и все они продажны.

— Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену.

— Ну, и он, по-видимому, находит, что ему они не по карману, — сказал Дориан со смехом. — Пока мы так беседовали, в театре стали уже гасить огни, и мне пора было уходить. Еврей настойчиво предлагал мне еще какие-то сигары, усиленно их расхваливая, но я и от них отказался. В следующий вечер я, конечно, опять пришел в театр. Увидев меня, еврей отвесил низкий поклон и объявил, что я щедрый покровитель искусства. Пренеприятный субъект, — однако, надо вам сказать, он страстный поклонник Шекспира. Он с гордостью сказал мне, что пять раз прогорал только из-за своей любви к «барду» (так он упорно величает Шекспира). Он, кажется, считает это своей великой заслугой.

— Это и в самом деле заслуга, дорогой мой, великая заслуга! Большинство людей становятся банкротами из-за чрезмерного пристрастия не к Шекспиру, а к прозе жизни. И разориться из-за любви к поэзии — это честь... Ну, так когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вэйн?

— В третий вечер. Она тогда играла Розалинду. Я наконец сдался и пошел к ней за кулисы. До того я бросил ей цветы, и она на меня взглянула... По крайней мере, так мне показалось... А старый еврей все приставал ко мне — он, видимо, решил во что бы то ни стало свести меня к Сибиле. И я пошел... Не правда ли, это странно, что мне так не хотелось с ней знакомиться?

— Нет, ничуть не странно.

— А почему же, Гарри?

— Объясню как-нибудь потом. Сейчас я хочу дослушать ваш рассказ об этой девушке.

— О Сибиле? Она так застенчива и мила. В ней много детского. Когда я стал восторгаться ее игрой, она с очаровательным изумлением широко открыла глаза — она совершенно не сознает, какой у нее талант! Оба мы в тот вечер были, кажется, порядком смущены. Еврей торчал в дверях пыльного фойе и, ухмыляясь, красноречиво разглагольствовал, а мы стояли и молча смотрели друг на друга, как дети! Старик упорно величал меня «милордом», и я поторопился уверить Сибилу, что я вовсе не лорд. Она сказала простодушно: «Вы скорее похожи на принца. Я буду называть вас «Прекрасный Принц»³³.

— Клянусь честью, мисс Сибила умеет говорить комплименты!

— Нет, Гарри, вы не понимаете: для нее я — все равно что герой какой-то пьесы. Она совсем не знает жизни. Живет с матерью, замученной, увядшей женщиной, которая в первый вечер играла леди Капулетти в каком-то красном капоте. Заметно, что эта женщина знавала лучшие дни.

— Встречал я таких... Они на меня всегда наводят тоску, — вставил лорд Генри, разглядывая свои перстни.

— Еврей хотел рассказать мне ее историю, но я не стал слушать, сказал, что меня это не интересует.

— И правильно сделали. В чужих драмах есть что-то безмерно жалкое.

— Меня интересует только сама Сибила. Какое мне дело до ее семьи и происхождения? В ней все — совершенство, все божественно — от головы до маленьких ножек. Я каждый вечер хожу смотреть ее на сцене, и с каждым вечером она кажется мне все чудеснее.

— Так вот почему вы больше не обедаете со мной по вечерам! Я так и думал, что у вас какой-нибудь роман. Однако это не совсем то, чего я ожидал.

— Гарри, дорогой, ведь мы каждый день либо завтракаем, либо ужинаем вместе! И, кроме того, я несколько раз ездил с вами в оперу, — удивленно возразил Дориан.

— Да, но вы всегда бессовестно опаздываете.

— Что подделаешь! Я должен видеть Сибилу каждый вечер, хотя бы в одном акте. Я уже не могу жить без нее. И когда я подумаю о чудесной душе, заклю-

ченной в этом хрупком теле, словно выточенном из слоновой кости, меня охватывает благоговейный трепет.

— А сегодня, Дориан, вы не могли бы пообедать со мной?

Дориан покачал головой.

— Сегодня она — Имоджена. Завтра вечером будет Джульеттой.

— А когда же она бывает Сибиллой Вэйн?

— Никогда.

— Ну, тогда вас можно поздравить!

— Ах, Гарри, как вы несносны! Поймите, в ней живут все великие героини мира! Она более, чем одно существо. Смеетесь? А я вам говорю: она — гений. Я люблю ее: я сделаю все, чтобы и она полюбила меня. Вот вы постигли все тайны жизни — так научите меня, как приворожить Сибилу Вэйн! Я хочу быть счастливым соперником Ромео, заставить его ревновать. Хочу, чтобы все жившие когда-то на земле влюбленные услышали в своих могилах наш смех и опечалились, чтобы дыхание нашей страсти потревожило их прах, пробудило его и заставило страдать. Боже мой, Гарри, если бы вы знали, как я ее обожаю!

Так говорил Дориан, в волнении шагая из угла в угол. На щеках его пылал лихорадочный румянец. Он был сильно возбужден.

Лорд Генри наблюдал за ним с тайным удовольствием. Как непохож был Дориан теперь на того застенчивого и робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Бэзила Холлуорда! Все его существо раскрылось, как цветок, расцвело пламенно-алым цветом. Душа вышла из своего тайного убежища, и Желание поспешило ей навстречу.

— Что же вы думаете делать? — спросил наконец лорд Генри.

— Я хочу, чтобы вы и Бэзил как-нибудь поехали со мной в театр и увидели ее на сцене. Ничуть не сомневаюсь, что и вы оцените ее талант. Потом надо будет вырвать ее из рук этого еврея. Она связана контрактом на три года, — впрочем, теперь осталось уже только два года и восемь месяцев. Конечно, я заплачу ему. Когда все будет улажено, я сниму какой-нибудь театр в Уэст-Энде³⁴ и покажу ее людям во всем блес-

ке. Она сведет с ума весь свет, точно так же как свела меня.

— Ну, это вряд ли, милый мой!

— Вот увидите! В ней чувствуется не только замечательное артистическое чутье, но и яркая индивидуальность! И ведь вы не раз твердили мне, что в наш век миром правят личности, а не идеи.

— Хорошо, когда же мы отправимся в театр?

— Сейчас соображу... Сегодня вторник. Давайте завтра! Завтра она играет Джульетту.

— Отлично. Встретимся в восемь, в «Бристоле»³⁵. Я привезу Бэзила.

— Только не в восемь, Гарри, а в половине седьмого. Мы должны попасть в театр до поднятия занавеса. Я хочу, чтобы вы ее увидели в той сцене, когда она в первый раз встречается с Ромео.

— В половине седьмого! В такую рань! Да это все равно что унизиться до чтения английского романа. Нет, давайте в семь. Ни один порядочный человек не обедает раньше семи. Может, вы перед этим съездите к Бэзилу? Или просто написать ему?

— Милый Бэзил! Вот уже целую неделю я не показывался ему на глаза. Это просто бессовестно — ведь он прислал мне мой портрет в великолепной раме, заказанной по его рисунку... Правда, я немножко завидую этому портрету, который на целый месяц моложе меня, но, признаюсь, я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если *вы* напишете Бэзилу. Я не хотел бы с ним встретиться с глазу на глаз — все, что он говорит, нагоняет на меня скуку. Он постоянно дает мне хорошие советы.

Лорд Генри улыбнулся.

— Некоторые люди очень охотно отдают то, что им самим крайне необходимо. Вот что я называю верхом великодушия!

— Бэзил — добрейшая душа, но, по-моему, он немного филистер. Я это понял, когда узнал вас, Гарри.

— Видите ли, мой друг, Бэзил все, что в нем есть лучшего, вкладывает в свою работу. Таким образом, для жизни ему остаются только предрассудки, моральные правила и здравый смысл. Из всех художников, которых я знал, только бездарные были обаятельными людьми. Талантливые живут своим творчеством и

поэтому сами по себе совсем неинтересны. Великий поэт — подлинно великий — всегда оказывается самым прозаическим человеком. А второстепенные — обворожительны. Чем слабее их стихи, тем эффектнее наружность и манеры. Если человек выпустил сборник плохих сонетов, можно заранее сказать, что он совершенно неотразим. Он вносит в свою жизнь ту поэзию, которую не способен внести в свои стихи. А поэты другого рода изливают на бумаге поэзию, которую не имеют смелости внести в жизнь.

— Не знаю, верно ли это, Гарри, — промолвил Дориан Грей, смачивая свой носовой платок духами из стоявшего на столе флакона с золотой пробкой. — Должно быть, верно, раз вы так говорите... Ну, я ухожу, меня ждет Имоджена. Не забудьте же о завтрашней встрече. До свиданья.

Оставшись один, лорд Генри задумался, опустив тяжелые веки. Несомненно, мало кто интересовал его так, как Дориан Грей, однако то, что юноша страстно любил кого-то другого, не вызывало в душе лорда Генри ни малейшей досады или ревности. Напротив, он был даже рад этому: теперь Дориан становится еще более любопытным объектом для изучения. Лорд Генри всегда преклонялся перед научными методами естествоиспытателей, но область их исследований находил скучной и незначительной. Свои собственные исследования он начал с вивисекции над самим собой, затем стал производить вивисекцию над другими. Жизнь человеческая — вот что казалось ему единственно достойным изучения. В сравнении с нею все остальное ничего не стоило. И, разумеется, наблюдатель, изучающий кипение жизни в ее своеобразном горниле радостей и страданий, не может при этом защитить лицо стеклянной маской и уберечься от удушливых паров, дурманящих мозг и воображение чудовищными образами, жуткими кошмарами. В этом горниле возникают яды столь тонкие, что изучить их свойства можно лишь тогда, когда сам отравишься ими, и гнездятся болезни столь странные, что понять их природу можно, лишь переболев ими. А все-таки какая великая награда ждет отважного исследователя! Каким необычайным предстанет перед ним мир! Постигнуть удивительно жестокую логику страсти и рас-

цветенную эмоциями жизнь интеллекта, узнать, когда та и другая сходятся и когда расходятся, в чем они едины и когда наступает разлад, — что за наслаждение! Не все ли равно, какой ценой оно покупается? За каждое новое неизведанное ощущение не жаль заплатить чем угодно.

Лорд Генри понимал (и при этой мысли его темные глаза весело заблестели), что именно его речи, музыка этих речей, произнесенных его певучим голосом, обратили душу Дориана к прелестной девушке и заставили его преклониться перед ней. Да, мальчик был в значительной мере *его* созданием и благодаря ему так рано пробудился к жизни. А это разве не достижение? Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама открыла им свои тайны, а немногим избранникам тайны жизни открываются раньше, чем поднимается завеса. Иногда этому способствует искусство (и главным образом литература), воздействуя непосредственно на ум и чувства. Но бывает, что роль искусства берет на себя в этом случае какой-нибудь человек сложной души, который и сам представляет собой творение искусства, — ибо Жизнь, подобно поэзии, или скульптуре, или живописи, также создает свои шедевры.

Да, Дориан рано созрел. Весна его еще не прошла, а он уже собирает урожай. В нем весь пыл и жизнерадостность юности, но при этом он уже начинает разбираться в самом себе. Наблюдать его — истинное удовольствие! Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой вызывает к себе живой интерес. Не все ли равно, чем все кончится, какая судьба ему уготована? Он подобен тем славным героям пьес или мистерий, чьи радости нам чужды, но чьи страдания будят в нас любовь к прекрасному. Их раны — красные розы.

Душа и тело, тело и душа — какая это загадка. В душе таятся животные инстинкты, а телу дано испытать минуты одухотворяющие. Чувственные порывы способны стать утонченными, а интеллект — оступеть. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить душа? Как поверхностны и произвольны авторитетные утверждения психологов! И при всем том — как трудно решить, которая из школ ближе к истине! Действительно ли душа человека — лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или, как полагал

Джордано Бруно, тело заключено в духе³⁶? Разъединение духа и материи — такая же непостижимая загадка, как их слияние.

Лорд Генри задавал себе вопрос, сможет ли когда-нибудь психология благодаря нашим усилиям стать абсолютно точной наукой, раскрывающей малейшие побуждения, каждую сокровенную черту нашей внутренней жизни? Сейчас мы еще не понимаем самих себя и редко понимаем других. Опыт не имеет никакого морального значения; опытом люди называют свои ошибки. Моралисты, как правило, всегда видели в опыте средство предостережения и считали, что он влияет на формирование характера. Они славил опыт, ибо он учит нас, чему надо следовать и чего избегать. Но опыт не обладает движущей силой. В нем так же мало действительного, как и в человеческом сознании. По существу, он только свидетельствует, что наше грядущее обычно бывает подобно нашему прошлому и что грех, совершенный однажды с содроганием, мы повторяем в жизни много раз — но уже с удовольствием.

Лорду Генри было ясно, что только экспериментальным путем можно прийти к научному анализу страстей. А Дориан Грей — под рукой, он, несомненно, подходящий объект, и изучение его обещает дать богатейшие результаты. Его мгновенно вспыхнувшая безумная любовь к Сибиле Вэйн — очень интересное психологическое явление. Конечно, немалую роль тут сыграло любопытство — да, любопытство и жажда новых ощущений. Однако эта любовь — чувство не примитивное, а весьма сложное. То, что в ней порождено чисто чувственными инстинктами юности, самому Дориану представляется чем-то возвышенным, далеким от чувственности, — и по этой причине оно еще опаснее. Именно те страсти, природу которых мы неверно понимаем, сильнее всего властвуют над нами. А слабее всего бывают чувства, происхождение которых нам понятно. И часто человек воображает, будто он производит опыт над другими, тогда как в действительности производит опыт над самим собой.

Так размышлял лорд Генри, когда раздался стук в дверь. Вошел камердинер и напомнил ему, что пора переодеться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Закатное солнце обливало пурпуром и золотом

верхние окна в доме напротив, и стекла сверкали, как листы раскаленного металла. Небо над крышами было блекло-розовое. А лорд Генри думал о пламенной юности своего нового друга и пытался угадать, какая судьба ждет Дориана.

Вернувшись домой около половины первого ночи, он увидел на столе в прихожей телеграмму. Дориан Грей извещал его о своей помолвке с Сибиллой Вэйн.

ГЛАВА V

— Мама, мама, я так счастлива! — шептала девушка, прижимаясь щекой к коленям женщины с усталым, поблекшим лицом, которая сидела спиной к свету, в единственном кресле убогой и грязноватой гостиной. — Я так счастлива, — повторила Сибилла. — И ты тоже должна радоваться!

Миссис Вэйн судорожно обняла набеленными худыми руками голову дочери.

— Радоваться? — отозвалась она. — Я радуюсь, Сибилла, только тогда, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна думать ни о чем, кроме театра. Мистер Айзекс сделал нам много добра. И мы еще до сих пор не вернули ему его деньги...

Девушка подняла голову и сделала недовольную гримаску.

— Деньги? — воскликнула она. — Ах, мама, какие пустяки! Любовь важнее денег.

— Мистер Айзекс дал нам вперед пятьдесят фунтов, чтобы мы могли уплатить долги и как следует снарядить в дорогу Джеймса. Не забывай этого, Сибилла. Пятьдесят фунтов — большие деньги. Мистер Айзекс к нам очень внимателен...

— Но он не джентльмен, мама! И мне противна его манера разговаривать со мной, — сказала девушка, вставая и подходя к окну.

— Не знаю, что бы мы стали делать, если бы не он, — ворчливо возразила мать.

Сибилла откинула голову и рассмеялась.

— Он нам больше не нужен, мама. Теперь нашей жизнью будет распоряжаться Прекрасный Принц.

Она вдруг замолчала. Кровь прилила к ее лицу, ро-

зовой тенью покрыла щеки. От учащенного дыхания раскрылись лепестки губ. Они трепетали. Знойный ветер страсти налетел и, казалось, даже шевельнул мягкие складки платья.

— Я люблю его, — сказала Сибила просто.

— Глупышка! Ох, глупышка! — как попугай твердила мать в ответ. И движения ее скрюченных пальцев, униженных дешевыми перстнями, придавали этим словам что-то жутко-нелепое.

Девушка снова рассмеялась. Радость плененной птицы звенела в ее смехе. Той же радостью сияли глаза, и Сибила на мгновение зажмурила их, словно желая скрыть свою тайну. Когда же она их снова открыла, они были затуманены мечтой.

Узкогубая мудрость взывала к ней из обтрепанного кресла, проповедуя благоразумие и осторожность, приводя сентенции из книги трусости, выдающей себя за здравый смысл. Сибила не слушала. Добровольная пленница Любви, она в эти минуты была не одна. Ее принц. Прекрасный Принц, был с нею. Она призвала Память, и Память воссоздала его образ. Она выслала душу свою на поиски, и та привела его. Его поцелуй еще пылал на ее губах, веки еще согревало его дыхание.

Мудрость между тем переменяла тактику и заговорила о необходимости проверить, навести справки... Этот молодой человек, должно быть, богат. Если так, надо подумать о браке... Но волны житейской хитрости разбивались об уши Сибилы, стрелы коварства летели мимо. Она видела только, как шевелятся узкие губы, и улыбалась.

Вдруг она почувствовала потребность заговорить. Насыщенное словами молчание тревожило ее.

— Мама, мама, — воскликнула она. — За что он так любит меня? Я знаю, за что я полюбила его: он прекрасен, как сама Любовь. Но что он нашел во мне? Ведь я его не стою... А все-таки, — не знаю отчего, — хотя я совсем его недостойна, я ничуть не стыжусь этого. Я горда, ох, как горда своей любовью! Мама, ты моего отца тоже любила так, как я люблю Прекрасного Принца?

Лицо старой женщины побледнело под толстым слоем дешевой пудры, сухие губы искривила судорож-

ная гримаса боли. Сибила подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Прости, мамочка! Я знаю, тебе больно вспоминать об отце. Это потому, что ты горячо его любила. Ну, не будь же так печальна! Сегодня я счастлива, как ты была двадцать лет назад. Ах, не мешай мне стать счастливой на всю жизнь!

— Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. И притом — что тебе известно об этом молодом человеке? Ты даже имени его не знаешь. Все это в высшей степени неприлично. Право, в такое время, когда Джеймс уезжает от нас в Австралию и у меня столько забот, тебе следовало бы проявить больше чуткости... Впрочем, если окажется, что он богат...

— Ах, мама, мама, не мешай моему счастью!

Миссис Вэйн взглянула на дочь — и заключила ее в объятия. Это был один из тех театральных жестов, которые у актеров часто становятся как бы «второй натурой». В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел коренастый, несколько неуклюжий юноша с взлохмаченными темными волосами и большими руками и ногами. В нем не было и следа того тонкого изящества, которое отличало его сестру. Трудно было поверить, что они в таком близком родстве. Миссис Вэйн устремила глаза на сына, и улыбка ее стала шире. Сын в эту минуту заменял ей публику, и она чувствовала, что они с дочерью представляют интересное *tableau* *.

— Ты могла бы оставить и для меня несколько поцелуев, Сибила, — сказал юноша с шутливым упреком.

— Да ты же не любишь целоваться, Джим, — отозвалась Сибила. — Ты — угрюмый, старый медведь! — Она подскочила к брату и обняла его.

Джеймс Вэйн нежно заглянул ей в глаза.

— Пойдем погуляем напоследок, Сибила. Наверное, я никогда больше не вернусь в этот противный Лондон. И вовсе не жалею об этом.

— Сын мой, не говори таких ужасных вещей! — пробормотала миссис Вэйн со вздохом и, достав какой-то мишурный театральный наряд, принялась чинить его. Она была несколько разочарована тем, что

* Картина; здесь: зрелище (*фр.*).

Джеймс не принял участия в трогательной сцене, — ведь эта сцена тогда была бы еще эффектнее.

— А почему не говорить, раз это правда, мама?

— Ты очень огорчаешь меня, Джеймс. Я надеюсь, что ты вернешься из Австралии состоятельным человеком. В колониях не найдешь хорошего общества. Да, ничего похожего на приличное общество там и в помине нет... Так что, когда наживешь состояние, возвращайся на родину и устраивайся в Лондоне.

— «Хорошее общество», подумаешь! — буркнул Джеймс. — Очень оно мне нужно! Мне бы только зарабатывать денег, чтобы ты и Сибила могли уйти из театра. Ненавижу я его!

— Ах, Джеймс, какой же ты ворчун! — со смехом сказала Сибила. — Так ты вправду хочешь погулять со мной? Чудесно! А я боялась, что ты уйдешь прощаться со своими товарищами, с Томом Харди, который подарил тебе эту безобразную трубку, или Недом Лэнгтоном, который насмехается над тобой, когда ты куришь. Очень мило, что ты решил провести последний день со мной. Куда же мы пойдем? Давай сходим в Парк!

— Нет, я слишком плохо одет, — возразил Джеймс, нахмурившись. — В Парке гуляет только шикарная публика.

— Глупости, Джим! — шепнула Сибила, поглаживая рукав его потрепанного пальто.

— Ну, ладно, — сказал Джеймс после минутного колебания. — Только ты одевайся поскорее.

Сибила выпорхнула из комнаты, и слышно было, как она поет, взбегая по лестнице. Потом ее ножки затопотали где-то наверху.

Джеймс несколько раз прошелся из угла в угол. Затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил:

— Мама, у тебя все готово?

— Все готово, Джеймс, — ответила она, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вэйн бывало как-то не по себе, когда она оставалась наедине со своим суровым и грубоватым сыном. Ограниченная и скрытная женщина приходила в смятение, когда их глаза встречались. Часто задавала она себе вопрос, не подозревает ли сын что-нибудь.

Джеймс не говорил больше ни слова, и это молча-

ние стало ей невтерпез. Тогда она пустила в ход упрёки и жалобы. Женщины, защищаясь, всегда переходят в наступление. А их наступление часто кончается внезапной и необъяснимой сдачей.

— Дай бог, чтобы тебе понравилась жизнь моряка, Джеймс, — начала миссис Вэйн. — Не забывай, что ты сам этого захотел. А ведь мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. Адвокаты — весьма почтенное сословие, в провинции их часто приглашают в самые лучшие дома.

— Не терплю контор и чиновников, — отрезал Джеймс. — Что я сам сделал выбор — это верно. Свою жизнь я проживу так, как мне нравится. А тебе, мама, на прощанье скажу одно: береги Сибилу. Смотри, чтобы с ней не случилось беды! Ты должна охранять ее!

— Не понимаю, зачем ты это говоришь, Джеймс. Разумеется, я Сибилу оберегаю.

— Я слышал, что какой-то господин каждый вечер бывает в театре и ходит за кулисы к Сибиле. Это правда? Что ты на это скажешь?

— Ах, Джеймс, в этих вещах ты ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали самое любезное внимание. Меня тоже когда-то засыпали букетами. В те времена люди умели ценить наше искусство. Ну а что касается Сибилы... Я еще не знаю, прочно ли ее чувство, серьезно ли оно. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной. И по всему заметно, что богат, — он посылает Сибиле чудесные цветы.

— Но ты даже имени его не знаешь! — сказал юноша резко.

— Нет, не знаю, — с тем же безмятежным спокойствием ответила мать. — Он не открыл еще нам своего имени. Это очень романтично. Наверное, он из самого аристократического круга.

Джеймс Вэйн прикусил губу.

— Береги Сибилу, мама! — сказал он опять настойчиво. — Смотри за ней хорошенько!

— Сын мой, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибиле? Конечно, если этот джентльмен богат, почему ей не выйти за него? Я уверена, что он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию. И они будут прелестной па-

рой, — он замечательно красив, его красота всем бросается в глаза.

Джеймс проворчал что-то себе под нос, барабанив пальцами по стеклу. Он обернулся к матери и хотел что-то еще сказать, но в эту минуту дверь отворилась и вбежала Сибила.

— Что это у вас обоих такой серьезный вид? — воскликнула она. — В чем дело?

— Ни в чем, — сказал Джеймс. — Не все же смеяться, иной раз надо и серьезным быть. Ну, прощай, мама. Я приду обедать к пяти. Все уложено, кроме рубашек, так что ты не беспокойся.

— До свидания, сын мой, — отозвалась миссис Вэйн и величественно, но с натянутым видом кивнула Джеймсу. Ее сильно раздосадовал тон, каким он говорил с ней, а выражение его глаз пугало ее.

— Поцелуй меня, мама, — сказала Сибила. Ее губы, нежные, как цветочные лепестки, коснулись увядшей щеки и согрели ее.

— О дитя мое, дитя мое! — воскликнула миссис Вэйн, поднимая глаза к потолку в поисках воображаемой галерки.

— Ну, пойдем, Сибила! — нетерпеливо позвал Джеймс. Он не выносил аффектации, к которой так склонна была его мать.

Брат и сестра вышли на улицу, где солнечный свет спорил с ветром, нагонявшим тучки, и пошли по унылой Юстон-Роуд. Прохожие удивленно посматривали на угрюмого и нескладного паренька в дешевом, плохо сшитом костюме, шедшего с такой изящной и грациозной девушкой. Он напоминал деревенщину-садовника с прелестной розой.

По временам Джим хмурился, перехватывая чей-нибудь любопытный взгляд. Он терпеть не мог, когда на него главели, — чувство, знакомое гениям только на закате жизни, но никогда не оставляющее людей заурядных — Сибила же совершенно не замечала, что ею любуются. В ее смехе звенела радость любви. Она думала о Прекрасном Принце, но, чтобы ничто не мешало ей упиваться этими мыслями, не говорила о нем, а болтала о корабле, на котором будет плавать Джеймс, о золоте, которое он непременно найдет в Австралии, о воображаемой красивой и бо-

гатой девушке, которую он спасет, освободив из рук разбойников в красных рубахах. Сибила и мысли не допускала, что Джеймс на всю жизнь останется простым матросом, или третьим помощником капитана, или кем-либо в таком роде. Нет, нет! Жизнь моряка ужасна! Сидеть, как птица в клетке, на каком-нибудь противном корабле, когда его то и дело атакуют с хриплым ревом горбатые волны, а злой ветер гнет мачты и рвет паруса на длинные свистящие ленты! Как только корабль прибудет в Мельбурн, Джеймсу следует вежливо сказать капитану «прости» и высадиться на берег и сразу же отправиться на золотые прииски. Недели не пройдет, как он найдет большущий самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и перевезет его на побережье в фургоне под охраной шести конных полицейских. Скрывающиеся в зарослях бандиты трижды нападут на них, произойдет кровопролитная схватка, и бандиты будут отброшены... Или нет, не надо никаких золотых приисков, там ужас что творится, люди отравляют друг друга, в барах стрельба, ругань. Лучше Джеймсу стать мирным фермером, разводить овец. И в один прекрасный вечер, когда он верхом будет возвращаться домой, он увидит, как разбойник на черном коне увозит прекрасную знатную девушку, пустится за ним в погоню и спасет красавицу. Ну а потом она, конечно, влюбится в него, а он — в нее, и они поженятся, вернутся в Лондон и будут жить здесь, в большущем доме. Да, да, Джеймса ждут впереди чудесные приключения. Только он должен быть хорошим, не кипятиться и не транжирить денег.

— Ты слушайся меня, Джеймс. Хотя я старше тебя только на год, я гораздо лучше знаю жизнь... Да смотри же, пиши мне с каждой почтой! И молись перед сном каждый вечер, а я тоже буду молиться за тебя. И через несколько лет ты вернешься богатым и счастливым.

Джеймс слушал сестру угрюмо и молча. С тяжелым сердцем уезжал он из дому. Да и не только предстоящая разлука удручала его и заставляла сердито хмуриться. При всей своей неопытности юноша остро чувствовал, что Сибиле угрожает опасность. От этого светского щеголя, который вздумал за ней ухаживать,

добра не жди! Он был аристократ — и Джеймс ненавидел его, ненавидел безотчетно, в силу какого-то классового инстинкта, ему самому непонятного и потому еще более властного. Притом Джеймс, зная легкомыслие и пустое тщеславие матери, чуял в этом грозную опасность для Сибилы и ее счастья. В детстве мы любим родителей. Став взрослыми, судим их. И бывает, что мы их прощаем.

Мать! Джеймсу давно хотелось задать ей один вопрос — вопрос, который мучил его вот уже много месяцев. Фраза, случайно услышанная в театре, глумливое шушуканье, донесшееся до него раз вечером, когда он ждал мать у входа за кулисы, подняли в голове Джеймса целую бурю мучительных догадок. Воспоминание об этом и сейчас ожгло его, как удар хлыста по лицу. Он сдвинул брови так, что между ними прорезалась глубокая морщина, и с гримасой боли судорожно прикусил нижнюю губу.

— Да ты совсем меня не слушаешь, Джим! — воскликнула вдруг Сибила. — А я-то стараюсь, строю для тебя такие чудесные планы на будущее! Ну, скажи же что-нибудь!

— Что мне сказать?

— Хотя бы, что ты будешь пай-мальчиком и не забудешь нас, — сказала Сибила с улыбкой.

Джеймс пожал плечами.

— Скорее ты забудешь меня, чем я тебя, Сибила.

Сибила покраснела.

— Почему ты так думаешь, Джим?

— Да вот, говорят, у тебя появился новый знакомый. Кто он? Почему ты мне ничего о нем не рассказала? Это знакомство к добру не приведет.

— Перестань, Джим! Не смей дурно говорить о нем! Я его люблю.

— Господи, да тебе даже имя его неизвестно! — возразил Джеймс. — Кто он такой? Я, кажется, имею право это знать.

— Его зовут Прекрасный Принц. Разве тебе не нравится это имя? Ты его запомни, глупый мальчик. Если бы ты увидел моего Принца, ты понял бы, что лучше его нет никого на свете. Вот вернешься из Австралии, и тогда я вас познакомлю. Он тебе очень понравится, Джим. Он всем нравится, а я... я люблю его. Как жаль,

что ты сегодня вечером не сможешь быть в театре. Он обещал приехать. И я сегодня играю Джульетту. О, как я ее сыграю! Ты только представь себе, Джим, — играть Джульетту, когда сама влюблена и когда он сидит перед тобой. Играть для него! Я даже боюсь, что испугаю всех зрителей. Испугаю или приведу в восторг! Любовь возносит человека над самим собой... Этот бедный урод, мистер Айзекс, опять будет кричать в баре своим собутыльникам, что я гений. Он верит в меня, а сегодня будет на меня молиться. И это сделал мой Прекрасный Принц, моя чудесная любовь, бог красоты! Я так жалка по сравнению с ним... Ну, так что же? Пословица говорит: нищета вползает через дверь, а любовь влетает в окно. Наши пословицы следовало бы переделать. Их придумывали зимой, а теперь лето... Нет, для меня теперь весна, настоящий праздник цветов под голубым небом.

— Он — знатный человек, — сказал Джеймс мрачно.

— Он — принц! — пропела Сибила. — Чего тебе еще?

— Он хочет сделать тебя своей рабой.

— А я дрожу при мысли о свободе.

— Остерегайся его, Сибила.

— Кто его увидел, боготворит его, а кто узнал — верит ему.

— Сибила, да он тебя совсем с ума свел!

Сибила рассмеялась и взяла брата под руку.

— Джим, милый мой, ты рассуждаешь, как столетний старик. Когда-нибудь сам влюбишься, тогда поймешь, что это такое. Ну, не дуйся же! Ты бы радоваться должен, что, уезжая, оставляешь меня такой счастливой. Нам с тобой тяжело жилось, ужасно тяжело и трудно. А теперь все пойдет по-другому. Ты едешь, чтобы увидеть новый мир, а мне он открылся здесь, в Лондоне... Вот два свободных места, давай сядем и будем смотреть на нарядную публику.

Они уселись среди толпы отдыхающих, которые глазели на прохожих. На клумбах у дорожки тюльпаны пылали дрожащими языками пламени. В воздухе висела белая пыль, словно зыбкое облако ароматной пудры. Огромными пестрыми бабочками порхали и качались над головами зонтики ярких цветов.

Сибила настойчиво расспрашивала брата, желая,

чтобы он поделился с нею своими планами и надеждами. Джеймс отвечал медленно и неохотно. Они обменивались словами, как игроки обмениваются фишками. Сибилу угнетало то, что она не может заразить Джеймса своей радостью. Единственным откликом, который ей удалось вызвать, была легкая улыбка на его хмуром лице.

Вдруг перед ней промелькнули золотистые волосы, знакомые улыбающиеся губы: мимо в открытом экипаже проехал с двумя дамами Дориан Грей.

Сибилла вскочила.

— Он!

— Кто? — спросил Джим.

— Прекрасный Принц! — ответила она, провожая глазами коляску.

Тут и Джим вскочил и крепко схватил ее за руку.

— Где? Который? Да покажи же! Я должен его увидеть!

Но в эту минуту запряженный четверкой экипаж герцога Бервикского заслонил все впереди, а когда он проехал, коляска Дориана была уже далеко.

— Уехал! — огорченно прошептала Сибилла. — Как жаль, что ты его не видел!

— Да, жаль. Потому что, если он тебя обидит, клянусь Богом, я отыщу и убью его.

Сибилла в ужасе посмотрела на брата. А он еще раз повторил свои слова. Они просвистели в воздухе, как кинжал, и люди стали оглядываться на Джеймса. Стоявшая рядом дама захихикала.

— Пойдем отсюда, Джим, пойдем! — шепнула Сибилла. Она стала пробираться через толпу, и Джим, повеселевший после того, как облегчил душу, пошел за нею.

Когда они дошли до статуи Ахилла³⁷, девушка обернулась. Она с сожалением посмотрела на брата и покачала головой, а на губах ее трепетал смех.

— Ты дурачок, Джим, настоящий дурачок и злой мальчишка — вот и все. Ну, можно ли говорить такие ужасные вещи! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Ты попросту ревнуешь и потому несправедлив к нему. Ах, как бы я хотела, чтобы и ты полюбил кого-нибудь! Любовь делает человека добрее, а ты сказал злые слова!

— Мне уже шестнадцать лет, — возразил Джим. — И я знаю, что говорю. Мать тебе не опора. Она не сумеет уберечь тебя. Экая досада, что я уезжаю! Не подпиши я контракта, я послал бы к черту Австралию и остался бы с тобой.

— Полно, Джим! Ты точь-в-точь как герои тех дурацких мелодрам, в которых мама любила играть. Но я не хочу с тобой спорить. Ведь я только что видела его, а видеть его — это такое счастье! Не будем ссориться! Я уверена, что ты никогда не причинишь зла человеку, которого я люблю, — правда, Джим?

— Пока ты его любишь, пожалуй, — был угрюмый ответ.

— Я буду любить его вечно! — воскликнула Сибила.

— А он тебя?

— И он тоже.

— Ну, то-то. Пусть только попробует изменить!

Сибила невольно отшатнулась от брата. Но затем рассмеялась и положила ему руку на плечо. Ведь он в ее глазах был еще мальчик.

У Мраморной Арки³⁸ они сели в омнибус, и он довез их до грязного, запущенного дома на Юстон-Роуд, где они жили. Был уже шестой час, а Сибиле полагалось перед спектаклем полежать час-другой. Джим стоял, чтобы она легла, объяснив, что он предпочитает проститься с нею в ее комнате, пока мать внизу. Мать непременно разыграла бы при прощании трагическую сцену, а он терпеть не может сцен.

И они простились в комнате Сибилы. В сердце юноши кипела ревность и бешеная ненависть к чужаку, который, как ему казалось, встал между ним и сестрой. Однако, когда Сибила обвила руками его шею и провела пальчиками по его волосам, Джим размяк и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он потом шел вниз по лестнице, глаза его были полны слез.

Внизу дожидалась мать. Она побранила его за опоздание. Джеймс ничего не ответил и принялся за скудный обед. Мухи жужжали над столом, ползали по грязной скатерти. Под грохот омнибусов и кебов Джеймс слушал монотонный голос, отравлявший ему последние оставшиеся минуты.

Скоро он отодвинул в сторону тарелку и подпер го-

лову руками. Он твердил себе, что имеет право *знать*. Если правда то, что он подозревает, — мать давно должна была сказать ему об этом. Цепенея от страха, миссис Вэйн тайком наблюдала за ним. Слова механически слетали с ее губ, пальцы комкали грязный кружевной платочек. Когда часы пробили шесть, Джим встал и направился к двери. Но по дороге остановился и оглянулся на мать. Взгляды их встретились, и в глазах ее он прочел горячую мольбу о пощаде. Это только подлило масла в огонь.

— Мама, я хочу задать тебе один вопрос, — начал он.

Мать молчала, ее глаза забегали по сторонам.

— Скажи мне правду, я имею право знать: ты была замужем за моим отцом?

У миссис Вэйн вырвался глубокий вздох. То был вздох облегчения. Страшная минута, которой она с такой тревогой ждала днем и ночью в течение многих месяцев, наконец наступила, — и вдруг ее страх исчез. Она даже была этим несколько разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Решительная сцена без постепенной подготовки! Это было нескладно, напоминало плохую репетицию.

— Нет, — отвечала она, удивляясь про себя тому, что в жизни все так грубо и просто.

— Значит, он был подлец? — крикнул юноша, сжимая кулаки.

Мать покачала головой.

— Нет. Я знала, что он не свободен. Но мы крепко любили друг друга. Если бы он не умер, он бы нас обеспечил. Не осуждай его, сынок. Он был твой отец и джентльмен. Да, да, он был знатного рода.

У Джеймса вырвалось проклятие.

— Мне-то все равно, — воскликнул он. — Но ты смотри, чтобы с Сибиллой не случилось того же! Ведь тот, кто в нее влюблен или притворяется влюбленным, тоже, наверное, «джентльмен знатного рода»?

На одно мгновение миссис Вэйн испытала унижительное чувство стыда. Голова ее поникла, она отерла глаза трясущимися руками.

— У Сибиллы есть мать, — прошептала она. — А у меня ее не было.

Джеймс был тронут. Он подошел к матери и, наклонясь, поцеловал ее.

— Прости, мама, если я этими расспросами об отце сделал тебе больно, — сказал он. — Но я не мог удержаться. Ну, мне пора. Прощай! И помни: теперь тебе надо заботиться об одной только Сибиле. Можешь мне поверить, если этот человек обидит мою сестру, я узнаю, кто он, разыщу его и убью, как собаку. Клянусь!

Преувеличенная страстность угрозы и энергичные жесты, которыми сопровождалась эта мелодраматическая тирада, пришлись миссис Вэйн по душе, они словно окрашивали жизнь в более яркие краски. Сейчас она почувствовала себя в своей стихии и вздохнула свободнее. Впервые за долгое время она восхищалась сыном. Ей хотелось продлить эту волнующую сцену, но Джим круто оборвал разговор. Нужно было снести вниз чемоданы, разыскать запропастившийся куда-то теплый шарф. Слуга меблированных комнат, где они жили, суетился, то вбегая, то убегая. Потом пришлось торговаться с извозчиком... Момент был упущен, испорчен вульгарными мелочами. И миссис Вэйн с удвоенным чувством разочарования махала из окна грязным кружевным платочком вслед уезжавшему сыну. Какая прекрасная возможность упущена! Впрочем, она немного утешилась, объявив Сибиле, что теперь, когда на ее попечении осталась одна лишь дочь, в жизни ее образуется большая пустота. Эта фраза ей понравилась, и она решила запомнить ее. Об угрозе Джеймса она умолчала. Правда, высказана эта угроза очень эффективно и драматично, но лучше было о ней не помнить. Миссис Вэйн надеялась, что когда-нибудь они все дружно посмеются над нею.

ГЛАВА VI

— Ты, верно, уже слышал новость, Бэзил? — такими словами лорд Генри встретил в этот вечер Холлуорда, вошедшего в указанный ему лакеем отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был сервирован обед на троих.

— Нет, Гарри. А что за новость? — спросил художник, отдавая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. — Надеюсь, не политическая? Политикой я не интересуюсь. В палате общин едва ли найдется хоть

один человек, на которого художнику стоило бы раско-
довать краски. Правда, многие из них очень нуждаются
в побелке.

— Дориан Грей собирается жениться, — сказал
лорд Генри, внимательно глядя на Холлуорда.

Холлуорд вздрогнул и нахмурился.

— Дориан! Женится! — воскликнул он. — Не мо-
жет быть!

— Однако это сушая правда.

— На ком же?

— На какой-то актриске.

— Что-то мне не верится. Дориан не так без рассу-
ден.

— Дориан настолько умен, мой милый Бэзил, что
не может время от времени не делать глупостей.

— Но брак не из тех «глупостей», которые делают
«время от времени», Гарри!

— Так думают в Англии, но не в Америке, — лениво
возразил лорд Генри. — Впрочем, я не говорил, что До-
риан женится. Я сказал только, что он *собирается* же-
ниться. Это далеко не одно и то же. Я, например, явно
помню, что женился, но совершенно не припоминаю,
чтобы я *собирался* это сделать. И склонен думать, что
такого намерения у меня никогда не было.

— Да ты подумай, Гарри, из какой семьи Дориан,
как он богат, какое положение занимает в обществе!
Такой неравный брак просто-напросто безумие!

— Если хочешь, чтобы он женился на этой девуш-
ке, скажи ему то, что ты сейчас сказал мне, Бэзил! Тог-
да он наверняка женится на ней. Самые нелепые по-
ступки человек совершает всегда из благороднейших
побуждений.

— Хоть бы это оказалась хорошая девушка! Очень
печально, если Дориан навсегда будет связан с ка-
кой-нибудь дрянью и этот брак заставит его умственно
и нравственно опуститься.

— Хорошая ли она девушка? Она — красавица, а
это гораздо важнее, — бросил лорд Генри, потягивая из
стакана вермут с померанцевой. — Дориан утверждает,
что она красавица, а в этих вещах он редко ошибается.
Портрет, который ты написал, научил его ценить кра-
соту других людей. Да, да, и в этом отношении портрет
весьма благотворно повлиял на него... Сегодня вече-

ром мы с тобой увидим его избранницу, если только мальчик не забыл про наш уговор.

— Ты все это серьезно говоришь, Гарри?

— Совершенно серьезно, Бэзил. Не дай бог, чтобы мне пришлось говорить когда-нибудь еще серьезнее, чем сейчас.

— Но неужели ты одобряешь это, Гарри, — продолжал художник, шагая по комнате и кусая губы. — Не может быть! Это просто какое-то глупое увлечение.

— А я никогда ничего не одобряю и не порицаю, — это нелепейший подход к жизни. Мы посланы в сей мир не для того, чтобы проповедовать свои моральные предрассудки. Я не придаю никакого значения тому, что говорят пошляки, и никогда не вмешиваюсь в жизнь людей мне приятных. Если человек мне нравится, то все, в чем он себя проявляет, я нахожу прекрасным. Дориан Грей влюбился в красивую девушку, которая играет Джульетту, и хочет жениться на ней. Почему бы и нет? Женись он хотя бы на Мессалине³⁹ — от этого он не станет менее интересен. Ты знаешь, я не сторонник брака. Главный вред брака в том, что он вытравливает из человека эгоизм. А люди неэгоистичные бесцветны, они утрачивают свою индивидуальность. Правда, есть люди, которых супружеская жизнь делает сложнее. Сохраняя свое «я», они дополняют его множеством чужих «я». Такой человек вынужден жить более чем одной жизнью и становится личностью высокоорганизованной, а это, я полагаю, и есть цель нашего существования. Кроме того, всякое переживание ценно, и что бы ни говорили против брака, — это ведь, безусловно, какое-то новое переживание, новый опыт. Надеюсь, что Дориан женится на этой девушке, будет с полгода страстно обожать ее, а потом внезапно влюбится в другую. Тогда будет очень интересно понаблюдать его.

— Ты все это говоришь не всерьез, Гарри. Ведь, если жизнь Дориана будет разбита, ты больше всех будешь этим огорчен. Право, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться.

Лорд Генри расхохотался.

— Все мы готовы верить в других по той простой причине, что боимся за себя. В основе оптимизма лежит чистейший страх. Мы приписываем нашим ближ-

ним те добродетели, из которых можем извлечь выгоду для себя, и воображаем, что делаем это из великодушия. Хвалим банкира, потому что хочется верить, что он увеличит нам кредит в своем банке, и находим хорошие черты даже у разбойника с большой дороги в надежде, что он пощадит наши карманы. Поверь, Бэзил, все, что я говорю, я говорю вполне серьезно. Больше всего на свете я презираю оптимизм... Ты боишься, что жизнь Дориана будет разбита, а, по-моему, разбитой можно считать лишь ту жизнь, которая остановилась в своем развитии. Исправлять и переделывать человеческую натуру — значит только портить ее. Ну а что касается женитьбы Дориана... Конечно, это глупость. Но есть иные, более интересные формы близости между мужчиной и женщиной. И я неизменно поощряю их... А вот и сам Дориан! От него ты узнаешь больше, чем от меня.

— Гарри, Бэзил, дорогие мои, можете меня поздравить! — сказал Дориан, сбросив подбитый шелком плащ и пожимая руки друзьям. — Никогда еще я не был так счастлив. Разумеется, все это довольно неожиданно, как неожиданны все чудеса в жизни. Но, мне кажется, я всегда искал и ждал именно этого.

Он порозовел от волнения и радости и был в эту минуту удивительно красив.

— Желаю вам большого счастья на всю жизнь, Дориан, — сказал Холлуорд. — А почему же вы не сообщили мне о своей помолвке? Это непростительно. Ведь Гарри вы известили.

— А еще непростительнее то, что вы опоздали к обеду, — вмешался лорд Генри, с улыбкой положив руку на плечо Дориана. — Ну, давайте сядем за стол и посмотрим, каков новый здешний шеф-повар. И потом вы нам расскажете все по порядку.

— Да тут и рассказывать почти нечего, — отозвался Дориан, когда они уселись за небольшой круглый стол. — Вот как все вышло: вчера вечером, уйдя от вас, Гарри, я переоделся, пообедал в том итальянском ресторанчике на Руперт-стрит, куда вы меня водили, а в восемь часов отправился в театр. Сибила играла Розалинду. Декорации были, конечно, ужасные. Орlando просто смешон. Но Сибила! Ах, если бы вы ее видели! В костюме мальчика она просто загляденье. На ней

была зеленая бархатная куртка с рукавами цвета корицы, коричневые короткие штаны, плотно обтягивавшие ноги, изящная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне такой прелестной! Своей хрупкой грацией она напоминала танагрскую статуэтку⁴⁰, которую я видел у вас в студии, Бэзил. Волосы обрамляли ее личико, как темные листья — бледную розу. А ее игра... ну, да вы сами сегодня увидите. Она просто рождена для сцены. Я сидел в убогой ложе совершенно очарованный. Забыл, что я в Лондоне, что у нас теперь девятнадцатый век. Я был с моей возлюбленной далеко, в дремучем лесу, где не ступала нога человека... После спектакля я пошел за кулисы и говорил с нею. Мы сидели рядом, и вдруг в ее глазах я увидел выражение, какого никогда не замечал раньше. Губы мои нашли ее губы. Мы поцеловались... Не могу вам передать, что я чувствовал в этот миг. Казалось, вся моя жизнь сосредоточилась в этой чудесной минуте. Сибила вся трепетала, как белый нарцисс на стебле... И вдруг опустилась на колени и стала целовать мои руки. Знаю, мне не следовало бы рассказывать вам все это, но я не могу удержаться... Помолвка наша, разумеется, — строжайший секрет, Сибила даже матери ничего не сказала. Не знаю, что запоют мои опекуны. Лорд Рэдли, наверно, ужасно разгневется. Пусть сердится, мне все равно! Меньше чем через год я буду совершеннолетний и смогу делать что хочу. Ну, скажите, Бэзил, разве не прекрасно, что любить меня научила поэзия, что жену я нашел в драмах Шекспира? Губы, которые Шекспир учил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Меня обнимали руки Розалинды, и я целовал Джульетту.

— Да, Дориан, мне кажется, вы правы, — с расстановкой отозвался Холлуорд.

— А сегодня вы с ней виделись? — спросил лорд Генри.

Дориан Грей покачал головой.

— Я оставил ее в Арденнских лесах — и встречу снова в одном из садов Вероны.

Лорд Генри в задумчивости отхлебнул глоток шампанского.

— А когда же именно вы заговорили с нею о браке, Дориан? И что она ответила? Или вы уже не помните?

— Дорогой мой, я не делал ей официального предложения, потому что для меня это был не деловой разговор. Я сказал, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна! Господи, да для меня весь мир — ничто в сравнении с ней!

— Женщины в высшей степени практичный народ, — пробормотал лорд Генри. — Они много практичнее нас. Мужчина в такие моменты частенько забывает поговорить о браке, а женщина всегда помнит об этом...

Холлуорд жестом остановил его.

— Перестань, Гарри, ты обижаешь Дориана. Он не такой, как другие, он слишком благороден, чтобы сделать женщину несчастной.

Лорд Генри посмотрел через стол на Дориана.

— Дориан на меня никогда не сердится, — возразил он. — Я задал ему этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое оправдывает какие бы то ни было вопросы: из простого любопытства. Хотел проверить свое наблюдение, что обычно не мужчина женщине, а она ему делает предложение. Только в буржуазных кругах бывает иначе. Но буржуазия ведь отстала от века.

Дориан Грей рассмеялся и покачал головой.

— Вы неисправимы, Гарри, но сердиться на вас невозможно. Когда увидите Сибилу Вэйн, вы поймете, что обидеть ее способен только негодяй, человек без сердца. Я не понимаю, как можно позорить ту, кого любишь. Я люблю Сибилу — и хотел бы поставить ее на золотой пьедестал, видеть весь мир у ног моей любимой. Что такое брак? Нерушимый обет. Вам это смешно? Не смейтесь, Гарри! Именно такой обет хочу я дать. Доверие Сибилы обязывает меня быть честным, ее вера в меня делает меня лучше! Когда Сибилла со мной, я стыжусь всего того, чему вы, Гарри, научили меня, и становлюсь совсем другим. Да, при одном прикосновении ее руки я забываю вас и ваши увлекательные, но отравляющие и неверные теории.

— Какие именно? — спросил лорд Генри, принимаясь за салат.

— Ну, о жизни, о любви, о наслаждении. Вообще все ваши теории, Гарри.

— Единственное, что стоит возвести в теорию, это наслаждение, — медленно произнес лорд Генри своим мелодичным голосом. — Но, к сожалению, теорию наслаждения я не вправе приписывать себе. Автор ее не я, а Природа. Наслаждение — тот пробный камень, которым она испытывает человека, и знак ее благословения. Когда человек счастлив, он всегда хорош. Но не всегда хорошие люди бывают счастливы.

— А кого ты называешь хорошим? — воскликнул Бэзил Холлуорд.

— Да, — подхватил и Дориан, откинувшись на спинку стула и глядя на лорда Генри поверх пышного букета пурпурных ирисов, стоявшего посреди стола. — Кто, по-вашему, хорош, Гарри?

— Быть хорошим — значит жить в согласии с самим собой, — пояснил лорд Генри, обхватив ножку бокала тонкими белыми пальцами. — А кто принужден жить в согласии с другими, тот бывает в разладе с самим собой. Своя жизнь — вот что самое главное. Филистеры или пуритане могут, если им угодно, навязывать другим свои нравственные правила, но я утверждаю, что вмешиваться в жизнь наших ближних — вовсе не наше дело. Притом у индивидуализма, несомненно, более высокие цели. Современная мораль требует от нас, чтобы мы разделяли общепринятые понятия своей эпохи. Я же полагаю, что культурному человеку покорно принимать мерилу своего времени ни в коем случае не следует, — это грубейшая форма безнравственности.

— Но согласись, Гарри, жизнь только для себя покупается слишком дорогой ценой, — заметил художник.

— Да, в нынешние времена за все приходится платить слишком дорого. Пожалуй, трагедия бедняков — в том, что только самоотречение им по средствам. Красивые грехи, как и красивые вещи, — привилегия богатых.

— За жизнь для себя расплачиваешься не деньгами, а другим.

— Чем же еще, Бэзил?

— Ну, мне кажется, угрызениями совести, страданиями... сознанием своего морального падения.

Лорд Генри пожал плечами.

— Милый мой, средневековое искусство великолепно, но средневековые чувства и представления устарели. Конечно, для литературы они годятся, — но ведь для романа вообще годится только то, что в жизни уже вышло из употребления. Поверь, культурный человек никогда не раскаивается в том, что предавался наслаждениям, а человек некультурный не знает, что такое наслаждение.

— Я теперь знаю, что такое наслаждение! — воскликнул Дориан Грей. — Это — обожать кого-нибудь.

— Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания, — отозвался лорд Генри, выбирая себе фрукты. — Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество — к своим богам: они нам поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то.

— По-моему, они требуют лишь того, что первые дарят нам, — сказал Дориан тихо и серьезно. — Они пробуждают в нас Любовь и вправе ждать ее от нас.

— Вот это совершенно верно, Дориан! — воскликнул Холлуорд.

— Есть ли что абсолютно верное на свете? — возразил лорд Генри.

— Да, есть, Гарри, — сказал Дориан Грей. — Вы же не станете отрицать, что женщины отдают мужчинам самое драгоценное в жизни.

— Возможно, — согласился лорд Генри со вздохом. — Но они неизменно требуют его обратно — и все самой мелкой монетой. В том-то и горе! Как сказал один остроумный француз, женщины вдохновляют нас на великие дела, но вечно мешают нам их творить.

— Гарри, вы несносный циник. Право, не понимаю, за что я вас так люблю!

— Вы всегда будете меня любить, Дориан... Кофе хотите, друзья?.. Принесите нам кофе, *fine-champagne** и папиросы... Впрочем, папирос не нужно: у меня есть, Бэзил, я не дам тебе курить сигары, возьми папиросу! Папиросы — это совершеннейший вид высшего наслаждения, тонкого и острого, но оставляющего нас неудовлетворенными. Чего еще желать?.. Да, Дориан,

* Сорт дорогого французского коньяка (фр.).

вы всегда будете любить меня. В ваших глазах я — воплощение всех грехов, которые у вас не хватает смелости совершить.

— Вздор вы говорите, Гарри! — воскликнул молодой человек, зажигая папиросу от серебряного огнедышащего дракона, которого лакей поставил на стол. — Едемте-ка лучше в театр. Когда вы увидите Сибилу на сцене, жизнь представится вам совсем иной. Она откроет вам нечто такое, чего вы не знали до сих пор.

— Я все изведаль и узнал, — возразил лорд Генри, и глаза его приняли усталое выражение. — Я всегда рад новым впечатлениям, боюсь, однако, что мне уже их ждать нечего. Впрочем, быть может, ваша чудо-девушка и расшевелит меня. Я люблю сцену, на ней все гораздо правдивее, чем в жизни! Едем! Дориан, вы со мной. Мне очень жаль, Бэзил, что в моем кабриолете могут поместиться только двое. Вам придется ехать за нами в кебе.

Они встали из-за стола и, надев пальто, допили кофе стоя. Художник был молчалив и рассеян, им овладело уныние. Не по душе ему был этот брак, хотя он понимал, что с Дорианом могло случиться многое похуже.

Через несколько минут все трое сошли вниз. Как было решено, Холлуорд ехал один за экипажем лорда Генри. Глядя на мерцавшие впереди фонари, он испытывал новое чувство утраты. Он понимал, что никогда больше Дориан Грей не будет для него тем, чем был. Жизнь встала между ними...

Глаза Холлуорда затуманились, и ярко освещенные людные улицы расплывались перед ним мутными пятнами. К тому времени, когда кеб подкатил к театру, художнику уже казалось, что он сегодня постарел на много лет.

ГЛАВА VII

В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем все-

гда, испытывая чувства влюбленного, который пришел за Мирандой⁴¹, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлуорд рассматривал публику партера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины. Их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок.

— И в таком месте вы нашли свое божество! — сказал лорд Генри.

— Да, — отозвался Дориан Грей. — Здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье, люди с грубыми лицами и вульгарными манерами, совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка, она их одухотворяет, и тогда я чувствую — это люди из той же плоти и крови, что и я.

— Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет! — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке.

— Не слушайте его, Дориан, — сказал художник. — Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будит любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю, — она достойна вашей любви, и мир должен преклоняться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но

теперь вижу, что это хорошо. Сибилу Вэйн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна.

— Спасибо, Бэзил, — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. — Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом... Ага, вот и оркестр! Он прескверный, но играет только каких-нибудь пять минут. Потом поднимается занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне.

Через четверть часа на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибила Вэйн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то, напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Бэзил Холлуорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть! Прелесть!»

Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибила Вэйн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости.

Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты:

Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей*, —

как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был див-

* Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ный, но интонации совершенно неверные. И этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженное в них чувство — неискренним.

Дориан Грей смотрел, слушал — и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлуорд не решались заговорить с ним. Сибила Вэйн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы.

Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, — это сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибиле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта.

Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, — этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна — и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости, произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог:

Мое лицо под маской ночи скрыто,
Но все оно пылает от стыда
За то, что ты подслушал нынче ночью, —

она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк:

Нет, не клянись. Хоть радость ты моя,
Но сговор наш ночной мне не на радость.
Он слишком скор, внезапен, необдуман,
Как молния, что исчезает раньше,
Чем скажем мы: «Вот молния!» О милый,
Спокойной ночи! Пусть росток любви
В дыханье теплом лета расцветет
Цветком прекрасным в миг, когда мы снова
Увидимся... —

она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибила, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна.

Даже некультурная публика задних рядов и галерки

утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, слышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бранился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна.

Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто.

— Она очень красива, Дориан, — сказал он. — Но играть не умеет. Пойдемте!

— Нет, я досижу до конца, — возразил Дориан резко и с горечью. — Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих.

— Дорогой мой, мисс Вэйн, наверное, сегодня нездорова, — перебил его Холлуорд. — Мы придем как-нибудь в другой раз.

— Хотел бы я думать, что она больна, — возразил Дориан. — Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой. А сегодня только самая заурядная средняя актриса.

— Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства.

— И любовь и искусство — только формы подражания, — сказал лорд Генри. — Ну, пойдемте, Бэзил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души... Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой, — так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны — те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает... Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично! Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Бэзиллом в клуб! Мы будем курить и пить за Сибилу Вэйн. Она красавица. Чего вам еще?

— Уходите, Гарри! — крикнул Дориан. — Я хочу побыть один. Бэзил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?

К глазам его подступили горячие слезы, губы дрожали. Отойдя в глубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.

— Пойдем, Бэзил, — промолвил лорд Генри с неожиданной для него теплотой. И оба вышли из ложи.

Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен, и на лице его застыло выражение высокомерного равнодушия. Спектакль продолжался; казалось, ему не будет конца. Зал наполовину опустел, люди уходили, стуча тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный.

Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился под хихиканье и громкий ропот.

Как только окончился спектакль, Дориан Грей помчался за кулисы. Сибила стояла одна в своей уборной. Лицо ее светилось торжеством, глаза ярко блестели, от нее словно исходило сияние. Полуоткрытые губы улыбались какой-то одной ей ведомой тайне.

Когда вошел Дориан Грей, она посмотрела на него с невыразимой радостью и воскликнула:

— Как скверно я сегодня играла, Дориан!

— Ужасно! — подтвердил он, глядя на нее в полном недоумении. — Отвратительно! Вы не больны? Вы и представить себе не можете, как это было ужасно и как я страдал!

Девушка все улыбалась.

— Дориан. — Она произнесла его имя певуче и протяжно, упиваясь им, словно оно было слаще меда для алых лепестков ее губ. — Дориан, как же вы не поняли? Но сейчас вы уже понимаете, да?

— Что тут понимать? — спросил он с раздражением.

— Да то, почему я так плохо играла сегодня... И всегда буду плохо играть. Никогда больше не смогу играть так, как прежде.

Дориан пожал плечами.

— Вы, должно быть, заболели. Вам не следовало играть, если вы нездоровы. Ведь вы становитесь посмешищем. Моим друзьям было нестерпимо скучно. Да и мне тоже.

Сибилла, казалось, не слушала его. Она была в каком-то экстазе счастья, совершенно преобразившем ее.

— Дориан, Дориан! — воскликнула она. — Пока я вас не знала, я жила только на сцене. Мне казалось, что это — моя настоящая жизнь. Один вечер я была Розалиндой, другой — Порцией. Радость Беатриче была моей радостью, и страдания Корделии⁴² — моими страданиями. Я верила всему. Те жалкие актеры, что играли со мной, казались мне божественными, размалеванные кулисы составляли мой мир. Я жила среди призраков и считала их живыми людьми. Но ты пришел, любимый, и освободил мою душу из плена. Ты показал мне настоящую жизнь. И сегодня у меня словно открылись глаза. Я увидела всю мишурность, фальшь и нелепость той бутафории, которая меня окружает на сцене. Сегодня вечером я впервые увидела, что Ромео стар, безобразен, накрашен, что лунный свет в саду не настоящий и сад этот — не сад, а убогие декорации. И слова, которые я произносила, были не настоящие, не *мои* слова, не то, что *мне* хотелось бы говорить. Благодаря тебе я узнала то, что выше искусства. Я узнала любовь настоящую. Искусство — только ее бледное отражение. О радость моя, мой Прекрасный Принц! Мне надоело жить среди теней. Ты мне дороже, чем все искусство мира. Что мне эти марионетки, которые окружают меня на сцене? Когда я сегодня пришла в театр, я просто удивилась: все сразу стало мне таким чужим! Думала, что буду играть чудесно, — а оказалось, что ничего у меня не выходит. И вдруг я душой поняла, *отчего* это так, и мне стало радостно. Я слышала в зале шиканье — и только улыбалась. Что они знают о такой любви, как наша? Возьми меня отсюда, Дориан, уведи меня туда, где мы будем совсем одни. Я теперь ненавижу театр. Я могла изображать на сцене любовь, которой не знала, но не могу делать это теперь, когда любовь сжигает меня, как огонь. Ах, Дориан, Дориан, ты меня понимаешь? Ведь мне сейчас играть влюбленную — это профанация! Благодаря тебе я теперь это знаю.

Дориан порывистым движением отвернулся от Сибиллы и сел на диван.

— Вы убили мою любовь, — пробормотал он, не поднимая глаз.

Сибилла удивленно посмотрела на него и рассмеялась. Дориан молчал. Она подошла к нему и легко, одними пальчиками коснулась его волос. Потом стала на колени и прильнула губами к его рукам. Но Дориан вздрогнул, отдернул руки. Потом, вскочив с дивана, шагнул к двери.

— Да, да, — крикнул он, — вы убили мою любовь! Раньше вы волновали мое воображение, — теперь вы не вызываете во мне никакого интереса. Вы мне просто безразличны. Я вас полюбил, потому что вы играли чудесно, потому что я видел в вас талант, потому что вы воплощали в жизнь мечты великих поэтов, облекали в живую, реальную форму бесплотные образы искусства. А теперь все это кончено. Вы оказались только пустой и ограниченной женщиной. Боже, как я был глуп!.. Каким безумием была моя любовь к вам! Сейчас вы для меня ничто. Я не хочу вас больше видеть. Я никогда и не вспомню о вас, имени вашего не произнесу. Если бы вы могли понять, чем вы были для меня... О Господи, да я... Нет, об этом и думать больно. Лучше бы я вас никогда не знал! Вы испортили самое прекрасное в моей жизни. Как мало вы знаете о любви, если можете говорить, что она убила в вас артистку! Да ведь без вашего искусства вы — ничто! Я хотел сделать вас великой, знаменитой. Весь мир преклонился бы перед вами, и вы носили бы мое имя. А что вы теперь? Третьеразрядная актриса с хорошеньким личиком.

Сибилла побледнела и вся дрожала. Сжав руки, она прошептала с трудом, словно слова застревали у нее в горле:

— Вы ведь не серьезно это говорите, Дориан? Вы словно играете.

— Играю? Нет, играть я предоставляю вам, — вы это делаете так хорошо! — едко возразил Дориан.

Девушка поднялась с колен и подошла к нему. С трогательным выражением душевной муки она положила ему руку на плечо и заглянула в глаза. Но Дориан оттолкнул ее и крикнул:

— Не трогайте меня!

У Сибиллы вырвался глухой стон, и она упала к его ногам. Как затоптанный цветок, лежала она на полу.

— Дориан, Дориан, не покидайте меня! — шептала она с мольбой. — Я так жалею, что плохо играла сегодня

ня. Это оттого, что я все время думала о вас. Я попробую опять... Да, да, я постараюсь... Любовь пришла так неожиданно. Я, наверное, этого и не знала бы, если бы вы меня не поцеловали... если бы мы не поцеловались тогда... Поцелуй меня еще раз, любимый! Не уходи, я этого не переживу... Не бросай меня! Мой брат... Нет, нет, он этого не думал, он просто пошутил... Ох, неужели ты не можешь меня простить? Я буду работать изо всех сил и постараюсь играть лучше. Не будь ко мне жесток, я люблю тебя больше всего на свете. Ведь я только раз не угодила тебе. Ты, конечно, прав, Дориан, — мне не следовало забывать, что я артистка... Это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Не покидай меня, Дориан, не уходи!..

Захлебываясь бурными слезами, она корчилась на полу, как раненое животное, а Дориан Грей смотрел на нее сверху с усмешкой высокомерного презрения на красиво очерченных губах. В страданиях тех, кого разлюбили, всегда есть что-то смешное. И слова и слезы Сибила казались Дориану нелепо-мелодраматичными и только раздражали его.

— Ну, я ухожу, — сказал он наконец спокойно и громко. — Не хотел бы я быть бессердечным, но я не могу больше встречаться с вами. Вы меня разочаровали.

Сибила тихо плакала и ничего не отвечала, но подползла ближе. Она, как слепая, протянула вперед руки, словно ища его. Но он отвернулся и вышел. Через несколько минут он был уже на улице.

Он шел, едва сознавая, куда идет. Смутно вспоминалось ему потом, что он бродил по каким-то плохо освещенным улицам мимо домов зловещего вида, под высокими арками, где царила черная тьма. Женщины с резким смехом хриплыми голосами зазывали его. Шатаясь, брели пьяные, похожие на больших обезьян, бормоча что-то про себя или грубо ругаясь. Дориан видел жалких, заморенных детей, прикорнувших на порогах домов, слышал пронзительные крики и брань, доносившиеся из мрачных дворов.

На рассвете он очутился вблизи Ковент-Гардена⁴³. Мрак рассеялся, и пронизанное бледными огнями небо сияло над землей, как чудесная жемчужина. По словно отполированным мостовым еще безлюдных улиц мед-

ленно громыхали большие телеги, полные лилий, покачивавшихся на длинных стеблях. Воздух был напоен ароматом этих цветов. Прелесть их утоляла душевную муку Дориана. Шагая за возами, он забрел на рынок. Стоял и смотрел, как их разгружали. Один возчик в белом балахоне предложил ему вишен. Дориан поблагодарил и стал рассеянно есть их, удивляясь про себя тому, что возчик отказался взять деньги. Вишни были сорваны в полночь, и от них словно исходила прохлада лунного света. Мимо Дориана прошли длинной вереницей мальчики с корзинами полосатых тюльпанов и желтых и красных роз, прокладывая себе дорогу между высокими грудами нежно-зеленых овощей. Под портиком, между серыми, залитыми солнцем колоннами, слонялись простоволосые и обтрепанные девицы. Другая группа их теснилась у дверей кафе на Пьяцце⁴⁴. Неповоротливые ломовые лошади спотыкались на неровной мостовой, дребезжали сбруей и колокольцами. Некоторые возчики спали на мешках. Розовоногие голуби с радужными шейками суетились вокруг, клюя рассыпанное зерно.

Наконец Дориан кликнул извозчика и поехал домой. Минуту-другую он постоял в дверях, озирая тихую площадь, окна домов, наглухо закрытые ставнями или пестрыми шторами. Небо теперь было чистейшего опалового цвета, и на его фоне крыши блестели, как серебро. Из трубы соседнего дома поднималась тонкая струя дыма и лиловой лентой вилась в перламутровом воздухе.

В большом золоченом венецианском фонаре, некогда похищенном, вероятно, с гондолы какого-нибудь дожа и висевшем теперь на потолке в просторном холле с дубовыми панелями, еще горели три газовых рожка, мерцая узкими голубыми лепестками в обрамлении белого огня. Дориан погасил их и, бросив на столик шляпу и плащ, прошел через библиотеку к двери в спальню, большую осьмиугольную комнату в первом этаже, которую он, в своем новом увлечении роскошью, недавно отделал заново и увешал стены редкими гобеленами времен Ренессанса, найденными на чердаке его дома в Селби. В ту минуту, когда он уже взялся за ручку двери, взгляд его упал на портрет, написанный Бэзиллом Холлуордом. Дориан вздрогнул и отступил,

словно чем-то пораженный, затем вошел в спальню. Однако, вынув бутоньерку из петлицы, он остановился в нерешительности — что-то его, видимо, смущало. В конце концов он вернулся в библиотеку и, подойдя к своему портрету, долго всматривался в него. При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое, — в складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!

Отвернувшись от портрета, Дориан подошел к окну и раздвинул шторы. Яркий утренний свет залил комнату и разогнал причудливые тени, прятавшиеся по сумрачным углам. Однако в лице портрета по-прежнему заметна была какая-то странная перемена, она даже стала явственнее. В скользивших по полотну ярких лучах солнца складка жестокости у рта видна была так отчетливо, словно Дориан смотрелся в зеркало после какого-то совершенного им преступления.

Он вздрогнул и, торопливо взяв со стола овальное ручное зеркало в украшенной купидонами рамке слоновой кости (один из многочисленных подарков лорда Генри), погляделся в него. Нет, его алые губы не безобразила такая складка, как на портрете. Что же это могло значить?

Дориан протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал внимательно рассматривать его. Краска, несомненно, была нетронута, никаких следов подрисовки. А между тем выражение лица явно изменилось. Нет, это ему не почудилось — страшная перемена бросалась в глаза.

Сев в кресло, Дориан усиленно размышлял. И вдруг в его памяти всплыли слова, сказанные им в мастерской Бэзила Холлуорда в тот день, когда портрет был окончен. Да, он их отлично помнил. Он тогда высказал безумное желание, чтобы портрет старел вместо него, а он оставался вечно молодым, чтобы его красота не поблекла, а печать страстей и пороков ложилась на лицо портрета. Да, он хотел, чтобы следы страданий и тяжелых дум бороздили лишь его изображение на полотне, а сам он сохранил весь нежный цвет и прелесть своей, тогда еще впервые осознанной, юности. Неужели его желание исполнилось? Нет, таких чудес не бывает! Страшно даже и думать об этом. А между тем —

вот перед ним его портрет со складкой жестокости у губ.

Жестокость? Разве он поступил жестоко? Виноват во всем не он, виновата Сибила. Он воображал ее великой артисткой и за это полюбил. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожеством, недостойным его любви. Однако сейчас он с безграничной жалостью вспомнил ту минуту, когда она лежала у его ног и плакала, как ребенок, вспомнил, с каким черствым равнодушием смотрел тогда на нее. Зачем он так создан, зачем ему дана такая душа?..

Однако разве и он не страдал? За те ужасные три часа, пока шел спектакль, он пережил столетия терзаний, вечность мук. Его жизнь, уж во всяком случае, равноценна ее жизни. Пусть он ранил Сибилу навек — но и она на время омрачила его жизнь. Притом женщины переносят горе легче, чем мужчины, так уж они созданы! Они живут одними чувствами, только ими и заняты. Они и любовников заводят лишь для того, чтобы было кому устраивать сцены. Так говорит лорд Генри, а лорд Генри знает женщин.

К чему же тревожить себя мыслями о Сибиле Вэйн? Ведь она больше для него не существует.

Ну а портрет? Как тут быть? Портрет хранит тайну его жизни и может всем ее поведать. Портрет научил его любить собственную красоту, — неужели тот же портрет заставит его возненавидеть собственную душу? Как ему и смотреть теперь на это полотно?

Нет, нет, все это только обман чувств, вызванный душевным смятением. Он пережил ужасную ночь — вот ему и мерещится что-то. В мозгу его появилось то багровое пятнышко, которое делает человека безумным. Портрет ничуть не изменился, и воображать это — просто сумасшествие.

Но человек на портрете смотрел на него с жестокой усмешкой, портившей прекрасное лицо. Золотистые волосы сияли в лучах утреннего солнца, голубые глаза встречались с глазами живого Дориана. Чувство беспредельной жалости проснулось в сердце Дориана — жалости не к себе, а к своему портрету. Человек на полотне уже изменился и будет меняться все больше! Потускнеет золото кудрей и сменится сединой. Увянут белые и алые розы юного лица. Каждый грех, совершен-

ный им, Дорианом, будет ложиться пятном на портрет, портя его красоту...

Нет, нет, он не станет больше грешить! Будет ли портрет меняться или нет, — все равно этот портрет станет как бы его совестью. Надо отныне бороться с искушениями. И больше не встречаться с лордом Генри — или, по крайней мере, не слушать его опасных, как тонкий яд, речей, которые когда-то в саду Бэзила Холлуорда впервые пробудили в нем, Дориане, жажду невозможного.

И Дориан решил вернуться к Сибиле Вэйн, загладить свою вину. Он женится на Сибиле и постарается снова полюбить ее. Да, это его долг. Она, наверное, сильно страдала, больше, чем он. Бедняжка! Он поступил с ней, как бессердечный эгоист. Любовь вернется, они будут счастливы. Жизнь его с Сибилей будет чиста и прекрасна.

Он встал с кресла и, с содроганием взглянув последний раз на портрет, заслонил его высоким экраном.

— Какой ужас! — пробормотал он про себя и, подойдя к окну, распахнул его.

Он вышел в сад, на лужайку, и жадно вдохнул всей грудью свежий утренний воздух. Казалось, ясное утро рассеяло все темные страсти, и Дориан думал теперь только о Сибиле. В сердце своем он слышал слабый отзвук прежней любви. Он без конца твердил имя возлюбленной. И птицы, заливавшиеся в росистом саду, как будто рассказывали о ней цветам.

ГЛАВА VIII

Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню — посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого северского фарфора⁴⁵. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящей синей подкладке, закрывавшие три высоких окна.

— Вы сегодня хорошо выспались, мосье, — сказал он с улыбкой.

— А который час, Виктор? — сонно спросил Дориан.

— Четверть второго, мосье.

— Ого, как поздно! — Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри, его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее — обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму — за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика Пятнадцатого (счет этот Дориан не решил послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку), было и несколько писем от ростовщиков с Джермин-стрит, в весьма учтивых выражениях предлагавших ссудить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты.

Минут через десять Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем, пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспоминалось это смутно, как сон.

Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым.

Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, — и он вздрогнул.

— Мосье холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. — Не закрыть ли окно?

Дориан покачал головой.

— Нет, мне не холодно.

Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрета? Ведь не могут же меняться краски на полотне! Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Бэзилу — это его изрядно позабавит!

Однако как живо помнится все! Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет. И боялся узнать правду.

Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь хлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча.

— Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор, — сказал он наконец со вздохом. Лакей поклонился и вышел.

Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи с тисненым, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика Четырнадцатого. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни.

Что же — отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, — так незачем и беспокоиться.

Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Бэзил Холлуорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Бэзил непременно захочет... Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз — и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности.

Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор! Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой.

Да, сомнений быть не могло: портрет изменился.

Позднее Дориан часто — и всякий раз с немалым удивлением — вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, — а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина?

Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет.

Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибиле Вэйн. Исправить это еще не поздно. Сибила станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Бэзиллом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть и всеми людьми — страх перед Богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье. Но здесь перед его глазами — видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу.

Пробило три часа, четыре. Прошло еще полчаса, а Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписы-

вал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие. И когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибиле, Дориан уже чувствовал себя прощенным.

Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри.

— Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же! Что это вы задумали запираяться?

Дориан сначала не отвечал и не трогался с места. Но стук повторился, еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным.

Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь.

— Ужасно все это неприятно, Дориан, — сказал лорд Генри, как только вошел. — Но вы старайтесь поменьше думать о том, что случилось.

— Вы хотите сказать — о Сибиле Вэйн? — спросил Дориан.

— Да, конечно. — Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. — Вообще говоря, это ужасно, но вы не виноваты. Скажите... вы после спектакля ходили к ней за кулисы?

— Да.

— Я так и думал. И вы поссорились?

— Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток! Но сейчас все уже в порядке. Я не жалею о том, что произошло, — это помогло мне лучше узнать самого себя.

— Я очень, очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри.

— Через все это я уже прошел, — отозвался Дориан, с улыбкой потрянув головой. — И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она — самое божественное в нас. И вы не смейтесь больше

над этим — по крайней мере, при мне. Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой.

— Какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан! Поздравляю вас. А с чего же вы намерены начать?

— С женитьбы на Сибиле Вэйн.

— На Сибиле Вэйн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве глядя на Дориана. — Дорогой мой, но она...

— Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать: какую-нибудь гадость о браке. Не надо! Никогда больше не говорите мне таких вещей. Два дня тому назад я просил Сибилу быть моей женой. И я своего слова не нарушу. Она будет моей женой.

— Вашей женой? Дориан! Да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам.

— Письмо? Ах да... Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски.

— Так вы ничего еще не знаете?

— О чем?

Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих.

— Дориан, в письме я... не пугайтесь... я вам сообщил, что Сибила Вэйн... умерла.

Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри.

— Умерла! Сибила умерла! Неправда! Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне!

— Это правда, Дориан, — сказал лорд Генри серьезно. — Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие, и надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. Скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой? Если нет, тогда все в порядке. Видел

кто-нибудь, как вы входили в уборную Сибилы? Это очень важно.

Дориан некоторое время не отвечал — он обомлел от ужаса. Наконец пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом:

— Вы сказали — следствие? Что это значит? Разве Сибилла... Ох, Гарри, я этого не вынесу!.. Отвечайте скорее! Скажите мне все!

— Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай, но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что: когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра — кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила. Вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно.

— Боже, Боже, какой ужас! — простонал Дориан.

— Да... Это поистине трагедия, но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным... Я читал в «Стандарде», что Сибиле Вэйн было семнадцать лет. А на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу! Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти⁴⁶, и весь свет будет в театре. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с нею приедут несколько эффектных женщин.

— Значит, я убил Сибилу Вэйн, — сказал Дориан Грей словно про себя. — Все равно что перерезал ей ножом горло. И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать... Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле, и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно

ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибилла!.. Знает ли она все, может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер, — неужели он был только вчера? — когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно... но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что... не могу вам рассказать что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибилле. Я понял, что поступил дурно... А теперь она умерла... Боже, Боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности! И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично!

— Милый Дориан, — отозвался лорд Генри, доставая папиросы из портсигара. — Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом: надоест ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо, — это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об униженности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить, — я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.

— Пожалуй, вы правы, — пробормотал Дориан. Он был мертвенно-бледен и беспокойно шагнул из угла в угол. — Но я считал, что обязан жениться. И не моя вина, если эта страшная драма помешала мне выполнить долг. Вы как-то сказали, что над благими решениями тяготеет злой рок: они всегда принимаются слишком поздно. Так случилось и со мной.

— Благие намерения — попросту бесплодные по-

пытки идти против природы. Порождены они бывают всегда чистейшим самоощущением, и ничего ровно из этих попыток не выходит. Они только дают нам иногда блаженные, но пустые ощущения, которые тешат людей слабых. Вот и все. Благие намерения — это чеки, которые люди выписывают на банк, где у них нет текущего счета.

— Гарри! — воскликнул Дориан Грей, подходя и садясь рядом с лордом Генри. — Почему я страдаю не так сильно, как хотел бы? Неужели у меня нет сердца? Как вы думаете?

— Назвать вас человеком без сердца никак нельзя после всех безумств, которые вы натворили за последние две недели, — ответил лорд Генри, ласково и меланхолично улыбаясь.

Дориан нахмурил брови.

— Мне не нравится такое объяснение, Гарри. Но я рад, что вы меня не считаете бесчувственным. Я не такой, знаю, что не такой! И все же — то, что случилось, не подействовало на меня так, как должно было бы подействовать. Оно для меня — как бы необычайная развязка какой-то удивительной пьесы. В нем — жуткая красота греческой трагедии, трагедии, в которой я сыграл видную роль, но которая не ранила моей души.

— Это любопытное обстоятельство, — сказал лорд Генри. Ему доставляло острое наслаждение играть на бессознательном эгоизме юноши. — Да, очень любопытное. И думаю, объяснить это можно вот так: частенько подлинные трагедии в жизни принимают такую неэстетическую форму, что оскорбляют нас своим грубым неистовством, крайней нелогичностью и бессмысленностью, полным отсутствием изящества. Они нам претят, как все вульгарное. Мы чуем в них одну лишь грубую животную силу и восстаем против нее. Но случается, что мы в жизни наталкиваемся на драму, в которой есть элементы художественной красоты. Если красота эта — подлинная, то драматизм события нас захватывает. И мы неожиданно замечаем, что мы уже более не действующие лица, а только зрители этой трагедии. Или, вернее, то и другое вместе. Мы наблюдаем самих себя, и самая необычайность такого зрелища нас увлекает. Что, в сущности, произошло? Девушка покончила с собой из-за любви к вам. Жалею, что в моей

жизни не было ничего подобного. Я тогда поверил бы в любовь и вечно преклонялся бы перед нею. Но все, кто любил меня, — таких было не очень много, но они были, — упорно жили и здравствовали еще много лет после того, как я разлюбил их, а они — меня. Эти женщины растолстели, стали скучны и несносны. Когда мы встречаемся, они сразу же ударяются в воспоминания. Ах, эта ужасающая женская память, что за наказание! И какую косность, какой душевный застой она обличает! Человек должен вбирать в себя краски жизни, но никогда не помнить деталей. Детали всегда банальны.

— Придется посеять маки в моем саду ⁴⁷, — со вздохом промолвил Дориан.

— В этом нет необходимости, — возразил его собеседник. — У жизни маки для нас всегда наготове. Правда, порой мы долго не можем забыть. Я когда-то в течение целого сезона носил в петлице только фиалки — это было нечто вроде траура по любви, которая не хотела умирать. Но в конце концов она умерла. Не помню, что ее убило. Вероятно, обещание любимой женщины пожертвовать для меня всем на свете. Это всегда страшная минута: она внушает человеку страх перед вечностью. Так вот, можете себе представить, — на прошлой неделе на обеде у леди Хэмпшайр моей соседкой за столом оказалась эта самая дама, и она во что бы то ни стало хотела начать все сначала, раскопать прошлое и расчистить дорогу будущему. Я похоронил этот роман в могиле под асфоделями ⁴⁸, а она снова вытащила его на свет Божий и уверяла меня, что я разбил ей жизнь. Должен констатировать, что за обедом она уписывала все с чудовищным аппетитом, так что я за нее ничуть не тревожусь. Но какова бестактность! Какое отсутствие вкуса! Ведь вся прелесть прошлого в том, что оно — прошлое. А женщины никогда не замечают, что занавес опустился. Им непременно подавай шестой акт! Они желают продолжать спектакль, когда всякий интерес к нему уже пропал. Если бы дать им волю, каждая комедия имела бы трагическую развязку, а каждая трагедия перешла бы в фарс. Женщины в жизни — прекрасные актрисы, но у них нет никакого артистического чутья. Вы оказались счастливее меня, Дориан. Клянусь вам, ни одна из женщин, с которыми

я был близок, не сделала бы из-за меня того, что сделала из-за вас Сибила Вэйн. Обыкновенные женщины всегда утешаются. Одни — тем, что носят сентиментальные цвета. Не доверяйте женщине, которая, не считаясь со своим возрастом, носит платья цвета mauve* или в тридцать пять лет питает пристрастие к розовым лентам: это, несомненно, женщина с прошлым. Другие неожиданно открывают всякие достоинства в своих законных мужьях — и это служит им великим утешением. Они выставляют напоказ свое супружеское счастье, как будто оно — самый соблазнительный адюльтер. Некоторые ищут утешения в религии. Таинства религии имеют для них всю прелесть флирта — так мне когда-то сказала одна женщина, и я этому охотно верю. Кроме того, ничто так не льстит женскому тщеславию, как репутация грешницы. Совесть делает всех нас эгоистами... Да, да, счету нет утешениям, которые находят себе женщины в наше время. А я не упомянул еще о самом главном...

— О чем, Гарри? — спросил Дориан рассеянно.

— Ну как же! Самое верное утешение — отбить поклонника у другой, когда теряешь своего. В высшем свете это всегда реабилитирует женщину. Подумайте, Дориан, как непохожа была Сибила Вэйн на тех женщин, каких мы встречаем в жизни! В ее смерти есть что-то удивительно прекрасное. Я рад, что живу в эпоху, когда бывают такие чудеса. Они вселяют в нас веру в существование настоящей любви, страсти, романтических чувств, над которыми мы привыкли только подсмеиваться.

— Я был страшно жесток с ней. Это вы забываете.

— Пожалуй, жестокость, откровенная жестокость женщинам милее всего: в них удивительно сильны первобытные инстинкты. Мы им дали свободу, а они все равно остались рабынями, ищущими себе господина. Они любят покоряться... Я уверен, что вы были великолепны. Никогда не видел вас в сильном гневе, но представляю себе, как вы были интересны! И, наконец, позавчера вы мне сказали одну вещь... тогда я подумал, что это просто ваша фантазия, а сейчас вижу, что вы были абсолютно правы, и этим все объясняется.

* Розовато-лиловый (фр.).

— Что я сказал, Гарри?

— Что в Сибиле Вэйн вы видите всех романтических героинь. Один вечер она — Дездемона, другой — Офелия и, умирая Джульеттой, воскресает в образе Имоджены.

— Теперь она уже не воскреснет, — прошептал Дориан, закрывая лицо руками.

— Нет, не воскреснет. Она сыграла свою последнюю роль. Но пусть ее одинокая смерть в жалкой театральной уборной представляется вам как бы необычайным и мрачным отрывком из какой-нибудь трагедии семнадцатого века или сценой из Уэбстера, Форда или Сирила Тернера⁴⁹. Эта девушка, в сущности, не жила — и, значит, не умерла. Для вас, во всяком случае, она была только грезой, видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, она была свирелью, придававшей музыке Шекспира еще больше очарования и жизнерадостности. При первом же столкновении с действительной жизнью она была ранена и ушла из мира. Оплакивайте же Офелию, если хотите. Посыпайте голову пеплом, горюя о задушенной Корделии. Кляните небеса за то, что погибла дочь Брабанцио⁵⁰. Но не лейте напрасно слез о Сибиле Вэйн. Она была еще менее реальна, чем они все.

Наступило молчание. Вечерний сумрак окутал комнату. Бесшумно вползли из сада среброногие тени. Медленно выцветали все краски.

Немного погодя Дориан Грей поднял глаза.

— Вы мне помогли понять себя, Гарри, — сказал он тихо, со вздохом, в котором чувствовалось облегчение. — Мне и самому так казалось, но меня это как-то пугало, и я не все умел себе объяснить. Как хорошо вы меня знаете! Но не будем больше говорить о случившемся. Это было удивительное переживание — вот и все. Не знаю, суждено ли мне в жизни испытать еще что-нибудь столь же необыкновенное.

— У вас все впереди, Дориан. При такой красоте для вас нет ничего невозможного.

— А если я стану изможденным, старым, сморщенным? Что тогда?

— Ну, тогда, — лорд Генри встал, собираясь уходить. — Тогда, мой милый, вам придется бороться за

каждую победу, а сейчас они сами плывут к вам в руки. Нет, нет, вы должны беречь свою красоту. Она нам нужна. В наш век люди слишком много читают, это мешает им быть мудрыми, и слишком много думают, а это мешает им быть красивыми. Ну, однако, вам пора одеваться и ехать в клуб. Мы и так уже опаздываем.

— Лучше я приеду прямо в оперу, Гарри. Я так устал, что мне не хочется есть. Какой номер ложи вашей сестры?

— Кажется, двадцать семь. Она в бельэтаже, и на дверях вы прочтете фамилию сестры. Но очень жаль, Дориан, что вы не хотите со мной пообедать.

— Право, я не в силах, — сказал Дориан устало. — Я вам очень, очень признателен, Гарри, за все, что вы сказали. Знаю, что у меня нет друга вернее. Никто не понимает меня так, как вы.

— И это еще только начало нашей дружбы, — подхватил лорд Генри, пожимая ему руку. — До свиданья. Надеюсь увидеть вас не позднее половины десятого. Помните — поет Патти.

Когда лорд Генри вышел и закрыл за собой дверь, Дориан позвонил, и через несколько минут появился Виктор. Он принес лампы и опустил шторы. Дориан с нетерпением дожидался его ухода. Ему казалось, что слуга сегодня бесконечно долго копается.

Как только Виктор ушел, Дориан Грей подбежал к экрану и отодвинул его. Никаких новых перемен в портрете не произошло. Видно, весть о смерти Сибилы Вэйн дошла до него раньше, чем узнал о ней он, Дориан. Этот портрет узнавал о событиях его жизни, как только они происходили. И злобная жестокость исказила красивый рот в тот самый миг, когда девушка выпила яд. Или, может быть, на портрете отражаются не деяния живого Дориана Грея, а только то, что происходит в его душе? Размышляя об этом, Дориан Грей спрашивал себя: а что, если в один прекрасный день портрет изменится у него на глазах? Он и желал этого, и содрогался при одной мысли об этом.

Бедная Сибила! Как все это романтично! Она часто изображала смерть на сцене, и вот Смерть пришла и унесла ее. Как сыграла Сибила эту последнюю страшную сцену? Проклинала его, умирая? Нет, она умерла

от любви к нему, и отныне Любовь будет всегда для него святыней. Сибила, отдав жизнь, все этим искупила. Он не станет больше вспоминать, сколько он из-за нее выстрадал в тот ужасный вечер в театре. Она останется в его памяти как дивный трагический образ, посланный на великую арену жизни, чтобы явить миру высшую сущность Любви. Дивный трагический образ? При воспоминании о детском личике Сибила, о ее пленительной живости и застенчивой грации Дориан почувствовал на глазах слезы. Он торопливо смахнул их и снова посмотрел на портрет.

Он говорил себе, что настало время сделать выбор. Или выбор уже сделан? Да, сама жизнь решила за него — жизнь и его безграничный интерес к ней. Вечная молодость, неутолимая страсть, наслаждения утонченные и запретные, безумие счастья и еще более иступленное безумие греха — все будет ему дано, все он должен изведать! А портрет пусть несет бремя его позора — вот и все.

На миг он ощутил боль в сердце при мысли, что прекрасное лицо на портрете будет обезображено. Как-то раз он, дурашливо подражая Нарциссу, поцеловал — вернее, сделал вид, что целует эти нарисованные губы, которые сейчас так зло усмехались ему. Каждое утро он подолгу простаивал перед портретом, любясь им. Иногда он чувствовал, что почти влюблен в него. И неужели же теперь каждая слабость, которой он, Дориан, поддастся, будет отражаться на этом портрете? Неужели он станет чудовищно безобразным и его придется прятать под замок, вдали от солнца, которое так часто золотило его чудесные кудри? Как жаль! Как жаль!

Одну минуту Дориану Грею хотелось помолиться о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом. Перемена в портрете возникла потому, что он когда-то пожелал этого, — так, быть может, после новой молитвы портрет перестанет меняться?

Но... Разве человек, хоть немного узнавший жизнь, откажется от возможности остаться вечно молодым, как бы ни была эфемерна эта возможность и какими бы роковыми последствиями она ни грозила? Притом — разве это действительно в его власти? Разве и в самом

деле его мольба вызвала такую перемену? Не объясняется ли эта перемена какими-то неведомыми законами науки? Если мысль способна влиять на живой организм, так, быть может, она оказывает действие и на мертвые, неодушевленные предметы? Более того, даже без участия нашей мысли или сознательной воли не может ли то, что вне нас, звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, и атом — стремиться к атому под влиянием какого-то таинственного тяготения или удивительного сродства?.. Впрочем, не все ли равно, какова причина? Никогда больше он не станет призывать на помощь какие-то страшные, неведомые силы. Если портрету суждено меняться, пусть меняется. Зачем так глубоко в это вдумываться?

Ведь наблюдать этот процесс будет истинным наслаждением! Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные свои помыслы. Портрет станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо, а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника на полотне наступит зима, он, живой Дориан Грей, будет все еще оставаться на волнующе-прекрасной грани весны и лета. Когда с лица на портрете сойдут краски и оно станет мертвенной меловой маской с оловянными глазами, лицо живого Дориана будет по-прежнему сохранять весь блеск юности. Да, цвет его красоты не увянет, пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, быстроногим и жизнерадостным. Не все ли равно, что станется с его портретом? Самому-то ему ничто не угрожает, а только это и важно.

Дориан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место перед портретом и пошел в спальню, где его ждал камердинер. Через час он был уже в опере, и лорд Генри сидел позади, облокотясь на его кресло.

ГЛАВА IX

На другое утро, когда Дориан сидел за завтраком, пришел Бэзил Холлуорд.

— Я очень рад, что застал вас, Дориан, — сказал он серьезным тоном. — Я заходил вчера вечером, но мне

сказали, что вы в опере. Разумеется, я не поверил и жалел, что не знаю, где вы находитесь. Я весь вечер ужасно тревожился и, признаться, даже боялся, как бы за одним несчастьем не последовало второе. Вам надо было вызвать меня телеграммой, как только вы узнали... Я прочел об этом случайно в вечернем выпуске «Глобуса»⁵¹, который попался мне под руку в клубе... Тотчас поспешил к вам, да, к моему великому огорчению, не застал вас дома. И сказать вам не могу, до чего меня потрясло это несчастье! Понимаю, как вам тяжело... А где вы вчера были? Вероятно, ездили к матери? В первую минуту я хотел поехать туда вслед за вами — адрес я узнал из газеты. Это, помнится, где-то на Юстон-Роуд? Но я побоялся, что буду там лишний, — чем можно облегчить такое горе? Несчастливая мать! Воображаю, в каком она состоянии! Ведь это ее единственная дочь? Что она говорила?

— Мой милый Бэзил, откуда мне знать? — процедил Дориан Грей с недовольным и скучающим видом, потягивая желтоватое вино из красивого, усеянного золотыми бусинками венецианского бокала. — Я был в опере. Напрасно и вы туда не приехали. Я познакомился вчера с сестрой Гарри, леди Гвендолен, мы сидели у нее в ложе. Обворожительная женщина! И Патти пела божественно. Не будем говорить о неприятном. О чем не говоришь, того как будто и не было. Вот и Гарри всегда твердит, что только слова придают реальность явлениям. Ну а что касается матери Сибилы... Она не одна, у нее есть еще сын, и, кажется, славный малый. Но он не актер. Он моряк или что-то в этом роде. Ну, расскажите-ка лучше о себе. Что вы сейчас пишете?

— Вы... были... в опере? — с расстановкой переспросил Бэзил, и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. — Вы поехали в оперу в то время, как Сибила Вэйн лежала мертвая в какой-то грязной каморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении Патти, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле? Эх, Дориан, вы бы хоть подумали о тех ужасах, которые еще предстоит пройти ее бедному маленькому телу!

— Перестаньте, Бэзил! Я не хочу ничего слу-

шать! — крикнул Дориан и вскочил. — Не говорите больше об этом. Что было, то было. Что прошло, то уже прошлое.

— Вчерашний день для вас уже прошлое?

— При чем тут время? Только людям ограниченными нужны годы, чтобы отделаться от какого-нибудь чувства или впечатления. А человек, умеющий собой владеть, способен покончить с печалью так же легко, как найти новую радость. Я не желаю быть рабом своих переживаний. Я хочу ими насладиться, извлечь из них все, что можно. Хочу властвовать над своими чувствами.

— Дориан, это ужасно! Что-то сделало вас совершенно другим человеком. На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры, вы были самый неиспорченный юноша на свете. А сейчас... Не понимаю, что на вас нашло! Вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это — влияние Гарри. Теперь мне ясно...

Дориан покраснел и, отойдя к окну, с минуту смотрел на зыбкое море зелени в облитом солнцем саду.

— Я обязан Гарри многим, — сказал он наконец. — Больше, чем вам, Бэзил. Вы только разбудили во мне тщеславие.

— Что же, я за это уже наказан, Дориан... или буду когда-нибудь наказан.

— Не понимаю я ваших слов, Бэзил! — воскликнул Дориан, обернувшись. — И не знаю, чего вы от меня хотите. Ну скажите, что вам нужно?

— Мне нужен тот Дориан Грей, которого я писал, — с грустью ответил художник.

— Бэзил, — Дориан подошел и положил ему руку на плечо, — вы пришли слишком поздно. Вчера, когда я узнал, что Сибила покончила с собой...

— Покончила с собой! Господи помилуй! Неужели? — ахнул Холлуорд, в ужасе глядя на Дориана.

— А вы думали, мой друг, что это просто несчастный случай? Конечно нет! Она лишила себя жизни.

Художник закрыл лицо руками.

— Это страшно! — прошептал он, вздрогнув.

— Нет, — возразил Дориан Грей. — Ничего в этом

нет страшного. Это — одна из великих романтических трагедий нашего времени. Обыкновенные актеры, как правило, ведут жизнь самую банальную. Все они — примерные мужья или примерные жены, — словом, скучные люди. Понимаете — мещанская добродетель и все такое. Как непохожа на них была Сибила! Она пережила величайшую трагедию. Она всегда оставалась героиней. В последний вечер, тот вечер, когда вы видели ее на сцене, она играла плохо оттого, что узнала любовь настоящую. А когда мечта оказалась несбыточной, она умерла, как умерла некогда Джульетта. Она снова перешла из жизни в сферы искусства. Ее окружает ореол мученичества. Да, в ее смерти — весь пафос напрасного мученичества, вся его бесполезная красота... Однако не думайте, Бэзил, что я не страдал. Вчера был такой момент... Если бы вы пришли около половины шестого... или без четверти шесть, вы застали бы меня в слезах. Даже Гарри — он-то и принес мне эту весть — не подозревает, что я пережил. Я страдал ужасно. А потом это прошло. Не могу я то же чувство переживать снова. И никто не может, кроме очень сентиментальных людей. Вы ужасно несправедливы ко мне, Бэзил. Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны. Но застали меня уже утешившимся — и злитесь. Вот оно, людское сочувствие! Я вспоминаю анекдот, рассказанный Гарри, про одного филантропа, который двадцать лет жизни потратил на борьбу с какими-то злоупотреблениями или несправедливым законом — я забыл уже, с чем именно. В конце концов он добился своего — и тут наступило жестокое разочарование. Ему больше решительно нечего было делать, он умирал со скуки и превратился в убежденного мизантропа. Так-то, дорогой друг! Если вы действительно хотите меня утешить, научите, как забыть то, что случилось, или смотреть на это глазами художника. Кажется, Готье писал об утешении, которое мы находим в искусстве⁵²? Помню, однажды у вас в мастерской мне попала под руку книжечка в веленовой обложке, и, листая ее, я наткнулся на это замечательное выражение: *consolation des arts**. Право, я нисколько не похож на того молодого человека, про которого вы мне рас-

* Утешение в искусстве (фр.).

сказывали, когда мы вместе ездили в Марло⁵³. Он уверял, что желтый атлас может служить человеку утешением во всех жизненных невзгодах. Я люблю красивые вещи, которые можно трогать, держать в руках. Старинная парча, зеленая бронза, изделия из слоновой кости, красивое убранство комнат, роскошь, пышность — все это доставляет столько удовольствия! Но для меня всего ценнее тот инстинкт художника, который они порождают или хотя бы выявляют в человеке. Стать, как говорит Гарри, зрителем собственной жизни — это значит уберечь себя от земных страданий. Знаю, вас удивят такие речи. Вы еще не уяснили себе, насколько я созрел. Когда мы познакомились, я был мальчик, сейчас я — мужчина. У меня появились новые увлечения, новые мысли и взгляды. Да, я стал другим, однако я не хочу, Бэзил, чтобы вы меня за это разлюбили. Я переменялся, но вы должны навсегда остаться моим другом. Конечно, я очень люблю Гарри. Но я знаю, что вы лучше его. Вы не такой сильный человек, как он, потому что слишком боитесь жизни, но вы лучше. И как нам бывало хорошо вместе! Не оставляйте же меня, Бэзил, и не спорьте со мной. Я таков, какой я есть, — ничего с этим не поделаешь.

Холлуорд был невольно тронут. Этот юноша был ему бесконечно дорог, и знакомство с ним стало как бы поворотным пунктом в его творчестве художника. У него не хватило духу снова упрекать Дориана, и он утешался мыслью, что черствость этого мальчика — лишь минутное настроение. Ведь у Дориана так много хороших черт, так много в нем благородства!

— Ну хорошо, Дориан, — промолвил он наконец с грустной улыбкой. — Не стану больше говорить об этой страшной истории. И хочу надеяться, что ваше имя не будет связано с нею. Следствие назначено на сегодня. Вас не вызывали?

Дориан отрицательно покачал головой и досадливо поморщился при слове «следствие». Он находил, что во всех этих подробностях есть что-то грубое, пошлое.

— Моя фамилия там никому не известна, — пояснил он.

— Но девушка-то, наверное, ее знала?

— Нет, только имя. И потом я совершенно уверен, что она не называла его никому. Она мне рассказыва-

ла, что в театре все очень интересуются, кто я такой, но на их вопросы она отвечает только, что меня зовут Прекрасный Принц. Это очень трогательно, правда? Нарисуйте мне Сибилу, Бэзил. Мне хочется сохранить на память о ней нечто большее, чем воспоминания о нескольких поцелуях и нежных словах.

— Ладно, попробую, Дориан, если вам этого так хочется. Но вы и сами снова должны мне позировать. Я не могу обойтись без вас.

— Никогда больше я не буду вам позировать, Бэзил. Это невозможно! — почти крикнул Дориан, отступая.

Художник удивленно посмотрел на него.

— Это еще что за фантазия, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А кстати, где он? Зачем его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть. Ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан. Какого черта ваш лакей вздумал запрячь портрет в угол? То-то я, как вошел, сразу почувствовал, что в комнате чего-то недостает.

— Мой лакей тут ни при чем, Бэзил. Неужели вы думаете, что я позволю ему по своему вкусу переставлять вещи в комнатах? Он только цветы иногда выбирает для меня — и больше ничего. А экран перед портретом я сам поставил: в этом месте слишком резкое освещение.

— Слишком резкое? Не может быть, мой милый. По-моему, самое подходящее. Дайте-ка взглянуть.

И Холлуорд направился в тот угол, где стоял портрет.

Крик ужаса вырвался у Дориана. Одним скачком опередив Холлуорда, он стал между ним и экраном.

— Бэзил, — сказал он, страшно побледнев, — не смейте! Я не хочу, чтобы вы на него смотрели.

— Вы шутите! Мне запрещается смотреть на мое собственное произведение? Это еще почему? — воскликнул Холлуорд со смехом.

— Только попытайтесь, Бэзил, — и даю вам слово, что на всю жизнь перестану с вами встречаться. Я говорю совершенно серьезно. Объяснять ничего не буду, и вы меня ни о чем не спрашивайте. Но знайте — если вы тронете экран, между нами все кончено.

Холлуорд стоял как громом пораженный и во все

глаза смотрел на Дориана. Никогда еще он не видел его таким: лицо Дориана побледнело от гнева, руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал.

— Дориан!

— Молчите, Бэзил!

— Господи, да что это с вами? Не хотите, так я, разумеется, не стану смотреть, — сказал художник довольно сухо и, круто повернувшись, отошел к окну. — Но это просто дико — запрещать мне смотреть на мою собственную картину! Имейте в виду, осенью я хочу послать ее в Париж на выставку, и, наверное, понадобится перед этим заново покрыть ее лаком. Значит, осмотреть ее я все равно должен, — так почему бы не сделать этого сейчас?

— На выставку? Вы хотите ее выставить? — переспросил Дориан Грей, чувствуя, как в душу его закрадывается безумный страх. Значит, все узнают его тайну? Люди будут с любопытством глазеть на самое сокровенное в его жизни? Немыслимо! Что-то надо тотчас же сделать, как-то это предотвратить. Но как?

— Да, в Париже. Надеюсь, против этого вы не станете возражать? — говорил между тем художник. — Жорж Пти намерен собрать все мои лучшие работы и устроить специальную выставку на улице Сэз. Откроется она в первых числах октября. Портрет увезут не более как на месяц. Думаю, что вы вполне можете на такое короткое время с ним расстаться. Как раз в эту пору вас тоже не будет в Лондоне. И потом — если вы держите его за ширмой, значит, не так уж дорожите им.

Дориан Грей провел рукой по лбу, покрытому крупными каплями пота. Он чувствовал себя на краю гибели.

— Но всего лишь месяц назад вы говорили, что ни за что его не выставите! Почему же вы передумали? Вы из тех людей, которые гордятся своим постоянством, а на самом деле и у вас все зависит от настроения. Разница только та, что эти ваши настроения — просто необъяснимые прихоти. Вы торжественно уверяли меня, что ни за что на свете не пошлете мой портрет на выставку, — вы это, конечно, помните? И Гарри вы говорили то же самое.

Дориан вдруг умолк, и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал полушутя: «Если хотите провести презанятные четверть часа, заставьте Бэзила объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». Ага, так, может быть, и у Бэзила есть своя тайна! Надо выведать ее.

— Бэзил, — начал он, подойдя к Холлуорду очень близко и глядя в глаза, — у каждого из нас есть свой секрет. Откройте мне ваш, и я вам открою свой. Почему вы не хотели выставлять мой портрет?

Художник вздрогнул и невольно отступил.

— Дориан, если я вам это скажу, вы непременно посмеетесь надо мной и, пожалуй, будете меньше любить меня. А с этим я не мог бы примириться. Раз вы требуете, чтобы я не пытался больше увидеть ваш портрет, пусть будет так. Ведь у меня остается вы, — я смогу всегда видеть *вас*. Вы хотите скрыть от всех лучшее, что я создал в жизни? Ну что ж, я согласен. Ваша дружба мне дороже славы.

— Нет, вы все-таки ответьте на мой вопрос, Бэзил, — настаивал Дориан Грей. — Мне кажется, я имею право знать.

Страх его прошел и сменился любопытством. Он твердо решил узнать тайну Холлуорда.

— Сядемте, Дориан, — сказал тот, не умея скрыть своего волнения. — И прежде всего ответьте мне на один вопрос. Вы не заметили в портрете ничего особенного? Ничего такого, что сперва, быть может, в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам?

— Ох, Бэзил! — вскрикнул Дориан, дрожащими руками сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника.

— Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дориан, сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи я был словно одержим вами. Вы имели какую-то непонятную власть над моей душой, мозгом, талантом, были для меня воплощением того идеала, который всю жизнь витал перед художником как дивная мечта. Я обожал вас. Стоило вам заговорить с кем-нибудь, — и я уже ревновал к нему. Я хотел сохранить вас для себя одного и чувствовал себя счастливым, только когда вы бывали со мной. И даже если

вас не было рядом, вы незримо присутствовали в моем воображении, когда я творил. Конечно, я никогда, ни единым словом не обмолвился об этом — ведь вы ничего не поняли бы. Да я и сам не очень-то понимал это. Я чувствовал только, что вижу перед собой совершенство, и оттого мир представлялся мне чудесным, — пожалуй, слишком чудесным, ибо такие восторги души опасны. Не знаю, что страшнее — власть их над душой или их утрата. Проходили недели, а я был все так же или еще больше одержим вами. Наконец мне пришла в голову новая идея. Я уже ранее написал вас Парисом⁵⁴ в великолепных доспехах и Адонисом в костюме охотника, со сверкающим копьем в руках. В венке из тяжелых цветов лотоса вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого Нила⁵⁵. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любясь чудом своей красоты в недвижимом серебре его тихих вод⁵⁶. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были идеальны, далеки от действительности. Но в один прекрасный день, — роковой день, как мне кажется иногда, — я решил написать ваш портрет, написать вас таким, какой вы есть, не в костюме прошлых веков, а в обычной вашей одежде и в современной обстановке. И вот... Не знаю, что сыграло тут роль, реалистическая манера письма или обаяние вашей индивидуальности, которая предстала предо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, — но, когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайну. И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я боготворю вас, Дориан. Я чувствовал, что в этом портрете выразил слишком много, вложил в него слишком много себя. Вот тогда-то я и решил ни за что не выставлять его. Вам было досадно — ведь вы не подозревали, какие у меня на то серьезные причины. А Гарри, когда я заговорил с ним об этом, высмеял меня. Ну да это меня ничуть не задело. Когда портрет был окончен, я, глядя на него, почувствовал, что я прав... А через несколько дней он был увезен из моей мастерской, и, как только я освободился от его неодолимых чар, мне показалось, что все это лишь моя фантазия, что в портрете люди увидят только вашу удивив-

тельную красоту и мой талант художника, больше ничего. Даже и сейчас мне кажется, что я заблуждался, что чувства художника не отражаются в его творении. Искусство гораздо абстрактнее, чем мы думаем. Форма и краски говорят нам лишь о форме и красках — и больше ни о чем. Мне часто приходит в голову, что искусство в гораздо большей степени *скрывает* художника, чем *раскрывает* его...

Поэтому, когда я получил предложение из Парижа, я решил, что ваш портрет будет гвоздем моей выставки. Мог ли я думать, что вы станете возражать? Ну а теперь я вижу, что вы правы, портрет выставлять не следует. Не сердитесь на меня, Дориан. Перед вами нельзя не преклоняться — вы созданы для этого. Я так и сказал тогда Гарри.

Дориан Грей с облегчением перевел дух. Щеки его снова порозовели. Губы улыбались. Опасность миновала. Пока ему ничто не грозит! Он невольно испытывал глубокую жалость к художнику, сделавшему ему такое странное признание, и спрашивал себя, способен ли и он когда-нибудь оказаться всецело во власти чужой души? К лорду Генри его влечет, как влечет человека все очень опасное, — и только. Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже?

— Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете, — сказал Бэзил Холлуорд. — Вы и вправду это заметили?

— Кое-что я заметил. И оно меня сильно поразило.

— Ну а теперь вы мне дадите взглянуть на портрет? Дориан покачал головой.

— Нет, нет, и не просите, Бэзил. Я не позволю вам даже подойти близко.

— Так, может, потом когда-нибудь?

— Никогда.

— Что ж, может, вы и правы. Ну, прощайте, Дориан. Вы — единственный человек, который по-настоящему имел влияние на мое творчество. И всем, что я создал ценного, я обязан вам... Если бы вы знали, чего мне стоило сказать вам все то, что я сказал!

— Да что же вы мне сказали такого, дорогой Бэ-

зил? Только то, что вы мною слишком восхищались? Право, это даже не комплимент.

— А я и не собирался говорить вам комплименты. Это была исповедь. И после нее я словно чего-то лишился. Пожалуй, никогда не следует выражать свои чувства словами.

— Исповедь ваша, Бэзил, обманула мои ожидания.

— Как так? Чего же вы ожидали, Дориан? Разве вы заметили в портрете еще чего-то другое?

— Нет, ничего. Почему вы спрашиваете? А о преклонении вы больше не говорите — это глупо. Мы с вами друзья, Бэзил, и должны всегда оставаться друзьями.

— У вас есть Гарри, — сказал Холлуорд уныло.

— Ах, Гарри! — Дориан рассмеялся. — Гарри днем занят тем, что *говорит* невозможные вещи, а по вечерам *творит* невероятные вещи. Такая жизнь как раз в моем вкусе. Но в тяжелую минуту я вряд ли пришел бы к Гарри. Скорее к вам, Бэзил.

— И вы опять будете мне позировать?

— Нет, этого я никак не могу!

— Своим отказом вы губите меня как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизни. Да и один раз редко кто его находит.

— Не могу вам объяснить причины, Бэзил, но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то роковое в каждом портрете. Он живет своей особой жизнью... Я буду приходить к вам пить чай. Это не менее приятно.

— Для вас, пожалуй, даже приятнее, — огорченно буркнул Холлуорд. — До свидания, Дориан. Очень жаль, что вы не дали мне взглянуть на портрет. Ну да что поделаешь! Я вас вполне понимаю.

Когда он вышел, Дориан усмехнулся про себя. Бедный Бэзил, как он в своих догадках далек от истины! И не странно ли, что ему, Дориану, не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга! После исповеди Бэзила Дориану многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника, восторженные дифирамбы, а по временам странная сдержанность и скрытность — все теперь было понятно. И Дориану стало грустно. Что-то трагичное было в такой дружбе, окрашенной романтической влюбленностью.

Он вздохнул и позвонил лакею. Портрет надо во что бы то ни стало убрать отсюда! Нельзя рисковать тем, что тайна раскроется. Безумием было бы и на один час оставить портрет в комнате, куда может прийти любой из друзей и знакомых.

ГЛАВА X

Когда Виктор вошел, Дориан пристально посмотрел на него, пытаясь угадать, не вздумал ли он заглянуть за экран. Лакей с самым невозмутимым видом стоял, ожидая приказаний. Дориан закурил папиросу и, подойдя к зеркалу, поглядел в него. В зеркале ему было отчетливо видно лицо Виктора. На этом лице не выразилось ничего, кроме спокойной услужливости. Значит, опасаться нечего. Все же он решил, что надо быть настороже.

Медленно отчеканивая слова, он приказал Виктору позвать к нему экономку, а затем сходить в багетную мастерскую и попросить хозяина немедленно прислать ему двух рабочих.

Ему показалось, что лакей, выходя из комнаты, покосился на экран. Или это только его фантазия?

Через несколько минут в библиотеку торопливо вошла миссис Лиф в черном шелковом платье и старомодных нитяных митенках на морщинистых руках. Дориан спросил у нее ключ от бывшей классной комнаты.

— От старой классной, мистер Дориан? — воскликнула она. — Да там полно пыли! Я сперва велю ее прибрать и все привести в порядок. А сейчас вам туда и заглянуть нельзя! Никак нельзя!

— Не нужно мне, чтобы ее убирали, Лиф. Мне только ключ нужен.

— Господи, да вы будете весь в паутине, сэр, если туда войдете. Ведь вот уже пять лет комнату не открывали — со дня смерти его светлости.

При упоминании о старом лорде Дориана передернуло: у него остались очень тягостные воспоминания о покойном деде.

— Пустяки, — ответил он. — Мне нужно только на минуту заглянуть туда, и больше ничего. Дайте мне ключ.

— Вот, возьмите, сэр. — Старушка неловкими дрожащими руками перебирала связку ключей. — Вот этот. Сейчас сниму его с кольца. Но вы же не думаете перебираться туда, сэр? Здесь внизу у вас так уютно!

— Нет, нет, — перебил Дориан нетерпеливо. — Спасибо, Лиф, можете идти.

Экономка еще на минуту замешкалась, чтобы поговорить о каких-то хозяйственных делах. Дориан со вздохом сказал ей, что во всем полагается на нее. Наконец она ушла очень довольная.

Как только дверь за ней захлопнулась, Дориан сунул ключ в карман и окинул взглядом комнату. Ему попало на глаза атласное покрывало, пурпурное, богато расшитое золотом, — великолепный образец венецианского искусства конца XVII века, — привезенное когда-то его дедом из монастыря близ Болоньи. Да, этим покрывалом можно закрыть страшный портрет! Быть может, оно некогда служило погребальным покрывом. Теперь эта ткань укроет картину разложения, более страшного, чем разложение трупа, ибо оно будет порождать ужасы и ему не будет конца. Как черви пожирают мертвое тело, так пороки Дориана Грея будут разъедать его изображение на полотне. Они изложут его красоту, уничтожат очарование. Они осквернят его и опозорят. И все-таки портрет будет цел. Он будет жить вечно.

При этой мысли Дориан вздрогнул и на миг пожалел, что не сказал правду Холлуорду. Бэзил поддержал бы его в борьбе с влиянием лорда Генри и с еще более опасным влиянием его собственного темперамента. Любовь, которую питает к нему Бэзил (а это, несомненно, самая настоящая любовь), — чувство благородное и возвышенное. Это не обыкновенное физическое влечение к красоте, порожденное чувственными инстинктами и умирающее, когда они ослабевают в человеке. Нет, это любовь такая, какую знали Микеланджело, и Монтень, и Винкельман, и Шекспир⁵⁷. Да, Бэзил мог бы спасти его. Но теперь уже поздно. Прошлое всегда можно изгладить раскаянием, забвением или отречением, будущее же неотвратимо. Дориан чувствовал, что в нем бродят страсти, которые найдут себе ужасный выход, и смутные грезы, которые омрачат его жизнь, если осуществятся.

Он снял с кушетки пурпурно-золотое покрывало и, держа его в обеих руках, зашел за экран. Не стало ли еще противнее лицо на портрете? Нет, никаких новых изменений не было заметно. И все-таки Дориан смотрел на него теперь с еще большим отвращением. Золотые кудри, голубые глаза и розовые губы — все как было. Изменилось только выражение лица. Оно ужасало своей жестокостью. В сравнении с этим обвиняющим лицом как ничтожны были укоры Бэзила, как пусты и ничтожны! С портрета на Дориана смотрела его собственная душа и призывала его к ответу.

С гримасой боли Дориан поспешно набросил на портрет роскошное покрывало. В эту минуту раздался стук в дверь, и он вышел из-за экрана как раз тогда, когда в комнату вошел лакей.

— Люди здесь, мосье.

Дориан подумал, что Виктора надо услать сейчас же, чтобы он не знал, куда отнесут портрет. У Виктора глаза умные, и в них светится хитрость, а может, и коварство. Ненадежный человек!

И, сев за стол, Дориан написал записку лорду Генри, в которой просил прислать что-нибудь почитать и напоминал, что они сегодня должны встретиться в четверть девятого.

— Передайте лорду Генри и подождите ответа, — сказал он Виктору, вручая ему записку. — А рабочих приведите сюда.

Через две-три минуты в дверь снова постучали, появился мистер Хаббард собственной персоной, знаменитый багетный мастер с Саут-Одли-стрит, и с ним его помощник, довольно неотесанный парень. Мистер Хаббард представлял собой румяного человечка с рыжими бакенбардами. Его поклонение искусству значительно умерялось хроническим безденежьем большинства его клиентов — художников. Он не имел обыкновения ходить на дом к заказчикам, он ждал, чтобы они сами пришли к нему в мастерскую. Но для Дориана Грея он всегда делал исключение. В Дориане было что-то такое, что всех располагало к нему. Приятно было даже только смотреть на него.

— Чем могу служить, мистер Грей? — осведомился почтенный багетчик, потирая пухлые веснушчатые руки. — Я полагал, что мне следует лично явиться к

вам. Я как раз приобрел чудесную раму, сэ. Она мне досталась на распродаже. Старинная флорентийская — должно быть, из фонтхилла. Замечательно подойдет для картины с религиозным сюжетом, мистер Грей!

— Извините, что побеспокоил вас, мистер Хаббард. Я найду, конечно, взглянуть на раму, хотя сейчас не особенно увлекаюсь религиозной живописью. Но сегодня мне требуется только перенести картину на верхний этаж. Она довольно тяжелая, поэтому я и попросил вас прислать людей.

— Помилуйте, мистер Грей, какое же беспокойство? Я очень рад, что могу вам быть полезен. Где картина, сэ?

— Вот она, — ответил Дориан, отодвигая в сторону экран. — Можно ее перенести как есть, не снимая покрывала? Я боюсь, как бы ее не исцарапали при переноске.

— Ничего тут нет трудного, сэ, — услужливо сказал багетчик и с помощью своего подручного начал снимать портрет с длинных медных цепей, на которых он висел. — А куда же прикажете ее перенести, мистер Грей?

— Я вам покажу дорогу, мистер Хаббард. Будьте добры следовать за мной. Или, пожалуй, лучше вы идите вперед. К сожалению, это на самом верху. Мы пройдем по главной лестнице, она шире.

Он распахнул перед ними дверь, и они прошли в холл, а оттуда стали подниматься по лестнице наверх. Из-за украшений массивной рамы портрет был чрезвычайно громоздким, и время от времени Дориан пытался помогать рабочим, несмотря на подобострастные протесты мистера Хаббарда, который, как все люди его сословия, не мог допустить, чтобы знатный джентльмен делал что-либо полезное.

— Груз немалый, сэ, — сказал он, тяжело дыша, когда они добрались до верхней площадки, и отер потную лысину.

— Да, довольно-таки тяжелый, — буркнул в ответ Дориан, отпирая дверь комнаты, которая отныне должна была хранить его странную тайну и скрывать его душу от людских глаз.

Больше четырех лет он не заходил сюда. Когда он

был ребенком, здесь была его детская, потом, когда по-
дрос, — классная комната. Эту большую, удобную ком-
нату покойный лорд Келсо специально пристроил для
маленького внука, которого он за поразительное сходст-
во с матерью или по каким-то другим причинам терпеть
не мог и старался держать подальше от себя. Дориан по-
думал, что с тех пор в комнате ничего не переменялось.
Так же стоял здесь громадный итальянский *cassone** с
причудливо расписанными стенками и потускневшими
от времени золочеными украшениями, в нем часто пря-
тался маленький Дориан. На месте был и книжный
шкаф красного дерева, набитый растрепанными учеб-
никами, а на стене рядом висел все тот же ветхий фла-
мандский гобелен, на котором сильно вылинявшие ко-
роль и королева играли в шахматы в саду, а мимо вере-
ницей проезжали на конях сокольничьи, держа на
своих латных рукавицах соколов в клубочках. Как все
это было знакомо Дориану! Каждая минута его одино-
кого детства вставала перед ним, пока он осматривался
кругом. Он вспомнил непорочную чистоту той детской
жизни, и жутко ему стало при мысли, что именно здесь
будет стоять роковой портрет. Не думал он в те безвоз-
вратные дни, что его ожидает такое будущее!

Но в доме нет другого места, где портрет был бы так
надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в
руках у него, Дориана, и никто другой не может про-
никнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпур-
ным саваном становится скотски тупым, жестоким и
порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да
и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать от-
вратительное разложение своей души? Он сохранит
молодость — и этого довольно.

Впрочем, разве он не может исправиться? Разве по-
зорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в
жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убере-
жет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, —
тех неведомых, еще никем не описанных грехов, кото-
рым самая таинственность их придает коварное очаро-
вание. Быть может, настанет день, когда этот алый
чувственный рот утратит жестокое выражение и можно
будет показать миру шедевр Бэзила Холлуорда?..

* Большой сундук с крышкой на петлях (*ит.*).

Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, — безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или впадутся. Желтые «гусиные лапки» лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту. Волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут. Морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь!

— Несите сюда, мистер Хаббард, — устало сказал Дориан, обернувшись. — Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете.

— Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть, — отозвался багетчик, все еще не отдышавшийся. — Куда прикажете поставить картину, сэръ?

— Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислоните ее к стене. Вот так, спасибо.

— Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэръ?

Дориан вздрогнул.

— Не стоит. Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард, — сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. — Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами.

— Не за что, мистер Грей, не за что! Я всегда к вашим услугам, сэръ!

Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним — его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице: он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей.

Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор.

Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированном перламутром (это был подарок леди Рэдли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире), лежала записка от лорда Генри и рядом с нею — книжка в желтой, немного потрепанной обложке, а на чайном подносе — третий выпуск «Сент-Джеймс газетт». Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета... Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросилось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это — иметь в доме шпиона! Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева...

При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, верно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе.

Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее:

«Следствие по делу
о смерти актрисы.

Сегодня утром в Бэлл-Тэверн на Хокстон-Род участковым следователем, мистером Дэнби, произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вэйн, последнее время выступавшей в Холборнском Королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирелл, производивший вскрытие тела Сибилы Вэйн».

Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом: ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык.

Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает... А впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вэйн? Ему бояться нечего — он ее не убивал.

Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение.

Странная то была книга, никогда еще он не читал такой⁵⁸! Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним.

То был роман без сюжета, вернее — психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере — те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов⁵⁹. Встречались здесь метафоры,

причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь — описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался от ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру и в углах комнаты залегли тени.

Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявший у кровати, стал переодеваться к обеду.

Было уже около девяти, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его, с весьма недовольным и скучающим видом.

— Ради бога, простите, Гарри! — воскликнул Дориан. — Но, в сущности, опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день.

— Я так и знал, что она вам понравится, — отозвался лорд Генри, вставая.

— Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал: «околдовала». Это далеко не одно и то же.

— Ага, вы уже поняли разницу? — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.

ГЛАВА XI

В течение многих лет Дориан Грей не мог освободиться от влияния этой книги. Вернее говоря, он вовсе не старался от него освободиться. Он выписал из Парижа целых девять экземпляров, роскошно изданных, и заказал для них переплеты разных цветов, — цвета эти

должны были гармонировать с его настроениями и прихотями изменчивой фантазии, с которой он уже почти не мог совладать.

Герой книги, молодой парижанин, в котором так своеобразно сочетались романтичность и трезвый ум ученого, казался Дориану прототипом его самого, а вся книга — историей его жизни, написанной раньше, чем он ее пережил.

В одном Дориан был счастливее героя этого романа. Он никогда не испытывал, и ему не суждено было никогда испытать болезненный страх перед зеркалами, блестящей поверхностью металлических предметов и водной гладью, — страх, который с ранних лет узнал молодой парижанин, когда внезапно утратил свою поразительную красоту. Последние главы книги, в которых с подлинно трагическим, хотя и несколько преувеличенным пафосом описывались скорбь и отчаяние человека, потерявшего то, что он больше всего ценил в других людях и в окружающем мире, Дориан читал с чувством, похожим на злорадство, — впрочем, в радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто жестокое.

Да, Дориан радовался, ибо его чудесная красота, так пленявшая Бэзила Холлуорда и многих других, не увядала и, по-видимому, была ему дана на всю жизнь. Даже те, до кого доходили темные слухи о Дориане Грее (а такие слухи об его весьма подозрительном образе жизни время от времени ходили по всему Лондону и вызывали толки в клубах), не могли поверить бесчестившим его сплетням: ведь он казался человеком, которого не коснулась грязь жизни. Люди, говорившие непристойности, умолкали, когда входил Дориан Грей. Безмятежная ясность его лица была для них как бы смущающим укором. Одно уже его присутствие напоминало им об утраченной чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного влияния нашего века, века безнравственности и изменных страстей.

Часто, вернувшись домой после одной из тех длительных и загадочных отлучек, которые вызывали подозрения у его друзей или тех, кто считал себя таковыми, Дориан, крадучись, шел наверх, в свою бывшую детскую, и, отперев дверь ключом, с которым никогда не

расставался, подолгу стоял с зеркалом в руках перед портретом, глядя то на отталкивающее и все более старевшее лицо на полотне, то на прекрасное юное лицо, улыбавшееся ему в зеркале. Чем разительнее становился контраст между тем и другим, тем острее Дориан наслаждался им. Он все сильнее влюблялся в собственную красоту и все с большим интересом наблюдал разложение своей души. С напряженным вниманием, а порой и с каким-то противоестественным удовольствием разглядывал он уродливые складки, бороздившие морщинистый лоб и ложившиеся вокруг отяжелевшего чувственного рта, и порой задавал себе вопрос, что страшнее и омерзительнее — печать порока или печать возраста? Он приближал свои белые руки к огрубевшим и дряблым рукам на портрете — и, сравнивая их, улыбался. Он издевался над этим обезображенным, изношенным телом.

Правда, иногда по ночам, когда он лежал без сна в своей благоухающей тонкими духами спальне или в грязной каморке подозрительного притона близ доков, куда он часто ходил переодетый и под вымышленным именем, — Дориан Грей думал о том, что он погубил свою душу, думал с отчаянием, тем более мучительным, что оно было вполне эгоистично. Но такие минуты бывали редко. Любопытство к жизни, которое впервые пробудил в нем лорд Генри в тот день, когда они сидели вдвоем в саду их общего друга Холлуорда, становилось тем острее, чем усерднее Дориан удовлетворял его. Чем больше он узнавал, тем больше жаждал узнать. Этот волчий голод становился тем неутолимее, чем больше он утолял его.

Однако Дориан не отличался безрассудной смелостью и легкомыслием — во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой — раза два в месяц, а в остальное время года — каждую среду двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и здесь самые известные и «модные» в то время музыканты пленяли их чудесами своего искусства. Его обеды, в устройстве которых ему всегда помогал лорд Генри, славились тщательным подбором приглашенных, а также изысканным убранством стола, представлявшим собой настоящую симфонию экзотических цветов, вышитых скатертей,

старинной золотой и серебряной посуды. И много было (особенно среди зеленой молодежи) людей, видевших в Дориане Грее тот идеал, о котором они мечтали в студенческие годы, — сочетание подлинной культуры ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, гражданина мира. Он казался им одним из тех, кто, как говорит Данте, «стремится облагородить душу поклонением красоте». Одним из тех, для кого, по словам Готье, и создан видимый мир⁶⁰.

И, несомненно, для Дориана сама Жизнь была первым и величайшим из искусств, а все другие искусства — только преддверием к ней. Конечно, он отдавал дань и Моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и Дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэлл-Мэлла⁶¹. Они подражали ему во всем, пытались достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения.

Дориан весьма охотно занял то положение в обществе, какое было ему предоставлено по достижении совершеннолетия, и его радовала мысль, что он может стать для Лондона наших дней тем, чем для Рима времен императора Нерона был автор «Сатирикона»⁶². Но в глубине души он желал играть роль более значительную, чем простой «*arbiter elegantiarum*»*, у которого спрашивают совета, какие надеть драгоценности, как завязать галстук или как носить трость. Он мечтал создать новую философию жизни, у которой будет свое разумное обоснование, свои последовательные принципы, и высший смысл жизни видел в одухотворении чувств и ощущений.

Культ жизни чувственной часто и вполне справедливо осуждался, ибо люди инстинктивно боятся страстей и ощущений, которые могут оказаться сильнее их и, как мы знаем, свойственны и существам низшим.

* «Законодатель мод» (лат.).

Но Дориану Грею казалось, что истинная природа этих чувств еще до сих пор не понята и они остаются животными и необузданными лишь потому, что люди всегда старались их усмирить, не давая им пищи, или убить страданием, вместо того чтобы видеть в них элементы новой духовной жизни, в которой преобладающей чертой должно быть утонченное стремление к Красоте.

Оглядываясь на путь человечества в веках, Дориан не мог отделаться от чувства глубокого сожаления. Как много упущено, сколько уступок сделано — и ради какой ничтожной цели! Бессмысленное, упрямое отречение, уродливые формы самоистязания и самоограничения, в основе которых лежал страх, а результатом было вырождение, безмерно более страшное, чем так называемое «падение», от которого люди в своем неведении стремились спастись. Недаром же Природа с великолепной иронией всегда гнала анахоретов в пустыню к диким зверям, давала святым отшельникам в спутники жизни четвероногих обитателей лесов и полей.

Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма — именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь — лишь преходящее мгновение.

Кто из нас не просыпался порой до рассвета после сна без сновидений, столь сладкого, что нам становился почти желанным вечный сон смерти, или после ночи ужаса и извращенной радости, когда в клетках мозга возникают видения страшнее самой действительности, живые и яркие, как всякая фантастика, исполненные той властной силы, которая делает таким живучим готическое искусство, как будто созданное для тех, кто

болен мечтательностью? Всем памятливы эти пробуждения. Постепенно белые пальцы рассвета пробираются сквозь занавески, и кажется, будто занавески дрожат. Черные причудливые тени бесшумно уползли в углы комнаты и притаились там. А за окном среди листвы уже шумят птицы, на улице слышны шаги идущих на работу людей, порой вздохи и завывания ветра, который налетает с холмов и долго бродит вокруг безмолвного дома, словно боясь разбудить спящих, но все же вынужден прогнать сон из его пурпурного убежища. Одна за другой поднимаются легкие, как вуаль, завесы мрака, все вокруг медленно обретает прежние формы и краски, и на ваших глазах рассвет возвращает окружающему миру его обычный вид. Тусклые зеркала снова начинают жить своей отраженной жизнью. Потушенные свечи стоят там, где их оставили накануне, а рядом — не до конца разрезанная книга, которую вчера читали, или увядший цветок, вчера вечером на балу украшавший вашу петлицу, или письмо, которое вы боялись прочесть или перечитывали слишком часто. Ничто как будто не изменилось. Из призрачных теней ночи снова встает знакомая действительность. Надо продолжать жизнь с того, на чем она вчера остановилась, и мы с болью сознаем, что обречены непрерывно тратить силы, вертясь все в том же утомительном кругу привычных стереотипных занятий. Иногда мы в эти минуты испытываем страстное желание, открыв глаза, увидеть новый мир, преобразившийся за ночь, нам на радость, мир, в котором все приняло новые формы и оделось живыми, светлыми красками, мир, полный перемен и новых тайн, мир, где прошлому нет места или отведено место весьма скромное, и если это прошлое еще живо, то, во всяком случае, не в виде обязательств или сожалений, ибо даже в воспоминании о счастье есть своя горечь, а память о минувших наслаждениях причиняет боль.

Именно создание таких миров представлялось Дориану Греху главной целью или одной из главных целей жизни; и в погоне за ощущениями, новыми и упоительными, которые содержали бы в себе основной элемент романтики — необычайность, он часто увлекался идеями, заведомо чуждыми его натуре, поддаваясь их коварному влиянию, а затем, постигнув их сущность, на-

сытив свою любознательность, отрекался от них с тем равнодушием, которое не только совместимо с пылким темпераментом, но, как утверждают некоторые современные психологи, часто является необходимым его условием.

Одно время в Лондоне говорили, что Дориан намерен перейти в католичество. Действительно, обрядность католической религии всегда очень нравилась ему. Таинство ежедневного жертвоприношения во время литургии, более страшного своей реальностью, чем все жертвоприношения древнего мира, волновало его своим великолепным презрением к свидетельству всех наших чувств, первобытной простотой, извечным пафосом человеческой трагедии, которую оно стремится символизировать. Дориан любил преклонять колена на холодном мраморе церковных плит и смотреть, как священник в тяжелом парчовом облачении медленно снимает бескровными руками покров с дарохранительницы или возносит сверкающую драгоценными камнями дароносицу, похожую на стеклянный фонарь с бледной облаткой внутри, — и тогда ему хотелось верить, что это в самом деле «*panis caelestis*»*. Любил Дориан и тот момент, когда священник в одеянии Страстей Господних преломляет гостию над чашей и бьет себя в грудь, сокрушаясь о грехах своих⁶³. Его пленяли дымящиеся камины, которые, как большие золотые цветы, качались в руках мальчиков с торжественно-серьезными лицами, одетых в пурпур и кружева. Выходя из церкви, Дориан с интересом посматривал на темные исповедальни, а иногда подолгу сидел в их сумрачной тени, слушая, как люди шепчут сквозь ветхие решетки правду о своей жизни.

Однако Дориан понимал, что принять официально те или иные догматы или вероучение значило бы ставить какой-то предел своему умственному развитию, и никогда он не делал такой ошибки; он не хотел считать своим постоянным жилищем гостиницу, пригодную лишь для того, чтобы провести в ней ночь или те несколько ночных часов, когда не светят звезды и луна на ущербе. Одно время он был увлечен мистицизмом, его дивным даром делать простое таинственным и необы-

* «Манна небесная» (лат.).

чайным, и всегда сопутствующей ему сложной парадоксальностью. В другой период своей жизни Дориан склонялся к материалистическим теориям немецкого дарвинизма, и ему доставляло своеобразное удовольствие сводить все мысли и страсти людские к функции какой-нибудь клетки серого вещества мозга или белых нервных волокон: так заманчива была идея абсолютной зависимости духа от физических условий, патологических или здоровых, нормальных или ненормальных⁶⁴! Однако все теории, все учения о жизни были для Дориана ничто по сравнению с самой жизнью. Он ясно видел, как бесплодны всякие отвлеченные умозаключения, не связанные с опытом и действительностью. Он знал, что чувственная жизнь человека точно так же, как духовная, имеет свои священные тайны, которые ждут открытия.

Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении, от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии.

Был в жизни Дориана и такой период, когда он весь отдавался музыке, и тогда в его доме, в длинной зале с решетчатыми окнами, где потолок был расписан золотом и киноварью, а стены покрыты оливково-зеленым лаком, устраивались необыкновенные концерты: лихие цыгане исторгали дикие мелодии из своих маленьких цитр, величавые тунисцы в желтых шальях перебирали туго натянутые струны огромных лютней, негры, скаля зубы, монотонно ударяли в медные барабаны, а стройные, худошавые индийцы в чалмах сидели, поджав под

себя ноги, на красных циновках и, наигрывая на длинных дудках, камышовых и медных, зачаровывали (или делали вид, что зачаровывают) больших ядовитых кобр и отвратительных рогатых ехидн. Резкие переходы и пронзительные диссонансы этой варварской музыки волновали Дориана в такие моменты, когда прелесть музыки Шуберта, дивные элегии Шопена и даже могучие симфонии Бетховена не производили на него никакого впечатления. Он собирал музыкальные инструменты всех стран света, даже самые редкие и старинные, какие можно найти только в гробницах вымерших народов или у немногих еще существующих диких племен, уцелевших при столкновении с западной цивилизацией. Он любил пробовать все эти инструменты. В его коллекции был таинственный «джурупарис» индейцев Рио-Негро, на который женщинам смотреть запрещено, и даже юношам это дозволяется лишь после поста и бичевания плоти; были перуанские глиняные кувшины, издающие звуки, похожие на пронзительные крики птиц, и те флейты из человеческих костей, которым некогда внимал в Чили Альфонсо де Овалле, и поющая зеленая яшма, находимая близ Куско⁶⁵ и звенящая удивительно приятно. Были в коллекции Дориана и раскрашенные тыквы, наполненные камешками, которые гремят при встряхивании, и длинный мексиканский кларнет, — в него музыкант не дует, но через него во время игры втягивает в себя воздух; и резко звучащий «туре» амазонских племен, — им подают сигналы часовые, сидящие весь день на высоких деревьях, и звук этого инструмента слышан за три лье: и «тепонацли» с двумя вибрирующими деревянными языками, по которому ударяют палочками, смазанными камедью из млечного сока растений; и колокольчики ацтеков, «иотли», подвешенные гроздьями наподобие винограда; и громадный барабан цилиндрической формы, обтянутый змеиной кожей, какой видел некогда в мексиканском храме спутник Кортеса, Берналь Диас, так живо описавший жалобные звуки этого барабана⁶⁶.

Дориана эти инструменты интересовали своей оригинальностью, и он испытывал своеобразное удовлетворение при мысли, что Искусство, как и Природа, создает иногда уродов, оскорбляющих глаз и слух человеческий своими формами и голосами.

Однако они ему скоро надоели. И по вечерам, сидя в своей ложе в опере, один или с лордом Генри, Дориан снова с восторгом слушал «Тангейзера»⁶⁷, и ему казалось, что в увертюре к этому великому произведению звучит трагедия его собственной души.

Затем у него появилась новая страсть: драгоценные камни. На одном бале-маскараде он появился в костюме французского адмирала Анн-де-Жуайез⁶⁸, и на его камзоле было нашито пятьсот шестьдесят жемчужин. Это увлечение длилось много лет, — даже, можно сказать, до конца его жизни. Он способен был целые дни перебирать и раскладывать по футлярам свою коллекцию. Здесь были оливково-зеленые хризобериллы, которые при свете лампы становятся красными, кимофаны с серебристыми прожилками, фисташковые перидоты, густо-розовые и золотистые, как вино, топазы, карбункулы, пламенно-алые, с мерцающими внутри четырехконечными звездочками, огненно-красные венисы, оранжевые и фиолетовые шпинели, аметисты, отливавшие то рубином, то сапфиром. Дориана пленяло червонное золото солнечного камня, и жемчужная белизна лунного камня, и радужные переливы в молочном опале. Он раздобыл в Амстердаме три изумруда, необыкновенно крупных и ярких, и стал обладателем бирюзы *de la vieille roche*^{*}, предмета зависти всех знатоков.

Дориан всюду разыскивал не только драгоценные камни, но и интереснейшие легенды о них. Так, например, в сочинении Альфонсо «*Clericalis Disciplina*»^{**} упоминается о змее с глазами из настоящего гиацинта, а в романтической истории Александра рассказывается, что владыка Эматии видел в долине Иордана змей «с выросшими на их спинах изумрудными ошейниками»⁶⁹.

В мозгу дракона, как повествует Филострат⁷⁰, находится драгоценный камень, «и если показать чудовищу золотые письмена и пурпурную ткань, оно уснет волшебным сном, и его можно умертвить».

По свидетельству великого алхимика Пьера де Бонифаса⁷¹, алмаз может сделать человека невидимым, а

* Старинное происхождение (фр.).
** «Наставления для клириков» (лат.).

индийский агат одаряет его красноречием. Сердолик утишает гнев, гиацинт наводит сон, аметист рассеивает винные пары. Гранат изгоняет из человека бесов, а от аквамарина бледнеет луна. Селенит убывает и прибывает вместе с луной, а мелодий, изобличающий вора, теряет силу только от крови козленка.

Леонард Камилл видел извлеченный из мозга только что убитой жабы белый камень, который оказался отличным противоядием. А безоар, который находят в сердце аравийского оленя, — чудодейственный амулет против чумы. В гнездах каких-то аравийских птиц попадает камень аспилат, который, как утверждает Демокрит⁷², предохраняет от огня того, кто его носит.

В день своего коронавания король цейлонский проезжал по улицам столицы с большим рубином в руке. Ворота дворца пресвитера Иоанна⁷³ «были из сердолика, и в них был вставлен рог ехидны — для того, чтобы никто не мог внести яда во дворец». На шпиле красовались «два золотых яблока, а в них два карбункула — для того, чтобы днем сияло золото, а ночью — карбункулы». В странном романе Лоджа «Жемчужина Америки»⁷⁴ рассказывается, что в покоях королевы можно было увидеть «серебряные изображения всех целомудренных женщин мира, которые гляделись в красивые зеркала из хризолитов, карбункулов, сапфиров и зеленых изумрудов». Марко Поло видел, как жители Зипангу⁷⁵ кладут в рот своим мертвецам розовые жемчужины. Существует легенда о чудище морском, влюбленном в жемчужину. Когда жемчужина эта была выловлена водолазом для короля Пероза, чудище умертвило похитителя и в течение семи лун оплакивало свою утрату. Позднее, как повествует Прокопий⁷⁶, гунны заманили короля Пероза в западню, и он выбросил жемчужину. Ее нигде не могли найти, хотя император Анастасий⁷⁷ обещал за нее пятьсот фунтов золота.

А король малабарский показывал одному венецианцу четки из трехсот четырех жемчужин — по числу богов, которым этот король поклонялся⁷⁸.

Когда герцог Валентинуа, сын Александра Шестого, приехал в гости к французскому королю Людовику Двенадцатому, его конь, если верить Брантому, был весь покрыт золотыми листьями, а шляпу герцога украшал двойной ряд рубинов, излучавших ослепите-

льное сияние⁷⁹. У верхового коня Карла Английского⁸⁰ на стремях было нашито четыреста двадцать бриллиантов. У Ричарда Второго⁸¹ был плащ, весь покрытый лалами, — он оценивался в тридцать тысяч марок. Холл так описывает костюм Генриха Восьмого, ехавшего в Тауэр на церемонию своего коронования: «На короле был кафтан из золотой парчи, нагрудник, расшитый бриллиантами и другими драгоценными камнями, и широкая перевязь из крупных лалов»⁸². Фаворитки Якова Первого⁸³ носили изумрудные серьги в филигранной золотой оправе. Эдуард Второй подарил Пирсу Гейвстону⁸⁴ доспехи червонного золота, богато украшенные гиацинтами, колет из золотых роз, усыпанный бирюзой, и шапочку, parsemé* жемчугами. Генрих Второй⁸⁵ носил перчатки, до локтя унизанные дорогими камнями, а на его охотничьей рукавице были нашиты двенадцать рубинов и пятьдесят две крупные жемчужины. Герцогская шапка Карла Смелого, последнего из этой династии бургундских герцогов⁸⁶, была отделана грушевидным жемчугом и сапфирами.

Как красива была когда-то жизнь! Как великолепно в своей радующей глаз пышности! Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши было наслаждением.

Позднее Дориан заинтересовался вышивками и гобеленами, заменившими фрески в прохладных жилищах народов Северной Европы. Углубившись в их изучение, — а Дориан обладал удивительной способностью уходить целиком в то, чем занимался, — он чуть ли не с горечью замечал, как разрушает Время все прекрасное и неповторимое.

Сам-то он, во всяком случае, избежал этой участи.

Проходило одно лето за другим, и много раз уже расцветали и увядали желтые жонкилы, и безумные ночи вновь и вновь повторялись во всем своем ужасе и позоре, а Дориан не менялся. Никакая зима не портила его лица, не убивала его цветущей прелести. Насколько же иной была судьба вещей, созданных людьми! Куда они девались? Где дивное одеяние шафранного цвета с изображением битвы богов и титанов, сотканное смуглыми девами для Афины Паллады⁸⁷? Где велариум, натянутый по приказу Нерона над римским

* Усеянный (фр.).

Колизеум⁸⁸, это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо и Аполлон на своей колеснице, влекомой белыми конями в золотой упряжи? Дориан горячо жалел, что не может увидеть вышитые для жреца Солнца⁸⁹ изумительные салфетки, на которых были изображены всевозможные лакомства и яства, какие только можно пожелать для пиров; или погребальный покров короля Хильперика⁹⁰, усеянный тремя сотнями золотых пчел; или возбудившие негодование епископа Понтийского⁹¹ фантастические одеяния — на них изображены были «львы, пантеры, медведи, собаки, леса, скалы, охотники, — словом, все, что художник может увидеть в природе»; или ту одежду принца Карла Орлеанского⁹², на рукавах которой были вышиты стихи, начинавшиеся словами: «*Madame, je suis tout joyeux*»*, и музыка к ним, причем нотные линейки вышиты были золотом, а каждый нотный знак (четыреугольный, как принято было тогда) — четырьмя жемчужинами.

Дориан прочел описание комнаты, приготовленной в Реймском дворце для королевы Иоанны Бургундской⁹³. На стенах были вышиты «тысяча триста двадцать один попугай и пятьсот шестьдесят одна бабочка, на крыльях у птиц красовался герб королевы, и все из чистого золота».

Траурное ложе Екатерины Медичи⁹⁴ было обито черным бархатом, усеянным полумесяцами и солнцами. Полог был узорчатого шелка с венками и гирляндами зелени по золотому и серебряному фону и бахромой из жемчуга. Стояло это ложе в спальне, где стены были увешаны гербами королевы из черного бархата на серебряной парче. В покоях Людовика Четырнадцатого⁹⁵ были вышиты золотом кариатиды высотой в пятнадцать футов. Парадное ложе польского короля Яна Собеского стояло под шатром из золотой смирнской парчи с вышитыми бирюзой строками из Корана. Поддерживавшие его колонки, серебряные, вызолоченные, дивной работы, были богато украшены эмалевыми медальонами и драгоценными камнями. Шатер этот поляки взяли в турецком лагере под Веной. Под его золоченым куполом прежде стояло знамя пророка Магомета⁹⁶.

* «Мадам, я очень счастлив» (фр.).

В течение целого года Дориан усердно коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия «ткань из воздуха», «водяная струя», «вечерняя роса»; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного *fleurs de lys*^{*}, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат; грузинские изделия с золотыми цехинами и японские «фукусас» золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски.

Особое пристрастие имел Дориан к церковным облачениям, как и ко всему, что связано с религиозными обрядами. В больших кедровых сундуках, стоявших на западной галерее его дома, он хранил множество редчайших и прекраснейших одежд, достойных быть одеждами невест Христовых, ибо невеста Христова должна носить пурпур, драгоценности и тонкое полотно, чтобы укрыть свое бескровное тело, истощенное добровольными лишениями, израненное самобичеваниями. Дориан был также обладателем великолепной ризы из малинового шелка и золотой парчи с повторяющимся узором — золотыми плодами граната, венками из шестилепестковых цветов и вышитыми мелким жемчугом ананасами. Орарь был разделен на квадраты, и на каждом квадрате изображены сцены из жизни Пресвятой Девы, а ее венчание было вышито цветными шелками на капюшоне. Это была итальянская работа XV века.

Другая риза была из зеленого бархата, на котором листья аканта, собранные сердцевидными пучками, и белые цветы на длинных стеблях вышиты были серебряными нитями и цветным бисером; на застежке золотом вышита голова серафима, а орарь заткан ромбовидным узором, красным и золотым, и усеян медальо-

* Лилии (фр.). Лилия — геральдический цветок, французский королевский герб.

нами с изображениями святых и великомучеников, среди них и святого Себастьяна⁹⁷.

Были у Дориана и другие облачения священников — из шелка янтарного цвета и голубого, золотой парчи, желтой камки и газета, на которых были изображены Страсти Господни и распятие, вышиты львы, павлины и всякие эмблемы; были далматики из белого атласа и розового штофа с узорами из тюльпанов, дельфинов и французских лилий, были покровы для алтарей из малинового бархата и голубого полотна, священные хоругви, множество антиминов и покровы для потиров. Мистические обряды, для которых употреблялись эти предметы, волновали воображение Дориана.

Эти сокровища, как и все, что собрал Дориан Грей в своем великолепно убранном доме, помогали ему хоть на время забыться, спастись от страха, который порой становился уже почти невыносимым. В нежилой, запертой комнате, где он провел когда-то так много дней своего детства, он сам поместил теперь роковой портрет, в чьих изменившихся чертах читал постыдную правду о своей жизни, и закрыл его пурпурно-золотым покрывалом. По несколько недель Дориан не заглядывал сюда и забывал отвратительное лицо на полотне. В это время к нему возвращалась прежняя беззаботность, светлая веселость, страстное упоение жизнью. Потом он вдруг ночью, тайком ускользнув из дому, отправлялся в какие-то грязные притоны близ Блу-Гэйт Филдс и проводил там дни до тех пор, пока его оттуда не выгоняли. А воротясь домой, садился перед портретом и глядел на него, порой ненавидя его и себя, порой же — с той гордостью индивидуалиста, которая влечет его навстречу греху, и улыбался с тайным злорадством своему безобразному двойнику, который обречен был нести предназначенное ему, Дориану, бремя.

Через несколько лет Дориан уже не в силах был подолгу оставаться где-либо вне Англии. Он отказался от виллы в Трувиле, которую снимал вместе с лордом Генри, и от обнесенного белой стеной домика в Алжире, где они не раз вдвоем проводили зиму. Он не мог выносить разлуки с портретом, который занимал такое большое место в его жизни. И, кроме того, боялся, как бы в его отсутствие в комнату, где стоял портрет,

кто-нибудь не забрался, несмотря на надежные засовы, сделанные по его распоряжению.

Впрочем, Дориан был вполне уверен, что если кто и увидит портрет, то ни о чем не догадается. Правда, несмотря на отталкивающие следы пороков, портрет сохранил явственное сходство с ним, но что же из этого? Дориан высмеял бы всякого, кто попытался бы его шантажировать. Не он писал портрет, — так кто же станет винить его в этом постыдном безобразии? Да если бы он и рассказал людям правду, — разве кто поверит?

И все-таки он боялся. Порой, когда он в своем большом доме в Ноттингемшире принимал гостей, светскую молодежь своего круга, среди которой у него было много приятелей, и развлекал их, поражая все графство расточительной роскошью и великолепием этих празднеств, он внезапно, в разгаре веселья, покидал гостей и мчался в Лондон, чтобы проверить, не взломана ли дверь классной, на месте ли портрет. Что, если его уже украли? Самая мысль об этом леденила кровь Дориана. Ведь тогда свет узнает его тайну! Быть может, люди уже и так кое-что подозревают?

Да, он очаровывал многих, но немало было и таких, которые относились к нему с недоверием. Его чуть не забаллотировали в одном уэст-эндском клубе, хотя по своему рождению и положению в обществе он имел полное право стать членом этого клуба. Рассказывали также, что когда кто-то из приятелей Дориана привел его в курительную комнату Черчилл-клуба⁹⁸, герцог Бервикский, а за ним и другой джентльмен встали и демонстративно вышли. Темные слухи стали ходить о нем, когда ему было уже лет двадцать пять. Говорили, что его кто-то видел в одном из грязных притонов отдаленного квартала Уайтчепла, где у него вышла стычка с иностранными матросами, что он водится с ворами и фальшивомонетчиками и посвящен в тайны их ремесла. О его странных отлучках знали уже многие, и, когда он после них снова появлялся в обществе, мужчины шептались по углам, а проходя мимо него, презрительно усмехались или устремляли на него холодные, испытующие взгляды, словно желая узнать наконец правду о нем.

Дориан, разумеется, не обращал внимания на та-

кие дерзости и знаки пренебрежения, а для большинства людей его открытое добродушие и приветливость, обаятельная, почти детская улыбка, невыразимое очарование его прекрасной неувядающей молодости были достаточным опровержением возводимой на него клеветы — так эти люди называли слухи, ходившие о Дориане.

Однако же в свете было замечено, что люди, которые раньше считались близкими друзьями Дориана, стали его избегать. Женщины, безумно влюбленные в него, для него пренебрегшие приличиями и бросившие вызов общественному мнению, теперь бледнели от стыда и ужаса, когда Дориан Грей входил в комнату.

Впрочем, темные слухи о Дориане только придавали ему в глазах многих еще больше очарования, странного и притягательного. Притом и его богатство до некоторой степени обеспечивало ему безопасность. Общество — по крайней мере, цивилизованное общество — не очень-то склонно верить тому, что дискредитирует людей богатых и приятных. Оно инстинктивно понимает, что хорошие манеры важнее добродетели, и самого почтенного человека ценит гораздо меньше, чем того, кто имеет хорошего повара. И, в сущности, это правильно: когда вас в каком-нибудь доме угостили плохим обедом или скверным вином, то вас очень мало утешает сознание, что хозяин дома в личной жизни человек безупречно нравственный. Как сказал однажды лорд Генри, когда обсуждался этот вопрос, — самые высокие добродетели не искупают вины человека, в доме которого вам подают недостаточно горячие кушанья. И в защиту такого мнения можно сказать многое. Ибо в хорошем обществе царят — или должны бы царить — те же законы, что в искусстве: форма здесь играет существенную роль. Ей должна быть придана внушительная торжественность и театральность церемонии, она должна сочетать в себе неискренность романтической пьесы с остроумием и блеском, так пленяющими нас в этих пьесах. Разве притворство — такой уж великий грех? Вряд ли. Оно — только способ придать многообразию человеческой личности.

Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе

наше «я» как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадами жизней и мириадами ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков.

Дориан любил бродить по холодной и мрачной портретной галерее своего загородного дома и всматриваться в портреты тех, чья кровь текла в его жилах. Вот Филипп Герберт, о котором Фрэнсис Осборн в своих «Мемуарах о годах царствования королевы Елизаветы и короля Якова» рассказывает, что «он был любимцем двора за свою красоту, которая недолго его украшала»⁹⁹. Дориан спрашивал себя: не является ли его собственная жизнь повторением жизни молодого Герберта? Быть может, в их роду какой-то отравляющий микроб переходил от одного к другому, пока не попал в его собственное тело? Уж не подсознательное ли воспоминание о рано отцветшей красоте далекого предка побудило его, Дориана, неожиданно и почти без всякого повода высказать в мастерской Бэзила Холлуорда безумное желание, так изменившее всю его жизнь?

А вот в красном камзоле с золотым шитьем, в украшенной бриллиантами короткой мантии, в брыжах с золотым кантом и таких же манжетах стоит сэр Энтони Шерард, а у ног его сложены доспехи, серебряные с чернью. Какое наследие оставил он своему потомку? Может быть, от этого любовника Джованна Неаполитанской¹⁰⁰ перешли к нему, Дориану, какие-то постыдные пороки? И не являются ли его поступки только осуществленными желаниями этого давно умершего человека, при жизни не дерзнувшего их осуществить?

Дальше с уже выцветавшего полотна улыбалась Дориану леди Елизавета Девере в кружевном чепце и расшитом жемчугом корсаже с разрезными розовыми рукавами. В правой руке цветок, а в левой — эмалевое ожерелье из белых и красных роз. На столике около нее лежат мандолина и яблоко, на ее остроносых башмачках — пышные зеленые розетки. Дориану была известна жизнь этой женщины и странные истории, которые рассказывались о ее любовниках. Не унаследовал

ли он и какие-то свойства ее темперамента? Ее удлиненные глаза с тяжелыми веками, казалось, глядели на него с любопытством.

Ну а что досталось ему от Джорджа Уиллоуби, мужчины в напудренном парике и с забавными мушками на лице? Какое недоброе лицо, смуглое, мрачное, с ртом сладострастно-жестоким, в складке которого чувствуется надменное презрение. Желтые костлявые руки сплошь унизаны перстнями и полуприкрыты тонкими кружевами манжет. Этот щеголь восемнадцатого века в молодости был другом лорда Феррарса¹⁰¹.

А второй лорд Бекингем, товарищ принца-регента в дни его самых отчаянных сумасбродств и один из свидетелей его тайного брака с миссис Фицгерберт? Какой гордый вид у этого красавца с каштановыми кудрями, сколько дерзкого высокомерия в его позе! Какие страсти оставил он в наследство потомку? Современники считали его человеком без чести. Он первенствовал на знаменитых оргиях в Карлтон-Хаусе. На груди его сверкает орден Подвязки¹⁰²...

Рядом висит портрет его жены, узкогубой и бледной женщины в черном. «И ее кровь тоже течет в моих жилах, — думал Дориан. — Как все это любопытно!»

А вот мать. Женщина с лицом леди Гамильтон¹⁰³ и влажными, словно омоченными в вине губами... Дориан хорошо знал, что он унаследовал от нее: свою красоту и страстную влюбленность в красоту других. Она улыбается ему с портрета, на котором художник изобразил ее вакханкой. В волосах ее виноградные листья. Из чаши, которую она держит в руках, льется пурпурная влага. Краски лица на портрете потускнели, но глаза сохранили удивительную глубину и яркость. Дориану казалось, что они следуют за ним, куда бы он ни шел.

А ведь у человека есть предки не только в роду: они у него есть и в литературе. И многие из этих литературных предков, пожалуй, ближе ему по типу и темпераменту, а влияние их, конечно, ощущается им сильнее. В иные минуты Дориану Грею казалось, что вся история человечества — лишь летопись его собственной жизни, не той действительной, созданной обстоятельствами, а той, которой он жил в своем воображении, покорный требованиям мозга и влечениям страстей.

Ему были близки и понятны все те странные и страшные образы, что прошли на арене мира и сделали грех столь соблазнительным, зло — столь утонченным. Кажалось, жизнь их каким-то таинственным образом связана с его жизнью.

Герой увлекательной книги, которая оказала на Дориана столь большое влияние, тоже был одержим такой фантазией. В седьмой главе он рассказывает, как он в облище Тиберия, увенчанный лаврами, предохраняющими от молнии, сиживал в саду на Капри и читал бесстыдные книги Элефантиды¹⁰⁴, а вокруг него важно прохаживались павлины и карлики, и флейтист дразнил кадилыщика фимиама. Он был и Калигулой, бражничал в конюшнях с наездниками в зеленых туниках и ужинал из яслей слоновой кости вместе со своей лошадей, украшенной бриллиантовой повязкой на лбу¹⁰⁵. Он был Домицианом и, бродя по коридору, облицованному плитами полированного мрамора, угасшим взором искал в них отражения кинжала, которому суждено пресечь его дни¹⁰⁶, и томился тоской, *taedium vitae*^{*}, страшным недугом тех, кому жизнь ни в чем не отказывала. Сидя в цирке, он сквозь прозрачный изумруд любовался кровавой резней на арене, а потом на носилках, украшенных жемчугом и пурпуром, влекомых мулами с серебряными подковами, возвращался в свой Золотой дворец Гранатовой аллеей, провожаемый криками толпы, проклинавшей его, цезаря Нерона. Он был и Гелиогабалом, который, раскрасив себе лицо, сидел за прялкой вместе с женщинами и приказал доставить богиню Луны из Карфагена, чтобы сочетать ее мистическим браком с Солнцем.

Вновь и вновь перечитывал Дориан эту фантастическую главу и две следующих, в которых, как на каких-то удивительных гобеленах или эмалях искусной работы, запечатлены были прекрасные и жуткие лики тех, кого Пресыщенность, Порок и Кровожадность превратили в чудовищ или безумцев. Филиппо, герцог Миланский¹⁰⁷, который убил свою жену и намазал ей губы алым ядом, чтобы ее любовник вкусил смерть с мертвых уст той, кого он ласкал. Венецианец Пьетро Барби, известный под именем Павла Второго¹⁰⁸ и в

* Отвращение к жизни, пресыщенность (*лат.*).

своим тщеславию добившийся, чтобы его величали Fog-
mosus^{*}; его тиара, стоившая двести тысяч флоринов,
была приобретена ценой страшного преступления.
Джан Мария Висконти¹⁰⁹, травивший людей собаками;
когда он был убит, труп его усыпала розами лю-
бившая его гетера. Чезаре Борджиа на белом коне — с
ним рядом скакало братоубийство, и на плаще его была
кровь Перотто¹¹⁰. Молодой кардинал, архиепископ
Флоренции, сын и фаворит папы Сикста Четвертого,
Пьетро Риарио¹¹¹, чья красота равнялась только его
развращенности; он принимал Леонору Арагонскую в
шатре из белого и алого шелка, украшенном нимфами
и кентаврами, и велел позолотить мальчика, который
должен был на пиру изображать Ганимеда или Гиласа¹¹².
Эззелино, чью меланхолию рассеивало только
зрелище смерти, — он был одержим страстью к крови,
как другие одержимы страстью к красному вину¹¹³; по
преданию, он был сыном дьявола и обманул своего
отца, играя с ним в кости на собственную душу. Джем-
баттиста Чибо¹¹⁴, в насмешку именовавший себя Не-
винным, тот Чибо, в чьи истощенные жилы еврей-ле-
карь влил кровь трех юношей. Сиджизмондо Малате-
ста, любовник Изотты и сюзеренный властитель
Римини, который задушил салфеткой Поликсену, а
Джиневре д'Эсте поднес яд в изумрудном кубке; он
для культа постыдной страсти воздвиг языческий
храм, где совершались христианские богослужения¹¹⁵.
Изображение этого врага Бога и людей сожгли в Риме.
Карл Шестой, который так страстно любил жену бра-
та¹¹⁶, что один прокаженный предсказал ему безумие
от любви; когда ум его помутился, его успокаивали то-
лько сарацинские карты с изображениями Любви,
Смерти и Безумия. И, наконец, Грифонетто Бальони в
нарядном камзоле и усаженной алмазами шляпе на
акантоподобных кудрях, убийца Асторре и его невесты,
а также Симонетто и его пажа, столь прекрасный,
что, когда он умирал на желтой piazza** Перуджи,
даже ненавидевшие его не могли удержаться от слез, а
проклявшая его Аталанта благословила его¹¹⁷.

Все они таили в себе какую-то страшную притягате-

* Прекрасный (лат.).

** Площадь (ит.).

льную силу. Они снились Дориану по ночам, тревожили его воображение днем. Эпоха Возрождения знала необычайные способы отравления: отравляла с помощью шлема или зажженного факела, вышитой перчатки или драгоценного веера, раззолоченных мускусных шариков и янтарного ожерелья. А Дориан Грей был отравлен книгой. И в иные минуты Зло было для него лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни.

ГЛАВА XII

Это было девятого ноября и (как часто вспоминал потом Дориан) накануне дня его рождения, когда ему исполнилось тридцать восемь лет.

Часов в одиннадцать вечера он возвращался домой от лорда Генри, у которого обедал. Он шел пешком, до глаз закутанный в шубу, так как ночь была холодная и туманная. На углу Гровенор-сквер и Саут-Одли-стрит мимо него во мгле промелькнул человек, шедший очень быстро с саквояжем в руке. Воротник его серого пальто был поднят, но Дориан узнал Бэзила Холлуорда. Неизвестно почему, его вдруг охватил какой-то безотчетный страх. Он и виду не подал, что узнал Бэзила, и торопливо зашагал дальше.

Но Холлуорд успел его заметить. Дориан слышал, как он остановился и затем стал его догонять. Через минуту рука Бэзила легла на его плечо.

— Дориан! Какая удача! Я ведь дожидался у вас в библиотеке с девяти часов. Потом наконец сжалился над вашим усталым лакеем и сказал ему, чтобы он выпустил меня и шел спать. Ждал я вас потому, что сегодня двенадцатичасовым уезжаю в Париж, и мне очень нужно перед отъездом с вами потолковать. Когда вы прошли мимо, я узнал вас, или, вернее, вашу шубу, но все же сомневался... А вы-то разве не узнали меня?

— В таком тумане, милый мой Бэзил? Я даже Гровенор-сквер не узнаю. Думаю, что мой дом где-то здесь близко, но и в этом вовсе не уверен... Очень жаль, что вы уезжаете, я вас не видел целую вечность. Надеюсь, вы скоро вернетесь?

— Нет, я пробуду за границей месяцев шесть. Хочу

снять в Париже мастерскую и запереться в ней, пока не окончу одну задуманную мною большую вещь. Ну, да я не о своих делах хотел говорить с вами. А вот и ваш подъезд. Позвольте мне войти на минуту.

— Пожалуйста, я очень рад. Но вы не опоздаете на поезд? — небрежно бросил Дориан Грей, взойдя по ступеням и отпирая дверь своим ключом.

При свете фонаря, пробивавшемся сквозь туман, Холлуорд посмотрел на часы.

— У меня еще уйма времени, — сказал он. — Поезд отходит в четверть первого, а сейчас только одиннадцать. Я ведь все равно шел в клуб, когда мы встретились, — рассчитывал застать вас там. С багажом возиться мне не придется — я уже раньше отправил все тяжелые вещи. Со мной только этот саквояж, и за двадцать минут я доберусь до вокзала Виктории.

Дориан посмотрел на него с улыбкой.

— Вот как путешествует известный художник! Ручной саквояж и осеннее пальтишко! Ну, входите же скорее, а то туман заберется в дом. И, пожалуйста, не заставляйте серьезных разговоров. В наш век ничего серьезного не происходит. Во всяком случае, не должно происходить.

Холлуорд только головой покачал и прошел вслед за Дорианом в его библиотеку. В большом камине ярко пылали дрова, лампы были зажжены, а на столике маркетри стоял открытый серебряный погребец с напитками, сифон с содовой водой и высокие хрустальные бокалы.

— Видите, ваш слуга постарался, чтобы я чувствовал себя как дома. Принес все, что нужно человеку, в том числе и самые лучшие ваши папиросы. Он очень гостеприимный малый и нравится мне гораздо больше, чем тот француз, прежний ваш камердинер. Кстати, куда он девался?

Дориан пожал плечами.

— Кажется, женился на горничной леди Рэдли и увез ее в Париж, где она подвизается в качестве английской портнихи. Там теперь, говорят, англomania в моде. Довольно глупая мода, не правда ли?.. А Виктор, между прочим, был хороший слуга, я не мог на него пожаловаться. Он был мне искренне предан и, кажется, очень горевал, когда я его уволил. Но я его по-

чему-то невзлюбил... Знаете, иногда придет в голову какой-нибудь вздор... Еще стакан бренди с содовой? Или вы предпочитаете рейнское с сельтерской? Я всегда пью рейнское. Наверное, в соседней комнате найдется бутылка.

— Спасибо, я ничего больше не буду пить, — отозвался художник. Он снял пальто и шляпу, бросил их на саквояж, который еще раньше поставил в углу. — Так вот, Дориан мой милый, у нас будет серьезный разговор. Не хмурьтесь, пожалуйста, — этак мне очень трудно будет говорить.

— Ну, в чем же дело? — воскликнул Дориан нетерпеливо, с размаху садясь на диван. — Надеюсь, речь будет не обо мне? Я сегодня устал от себя и рад бы превратиться в кого-нибудь другого.

— Нет, именно о вас, — сказал Холлуорд суровым тоном. — Это необходимо. Я отниму у вас каких-нибудь полчаса, не больше.

— Полчаса! — пробормотал Дориан со вздохом и закурил папиросу.

— Не так уж это много, Дориан, и разговор этот в ваших интересах. Мне думается, вам следует узнать, что о вас в Лондоне говорят ужасные вещи.

— А я об этом ничего знать не хочу. Я люблю слушать сплетни о других, а сплетни обо мне меня не интересуют. В них нет прелести новизны.

— Они *должны* вас интересовать, Дориан. Каждый порядочный человек дорожит своей репутацией. Ведь вы же не хотите, чтобы люди считали вас развратным и бесчестным? Конечно, у вас положение в обществе, большое состояние и все прочее. Но богатство и высокое положение — еще не все. Поймите, я вовсе не верю этим слухам. Во всяком случае, я не могу им верить, когда на вас смотрю. Ведь порок всегда накладывает свою печать на лицо человека. Его не скроешь. У нас принято говорить о «тайных» пороках. Но тайных пороков не бывает. Они сказываются в линиях рта, в отяжелевших веках, даже в форме рук. В прошлом году один человек, — вы его знаете, но называть его не буду, — пришел ко мне заказать свой портрет. Я его раньше никогда не встречал, и в то время мне ничего о нем не было известно — наслышался я о нем немало только позднее. Он предложил мне за портрет бешеную

цену, но я отказался писать его: в форме его пальцев было что-то глубоко мне противное. И теперь я знаю, что чуть меня не обмануло — у этого господина ужасная биография. Но вы, Дориан... Ваше честное, открытое и светлое лицо, ваша чудесная, ничем не омраченная молодость мне порукой, что дурная молва о вас — клевета, и я не могу ей верить. Однако я теперь вижу вас очень редко, вы никогда больше не заглядываете ко мне в мастерскую, и оттого, что вы далеки от меня, я теряюсь, когда слышу все те мерзости, какие о вас говорят, не знаю, что отвечать на них. Объясните мне, Дориан, почему такой человек, как герцог Бервикский, встретив вас в клубе, уходит из комнаты, как только вы в нее входите? Почему многие почтенные люди лондонского света не хотят бывать у вас в доме и не приглашают вас к себе? Вы были дружны с лордом Стэйвли. На прошлой неделе я встретился с ним на званом обеде... За столом кто-то упомянул о вас — речь шла о миниатюрах, которые вы одолжили для выставки Дадли¹¹⁸. Услышав ваше имя, лорд Стэйвли с презрительной гримасой сказал, что вы, быть может, очень тонкий знаток искусства, но с таким человеком, как вы, нельзя знакомить ни одну чистую девушку, а порядочной женщине неприлично даже находиться с вами в одной комнате. Я напомнил ему, что вы — мой друг, и потребовал объяснений. И он дал их мне. Дал напрямик, при всех! Какой это был ужас! Почему дружба с вами губительна для молодых людей? Этот несчастный мальчик, гвардеец, что недавно покончил с собой, — ведь он был ваш близкий друг. С Генри Эштоном вы были неразлучны, — а он запятнал свое имя и вынужден был покинуть Англию... Почему так низко пал Адриан Синглтон? А единственный сын лорда Кента почему сбился с пути? Вчера я встретил его отца на Сент-Джеймс-стрит. Сразу видно, что он убит стыдом и горем. А молодой герцог Пертский? Что за жизнь он ведет! Какой порядочный человек захочет теперь с ним знаться?

— Довольно, Бэзил! Не говорите о том, чего не знаете! — перебил Дориан Грей, кусая губы. В тоне его слышалось глубочайшее презрение. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я вхожу в нее? Да потому, что *мне* о нем все известно, а вовсе не

потому, что *ему* известно что-то обо мне. Как может быть чистой жизнь человека, в жилах которого течет *такая* кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Пертского. Я, что ли, привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке — при чем тут я? Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на векселе — так и это тоже моя вина? Что же, я обязан надзирать за ним? Знаю я, как у нас в Англии любят сплетничать. Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, обжираясь за обеденным столом, шушукаются о так называемой «распущенности» знати, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране достаточно человеку выдвинуться благодаря уму или другим качествам, как о нем начинают болтать злые языки. А те, кто щеголяет своей мнимой добродетелью, — они-то сами как ведут себя? Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров.

— Ах, Дориан, не в этом дело! — горячо возразил Холлуорд. — Знаю, что в Англии у нас не все благополучно, что общество наше никуда не годится. Оттого-то я и хочу, чтобы вы были на высоте. А вы оказались не на высоте. Мы вправе судить о человеке по тому влиянию, какое он оказывает на других. А ваши друзья, видимо, утратили всякое понятие о чести, о добре, о чистоте. Вы заразили их безумной жадностью наслаждений. И они скатились на дно. Это вы их туда столкнули! Да, вы их туда столкнули, и вы еще можете улыбаться как ни в чем не бывало, — вот как улыбаетесь сейчас... Я знаю и кое-что похуже. Вы с Гарри — неразлучные друзья. Уже хотя бы поэтому не следовало вам позорить имя его сестры, делать его предметом сплетен и насмешек.

— Довольно, Бэзил! Вы слишком много себе позволяете!

— Я должен сказать все, — и вы меня выслушаете. Да, выслушаете! До вашего знакомства с леди Гвендолен никто не смел сказать о ней худого слова, даже тень сплетни не касалась ее. А теперь?.. Разве хоть одна приличная женщина в Лондоне рискнет показаться с нею вместе в Парке? Даже ее детям не позволили

жить с нею... И это еще не все. Много еще о вас рассказывают, — например, люди видели, как вы, крадучись, выходите на рассвете из грязных притонов, как переодетым пробираетесь тайком в самые отвратительные трущобы Лондона. Неужели это правда? Неужели это возможно? Когда я в первый раз услышал такие толки, я расхохотался. Но я их теперь слышу постоянно — и они меня приводят в ужас. А что творится в вашем загородном доме? Дориан, если бы вы знали, какие мерзости говорят о вас! Вы скажете, что я беру на себя роль проповедника — что ж, пусть так! Помню, Гарри утверждал как-то, что каждый, кто любит поучать других, начинает с обещания, что это будет в первый и последний раз, а потом беспрестанно нарушает свое обещание. Да, я намерен отчитать вас. Я хочу, чтобы вы вели такую жизнь, за которую люди уважали бы вас. Хочу, чтобы у вас была не только незапятнанная, но и хорошая репутация. Чтобы вы перестали водиться со всякой мразью. Нечего пожимать плечами и притворяться равнодушным! Вы имеете на людей удивительное влияние, так пусть же оно будет не вредным, а благотворным. Про вас говорят, что вы развращаете всех, с кем близки, и, входя к человеку в дом, навлекаете на этот дом позор. Не знаю, верно это или нет, — как я могу это знать? — но так про вас говорят. И кое-чему из того, что я слышал, я не могу не верить. Лорд Глостер — мой старый университетский товарищ, мы были с ним очень дружны в Оксфорде. И он показал мне письмо, которое перед смертью написала ему жена, умиравшая в одиночестве на своей вилле в Ментоне. Это страшная исповедь — ничего подобного я никогда не слышал. И она обвиняет вас. Я сказал Глостеру, что это невероятно, что я вас хорошо знаю и вы не способны на подобные гнусности. А действительно ли я вас знаю? Я уже задаю себе такой вопрос. Но, чтобы ответить на него, я должен был бы увидеть вашу душу...

— Увидеть мою душу! — повторил вполголоса Дориан Грей и встал с дивана, бледный от страха.

— Да, — сказал Холлуорд серьезно, с глубокой печалью в голосе. — Увидеть вашу душу. Но это может один только Господь Бог.

У Дориана вдруг вырвался горький смех.

— Можете и вы. Сегодня же вечером вы ее увидите

собственными глазами! — крикнул он и рывком поднял со стола лампу. — Пойдемте. Ведь это ваших рук дело, так почему бы вам и не взглянуть на него? А после этого можете, если хотите, все поведать миру. Никто вам не поверит. Да если бы и поверили, так только еще больше восхищались бы мною. Я знаю наш век лучше, чем вы, хотя вы так утомительно много о нем болтаете. Идемте же! Довольно вам рассуждать о нравственном разложении. Сейчас вы увидите его воочию.

Какая-то дикая гордость звучала в каждом его слове. Он топал ногой капризно и дерзко, как мальчишка. Им овладела злобная радость при мысли, что теперь бремя его тайны с ним разделит другой, тот, кто написал этот портрет, виновный в его грехах и позоре, и этого человека всю жизнь будут теперь мучить отвратительные воспоминания о том, что он сделал.

— Да, — продолжал он, подходя ближе и пристально глядя в суровые глаза Холлуорда. — Я покажу вам свою душу. Вы увидите то, что, по-вашему, может видеть только Господь Бог.

Холлуорд вздрогнул и отшатнулся.

— Это кощунство, Дориан, не смейте так говорить! Какие ужасные и бессмысленные слова!

— Вы так думаете? — Дориан снова рассмеялся.

— Конечно! А все, что я вам говорил сегодня, я сказал для вашего же блага. Вы знаете, что я ваш верный друг.

— Не трогайте меня! Договаривайте то, что еще имеете сказать.

Судорога боли пробежала по лицу художника. Одну минуту он стоял молча весь во власти острого чувства сострадания. В сущности, какое он имеет право вмешиваться в жизнь Дориана Грея? Если Дориан совершил хотя бы десятую долю того, в чем его обвиняла молва, — как он, должно быть, страдает!

Холлуорд подошел к камину и долго смотрел на горящие поленья. Языки пламени метались среди белого, как иней, пепла.

— Я жду, Бэзил, — сказал Дориан, резко отчеканивая слова.

Художник обернулся.

— Мне осталось вам сказать вот что: вы должны ответить на мой вопрос. Если ответите, что все эти страш-

ные обвинения ложны от начала до конца, — я вам поверю. Скажите это, Дориан! Разве вы не видите, какую муку я терплю? Боже мой! Я не хочу думать, что вы дурной, развратный, погибший человек!

Дориан Грей презрительно усмехнулся.

— Поднимитесь со мной наверх, Бэзил, — промолвил он спокойно. — Я веду дневник, в нем отражен каждый день моей жизни. Но этот дневник я никогда не выношу из той комнаты, где он пишется. Если вы пойдете со мной, я вам его покажу.

— Ладно, пойдёмте, Дориан, раз вы этого хотите. Я уже все равно опоздал на поезд. Ну, не беда, поеду завтра. Но не заставляйте меня сегодня читать этот дневник. Мне нужен только прямой ответ на мой вопрос.

— Вы его получите наверху. Здесь это невозможно. И вам не придется долго читать.

ГЛАВА XIII

Дориан вышел из комнаты и стал подниматься по лестнице, а Бэзил Холлуорд шел за ним. Оба ступали осторожно, как люди всегда ходят ночью, инстинктивно стараясь не шуметь. Лампа отбрасывала на стены и ступеньки причудливые тени. От порыва ветра где-то в окнах задрезбужали стекла.

На верхней площадке Дориан поставил лампу на пол и, вынув из кармана ключ, вставил его в замочную скважину.

— Так вы непременно хотите узнать правду, Бэзил? — спросил он, понизив голос.

— Да.

— Отлично. — Дориан улыбнулся и добавил уже другим, жестким тоном: — Вы — единственный человек, имеющий право знать обо мне все. Вы и не подозреваете, Бэзил, какую большую роль сыграли в моей жизни.

Он поднял лампу и, открыв дверь, вошел в комнату. Оттуда повеяло холодом, от струи воздуха огонь в лампе вспыхнул на миг густо-оранжевым светом. Дориан дрожал.

— Закройте дверь! — шепотом сказал он Холлуорду, ставя лампу на стол.

Холлуорд в недоумении оглядывал комнату. Видно было, что здесь уже много лет никто не жил. Вылинявший фламандский гобелен, какая-то занавешенная картина, старый итальянский сундук и почти пустой книжный шкаф, да еще стол и стул — вот и все, что в ней находилось. Пока Дориан зажигал огарок свечи на каминной полке, Холлуорд успел заметить, что все здесь покрыто густой пылью, а ковер дырявый. За панелью быстро пробежала мышь. В комнате стоял сырой запах плесени.

— Значит, вы полагаете, Бэзил, что один только Бог видит душу человека? Снимите это покрывало, и вы увидите мою душу.

В голосе его звучала холодная горечь.

— Вы сошли с ума, Дориан. Или ломаете комедию? — буркнул Холлуорд, нахмурившись.

— Не хотите? Ну, так я сам это сделаю. — Дориан сорвал покрывало с железного прута и бросил его на пол.

Крик ужаса вырвался у художника, когда он в полумраке увидел жуткое лицо, насмешливо ухмылявшееся ему с полотна. В выражении этого лица было что-то возмущавшее душу, наполнявшее ее омерзением. Силы небесные, да ведь это лицо Дориана! Как ни ужасна была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В поредевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы. Бессмысленные глаза пропойцы сохранили в себе что-то от прежней чудесной синевы, и не совсем еще исчезли благородные линии тонко вырезанных ноздрей и стройной шеи... Да, это Дориан. Но кто же написал его таким? Бэзил Холлуорд как будто узнавал свою работу, да и рама была та самая, заказанная по его рисунку. Догадка эта казалась чудовищно невероятной, но на Бэзила напал страх. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись, выведенная киноварью, длинными красными буквами.

Но этот портрет — мерзкая карикатура, подлое, бессовестное издевательство! Никогда он, Холлуорд, этого не писал...

И все-таки перед ним стоял тот самый портрет его работы. Он его узнал — и в то же мгновение почувство-

вал, что кровь словно заледенела в его жилах. Его картина! Что же это значит? Почему она так страшно изменилась?

Холлуорд обернулся к Дориану и посмотрел на него как безумный. Губы его судорожно дергались, пересохший язык не слушался, и он не мог выговорить ни слова. Он провел рукой по лбу — лоб был влажен от липкого пота.

А Дориан стоял, прислонясь к каминной полке, и наблюдал за ним с тем сосредоточенным выражением, какое бывает у людей, увлеченных игрой великого артиста. Ни горя, ни радости не выражало его лицо — только напряженный интерес зрителя. И, пожалуй, во взгляде мелькала искорка торжества. Он вынул цветок из петлицы и нюхал его или делал вид, что нюхает.

— Что же это? — вскрикнул Холлуорд и сам не узнал своего голоса — так резко и странно он прозвучал.

— Много лет назад, когда я был еще почти мальчик, — сказал Дориан Грей, смяв цветок в руке, — мы встретились, и вы тогда льстили мне, вы научили меня гордиться моей красотой. Потом вы меня познакомили с вашим другом, и он объяснил мне, какой чудесный дар — молодость, а вы написали с меня портрет, который открыл мне великую силу красоты. И в миг безумия, — я и сейчас еще не знаю, сожалеть мне об этом или нет, — я высказал желание... или, пожалуй, это была молитва...

— Помню! Ох, как хорошо я это помню! Но не может быть... Нет, это ваша фантазия. Портрет стоит в сырой комнате, и в полотно проникла плесень. Или, может быть, в красках, которыми я писал, оказалось какое-то едкое минеральное вещество... Да, да! А то, что вы вообразили, невозможно.

— Ах, разве есть в мире что-нибудь невозможное? — пробормотал Дориан, подойдя к окну и припав лбом к холодному запотевшему стеклу.

— Вы же говорили мне, что уничтожили портрет!

— Это неправда. Он уничтожил меня.

— Не могу поверить, что это моя картина.

— А разве вы не узнаете в ней свой идеал? — спросил Дориан с горечью.

— Мой идеал, как вы это называете...

— Нет, это вы меня так называли!

— Так что же? Тут не было ничего дурного, и я не стыжусь этого. Я видел в вас идеал, какого никогда больше не встречу в жизни. А это — лицо сатира.

— Это — лицо моей души.

— Боже, чему я поклонялся! У него глаза дьявола!..

— Каждый из нас носит в себе и ад и небо, Бэзил! — воскликнул Дориан в бурном порыве отчаяния.

Холлуорд снова повернулся к портрету и долго смотрел на него.

— Так вот что вы сделали со своей жизнью! Боже, если это правда, то вы, наверное, еще хуже, чем думают ваши враги!

Он поднес свечу к портрету и стал внимательно его рассматривать. Полотно на вид было нетронутым, осталось таким, каким вышло из его рук. Очевидно, ужасная порча проникла изнутри. Под влиянием какой-то неестественно напряженной скрытой жизни портрета проказа порока постепенно разъедала его. Это было страшнее, чем разложение тела в сырой могиле.

Рука Холлуорда так тряслась, что свеча выпала из подсвечника и потрескивала на полу. Он потушил ее каблуком и, тяжело опустившись на расшатанный стул, стоявший у стола, закрыл лицо руками.

— Дориан, Дориан, какой урок, какой страшный урок!

Ответа не было, от окна донеслись только рыдания Дориана.

— Молитесь, Дориан, молитесь! Как это нас учили молиться в детстве? «Не введи нас во искушение... Отпусти нам грехи наши... Очисти нас от скверны...»¹¹⁹ Помолитесь вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас — и за это наказан. Вы тоже слишком любили себя. Оба мы наказаны.

Дориан медленно обернулся к Холлуорду и посмотрел на него полными слез глазами.

— Поздно молиться, Бэзил, — с трудом выговорил он.

— Нет, никогда не поздно, Дориан. Станем на колени и постараемся припомнить слова какой-нибудь молитвы... Кажется, в Писании где-то сказано: «Хотя

бы грехи ваши были как кровь, я сделаю их белыми как снег»¹²⁰.

— Теперь это для меня уже пустые слова.

— Молчите, не надо так говорить! Вы и без того достаточно нагрелись в жизни. О Господи, разве вы не видите, как этот проклятый портрет подмигивает нам?

Дориан взглянул на портрет — и вдруг в нем вспыхнула неукротимая злоба против Бэзила Холлуорда, словно внушенная тем Дорианом на портрете, нашептанная его усмевающимися губами. В нем проснулось бешенство загнанного зверя, и в эту минуту он ненавидел человека, сидевшего у стола, так, как никогда никого в жизни.

Он блуждающим взглядом окинул комнату. На раскрашенной крышке стоявшего неподалеку сундука что-то блеснуло и привлекло его внимание. Он сразу сообразил, что это нож, он сам принес его сюда несколько дней назад, чтобы обрезать веревку, и позабыл унести.

Обходя стол, Дориан медленно направился к сундуку. Очутившись за спиной Холлуорда, он схватил нож и повернулся. Холлуорд сделал движение, словно собираясь встать. В тот же миг Дориан подскочил к нему, вонзил ему нож в артерию за ухом и, прижав голову Бэзила к столу, стал наносить удар за ударом.

Раздался глухой стон и ужасный хрип человека, захлебывающегося кровью. Три раза судорожно взметнулись протянутые вперед руки, странно двигая в воздухе скрюченными пальцами. Дориан еще дважды всадил нож... Холлуорд больше не шевелился. Что-то капало на пол. Дориан подождал минуту, все еще прижимая голову убитого к столу. Потом бросил нож и прислушался.

Нигде ни звука, только шелест капель, падающих на вытертый ковер. Дориан открыл дверь и вышел на площадку. В доме царила глубокая тишина. Видно, все спали. Несколько секунд он стоял, перегнувшись через перила, и смотрел вниз, пытаясь что-нибудь различить в черном колодце мрака. Потом вынул ключ из замка и, вернувшись в комнату, запер дверь изнутри.

Мертвец по-прежнему сидел, согнувшись и упав головой на стол; его неестественно вытянутые руки казались очень длинными. Если бы не красная рваная рана

на затылке и медленно разливавшаяся по столу темная лужа, можно было бы подумать, что человек просто заснул.

Как быстро все свершилось! Дориан был странно спокоен. Он открыл окно, вышел на балкон. Ветер разогнал туман, и небо было похоже на огромный павлиний хвост, усеянный мириадами золотых глаз. Внизу, на улице, Дориан увидел полисмена, который обходил участок, направляя длинный луч своего фонаря на двери спящих домов. На углу мелькнул и скрылся красный свет проезжавшего кеба. Какая-то женщина, пошатываясь, медленно брела вдоль решетки сквера, и ветер трепал шаль на ее плечах. По временам она останавливалась, оглядывалась, а раз даже запела хриплым голосом, и тогда полисмен, подойдя, что-то сказал ей. Она засмеялась и нетвердыми шагами поплелась дальше.

Налетел резкий ветер, газовые фонари на площади замигали синим пламенем, а голые деревья закачали черными, как чугун, сучьями. Дрожа от холода, Дориан вернулся с балкона в комнату и закрыл окно.

Подойдя к двери на лестнице, он отпер ее. На убитого он даже не взглянул. Он инстинктивно понимал, что главное теперь — не думать о случившемся. Друг, написавший роковой портрет, виновник всех его несчастий, ушел из его жизни. Вот и все.

Выходя, Дориан вспомнил о лампе. Это была довольно редкая вещь мавританской работы, из темного серебра, инкрустированная арабесками вороненой стали и усаженная крупной бирюзой. Ее исчезновение из библиотеки могло быть замечено лакеем, вызвать вопросы... Дориан на миг остановился в нерешительности, затем вернулся и взял лампу со стола. При этом он невольно посмотрел на труп. Как он неподвижен! Как страшна мертвенная белизна его длинных рук! Он напоминал жуткие восковые фигуры паноптикума.

Заперев за собой дверь, Дориан, крадучись, пошел вниз. По временам ступени под его ногами скрипели, словно стонали от боли. Тогда он замирал на месте и выжидал... Нет, в доме все спокойно, это только отзвук его шагов.

Когда он вошел в библиотеку, ему бросились в глаза саквояж и пальто в углу. Их надо было куда-нибудь

спрятать. Он открыл потайной шкаф в стене, где лежал костюм, в который он переодевался для своих ночных походов, и спрятал туда вещи Бэзила, подумав, что их потом можно будет просто сжечь. Затем посмотрел на часы. Было сорок минут второго.

Он сел и принялся размышлять. Каждый год, чуть не каждый месяц в Англии вешают людей за такие преступления, какое он только что совершил. В воздухе словно носится заразительная мания убийства. Должно быть, какая-то кровавая звезда подошла слишком близко к земле...

Однако какие против него улики? Бэзил Холлуорд ушел из его дома в одиннадцать часов. Никто не видел, как он вернулся: почти вся прислуга сейчас в Селби, а камердинер спит...

Париж!.. Да, да, все будут считать, что Бэзил уехал в Париж двенадцатичасовым поездом, как он и намеревался. Он вел замкнутый образ жизни, был до странности скрытен, так что пройдут месяцы, прежде чем его хватятся и возникнут какие-либо подозрения. Месяцы! А следы можно будет уничтожить гораздо раньше.

Вдруг его осенила новая мысль. Надев шубу и шапку, он вышел в переднюю. Здесь постоял, прислушиваясь к медленным и тяжелым шагам полицмена на улице и следя за отблесками его фонаря в окне. Притаив дыхание, он ждал.

Через несколько минут он отодвинул засов и тихонько вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Потом начал звонить.

Через пять минут появился заспанный и полуодевший лакей.

— Извините, Фрэнсис, что разбудил вас, — сказал Дориан, входя, — я забыл дома ключ. Который час?

— Десять минут третьего, сэр, — ответил слуга, сонно щурясь на часы.

— Третьего? Ох, как поздно! Завтра разбудите меня в девять, у меня с утра есть дело.

— Слушаю, сэр.

— Заходил вечером кто-нибудь?

— Мистер Холлуорд был, сэр. Ждал вас до одиннадцати, потом ушел. Он спешил на поезд.

— Вот как? Жаль, что он меня не застал! Он что-нибудь велел передать?

— Ничего, сэр. Сказал только, что напишет вам из Парижа, если не увидит еще сегодня в клубе.

— Ладно, Фрэнсис. Не забудьте же разбудить меня в девять.

— Не забуду, сэр.

Слуга зашагал по коридору, шлепая ночными туфлями. Дориан бросил пальто и шляпу на столик и пошел к себе в библиотеку. Минут пятнадцать он шагал из угла в угол и размышлял о чем-то, кусая губы. Потом снял с полки Синюю книгу и стал ее перелистывать. Ага, нашел! «Алан Кэмпбел — Мэйфер, Хертфорд-стрит, 152». Да, вот кто ему нужен сейчас!

ГЛАВА XIV

На другое утро слуга в девять часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. Дориан спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий.

Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо, и наконец Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость весела без причин, — в этом ее главное очарование.

Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окна смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота, почти как в мае.

Постепенно события прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу Дориана. Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к Бэзилу Холлуорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства.

А ведь мертвец все еще сидит там наверху! И теперь, при ярком солнечном свете. Это ужасно! Такое

отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем...

Дориан почувствовал, что заболевает или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать, — своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость, и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил.

Часы пробили половину десятого. Дориан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему, несколько раз переменил кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой, три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной, потом разорвал. «Убийственная вещь эта женская память!» — вспомнились ему слова лорда Генри.

Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой, жестом остановил выходявшего из комнаты лакея и, сев за письменный стол, написал два письма. Одно сунул в карман, другое отдал лакею.

— Снесите это, Фрэнсис, на Хертфорд-стрит, сто пятьдесят два. А если мистера Кэмпбела нет в Лондоне, узнайте его адрес.

Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Бэзиллом Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости.

Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были «Эмали и камеи» Готье в роскошном издании

Шарпантье на японской бумаге с гравюрами Жакмара¹²¹. На переплете из лимонно-желтой кожи был вытиснен узор — золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дориан остановил взгляд на поэме о руке Ласнера¹²², холодной желтой руке *du supplice encore mal lavée*, руке с рыжим пушком и *doigts de faune*^{*}. Дориан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы — и продолжал читать, пока не дошел до прелестных строф о Венеции¹²³:

Sur une gamme chromatique,
Le sein de perles ruisselant,
La Vénus de l'Adriatique
Sort de l'eau son corps rose et blanc.

Les dômes, sur l'azur des ondes
Suivant la phrase au pur contour,
S'enflent comme des gorges rondes
Que soulève un soupir d'amour.

L'esquif aborde et me dépose,
Jetant son amarre au pilier,
Devant une façade rose,
Sur le marbre d'un escalier**.

Какие чудные стихи! Читаешь их, и кажется, будто

* С которой еще не смыт след преступления... пальцами фавна (*фр.*).

** В волнение легкого размера

Лагун я вижу зеркала,
Где Адриатики Венера
Смеется, розово-бела.

Соборы средь морских безлюдий
В течение музыкальных фраз
Поднялись, как девичьи груди,
Когда волнует их экстаз.

Челнок пристал с колонной рядом,
Закинув за нее канат.
Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

(Перевод с фр. Н. Гумилева).

плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города в черной гондоле с серебряным носом и вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали Дориану те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, когда вы плывете к Лидо ¹²⁴. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта приводили на память птиц, с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, кампанилы ¹²⁵ или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад... Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя:

Пред розовеющим фасадом
Я прохожу ступеней ряд.

Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон, а для подлинной романтики фон — это все или почти все...

В Венеции тогда некоторое время жил и Бэзил. Он был без ума от Тинторетто ¹²⁶. Бедный Бэзил! Какая ужасная смерть!

Дориан вздохнул и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в чалмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную и важную беседу. Читал об Обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании льет гранитные слезы, тоскуя по солнцу и знойному, покрытому лотосами Нилу, стремясь туда, в страну сфинксов, где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими берилловыми глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле... Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивал с голосом контральто, о *monstre charmant*^{*}, которое покоится в порфириновом зале Лувра ¹²⁷.

* Дивное чудовище (фр.).

Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. Что, если Алан Кэмпбел уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг Алан не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога!

Пять лет назад они с Аланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались в свете, улыбался только Дориан Грей, Алан Кэмпбел — никогда.

Кэмпбел был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве, и если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был целиком обязан Дориану. Единственной страстью Алана была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни, к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры, о химии же имела представление весьма смутное и полагала, что химик — это что-то вроде аптекаря.

Впрочем, химия не мешала Алану быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дорианом Греем, музыка и то неизъяснимое обаяние, которое Дориан умел пускать в ход, когда хотел, а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у леди Беркшир однажды вечером, когда там играл Рубинштейн¹²⁸, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку.

Полтора года длилась эта дружба. Кэмпбела постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Гровенор-сквер. Он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. О какой-либо ссоре между Дорианом и Аланом не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом и Кэмпбел всегда уезжает раньше времени с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Потом Алан сильно переменялся, по временам впадал в

странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку: на концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить: Алан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами.

Этого-то человека и ожидал Дориан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, и он все сильнее волновался. Наконец встал и начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке. Он ходил большими бесшумными шагами. Руки его были холодными как лед.

Ожидание становилось невыносимым. Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги, а Дориан чувствовал себя как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны. Он знал, что его там ждет, он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишиться зрения даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно, фантазия, изощренная страхом, корчилась и металась, как живое существо от сильной боли, плясала подобно уродливой марионетке на подмостках, скалила зубы из-под меняющейся маски.

Затем Время внезапно остановилось. Да, это слепое медлительное существо уже перестало и ползти. И как только замерло Время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. А он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса.

Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. Дориан уставился на него мутными глазами.

— Мистер Кэмпбел, сэр, — доложил слуга.

Вздых облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова прилила к лицу.

— Просите сейчас же, Фрэнсис!

Дориан уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал.

Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился Алан Кэмпбел, суровый и бледный. Бледность лица

еще резче подчеркивали его черные как смоль волосы и темные брови.

— Алан, спасибо вам, что пришли. Вы очень добры.

— Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома. Но вы написали, что дело идет о жизни или смерти...

Алан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки Дориана.

— Да, Алан, дело идет о жизни или смерти — и не одного человека. Садитесь.

Кэмпбел сел у стола. Дориан — напротив. Глаза их встретились. Во взгляде Дориана светилось глубокое сожаление: он понимал, как ужасно то, что он собирается сделать.

После напряженной паузы он наклонился через стол и сказал очень тихо, стараясь по лицу Кэмпбела угадать, какое впечатление производят его слова:

— Алан, наверху, в запертой комнате, куда, кроме меня, никто не может войти, сидит у стола мертвец. Он умер десять часов тому назад... Сидите спокойно и не смотрите на меня так! Кто этот человек, отчего и как он умер — это вас не касается. Вам только придется сделать вот что...

— Замолчите, Грей! Я ничего не хочу больше слышать. Правду вы сказали или нет, — мне это безразлично. Я решительно отказываюсь иметь с вами дело. Храните про себя свои отвратительные тайны, они меня больше не интересуют.

— Алан, эту тайну вам придется узнать. Мне вас очень жаль, но ничего не поделаешь. Только вы можете меня спасти. Я вынужден посвятить вас в это дело — у меня нет иного выхода, Алан! Вы человек ученый, специалист по химии и другим наукам. Вы должны уничтожить то, что заперто наверху, — так уничтожить, чтобы следа от него не осталось. Никто не видел, как этот человек вошел в мой дом. Сейчас все уверены, что он в Париже. Несколько месяцев его отсутствие никого не будет удивлять. А когда его хватятся, — нужно, чтобы здесь не осталось и следа от него. Вы, Алан, и только вы должны превратить его и

все, что на нем, в горсточку пепла, которую можно развеять по ветру.

— Вы с ума сошли, Дориан!

— Ага, наконец-то вы назвали меня «Дориан»! Я этого только и ждал.

— Повторяю — вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не желаю я вмешиваться в это! Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию?.. Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях!

— Алан, это было самоубийство.

— В таком случае я рад за вас. Но кто его довел до самоубийства? Вы, конечно?

— Так вы все-таки отказываетесь мне помочь?

— Конечно, отказываюсь. Не хочу иметь с вами ничего общего. Пусть вы будете обесчещены — мне все равно. Поделом вам! Я даже буду рад вашему позору. Как вы смеете просить меня, особенно меня, впутаться в такое ужасное дело? Я думал, что вы лучше знаете людей. Ваш друг, лорд Генри Уоттон, многому научил вас, но психологии он вас, видно, плохо учил. Я палец о палец для вас не ударю. Ничто меня не заставит вам помочь. Вы обратились не по адресу, Грей. Обращайтесь за помощью к своим друзьям, но не ко мне!

— Алан, это убийство. Я убил его. Вы не знаете, сколько я выстрадал из-за него. В том, что жизнь моя сложилась так, а не иначе, этот человек виноват больше, чем бедный Гарри. Может, он и не хотел этого, но так вышло.

— Убийство?! Боже мой, так вы уже и до этого дошли, Дориан? Я не донесу на вас — не мое это дело. Но вас все равно, наверное, арестуют. Всякий преступник непременно делает какую-нибудь оплошность и выдает себя. Я же, во всяком случае, не стану в это вмешиваться.

— Вы должны вмешаться. Постойте, постойте, выслушайте меня, выслушайте, Алан. Я вас прошу только проделать научный опыт. Вы же бываете в больницах, в моргах, и то, что вы там делаете, уже не волнует вас. Если бы вы где-нибудь в анатомическом театре или зловонной лаборатории увидели этого человека на обитом жестью столе с желобами для стока крови, он для

вас был бы просто интересным объектом для опытов. Вы занялись бы им, не поморщившись. Вам и в голову бы не пришло, что вы делаете что-то дурное. Напротив, вы бы, вероятно, считали, что работаете на благо человечества, обогащаете науку, удовлетворяете похвальную любознательность, и так далее. То, о чем я вас прошу, вы делали много раз. И, уж конечно, уничтожить труп гораздо менее противно, чем делать то, что вы привыкли делать в секционных залах. Поймите, этот труп — единственная улика против меня. Если его обнаружат, я погиб. А его, несомненно, обнаружат, если вы меня не спасете.

— Вы забыли, что я вам сказал? Я не имею ни малейшего желания спасти вас. Вся эта история меня совершенно не касается.

— Алан, умоляю вас! Подумайте, в каком я положении! Вот только что перед вашим приходом я умирал от ужаса. Быть может, и вам когда-нибудь придется испытать подобный страх... Нет, нет, я не то хотел сказать!.. Взгляните на это дело с чисто научной точки зрения. Ведь вы же не спрашиваете, откуда те трупы, которые служат вам для опытов? Так не спрашивайте и сейчас ни о чем. Я и так уже сказал вам больше, чем следовало. Я вас прошу сделать это. Мы были друзьями, Алан!

— О прошлом вы не поминайте, Дориан. Оно умерло.

— Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. Алан, Алан! Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Алан! Понимаете? Меня повесят за то, что я сделал...

— Незачем продолжать этот разговор. Я решительно отказываюсь вам помогать. Вы, видно, помешались от страха, иначе не посмели бы обратиться ко мне с такой просьбой.

— Так вы не согласны?

— Нет.

— Алан, я вас умоляю!

— Это бесполезно.

Снова сожаление мелькнуло в глазах Дориана. Он протянул руку и, взяв со стола листок бумаги, что-то

написал на нем. Дважды перечел написанное, старательно сложил листок и бросил его через стол Алану. Потом встал и отошел к окну.

Кэмпбел удивленно посмотрел на него и развернул записку. Читая ее, он побледнел как смерть и съежился на стуле. Он ощутил ужасную слабость, а сердце билось, билось, словно в пустоте. Казалось, оно готово разорваться.

Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец Дориан обернулся и, подойдя к Алану, положил ему руку на плечо.

— Мне вас очень жаль, Алан, — сказал он шепотом, — но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано — вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я отошлю его. А что за этим последует, вы сами понимаете. Теперь вы не можете отказаться. Я долго пытался вас щадить — вы должны это признать. Ни один человек до сих пор не смел так говорить со мной — а если бы посмел, его бы уже не было на свете. Я все стерпел. Теперь моя очередь диктовать условия.

Кэмпбел закрыл лицо руками. Видно было, как он дрожит.

— Да, Алан, теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику! Дело совсем простое, и должно быть сделано. Решайтесь — и скорее приступайте к нему!

У Кэмпбела вырвался стон. Его бил озноб. Тиканье часов на камине словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову Алана все туже и туже сжимал железный обруч — как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца, — казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо.

— Ну же, Алан, решайтесь скорее!

— Не могу, — машинально возразил Кэмпбел, точно эти слова могли изменить что-нибудь.

— Вы должны. У вас нет выбора. Не медлите!

Кэмпбел с минуту еще колебался. Потом спросил:

— В той комнате, наверху, есть камин?

— Да, газовый, с асбестом.

— Мне придется съездить домой, взять кое-что в лаборатории.

— Нет, Алан, я вас отсюда не выпущу. Напишите, что вам нужно, а мой лакей съездит к вам и привезёт.

Кэмпбел нацарапал несколько строк, промакнул, а на конверте написал фамилию своего помощника. Дориан взял у него из рук записку и внимательно прочитал. Потом позвонил, отдал ее пришедшему на звонок слуге, наказав ему вернуться как можно скорее и все привезти.

Стук двери, захлопнувшейся за лакеем, заставил Кэмпбела нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он пошел к камину. Его трясло как в лихорадке. Минут двадцать он и Дориан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка.

Куранты пробили час. Кэмпбел обернулся и, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то, взбесившее Алана.

— Вы подлец, гнусный подлец! — сказал он тихо.

— Не надо, Алан! Вы спасли мне жизнь.

— Вашу жизнь? Силы небесные, что это за жизнь? Вы шли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете.

— Ах, Алан. — Дориан вздохнул. — Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того сострадания, какое я питаю к вам.

Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад.

Кэмпбел ничего не ответил.

Минут через десять раздался стук в дверь, и вошел слуга, неся большой ящик красного дерева с химическими препаратами, длинный моток стальной и платиновой проволоки и две железные скобы очень странной формы.

— Оставить все здесь, сэр? — спросил он, обращаясь к Кэмпбелу.

— Да, — ответил за Кэмпбела Дориан. — И, к сожалению, Фрэнсис, мне придется дать вам еще одно поручение. Как зовут того садовода в Ричмонде, что поставляет нам в Селби орхидеи?

— Харден, сэр.

— Да, да, Харден. Так вот, надо сейчас же съездить

к нему в Ричмонд и сказать, чтобы он прислал вдвое больше орхидей, чем я заказал, и как можно меньше белых... нет, пожалуй, белых совсем не нужно. Погода сегодня отличная, а Ричмонд — прелестное местечко, иначе я не стал бы вас утруждать.

— Помилуйте, какой же это труд, сэр! Когда прикажете вернуться?

Дориан посмотрел на Кэмпбела.

— Сколько времени займет ваш опыт, Алан? — спросил он самым естественным и спокойным тоном. Видимо, присутствие третьего лица придавало ему смелости.

Кэмпбел нахмурился, прикусил губу.

— Часов пять, — ответил он.

— Значит, можете не возвращаться до половины восьмого, Фрэнсис... А впрочем, знаете что: приготовьте перед уходом все, что мне нужно надеть, и тогда я могу отпустить вас на весь вечер. Я обедаю не дома, так что вы мне не нужны.

— Благодарю вас, сэр, — сказал лакей и вышел.

— Ну, Алан, теперь за дело, нельзя терять ни минуты. Ого, какой тяжелый ящик! Я понесу его, а вы все остальное.

Дориан говорил быстро и повелительным тоном.

Кэмпбел покорился. Они вместе вышли в переднюю.

На верхней площадке Дориан достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту, глаза его тревожно забегали, руки тряслись.

— Алан, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он.

— Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался Кэмпбел.

Дориан приоткрыл дверь, и ему бросилось в глаза освещенное солнцем ухмыляющееся лицо портрета. На полу валялось разорванное покрывало. Он вспомнил, что прошлой ночью, впервые за все эти годы, забыл укрыть портрет, и уже хотел было броситься к нему, поскорее его завесить, но вдруг в ужасе отпрянул.

Что это за отвратительная влага, красная и блестящая, выступила на одной руке портрета, как будто полотно покрылось кровавым потом? Какой ужас! Это показалось ему даже страшнее, чем неподвижная фигу-

ра, которая, как он знал, сидит тут же в комнате, навалившись на стол, — ее уродливая тень на залитом кровью ковре свидетельствовала, что она на том же месте, где была вчера.

Дориан тяжело перевел дух и, шире открыв дверь, быстро вошел в комнату. Опустив глаза и отворачиваясь от мертвеца, в твердой решимости ни разу не взглянуть на него, он нагнулся, подобрал пурпурно-золотое покрывало и набросил его на портрет.

Боясь оглянуться, он стоял и смотрел неподвижно на сложный узор вышитой ткани. Он слышал, как Кэмпбел внес тяжелый ящик, потом все остальные вещи, нужные ему. И Дориан неожиданно спросил себя, был ли Алан знаком с Бэзилем Холлуордом и, если да, то что они думали друг о друге?

— Теперь уходите, — произнес за его спиной суровый голос.

Он повернулся и поспешно вышел. Успел только заметить, что мертвец теперь посажен прямо, прислонен к спинке стула и Кэмпбел смотрит в его желтое, лоснящееся лицо. Сходя вниз, он услышал, как щелкнул ключ в замке.

Было уже гораздо позднее семи, когда Кэмпбел вернулся в библиотеку. Он был бледен, но совершенно спокоен.

— Я сделал то, чего вы требовали. А теперь прощайте навсегда. Больше я не хочу с вами встречаться.

— Вы спасли мне жизнь, Алан. Этого я никогда не забуду, — сказал Дориан просто.

Как только Кэмпбел ушел, Дориан побежал наверх. В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.

ГЛАВА XV

В тот же вечер, в половине девятого, Дориан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности, но он поцеловал руку хозяйки дома с обычной своей непринужденной грацией. Пожалуй, спокойст-

вие и непринужденность кажутся более всего естественными тогда, когда человек вынужден притворяться. И, конечно, никто из тех, кто видел Дориана Грея в этот вечер, ни за что бы не поверил, что он пережил трагедию, страшнее которой не бывает в наше время. Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы оскорблять Бога и все, что священно для человека! Дориан и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение.

В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного — только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говаривал лорд Генри, остатки поистине замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека, а по смерти супруга похоронила его с подобающей пышностью в мраморном мавзолее, сооруженном по ее собственному рисунку, выдала дочерей замуж за богатых, но довольно пожилых людей и теперь на свободе наслаждалась французскими романами, французской кухней и французским остроумием, когда ей удавалось где-нибудь обнаружить его.

Дориан был одним из ее особенных любимцев, и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретила с ним, когда была еще молода.

«Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, — говаривала она, — и ради вас забросила бы свой чепец за мельницу¹²⁹. Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было! Впрочем, в мое время дамские чепцы были так уродливы, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне не пришлось даже ни с кем пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук, а что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?»

В этот вечер в гостиной леди Нарборо было довольно скучно. К ней, — как она тихонько пояснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, — совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей и, что всего хуже, привезла с собой своего супруга.

— Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны, — шепотом жаловалась леди Нарборо. — Правда, я тоже у них гощу каждое лето по возвращении из Гамбурга, — но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование! Настоящие провинциалы! Встают чуть свет, потому что у них очень много дел, и ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем. Со времен королевы Елизаветы¹³⁰ во всей округе не было ни одной скандальной истории, и им остается только спать после обеда. Но вы не бойтесь, за столом вы не будете сидеть рядом с ними! Я вас посажу подле себя, и вы будете меня занимать.

Дориан в ответ сказал ей какую-то любезность и обвел глазами гостиную. Общество собралось явно неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них, здесь были Эрнест Хорроуден, бесцветная личность средних лет, каких много среди завсегдатаев лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья; леди Рэкстон, чересчур разряженная сорокасемилетняя дама с крючковатым носом, которая жаждала быть скомпрометированной, но была настолько дурна собой, что, к великому ее огорчению, никто не верил в ее безнравственное поведение; миссис Эрлин, дама без положения в обществе, но весьма энергично стремившаяся его завоевать, рыжая, как венецианка, и премило картавившая; дочь леди Нарборо, леди Элис Чэпмен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом; и муж ее, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить.

Дориан уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарборо взглянула на большие часы из золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула:

— Генри Уоттон непозволительно опаздывает! А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти.

Известие, что придет лорд Генри, несколько утешит

ло Дориана, и, когда дверь открылась и он услышал протяжный и мелодичный голос, придававший очарование неискреннему извинению, его скуку и досаду как рукой сняло.

Но за обедом он ничего не мог есть. Тарелку за тарелкой уносили нетронутыми. Леди Нарборо все время бранила его за то, что он «обижает бедного Адольфа, который придумал меню специально по его вкусу», а лорд Генри издали поглядывал на своего друга, удивленный его молчаливостью и рассеянностью. Дворецкий время от времени наливал Дориану шампанского, и Дориан выпивал его залпом, — жажда мучила его все сильнее.

— Дориан, — сказал наконец лорд Генри, когда подали *chaudfroid**. — Что с вами сегодня? Вы на себя не похожи.

— Влюблен, наверное! — воскликнула леди Нарборо. — И боится, как бы я его не приревновала, если узнаю об этом. И он совершенно прав. Конечно, я буду ревновать!

— Дорогая леди Нарборо, — сказал Дориан с улыбкой, — я не влюблен ни в кого вот уже целую неделю — с тех пор как госпожа де Феррол уехала из Лондона.

— Как это вы, мужчины, можете увлечься такой женщиной! Это для меня загадка, право, — заметила старая дама.

— Мы ее любим за то, леди Нарборо, что она помнит вас маленькой девочкой, — вмешался лорд Генри. — Она единственное звено между нами и вашими короткими платьицами.

— Она вовсе не помнит моих коротких платьиц, лорд Генри. Зато я помню очень хорошо, какой она была тридцать лет назад, когда мы встретились в Вене, и как она тогда была *décolletée***.

— Она и теперь появляется в обществе не менее *décolletée*, — отозвался лорд Генри, беря длинными пальцами маслину. — И когда разоденется, то напоминает *édition de luxe**** плохого французского романа. Но она занятная женщина, от нее всегда можно ожидать

* Заливное из дичи (фр.).

** Декольтирована (фр.).

*** Роскошное издание (фр.).

какого-нибудь сюрприза. А какое у нее любвеобильное сердце, какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые.

— Гарри, как вам не стыдно! — воскликнул Дориан.

— В высшей степени поэтическое объяснение! — воскликнула леди Нарборо со смехом. — Вы говорите — третий муж? Неужели же Феррол у нее четвертый?

— Именно так, леди Нарборо!

— Ни за что не поверю.

— Ну, спросите у мистера Грея, ее близкого друга.

— Мистер Грей, это правда?

— По крайней мере, так она утверждает, леди Нарборо. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита Наваррская. Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца.

— Четыре мужа! Вот уж можно сказать — *trop de zèle!**

— Вернее — *trop d'audace!*** Я так и сказал ей, — отозвался Дориан.

— О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой! А что собой представляет этот Феррол? Я его не знаю.

— Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри, отхлебнув глоток вина.

Леди Нарборо ударила его веером.

— Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком.

— Неужели? — спросил лорд Генри, поднимая брови. — Вероятно, вы имеете в виду *тот* свет? С *этим* светом я в прекрасных отношениях.

— Нет, все, кого я только знаю, говорят, что вы опасный человек, — настаивала леди Нарборо, качая головой.

Лорд Генри на минутку стал серьезен.

— Просто возмутительно, — сказал он, — что в

* Слишком большое рвение (*фр.*).

** Слишком большая смелость (*фр.*).

наше время принято за спиной у человека говорить о нем вещи, которые... безусловно верны.

— Честное слово, он неисправим! — воскликнул Дориан, наклоняясь через стол..

— Надеюсь, что это так, — воскликнула, смеясь, леди Нарборо. — И послушайте — раз все вы до смешного восторгаетесь мадам де Феррол, придется, видно, и мне выйти замуж второй раз, чтобы не отстать от моды.

— Вы никогда больше не выйдете замуж, леди Нарборо, — возразил лорд Генри. — Потому что вы были счастливы в браке. Женщина выходит замуж вторично только в том случае, если первый муж был ей противен. А мужчина женится опять только потому, что очень любил первую жену. Женщины ищут в браке счастья, мужчины ставят свое на карту.

— Нарборо был не так уж безупречен, — заметила старая леди.

— Если бы он был совершенством, вы бы его не любили, дорогая. Женщины любят нас за наши недостатки. Если этих недостатков изрядное количество, они готовы все нам простить, даже ум... Боюсь, что за такие речи вы перестанете приглашать меня к обеду, леди Нарборо, но что поделаешь — это истинная правда.

— Конечно, это верно, лорд Генри. Если бы женщины не любили вас, мужчин, за ваши недостатки, что было бы с вами? Ни одному мужчине не удалось бы жениться, все вы остались бы несчастными холостяками. Правда, и это не заставило бы вас перемениться. Теперь все женатые мужчины живут как холостяки, а все холостые — как женатые.

— *Fin de siècle!** — проронил лорд Генри.

— *Fin du globe!*** — подхватила леди Нарборо.

— Если бы поскорее *fin du globe!* — вздохнул Дориан. — Жизнь — сплошное разочарование.

— Ах, дружок, не говорите мне, что вы исчерпали жизнь! — воскликнула леди Нарборо, натягивая перчатки. — Когда человек так говорит, знайте, что жизнь исчерпала его. Лорд Генри — человек безнравствен-

* Конец века (*фр.*).

** Конец света (*фр.*).

ный, а я порой жалею, что была добродетельна. Но вы — другое дело. Вы не можете быть дурным — это видно по вашему лицу. Я непременно подыщу вам хорошую жену. Лорд Генри, вы не находите, что мистеру Грею пора жениться?

— Я ему всегда это твержу, леди Нарборо, — сказал лорд Генри с поклоном.

— Ну, значит, надо найти ему подходящую партию. Сегодня же внимательно просмотрю Дебретта¹³¹ и составлю список всех невест, достойных мистера Грея.

— И укажете их возраст, леди Нарборо? — спросил Дориан.

— Обязательно укажу, — конечно, с некоторыми поправками. Однако в таком деле спешка не годится. Я хочу, чтобы это был, как выражается «Морнинг пост», подобающий брак и чтобы вы и жена были счастливы.

— Сколько ерунды у нас говорится о счастливых браках! — возмутился лорд Генри. — Мужчина может быть счастлив с какой угодно женщиной, если только он ее не любит.

— Какой же вы циник! — воскликнула леди Нарборо, отодвинув свой стул от стола и кивнув леди Рэкстон. — Навещайте меня почаще, лорд Генри. Вы на меня действуете гораздо лучше, чем все тонические средства, которые мне прописывает сэр Эндрью. И скажите заранее, кого вам хотелось бы встретить у меня. Я постараюсь подобрать как можно более интересную компанию.

— Я люблю мужчин с будущим и женщин с прошлым, — ответил лорд Генри. — Только, пожалуй, тогда вам удастся собрать исключительно дамское общество.

— Боюсь, что да! — со смехом согласилась леди Нарборо.

Она встала из-за стола и обратилась к леди Рэкстон:

— Ради бога, извините, моя дорогая, я не видела, что вы еще не докурили папиросу.

— Не беда, леди Нарборо, я слишком много курю. Я и то уже решила быть умереннее.

— Ради бога, не надо, леди Рэкстон, — сказал лорд Генри. — Воздержание — в высшей степени пагубная привычка. Умеренность — это все равно что обыкно-

венный скучный обед, а неумеренность — праздничный пир.

Леди Рэкстон с любопытством посмотрела на него.

— Непременно приезжайте как-нибудь ко мне, лорд Генри, и разъясните мне это подробнее. Ваша теория очень увлекательна, — сказала она, выплывая из столовой.

— Ну-с, мы уходим наверх, а вы тоже не занимайтесь тут слишком долго политикой и сплетнями, приходите поскорее, иначе мы там все перессоримся! — крикнула леди Нарборо с порога.

Все засмеялись. Когда дамы вышли, мистер Чэпмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дориан Грей тоже пересел — поближе к лорду Генри. Мистер Чэпмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер», столь страшное для англичанина, слышалось по временам среди взрывов смеха. Мистер Чэпмен поднимал британский флаг на башнях Мысли и доказывал, что наследственная тупость британской нации (этот оптимист, конечно, именовал ее «английским здравым смыслом») есть подлинный оплот нашего общества.

Лорд Генри слушал его с усмешкой. Наконец он повернулся и взглянул на Дориана.

— Ну, что, мой друг, вы уже чувствуете себя лучше? За обедом вам как будто было не по себе?

— Нет, я совершенно здоров, Генри. Немного устал, вот и все.

— Вчера вы были в ударе и совсем пленили маленькую герцогиню. Она мне сказала, что собирается в Селби.

— Да, она обещала приехать двадцатого.

— И Монмаут приедет с нею?

— Ну конечно, Гарри.

— Он мне ужасно надоел, почти так же, как ей. Она умница, умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки герцогини очень красивы, но они не глиняные. Скорее можно сказать, что они из белого фарфора. Ее ножки прошли через огонь, а то, что

огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни.

— Давно она замужем? — спросил Дориан.

— По ее словам, целую вечность. А в книге пэров, насколько я помню, указано десять лет. Но десять лет жизни с Монмаутом могут показаться вечностью... А кто еще придет в Селби?

— Виллоуби и лорд Рэгби — оба с женами, потом леди Нарборо, Джеффри, Глостон, — словом, все та же обычная компания. Я пригласил еще лорда Гротриана.

— А, вот это хорошо! Он мне нравится. Многие его не любят, а я нахожу, что он очень мил. Если иной раз чересчур франтит, то этот грех искупается его замечательной образованностью. Он вполне современный человек.

— Погодите радоваться, Гарри, — еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, что ему придется везти отца в Монте-Карло.

— Ох, что за несносный народ эти родители! Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал, уговорите его... Кстати, Дориан, вы очень рано сбежали от меня вчера, — еще и одиннадцати не было. Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой?

Дориан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился.

— Нет, Гарри, — не сразу ответил он. — Домой я вернулся только около трех.

— Были в клубе?

— Да... То есть нет! — Дориан прикусил губу. — В клубе я не был. Так, гулял... Не помню, где был... Как вы любопытны, Гарри! Непременно вам нужно знать, что человек делает. А я всегда стараюсь забыть, что я делал. Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собою ключ, и моему лакею пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него.

Лорд Генри пожал плечами.

— Полноте, мой милый, на что мне это нужно! Пойдемте в гостиную к дамам... Нет, спасибо, мистер Чэпмен, я не пью хереса... С вами что-то случилось, Дориан! Скажите мне что? Вы сегодня сам не свой.

— Ах, Гарри, не обращайтесь на это внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает.

Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду, мне надо ехать домой. Передайте леди Нарборо мои извинения.

— Ладно, Дориан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет.

— Постараюсь, — сказал Дориан, уходя.

Он ехал домой, чувствуя, что страх, который он, казалось, уже подавил в себе, снова вернулся. Случайный вопрос лорда Генри вывел его из равновесия, а ему сейчас очень нужно было сохранить самообладание и мужество. Предстояло уничтожить опасные улики, и он содрогался при одной мысли об этом. Ему даже дотронуться до них было страшно.

Но это было необходимо. И, войдя к себе в библиотеку, Дориан запер дверь изнутри, затем открыл тайник в стене, куда спрятал пальто и саквояж Бэзила. В камине пылал яркий огонь. Дориан подбросил еще поленьев... Запах паленого сукна и горящей кожи был невыносим. Чтобы все уничтожить, пришлось провозиться целых три четверти часа. Под конец Дориана даже начало тошнить, кружилась голова. Он зажег несколько алжирских курительных свечек на медной жаровне, потом смочил руки и лоб освежающим ароматным уксусом...

Вдруг зрачки его расширились, в глазах появился странный блеск. Он нервно закусил нижнюю губу. Между окнами стоял флорентийский шкаф черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и ляпис-лазури. Дориан уставился на него как замороженный, — казалось, шкаф его и привлекал и пугал, словно в нем хранилось что-то, чего он жаждал и что вместе с тем почти ненавидел. Он задыхался от неистового желания... Закурил папиросу — и бросил. Веки его опустились так низко, что длинные пушистые ресницы почти касались щек. Но он все еще не двигался и не отрывал глаз от шкафа.

Наконец он встал с дивана, подошел к шкафу и, отперев, нажал секретную пружину. Медленно выдвинулся треугольный ящичек. Пальцы Дориана инстинктивно потянулись к нему, проникли внутрь и вынули китайскую лакированную шкатулку, черную с золотом, тончайшей отделки, с волнистым орнаментом на стенках, с шелковыми шнурками, которые были униза-

ны хрустальными бусами и кончались металлическими кисточками. Дориан открыл шкатулку. Внутри лежала зеленая паста, похожая на воск, со странно-тяжелым запахом.

Минуту-другую он медлил с застывшей на губах улыбкой. В комнате было очень жарко, а его знобило. Он потянулся, глянул на часы... Было без двадцати двенадцать. Он поставил шкатулку на место, захлопнул дверцы шкафа и пошел в спальню.

Когда бронзовый бой часов во мраке возвестил полночь, Дориан Грей в одежде простолюдина, обмотав шарфом шею, крадучись, вышел из дому. На Бонд-стрит он встретил кеб с хорошей лошадкой. Он подозвал его и вполголоса сказал кучеру адрес.

Тот покачал головой.

— Это слишком далеко.

— Вот вам совершен, — сказал Дориан. — И получите еще один, если поедете быстро.

— Ладно, сэр, — отозвался кучер. — Через час будете на месте.

Дориан сел в кеб, а кучер, спрятав деньги, повернул лошадь и помчался по направлению к Темзе.

ГЛАВА XVI

Полил холодный дождь, и сквозь его туманную завесу тусклый свет уличных фонарей казался жутко-мертвенным. Все трактиры уже закрывались, у дверей их стояли кучками мужчины и женщины, неясно видные в темноте. Из одних кабаков вылетали на улицу взрывы грубого хохота, в других пьяные визжали и переругивались. Полулежа в кебе и низко надвинув на лоб шляпу, Дориан Грей равнодушно наблюдал отвратительную изнанку жизни большого города и время от времени повторял про себя слова, сказанные ему лордом Генри в первый день их знакомства: «Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Да, в этом весь секрет! Он, Дориан, часто старался это делать, будет стараться и впредь. Есть притоны для курильщиков опиума, где можно купить забвение. Есть ужасные вертепы, где память о старых грехах можно утопить в безумии новых.

Луна, низко висевшая в небе, была похожа на желтый череп. Порой большущая безобразная туча протягивала длинные щупальца и закрывала ее. Все реже встречались фонари, и улицы, которыми проезжал теперь кеб, становились все более узкими и мрачными. Кучер даже раз сбился с дороги, и пришлось ехать обратно с полмили. Лошадь уморилась, шлепая по лужам, от нее валил пар. Боковые стекла кеба были снаружи плотно укрыты серой фланелью тумана.

«Лечите душу ощущениями, а ощущения пусть лечит душа». Как настойчиво звучали эти слова в ушах Дориана. Да, душа его больна смертельно. Но вправду ли ощущения могут исцелить ее? Ведь он пролил невинную кровь. Чем можно это искупить? Нет, этому нет прощения!..

Ну что ж, если нельзя себе этого простить, так можно забыть.

И Дориан твердо решил забыть, вычеркнуть все из памяти, убить прошлое, как убивают гадюку, ужалившую человека. В самом деле, какое право имел Бэзил говорить с ним так? Кто его поставил судьей над другими людьми? Он сказал ужасные слова, слова, которые невозможно было стерпеть.

Кеб тащился все дальше, и казалось, с каждым шагом все медленнее. Дориан опустил стекло и крикнул кучеру, чтобы он ехал быстрее. Его томила мучительная жажда опиума, в горле пересохло, холеные руки конвульсивно сжимались. Он в бешенстве ударил лошадь своей тростью. Кучер рассмеялся и, в свою очередь, подстегнул ее кнутом. Дориан тоже засмеялся — и кучер почему-то притих.

Казалось, езде не будет конца. Сеть узких улочек напоминала широко раскинутую черную паутину. В однообразии их было что-то угнетающее. Туман все сгущался. Дориану стало жутко.

Проехали пустынный квартал кирпичных заводов. Здесь туман был не так густ, и можно было разглядеть печи для обжига, похожие на высокие бутылки, из которых вырывались оранжевые веерообразные языки пламени. На проезжий кеб залаяла собака, где-то далеко во мраке кричала заблудившаяся чайка. Лошадь споткнулась, попав ногой в колею, шарахнулась в сторону и поскакала галопом.

Через некоторое время они свернули с грунтовой дороги, и кеб снова загрохотал по неровной мостовой. В окнах домов было темно, и только кое-где на освещенной изнутри шторе мелькали фантастические силуэты. Дориан с интересом смотрел на них. Они двигались, как громадные марионетки, а жестикулировали, как живые люди. Но скоро они стали раздражать его. В душе поднималась глухая злоба. Когда завернули за угол, женщина крикнула им что-то из открытой двери, в другом месте двое мужчин погнались за кебом и пробежали ярдов сто. Кучер отогнал их кнутом.

Говорят, у человека, одержимого страстью, мысли вращаются в замкнутом кругу. Действительно, искусанные губы Дориана Грея с утомительной настойчивостью повторяли и повторяли все ту же коварную фразу о душе и ощущениях, пока он не внушил себе, что она полностью выражает его настроение и оправдывает страсти, которые, впрочем, и без этого оправдания все равно владели бы им. Одна мысль заполонила его мозг, клетку за клеткой, и неистовая жажда жизни, самое страшное из человеческих желаний, напрягала, заставляя трепетать каждый нерв, каждый фибр его тела. Уродства жизни, когда-то ненавистные ему, потому что возвращали к действительности, теперь по той же причине стали ему дороги. Да, безобразие жизни стало единственной реальностью. Грубые ссоры и драки, грязные притоны, бесшабашный разгул, низость воров и подонков общества поражали его воображение сильнее, чем прекрасные творения Искусства и грезы, навеваемые Поэзией. Они были ему нужны, потому что давали забвение. Он говорил себе, что через три дня отделается от воспоминаний.

Вдруг кучер рывком остановил кеб у темного переулка. За крышами и ветхими дымовыми трубами невысоких домов виднелись черные мачты кораблей. Клубы белого тумана, похожие на призрачные паруса, льнули к их реям.

— Это где-то здесь, сэр? — хрипло спросил кучер через стекло.

Дориан встрепенулся и окинул улицу взглядом.

— Да, здесь, — ответил он и, поспешно выйдя из кеба, дал кучеру обещанный второй соверен, затем быстро зашагал по направлению к набережной. Кое-где

на больших торговых судах горели фонари. Свет их мерцал и дробился в лужах. Вдалеке пылали красные огни парохода, отправлявшегося за границу и набравшего уголь. Скользящая мостовая блестела, как мокрый макинтош.

Дориан пошел налево, то и дело оглядываясь, чтобы убедиться, что никто за ним не следит. Через семь-восемь минут он добрался до ветхого, грязного дома, вклинившегося между двумя захудалыми фабриками. В окне верхнего этажа горела лампа. Здесь Дориан остановился и постучал в дверь. Стук был условный.

Через минуту он услышал шаги в коридоре, и забренчала снятая с крюка дверная цепочка. Затем дверь тихо отворилась, и он вошел, не сказав ни слова приземистому тучному человеку, который отступил во мрак и прижался к стене, давая ему дорогу. В конце коридора висела грязная зеленая занавеска, колыхавшаяся от резкого ветра, который ворвался в открытую дверь. Отдернув эту занавеску, Дориан вошел в длинное помещение с низким потолком, похожее на третьеразрядный танцкласс. На стенах горели газовые рожки, их резкий свет тускло и криво отражался в засиженных мухами зеркалах. Над газовыми рожками рефлекторы из гофрированной жести казались дрожащими кругами огня. Пол был усыпан ярко-желтыми опилками со следами грязных башмаков и темными пятнами от пролитого вина. Несколько малайцев, сидя на корточках у топившейся железной печурки, играли в кости, болтали и смеялись, скаля белые зубы. В одном углу, навалившись грудью на стол и положив голову на руки, сидел моряк, а у пестро размалеванной стойки, занимавшей всю стену, две изможденные женщины дразнили старика, который брезгливо чистил щеткой рукава своего пальто.

— Ему все чудится, будто по нему красные муравьи ползают, — с хохотом сказала одна из женщин проходившему мимо Дориану. Старик с ужасом посмотрел на нее и жалобно захныкал.

В дальнем конце комнаты лесенка вела в затемненную каморку. Дориан взбежал по трем расшатанным ступенькам, и ему ударил в лицо душный запах опиума. Он глубоко вдохнул его, и ноздри его затрепетали

от наслаждения. Когда он вошел, белокурый молодой человек, который, наклонясь над лампой, зажигал длинную тонкую трубку, взглянул на него и нерешительно кивнул ему головой.

— Вы здесь, Адриан?

— Где же мне еще быть? — был равнодушный ответ. — Со мной теперь никто из прежних знакомых и разговаривать не хочет.

— А я думал, что вы уехали из Англии.

— Дарлингтон палец о палец не ударит... Мой брат наконец уплатил по векселю... Но Джордж тоже меня знать не хочет... Ну, да все равно, — добавил он со вздохом. — Пока есть вот это снабдьё, друзья мне не нужны. Пожалуй, у меня их было слишком много.

Дориан вздрогнул и отвернулся. Он обвел глазами жуткие фигуры, в самых нелепых и причудливых позах раскинувшиеся на рваных матрацах. Судорожно скрюченные руки и ноги, разинутые рты, остановившиеся тусклые зрачки — эта картина словно заворачивала его. Ему были знакомы муки того странного рая, в котором пребывали эти люди, как и тот мрачный ад, что открывал им тайны новых радостей. Сейчас они чувствовали себя счастливее, чем он, ибо он был в плену у своих мыслей. Воспоминания, как страшная болезнь, глодали его душу. Порой перед ним всплывали устремленные на него глаза Бэзила Холлуорда. Как ни жаждал он поскорее забыться, он почувствовал, что не в силах здесь оставаться. Присутствие Адриана Синглтона смущало его. Хотелось уйти куда-нибудь, где его никто не знает. Он стремился уйти от самого себя.

— Пойду в другое место, — сказал он после некоторого молчания.

— На верфь?

— Да.

— Но эта дикая кошка, наверное, там. Сюда ее больше не пускают.

Дориан пожал плечами.

— Ну что ж! Мне до тошноты надоели влюбленные женщины. Женщины, которые ненавидят, гораздо интереснее. Кроме того, зелье там лучше.

— Да нет, такое же.

— Тамошнее мне больше по вкусу. Пойдемте выпьем чего-нибудь. Мне сегодня хочется напиться.

— А мне ничего не хочется, — пробормотал Адриан.

— Все равно, пойдемте.

Адриан Синглтон лениво встал и пошел за Дорианом к буфету. Мулат в рваной чалме и потрепанном пальто приветствовал их, противно скаля зубы, и со стуком поставил перед ними бутылку бренди и две стопки. Женщины, стоявшие у прилавка, тотчас придвинулись ближе и стали заговаривать с ними. Дориан повернулся к ним спиной и что-то тихо сказал Синглтону.

Одна из женщин криво усмехнулась.

— Ишь какой он сегодня гордый! — фыркнула она.

— Ради бога, оставь меня в покое! — крикнул Дориан, топнув ногой. — Чего тебе надо? Денег? На, возьми и не смей со мной больше заговаривать.

Красные искры вспыхнули на миг в мутных зрачках женщины, но тотчас потухли, и глаза снова стали тусклыми и безжизненными. Она тряхнула головой и с жадностью сгребла со стойки брошенные ей монеты. Ее товарка завистливо наблюдала за ней.

— Ни к чему это, — со вздохом сказал Адриан, продолжая разговор. — Я не стремлюсь вернуться туда. Зачем? Мне и здесь очень хорошо.

— Напишите мне, если вам понадобится что-нибудь. Обещаете? — спросил Дориан, помолчав.

— Может быть, и напишу.

— Ну, пока до свиданья.

— До свиданья, — ответил молодой человек и, утирая платком запекшиеся губы, стал подниматься по лестнице.

Дориан с болью посмотрел ему вслед и пошел к выходу. Когда он отодвигал занавеску, ему вдогонку прозвучал циничный смех женщины, которой он дал деньги.

— Уходит эта добыча дьявола! — хрипло закричала она, икая.

— Не смей меня так называть, проклятая! — крикнул Дориан в ответ.

Она щелкнула пальцами и еще громче заорала ему вслед:

— А тебе хочется, чтобы тебя называли Прекрасный Принц, да?

Дремавший за столом моряк, услышав эти слова, вскочил и как безумный осмотрелся кругом. Когда из

прихожей донесся стук захлопнувшейся двери, он выбежал стремглав, словно спасаясь от погони.

Дориан Грей под морозящим дождем быстро шел по набережной. Встреча с Адрианом Синглтоном почему-то сильно взволновала его, и он спрашивал себя, прав ли был Бэзил Холлуорд, когда с такой оскорбительной прямоотой сказал ему, что разбитая жизнь этого юноши — дело рук его, Дориана. На минуту глаза его приняли печальное выражение. Но он тотчас же встряхнулся.

Собственно, ему-то что? Слишком коротка жизнь, чтобы брать на себя еще и бремя чужих ошибок. Каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам. Жаль только, что так часто человеку за одну-единственную ошибку приходится расплачиваться без конца. В своих расчетах с человеком Судьба никогда не считает его долг погашенным.

Если верить психологам, бывают моменты, когда жажда греха (или того, что люди называют грехом) так овладевает человеком, что каждым фибром его тела, каждой клеточкой его мозга движут опасные инстинкты. В такие моменты люди теряют свободу воли. Как автоматы, идут они навстречу своей гибели. У них уже нет иного выхода, сознание их либо молчит, либо своим вмешательством только делает бунт заманчивее. Ведь теологи не устают твердить нам, что самый страшный из грехов — это грех непослушания. Великий дух, предтеча зла, был изгнан с небес именно за мятеж¹³².

Бесчувственный ко всему, жаждущий лишь утешений порока, Дориан Грей, человек с оскверненным воображением и бунтующей душой, спешил вперед, все ускоряя шаг. Но когда он нырнул в темный крытый проход, которым часто пользовался для сокращения пути к тому притону с дурной славой, куда он направлялся, — сзади кто-то неожиданно схватил его за плечи и, не дав ему опомниться, прижал к стене, грубой рукой вцепившись ему в горло.

Дориан стал отчаянно защищаться и, сделав страшное усилие, оторвал от горла сжимавшие его пальцы. В ту же секунду щелкнул курок, и в глаза Дориану блеснул револьвер, направленный прямо ему в лоб. Он смутно видел в темноте стоявшего перед ним невысокого, коренастого мужчину.

— Чего вам надо? — спросил Дориан, задыхаясь.

— Стойте смирно! — скомандовал тот. — Только шевельнитесь — и я вас пристрелю.

— Вы с ума сошли! Что я вам сделал?

— Вы разбили жизнь Сибила Вэйн, а Сибила Вэйн — моя сестра. Она покончила с собой. Я знаю, это вы виноваты в ее смерти, и я дал клятву убить вас. Столько лет я вас разыскивал — ведь не было никаких следов... Только два человека могли бы вас описать, но оба они умерли. Я ничего не знал о вас — только то ласкательное прозвище, что она дала вам. И сегодня я случайно услышал его. Молитесь Богу, потому что вы сейчас умрете.

Дориан Грей обомлел от страха.

— Я ее никогда не знал, — прошептал он, заикаясь. — И не слыхивал о ней. Вы сумасшедший.

— Кайтесь в своих грехах, я вам говорю, потому что вы умрете, это так же верно, как то, что я — Джеймс Вэйн.

Страшная минута. Дориан не знал, что делать, что сказать.

— На колени! — прорычал Джеймс Вэйн. — Даю вам одну минуту, не больше, чтобы помолиться. Сегодня я уйду в плавание и сначала должен расквитаться с вами. Даю одну минуту, и все.

Дориан стоял, опустив руки, парализованный ужасом. Вдруг в душе его мелькнула отчаянная надежда...

— Стойте! — воскликнул он. — Сколько лет, как умерла ваша сестра? Скорее отвечайте!

— Восемнадцать лет, — ответил моряк. — А что? При чем тут годы?

— Восемнадцать лет! — Дориан Грей рассмеялся торжествующим смехом. — Восемнадцать лет! Да подведите меня к фонарю и взгляните на меня!

Джеймс Вэйн одно мгновение стоял в нерешимости, не понимая, чего надо Дориану. Но затем потащил его из-под темной арки к фонарю.

Как ни слаб и неверен был задуваемый ветром огонек фонаря, — его было достаточно, чтобы Джеймс Вэйн поверил, что он чуть не совершил страшную ошибку. Лицо человека, которого он хотел убить, сияло всей свежестью юности, ее непорочной чистотой. На вид ему было не больше двадцати лет. Он, пожалуй,

был немногим старше, а может, и вовсе не старше, чем Сибила много лет назад, когда Джеймс расстался с нею. Было ясно, что это не тот, кто погубил ее.

Джеймс Вэйн выпустил Дориана и отступил на шаг.

— Господи помилуй! А я чуть было вас не застрелил!

Дориан тяжело перевел дух.

— Да, вы чуть не совершили ужасное преступление, — сказал он, сурово глядя на Джеймса. — Пусть это послужит вам уроком: человек не должен брать на себя отщепенца, это дело Господа Бога.

— Простите, сэр, — пробормотал Вэйн. — Меня сбили с толку. Случайно услышал два слова в этой проклятой дыре — и они вывели меня на ложный след.

— Ступайте-ка домой, а револьвер спрячьте, не то попадете в беду, — сказал Дориан и, повернувшись, неторопливо зашагал дальше.

Джеймс Вэйн, все еще не опомнившись от ужаса, стоял на мостовой. Он дрожал всем телом! Немного погодя какая-то черная тень, скользившая вдоль мокрой стены, появилась в освещенной фонарем полосе и неслышно подкралась к моряку. Почувствовав на своем плече чью-то руку, он вздрогнул и оглянулся. Это была одна из тех двух женщин, которые только что стояли у буфета в притоне.

— Почему ты его не убил? — прошипела она, вплотную приблизив к нему испитое лицо. — Когда ты выбежал от Дэйли, я сразу догадалась, что ты погнался за ним. Эх, дурак, надо было его пристукнуть. У него куча денег, и он — настоящий дьявол.

— Он не тот, кого я ищу, — ответил Джеймс Вэйн. — А чужие деньги мне не нужны. Мне нужно отомстить одному человеку. Ему теперь, должно быть, под сорок. А этот — еще почти мальчик. Слава Богу, что я его не убил, не то были бы у меня руки в невинной крови.

Женщина горько засмеялась.

— Почти мальчик! Как бы не так! Если хочешь знать, вот уже скоро восемнадцать лет, как Прекрасный Принц сделал меня тем, что я сейчас.

— Лжешь! — крикнул Джеймс Вэйн.

Она подняла руку.

— Богом клянусь, что это правда.

— Клянешься?

— Чтоб у меня язык отсох, если я вру! Этот хуже всех тех, кто таскается сюда. Говорят, он продал душу черту за красивое лицо. Вот уже скоро восемнадцать лет я его знаю, а он за столько лет почти не переменялся... Не то что я, — добавила она с печальной усмешкой.

— Значит, ты клянешься?

— Клянусь! — хриплым эхом сорвалось с ее плоских губ. — Но ты меня не выдавай, — добавила она жалобно. — Я его боюсь. И дай мне деньжонок — за ночлег заплатить.

Он с яростным ругательством бросился бежать в ту сторону, куда ушел Дориан Грей, но Дориана и след простыл. Когда Джеймс Вэйн оглянулся, и женщины уже на улице не было.

ГЛАВА XVII

Неделю спустя Дориан Грей сидел в оранжерее своей усадьбы Селби-Ройял, беседуя с хорошенькой герцогиней Монмаут, которая гостила у него вместе с мужем, высохшим шестидесятилетним стариком. Было время чая, и мягкий свет большой лампы под кружевным абажуром падал на тонкий фарфор и чеканное серебро сервиза. За столом хозяйничала герцогиня. Ее белые руки грациозно порхали среди чашек, а полные красные губы улыбались, — видно, ее забавляло то, что ей нашептывал Дориан. Лорд Генри наблюдал за ними, полулежа в плетеном кресле с шелковыми подушками, а на диване персикового цвета восседала леди Нарборо, делая вид, что слушает герцога, описывавшего ей бразильского жука, которого он недавно добыл для своей коллекции. Трое молодых щеголей в смокингах угощали дам пирожными. В Селби уже съехались двенадцать человек, и на завтра ожидали еще гостей.

— О чем это вы толкуете? — спросил лорд Генри, подойдя к столу и ставя свою чашку. — Надеюсь, Дориан рассказал вам, Глэдис, о моем проекте все окрестить по-новому?.. Это замечательная мысль.

— А я вовсе не хочу менять имя, Гарри, — возрази-

ла герцогиня, поднимая на него красивые глаза. — Я вполне довольна моим, и, наверное, мистер Грей тоже доволен своим.

— Милая Глэдис, я ни за что на свете не стал бы менять такие имена, как ваши и Дориана. Оба они очень хороши. Я имею в виду главным образом цветы. Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов¹³³, и машинально спросил у садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»... или что-то столь же неблагозвучное. Право, мы разучились давать вещам красивые названия, — да, да, это печальная правда! А ведь слово — это все. Я никогда не придираюсь к поступкам, я требователен только к словам... Потому-то я и не выношу вульгарный реализм в литературе. Человека, называющего лопату лопатой, следовало бы заставить работать ею — только на это он и годен¹³⁴.

— Ну а как, например, вас окрестить по-новому, Гарри? — спросила герцогиня.

— Принц Парадокс, — сказал Дориан.

— Вот удачно придумано! — воскликнула герцогиня.

— И слышать не хочу о таком имени, — со смехом запротестовал лорд Генри, садясь в кресло. — Ярлык пристанет, так уж потом от него не избавишься. Нет, я отказываюсь от этого титула.

— Короли не должны отрекаться, — тоном предостережения произнесли красивые губки.

— Значит, вы хотите, чтобы я стал защитником трона?

— Да.

— Но я провозглашаю истины будущего!

— А я предпочитаю заблуждения настоящего, — отпарировала герцогиня.

— Вы меня обезоруживаете, Глэдис! — воскликнул лорд Генри, заражаясь ее настроением.

— Я отбираю у вас щит, но оставляю копье, Гарри.

— Я никогда не сражаюсь против Красоты, — сказал он с галантным поклоном.

— Это ошибка, Гарри, поверьте мне. Вы цените красоту слишком высоко.

— Полноте, Глэдис! Правда, я считаю, что лучше

быть красивым, чем добродетельным. Но, с другой стороны, я первый готов согласиться, что лучше уж быть добродетельным, чем безобразным.

— Выходит, что некрасивость — один из семи смертных грехов? — воскликнула герцогиня. — А как же вы только что сравнивали с ними орхидеи?

— Нет, Глэдис, некрасивость — одна из семи смертных добродетелей¹³⁵. И вам, как стойкой тори, не следует умалять их значения. Пиво, Библия и эти семь смертных добродетелей сделали нашу Англию такой, какая она есть.

— Значит, вы не любите нашу страну?

— Я живу в ней.

— Чтобы можно было усерднее ее хулить?

— А вы хотели бы, чтобы я согласился с мнением Европы о ней?

— Что же там о нас говорят?

— Что Тартюф¹³⁶ эмигрировал в Англию и открыл здесь торговлю.

— Это ваша острога, Гарри?

— Дарю ее вам.

— Что я с ней сделаю? Она слишком похожа на правду.

— А вы не бойтесь. Наши соотечественники никогда не узнают себя в портретах.

— Они — люди благоразумные.

— Скорее хитрые. Подводя баланс, они глупость покрывают богатством, а порок — лицемерием.

— Все-таки в прошлом мы вершили великие дела.

— Нам их навязали, Глэдис.

— Но мы с честью несли их бремя.

— Не дальше как до Фондовой биржи.

Герцогиня покачала головой.

— Я верю в величие нации.

— Оно — только пережиток предприимчивости и напористости.

— В нем — залог развития.

— Упадок мне милее.

— А как же искусство? — спросила Глэдис.

— Оно — болезнь.

— А любовь?

— Иллюзия.

— А религия?

— Распространенный суррогат веры.
— Вы скептик.
— Ничуть! Ведь скептицизм — начало веры.
— Да кто же вы?
— Определить — значит ограничить.
— Ну дайте мне хоть нить!..
— Нити обрываются. И вы рискуете заблудиться в лабиринте.

— Вы меня окончательно загнали в угол. Давайте говорить о другом.

— Вот превосходная тема — хозяин дома. Много лет назад его окрестили Прекрасным Принцем.

— Ах, не напоминайте мне об этом! — воскликнул Дориан Грей.

— Хозяин сегодня несносен, — сказала герцогиня, краснея. — Он, кажется, полагает, что Монмаут женился на мне из чисто научного интереса, видя во мне наилучший экземпляр современной бабочки.

— Но он, надеюсь, не посадит вас на булавку, герцогиня? — со смехом сказал Дориан.

— Достаточно того, что в меня втыкает булавки моя горничная, когда сердится.

— А за что же она на вас сердится, герцогиня?

— Из-за пустяков, мистер Грей, уверяю вас. Обычно за то, что я прихожу в три четверти девятого и заявляю ей, что она должна меня одеть к половине девятого.

— Какая глупая придирчивость! Вам бы следовало прогнать ее, герцогиня.

— Не могу, мистер Грей. Она придумывает мне фасоны шляпок. Помните ту, в которой я была у леди Хилстон? Вижу, что забыли, но из любезности делаете вид, будто помните. Так вот, она эту шляпку сделала из ничего. Все хорошие шляпы создаются из ничего.

— Как и все хорошие репутации, Глэдис, — вставил лорд Генри. — А когда человек чем-нибудь действительно выдвинется, он наживает врагов. У нас одна лишь посредственность — залог популярности.

— Только не у женщин, Гарри! — Герцогиня энергично покачала головой. — А женщины правят миром. Уверяю вас, мы терпеть не можем посредственности. Кто-то сказал про нас, что мы «любим ушами». А вы,

мужчины, любите глазами... Если только вы вообще когда-нибудь любите.

— Мне кажется, мы только это и делаем всю жизнь, — сказал Дориан.

— Ну, значит, никого не любите по-настоящему, мистер Грей, — отозвалась герцогиня с шутливым огорчением.

— Милая моя Глэдис, что за ересь! — воскликнул лорд Генри. — Любовь питается повторением, и только повторение превращает простое вожделение в искусство. Притом каждый раз, когда влюбляешься, любишь впервые. Предмет страсти меняется, а страсть всегда остается единственной и неповторимой. Перемена только усиливает ее. Жизнь дарит человеку в лучшем случае лишь одно великое мгновение, и секрет счастья в том, чтобы это великое мгновение переживать как можно чаще.

— Даже если оно вас тяжело ранит, Гарри? — спросила герцогиня, помолчав.

— Да, в особенности тогда, когда оно вас ранит, — ответил лорд Генри.

Герцогиня повернулась к Дориану и посмотрела на него как-то странно.

— А вы что на это скажете, мистер Грей? — спросила она.

Дориан ответил не сразу. Наконец рассмеялся и тряхнул головой.

— Я, герцогиня, всегда во всем согласен с Гарри.

— Даже когда он не прав?

— Гарри всегда прав, герцогиня.

— И что же, его философия помогла вам найти счастье?

— Я никогда не искал счастья. Кому оно нужно? Я искал наслаждений.

— И находили, мистер Грей?

— Часто. Слишком часто.

Герцогиня сказала со вздохом:

— А я жажду только мира и покоя. И если не пойду сейчас переодеваться, я его лишусь на сегодня.

— Позвольте мне выбрать для вас несколько орхидей, герцогиня! — воскликнул Дориан с живостью и, вскочив, направился в глубь оранжереи.

— Вы бессовестно кокетничаете с ним, Глэдис, —

сказал лорд Генри своей кузине. — Берегитесь! Чары его сильны.

— Если бы не это, так не было бы и борьбы.

— Значит, грек идет на грека ¹³⁷?

— Я на стороне троянцев. Они сражались за женщину.

— И потерпели поражение.

— Бывают вещи страшнее плена, — бросила герцогиня.

— Эге, вы скачете, бросив поводья!

— Только в скачке и жизнь, — был ответ.

— Я это запишу сегодня в моем дневнике.

— Что именно?

— Что ребенок, обжегшись, вновь тянется к огню.

— Огонь меня и не коснулся, Гарри. Мои крылья целы.

— Они вам служат для чего угодно, только не для полета: вы и не пытаетесь улететь от опасности.

— Видно, храбрость перешла от мужчин к женщинам. Для нас это новое ощущение.

— А вы знаете, что у вас есть соперница?

— Кто?

— Леди Нарборо, — смеясь, шепнул лорд Генри, — она в него положительно влюблена.

— Вы меня пугаете. Увлечение древностью всегда фатально для нас, романтиков.

— Это женщины-то — романтики? Да вы выступаете во всеоружии научных методов!

— Нас учили мужчины.

— Учить они вас учили, а вот изучить вас до сих пор не сумели.

— Ну-ка, попробуйте охарактеризовать нас! — подзадорила его герцогиня.

— Вы — сфинксы без загадок.

Герцогиня с улыбкой смотрела на него.

— Однако долго же мистер Грей выбирает для меня орхидеи! Пойдемте поможем ему. Он ведь еще не знает, какого цвета платье я надену к обеду.

— Вам придется подобрать платье к его орхидеям, Глэдис.

— Это было бы преждевременной капитуляцией.

— Романтика в искусстве начинается с кульминационного момента.

— Но я должна обеспечить себе путь к отступлению.

— Подобно парфянам^{138?}

— Парфяне спаслись в пустыню. А я этого не могу.

— Для женщин не всегда возможен выбор, — заметил лорд Генри. Не успел он договорить, как с дальнего конца оранжереи донесся стон, а затем глухой стук, словно от падения чего-то тяжелого. Все всполошились. Герцогиня в ужасе застыла на месте, а лорд Генри, тоже испуганный, побежал, раздвигая качавшиеся листья пальм, туда, где на плиточном полу лицом вниз лежал Дориан Грей в глубоком обмороке.

Его тотчас перенесли в голубую гостиную и уложили на диван. Он скоро пришел в себя и с недоумением обвел глазами комнату.

— Что случилось? — спросил он. — А, вспоминаю! Я здесь в безопасности, Гарри? — Он вдруг весь затрясся.

— Ну конечно, дорогой мой! У вас просто был обморок. Наверное, переутомились. Лучше не выходите к обеду. Я вас заменю.

— Нет, я пойду с вами в столовую, — сказал Дориан, с трудом поднимаясь. — Я не хочу оставаться один.

Он пошел к себе переодеваться.

За обедом он проявлял беспечную веселость, в которой было что-то отчаянное. И только по временам вздрагивал от ужаса, вспоминая тот миг, когда увидел за окном оранжереи белое, как платок, лицо Джеймса Вэйна, следившего за ним.

ГЛАВА XVIII

Весь следующий день Дориан не выходил из дому и большую часть времени провел у себя в комнате, изнемогая от дикого страха смерти, хотя к жизни он был уже равнодушен. Сознание, что за ним охотятся, что его подстерегают, готовят ему западню, угнетало его, не давало покоя. Стоило ветерку шевельнуть портьеру, как Дориан уже вздрагивал. Сухие листья, которые ветер швырял в стекла, напоминали ему о неосуществленных намерениях и будили страстные сожаления. Как только он закрывал глаза, перед ним вставало

лицо моряка, следившего за ним сквозь запотевшее стекло, и снова ужас тяжелой рукой сжимал сердце.

Но, может быть, это только его воображение вызвало из мрака ночи призрак мстителя и рисует ему жуткие картины ожидающего его возмездия? Действительность — это хаос, но в работе человеческого воображения есть неумолимая логика. И только наше воображение заставляет раскаяние следовать по пятам за преступлением. Только воображение рисует нам отвратительные последствия каждого нашего греха. В реальном мире фактов грешники не наказываются, праведники не вознаграждаются. Сильному сопутствует успех, слабого постигает неудача. Вот и все.

И, наконец, если бы сторонний человек бродил вокруг дома, его бы непременно увидели слуги или сторожа. На грядках под окном оранжереи остались бы следы — и садовники сразу доложили бы об этом ему, Дориану. Нет, нет, все это только его фантазия! Брат Сибилы не вернулся, чтобы убить его. Он уехал на корабле и погибнет где-нибудь в бурном море. Да, Джеймс Вэйн, во всяком случае, ему больше не опасен. Ведь он не знает, не может знать имя того, кто погубил его сестру. Маска молодости спасла Прекрасного Принца.

Так Дориан в конце концов уверил себя, что все это был только мираж. Однако ему страшно было думать, что совесть может порождать такие жуткие фантомы и, придавая им видимое обличье, заставлять их проходить перед человеком! Во что превратилась бы его жизнь, если бы днем и ночью призраки его преступлений смотрели на него из темных углов, издеваясь над ним, шептали ему что-то в уши во время пиров, будили его ледяным прикосновением, когда он уснет! При этой мысли Дориан бледнел и холодел от страха. О, зачем он в страшный час безумия убил друга! Как жутко даже вспоминать эту сцену! Она словно стояла у него перед глазами. Каждая ужасная подробность воскресала в памяти и казалась еще ужаснее. Из темной пропасти времен в кровавом одеянии вставала грозная тень его преступления.

Когда лорд Генри в шесть часов пришел в спальню к Дориану, он застал его в слезах. Дориан плакал, как человек, у которого сердце разрывается от горя.

Только на третий день он решился выйти из дому. Напоенное запахом сосен ясное зимнее утро вернуло ему бодрость и жизнерадостность. Но не только это вызвало перемену. Вся душа Дориана восстала против чрезмерности мук, способной ее искалечить, нарушить ее дивный покой. Так всегда бывает с утонченными натурами. Сильные страсти, если они не укрощены, сокрушают таких людей. Страсти эти либо убивают, либо умирают сами. Мелкие горести и неглубокая любовь живучи. Великая любовь и великое горе гибнут от избытка своей силы.

Помимо того, Дориан убедил себя, что он — жертва своего потрясенного воображения, и уже вспоминал свои страхи с чувством, похожим на снисходительную жалость, жалость, в которой была немалая доля пренебрежения.

После завтрака он целый час гулял с герцогиней в саду, потом поехал через парк на то место, где должны были собраться охотники. Сухой хрустящий иней словно солью покрывал траву. Небо походило на опрокинутую чашу из голубого металла. Тонкая кромка льда окаймляла у берегов поросшее камышом тихое озеро.

На опушке соснового леса Дориан увидел брата герцогини, сэра Джеффри Клаустона, — он выбрасывал два пустых патрона из своего ружья. Дориан выскочил из экипажа и, приказав груму отвести лошадь домой, направился к своему гостю, пробираясь сквозь заросли кустарника и сухого папоротника.

— Хорошо поохотились, Джеффри? — спросил он, подходя.

— Не особенно. Видно, птицы почти все улетели в поле. После завтрака переберемся на другое место. Авось там больше повезет.

Дориан зашагал рядом с ним. Живительный аромат леса, мелькавшие в его зеленой сени золотистые и красные блики солнца на стволах, хриплые крики загонщиков, порой разносившиеся по лесу, и резкое щелканье ружей — все веселило его и наполняло чудесным ощущением свободы. Он весь отдался чувству бездумного счастья, радости, которую ничто не может смутить.

Вдруг ярдах в двадцати от них, из-за бугорка, поросшего прошлогодней травой, выскочил заяц. Насто-

рожив уши с черными кончиками, вытягивая длинные задние лапки, он стрелой помчался в глубь ольшаника. Сэр Джеффри тотчас поднял ружье. Но грациозные движения зверька неожиданно умилили Дориана, и он крикнул:

— Не убивайте его, Джеффри, пусть себе живет!

— Что за глупости, Дориан! — со смехом запротестовал сэр Джеффри и выстрелил в тот момент, когда заяц юркнул в чащу. Раздался двойной крик — ужасный крик раненого зайца и еще более ужасный предсмертный крик человека.

— Боже! Я попал в загонщика! — ахнул сэр Джеффри. — Какой это осел полез под выстрел! Эй, перестаньте там стрелять! — крикнул он во всю силу своих легких. — Человек ранен!

Прибежал старший егерь с палкой.

— Где, сэр? Где он?

И в ту же минуту по всей линии затихла стрельба.

— Там, — сердито ответил сэр Джеффри и торопливо пошел к ольшанику. — Какого черта вы не отвели своих людей подальше? Испортили мне сегодняшнюю охоту.

Дориан смотрел, как оба нырнули в заросли, раздвигая гибкие ветви. Через минуту они уже появились оттуда и вынесли труп на освещенную солнцем опушку. Дориан в ужасе отвернулся, подумав, что злой рок преследует его повсюду. Он слышал вопрос сэра Джеффри, умер ли этот человек, и утвердительный ответ егеря. Лес вдруг ожил, закишел людьми, слышался топот множества ног, приглушенный гомон. Крупный фазан с медно-красной грудью, шумно хлопая крыльями, пролетел наверху среди ветвей.

Через несколько минут, показавшихся расстроенному Дориану бесконечными часами муки, на его плечо легла чья-то рука. Он вздрогнул и оглянулся.

— Дориан, — промолвил лорд Генри. — Лучше я скажу им, чтобы на сегодня охоту прекратили. Продолжать ее как-то неудобно.

— Ее бы следовало запретить навсегда, — ответил Дориан с горечью. — Это такая жестокая и противная забава! Что, тот человек...

Он не мог закончить фразы.

— К сожалению, да. Ему угодил в грудь весь заряд

дробь. Должно быть, умер сразу. Пойдем же домой, Дориан.

Они шли рядом к главной аллее и молчали. Наконец Дориан поднял глаза на лорда Генри и сказал с тяжелым вздохом:

— Это дурное предзнаменование, Гарри, очень дурное!

— Что именно? — спросил лорд Генри. — Ах да, этот несчастный случай. Ну, милый друг, что поделаешь? Убитый был сам виноват — кто же становится под выстрелы? И, кроме того, — мы-то тут при чем? Для Джеффри это изрядная неприятность, не спорю. Дырявить загонщиков не годится. Люди могут подумать, что он плохой стрелок. А между тем это неверно: Джеффри стреляет очень метко. Но не будем больше говорить об этом.

Дориан покачал головой.

— Нет, это дурной знак, Гарри. Я чувствую, что случится что-то страшное... Быть может, со мной, — добавил он, проводя рукой по глазам, как под влиянием сильной боли.

Лорд Генри рассмеялся.

— Самое страшное на свете — это скука, Дориан. Вот единственный грех, которому нет прощения. Но нам она не грозит, если только наши приятели за обедом не вздумают толковать о случившемся. Надо будет их предупредить, что это запретная тема. Ну а предзнаменования — вздор, никаких предзнаменований не бывает. Судьба не шлет нам вестников — для этого она достаточно мудра или достаточно жестока. И, наконец, скажите, ради бога, что может с вами случиться, Дориан? У вас есть все, чего только может пожелать человек. Каждый был бы рад поменяться с вами.

— А я был бы рад поменяться с любым человеком на свете! Не смейтесь, Гарри, я вам правду говорю. Злополучный крестьянин, который убит только что, счастливее меня. Смерти я не боюсь — страшно только ее приближение. Мне кажется, будто ее чудовищные крылья уже шумят надо мной в свинцовой духоте. О Господи! Разве вы не видите, что какой-то человек прячется за деревьями, подстерегает, ждет меня?

Лорд Генри посмотрел туда, куда указывала дрожащая рука в перчатке.

— Да, — сказал он с улыбкой, — вижу садовника, который действительно поджидает нас. Наверное, хочет узнать, какие цветы срезать к столу. До чего же у вас нервы развинтились, мой милый! Непременно посоветуйтесь с моим врачом, когда мы вернемся в город.

Дориан вздохнул с облегчением, узнав в подходищем садовника. Тот приподнял шляпу, смущенно покосился на лорда Генри и, достав из кармана письмо, подал его хозяину.

— Ее светлость приказала мне подождать ответа, — промолвил он вполголоса.

Дориан сунул письмо в карман.

— Скажите ее светлости, что я сейчас приду, — сказал он сухо. Садовник торопливо пошел к дому.

— Как женщины любят делать рискованные вещи! — с улыбкой заметил лорд Генри. — Эта черта мне в них очень нравится. Женщина готова флиртовать с кем угодно до тех пор, пока другие на это обращают внимание.

— А вы любите говорить рискованные вещи, Гарри. И в данном случае вы глубоко ошибаетесь. Герцогиня мне очень нравится, но я не влюблен в нее.

— А она в вас очень влюблена, но нравитесь вы ей меньше. Так что вы составите прекрасную пару.

— Вы сплетничаете, Гарри! И сплетничаете без всяких оснований.

— Основания для всякой сплетни — вера в безнравственность, — изрек лорд Генри, закуривая папиросу.

— Гарри, Гарри, вы ради красного словца готовы кого угодно принести в жертву!

— Люди сами восходят на алтарь, чтобы принести себя в жертву.

— Ах, если бы я мог кого-нибудь полюбить! — воскликнул Дориан с ноткой пафоса в голосе. — Но я, кажется, утратил эту способность и разучился желать. Я всегда был слишком занят собой — и вот стал уже в тягость самому себе. Мне хочется бежать от всего, уйти, забыть!.. Глупо было ехать сюда. Я, пожалуй, телеграфирую Харви, чтобы яхта была наготове. На яхте чувствуешь себя в безопасности.

— В безопасности от чего, Дориан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов помочь вам.

— Я не могу вам ничего рассказать, Гарри, — ответил Дориан уныло. — И, наверное, все — просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде.

— Какой вздор!

— Надеюсь, вы правы, но ничего не могу с собой поделаться. Ага, вот и герцогиня! Настоящая Артемидда¹³⁹ в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня.

— Я уже все знаю, мистер Грей, — сказала герцогиня. — Бедный Джефффри ужасно огорчен. И, говорят, вы просили его не стрелять в зайца. Какое странное совпадение!

— Да, очень странное. Не знаю даже, что меня побудило сказать это. Простая прихоть, вероятно. Заяц был так мил... Однако очень жаль, что они вам рассказали про это. Ужасная история...

— Досадная история, — поправил его лорд Генри. — И психологически ничуть не любопытная. Вот если бы Джефффри убил его нарочно, — как это было бы интересно! Хотел бы я познакомиться с настоящим убийцей!

— Гарри, вы невозможный человек! — воскликнула герцогиня. — Не правда ли, мистер Грей?.. Ох, Гарри, мистеру Грею, кажется, опять дурно! Он сейчас упадет!

Дориан с трудом овладел собой и улыбнулся.

— Это пустяки, не беспокойтесь, герцогиня. Нервы у меня сильно расстроены, вот и все. Пожалуй, я слишком много ходил сегодня... Что такое Гарри опять изрек? Что-нибудь очень циничное? Вы мне потом расскажете. А сейчас вы меня извините — мне, пожалуй, лучше пойти прилечь.

Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дорианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами.

— Вы сильно в него влюблены? — спросил он.

Герцогиня некоторое время молчала, глядя на растилавшуюся перед ними картину.

— Хотела бы я сама это знать, — сказала она наконец.

Лорд Генри покачал головой.

— Знание пагубно для любви. Только неизвестность пленяет нас. В тумане все кажется необыкновенным.

— Но в тумане можно сбиться с пути.

— Ах, милая Глэдис, все пути ведут к одному.

— К чему же?

— К разочарованию.

— С него я начала свой жизненный путь, — со вздохом отозвалась герцогиня.

— Оно пришло к вам в герцогской короне.

— Мне надоели земляничные листья ¹⁴⁰.

— Но вы их носите с подобающим достоинством.

— Только на людях.

— Смотрите, вам трудно будет обойтись без них!

— А они останутся при мне, все до единого.

— Но у Монмаута есть уши.

— Старость туга на ухо.

— Неужели он никогда не ревнует?

— Нет. Хоть бы раз приревновал!

Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то.

— Чего вы ищете? — спросила герцогиня.

— Шишечку от вашей рапиры, — отвечал он. — Вы ее обронили ¹⁴¹.

Герцогиня расхохоталась.

— Но маска еще на мне.

— Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее, — был ответ.

Герцогиня снова рассмеялась. Зубы ее блеснули меж губ, как белые зернышки в алой мякоти плода.

А наверху, в своей спальне, лежал на диване Дориан, и каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика, которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалась Дориану прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств.

В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы его вещи были уложены и коляска подана к половине девятого, так как он уезжает вечерним поездом в Лондон. Он твердо решил ни одной ночи не ночевать больше в Селби, этом зловещем месте, где смерть бродит и при солнечном свете, а трава в лесу обрызгана кровью.

Он написал лорду Генри записку, в которой сообщал, что едет в Лондон к врачу, и просил развлекать гостей до его возвращения. Когда он запечатывал записку, в дверь постучали, и лакей доложил, что пришел старший егерь. Дориан нахмурился, закусил губу.

— Пусть войдет, — буркнул он после минутной нерешимости.

Как только егерь вошел, Дориан достал из ящика чековую книжку и положил ее перед собой.

— Вы, наверное, пришли по поводу того несчастного случая, Торнтон? — спросил он, берясь уже за перо.

— Так точно, сэр, — ответил егерь.

— Что же, этот бедняга был женат? У него есть семья? — спросил Дориан небрежно. — Если да, я их не оставлю в нужде, пошлю им денег. Сколько вы находите нужным?

— Мы не знаем, кто этот человек, сэр. Поэтому я и осмелился вас побеспокоить...

— Не знаете, кто он? — рассеянно переспросил Дориан. — Как так? Разве он не из ваших людей?

— Нет, сэр. Я его никогда в глаза не видел. Похоже, что это какой-то матрос, сэр.

Перо выпало из рук Дориана, и сердце у него вдруг замерло.

— Матрос? — переспросил он. — Вы говорите, матрос?

— Да, сэр. По всему видно. На обеих руках у него татуировка... и все такое...

— А нашли вы при нем что-нибудь? — Дориан наклонился вперед, ошеломленно глядя на егеря. — Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?

— Нет, сэр. Только немного денег и шестизарядный револьвер — больше ничего. А имя нигде не указано. Человек, видимо, приличный, но из простых. Мы думаем, что матрос.

Дориан вскочил. Мелькнула безумная надежда, и он судорожно за нее ухватился.

— Где труп? Я хочу его сейчас же увидеть.

— Он на ферме, сэр. В пустой конюшне. Люди не любят держать в доме покойника. Они говорят, что мертвец приносит несчастье.

— На ферме? Так отправляйтесь туда и ждите меня. Скажите кому-нибудь из конюхов, чтобы привел

мне лошадь... Или нет, не надо. Я сам пойду в конюшню. Так будет скорее.

Не прошло и четверти часа, как Дориан Грей уже мчался галопом, во весь опор, по длинной аллее. Деревья призрачной процессией неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раз кобыла неожиданно свернула в сторону, к знакомой белой ограде, и чуть не сбросила седока. Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.

Наконец Дориан доскакал до фермы. По двору слонялись двое рабочих. Он спрыгнул с седла и бросил поводья одному из них. В самой дальней конюшне светился огонек. Какой-то внутренний голос подсказал Дориану, что мертвец там. Он быстро подошел к дверям и взялся за щеколду.

Однако он вошел не сразу, а постоял минуту, чувствуя, что вот сейчас ему предстоит сделать открытие, которое либо вернет ему покой, либо испортит жизнь навсегда. Наконец он порывисто дернул дверь к себе и вошел.

На мешках в дальнем углу лежал человек в грубой рубахе и синих штанах. Лицо его было прикрыто пестрым ситцевым платком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, воткнутая в бутылку.

Дориан дрожал, чувствуя, что у него не хватит духу своей рукой снять платок. Он кликнул одного из работников.

— Снимите эту тряпку, я хочу его видеть, — сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры.

Когда парень снял платок, Дориан подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вэйн!

Несколько минут Дориан Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой, глаза его были полны слез. Спасен!

ГЛАВА XIX

— И зачем вы мне твердите, что решили стать лучше? — говорил лорд Генри, окуная белые пальцы в медную чашу с розовой водой. — Вы и так достаточно хороши. Пожалуйста, не меняйтесь.

Дориан покачал головой.

— Нет, Гарри, у меня на совести слишком много тяжких грехов. Я решил не грешить больше. И вчера уже начал творить добрые дела.

— А где же это вы были вчера?

— В деревне, Гарри. Поехал туда один и остановился в маленькой харчевне.

— Милый друг, в деревне всякий может быть праведником, — с улыбкой заметил лорд Генри. — Там нет никаких соблазнов. По этой-то причине людей, живущих за городом, не коснулась цивилизация. Да, да, приобщиться к цивилизации — дело весьма нелегкое. Для этого есть два пути: культура или так называемый разврат. А деревенским жителям то и другое недоступно. Вот они и закоснели в добродетели.

— Культура и разврат, — повторил Дориан. — Я приобщился к тому и другому, и теперь мне тяжело думать, что они могут сопутствовать друг другу. У меня новый идеал, Гарри. Я решил стать другим человеком. И чувствую, что уже переменялся.

— А вы еще не рассказали мне, какое это доброе дело совершили. Или, кажется, вы говорили даже о нескольких? — спросил лорд Генри, положив себе на тарелку красную пирамидку очищенной клубники и посыпая ее сахаром.

— Этого я никому рассказывать не стал бы, а вам расскажу. Я пощадил женщину, Гарри. Такое заявление может показаться тщеславным хвастовством, но вы меня поймете. Она очень хороша собой и удивительно напоминает Сибилу Вэйн. Должно быть, этим она вначале и привлекла меня. Помните Сибилу, Гарри? Каким далеким кажется то время!.. Так вот... Гетти, конечно, не нашего круга. Простая деревенская девушка. Но я ее искренне полюбил. Да, я убежден, что это была любовь. Весь май — чудесный май был в этом году! — я ездил к ней два-три раза в неделю. Вчера она встретила меня в саду. Цветы яблони падали ей на волосы, и она смеялась... Мы должны были уехать вместе сегодня на рассвете. Но вдруг я решил оставить ее такой же прекрасной и чистой, какой встретил ее...

— Должно быть, новизна этого чувства доставила вам истинное наслаждение, Дориан? — перебил лорд Генри. — А вашу идиллию я могу досказать за вас. Вы

дали ей добрый совет и разбили ее сердце. Так вы начали свою праведную жизнь.

— Гарри, как вам не стыдно говорить такие вещи! Сердце Гетти вовсе не разбито. Конечно, она поплакала и все такое. Но зато она не обещана. Она может жить, как Пердита, в своем саду среди мяты и златоцвета.

— И плакать о неверном Флоризеле¹⁴², — докончил лорд Генри, со смехом откидываясь на спинку стула. — Милый мой, как много еще в вас презабавной детской наивности! Вы думаете, эта девушка теперь сможет удовлетвориться любовью человека ее среды? Выдадут ее замуж за грубияна-возчика или крестьянского парня. А знакомство с вами и любовь к вам сделали свое дело: она будет презирать мужа и чувствовать себя несчастной. Не могу сказать, что ваше великое самоотречение было большой моральной победой. Даже для начала это слабо. Кроме того, почему вы знаете, — может быть, ваша Гетти плавает сейчас, как Офелия, где-нибудь среди кувшинок в пруду, озаренном звездным сиянием?

— Перестаньте, Гарри, это невыносимо! То вы все превращаете в шутку, то придумываете самые ужасные трагедии! Мне жаль, что я вам все рассказал. И что бы вы ни говорили, я знаю, что поступил правильно. Бедная Гетти! Сегодня утром, когда я проезжал верхом мимо их фермы, я видел в окне ее личико, белое, как цветы жасмина... Не будем больше говорить об этом. И не пытайтесь меня убедить, что мое первое за столько лет доброе дело, первый самоотверженный поступок — на самом деле чуть ли не преступление. Я хочу стать лучше. И стану... Ну, довольно об этом. Расскажите мне о себе. Что слышно в Лондоне? Я давно не был в клубе.

— Люди все еще толкуют об исчезновении Бэзила.

— А я думал, что им это уже наскучило, — бросил Дориан, едва заметно нахмутив брови и наливая себе вина.

— Что вы, мой милый! Об этом говорят всего только полтора месяца, а обществу нашему трудно менять тему чаще, чем раз в три месяца, — на такое умственное усилие оно не способно. Правда, в этом сезоне ему очень повезло. Столько событий — мой

развод, самоубийство Алана Кэмпбела, а теперь еще загадочное исчезновение художника! В Скотланд-Ярде все еще думают, что человек в сером пальто, уехавший девятого ноября в Париж двенадцатичасовым поездом, был бедняга Бэзил, а французская полиция утверждает, что Бэзил вовсе и не приезжал в Париж. Наверное, через неделю-другую мы услышим, что его видели в Сан-Франциско. Странное дело — как только кто-нибудь бесследно исчезает, тотчас разносится слух, что его видели в Сан-Франциско! Замечательный город, должно быть, этот Сан-Франциско, и обладает, наверное, всеми преимуществами того света!

— А вы как думаете, Гарри, куда мог деваться Бэзил? — спросил Дориан, поднимая стакан с бургундским и рассматривая вино на свет. Он сам удивлялся спокойствию, с которым говорил об этом.

— Понятия не имею. Если Бэзилу угодно скрываться, — это его дело. Если он умер, я не хочу о нем вспоминать. Смерть — то единственное, о чем я думаю с ужасом. Она мне ненавистна.

— Почему же? — лениво спросил младший из собеседников.

— А потому, — лорд Генри поднес к носу золоченый флакончик с уксусом, — что в наше время человек все может пережить, кроме нее. Есть только два явления, которые и в нашем, девятнадцатом, веке еще остаются необъяснимыми и ничем не оправданными: смерть и пошлость... Давайте перейдем пить кофе в концертный зал, — хорошо, Дориан? Я хочу, чтобы вы мне поиграли Шопена. Тот человек, с которым убежала моя жена, чудесно играл Шопена. Бедная Виктория! Я был к ней очень привязан, и без нее в доме так пусто. Разумеется, семейная жизнь только привычка, скверная привычка. Но ведь даже с самыми дурными привычками трудно бывает расстаться. Пожалуй, труднее всего именно с дурными. Они — такая существенная часть нашего «я».

Дориан, ничего не отвечая, встал из-за стола и, пройдя в соседнюю комнату, сел за рояль. Пальцы его забегали по черным и белым клавишам. Но когда подали кофе, он перестал играть и, глядя на лорда Генри, спросил:

— Гарри, а вам не приходило в голову, что Бэзила могли убить?

Лорд Генри зевнул.

— Бэзил очень известен и носит дешевые часы. Зачем же было бы его убивать? И врагов у него нет, потому что не такой уж он выдающийся человек. Конечно, он очень талантливый художник, но можно писать, как Веласкес¹⁴³, и при этом быть скучнейшим малым. Бэзил, честно говоря, всегда был скучноват. Только раз он меня заинтересовал — это было много лет назад, когда он признался мне, что безумно вас обожает и что вы вдохновляете его, даете ему стимул к творчеству.

— Я очень любил Бэзила, — с грустью сказал Дориан. — Значит, никто не предполагает, что он убит?

— В некоторых газетах такое предположение высказывалось. А я в это не верю. В Париже, правда, есть весьма подозрительные места, но Бэзил не такой человек, чтобы туда ходить. Он совсем не любознателен, это его главный недостаток.

— А что бы вы сказали, Гарри, если бы я признался вам, что это я убил Бэзила?

Говоря это, Дориан с пристальным вниманием наблюдал за лицом лорда Генри.

— Сказал бы, что вы, мой друг, пытаетесь выступить не в своей роли. Всякое преступление вульгарно, точно так же, как всякая вульгарность — преступление. И вы, Дориан, не способны совершить убийство. Извините, если я таким утверждением задел ваше самолюбие, но, ей-богу, я прав. Преступники — всегда люди низших классов. И я их ничуть не осуждаю. Мне кажется, для них преступление — то же, что для нас искусство: просто-напросто средство, доставляющее сильные ощущения.

— Средство, доставляющее сильные ощущения? Значит, по-вашему, человек, раз совершивший убийство, способен сделать это опять? Полноте, Гарри!

— О, удовольствие можно находить во всем, что входит в привычку, — со смехом отозвался лорд Генри. — Это один из главных секретов жизни. Впрочем, убийство — всегда промах. Никогда не следует делать того, о чем нельзя поболтать с людьми после обеда... Ну, оставим в покое беднягу Бэзила. Хотелось бы верить, что конец его был так романтичен, как вы пред-

полагаете. Но мне не верится. Скорее всего, он свалился с омнибуса в Сену, а кондуктор скрыл это, чтобы не иметь неприятностей. Да, да, я склонен думать, что именно так и было. И лежит он теперь под мутно-зелеными водами Сены, а над ним проплывают тяжелые баржи, и в волосах его запутались длинные водоросли... Знаете, Дориан, вряд ли он мог еще многое создать в живописи. Его работы за последние десять лет значительно слабее первых.

Дориан в ответ только вздохнул, а лорд Генри прошелся из угла в угол и стал гладить редкого яванского попугая, сидевшего на бамбуковой жердочке. Как только его пальцы коснулись спины этой крупной птицы с серыми крыльями и розовым хохолком и хвостом, она опустила белые пленки сморщенных век на черные стеклянные глаза и закачалась взад и вперед.

— Да,— продолжал лорд Генри, обернувшись к Дориану и доставая из кармана платок,— картины Бэзила стали много хуже. Чего-то в них не хватает. Видно, Бэзил утратил свой идеал. Пока вы с ним были так дружны, он был великим художником. Потом это кончилось. Из-за чего вы разошлись? Должно быть, он вам надоел? Если да, то Бэзил, вероятно, не мог простить вам этого — таковы уж все скучные люди. Кстати, что случилось с вашим чудесным портретом? Я, кажется, не видел его ни разу с тех пор, как Бэзил его закончил... А, припоминаю, вы говорили мне несколько лет назад, что отправили его в Селби, и он не то затерялся по дороге, не то его украли. Что же, он так и не нашелся? Какая жалость! Это был настоящий шедевр. Помню, мне очень хотелось его купить. И жаль, что я этого не сделал. Портрет написан в то время, когда талант Бэзила был в полном расцвете. Более поздние его картины уже представляют собой ту любопытную смесь плохой работы и благих намерений, которая у нас дает право художнику считаться типичным представителем английского искусства... А вы объявляли в газетах о пропаже? Это следовало сделать.

— Не помню уже,— ответил Дориан.— Вероятно, объявлял. Ну да бог с ним, с портретом! Он мне, в сущности, никогда не нравился, и я жалею, что позировал для него. Не люблю я вспоминать о нем. К чему вы затеяли этот разговор? Знаете, Гарри, при взгляде на портрет мне

всегда вспоминались две строчки из какой-то пьесы — кажется, из «Гамлета»... Пойдите, как же это?..

Словно образ печали,
Бездушный тот лик...¹⁴⁴

Да, именно такое впечатление он на меня производил.

Лорд Генри засмеялся.

— Кто к жизни подходит как художник, тому мозг заменяет душу, — отозвался он, садясь в кресло.

Дориан отрицательно потряс головой и взял несколько тихих аккордов на рояле.

Словно образ печали,
Бездушный тот лик... —

повторил он.

Лорд Генри, откинувшись в кресле, смотрел на него из-под полуопущенных век.

— А между прочим, Дориан, — сказал он, помолчав, — что пользы человеку приобрести весь мир, если он теряет... как дальше? Да: если он теряет собственную душу¹⁴⁵?

Музыка резко оборвалась. Дориан, вздрогнув, уставился на своего друга.

— Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри?

— Милый мой. — Лорд Генри удивленно поднял брови. — Я спросил, потому что надеялся получить ответ, — только и всего. В воскресенье я проходил через Парк, а там у Мраморной Арки стояла кучка оборванцев и слушала какого-то уличного проповедника. В то время как я проходил мимо, он как раз выкрикнул эту фразу, и меня вдруг поразила ее драматичность... В Лондоне можно очень часто наблюдать такие любопытные сценки... Вообразите — дождливый воскресный день, жалкая фигура христианина в макинтоше, кольцо бледных испитых лиц под неровной крышей зонтов, с которых течет вода, — и эта потрясающая фраза, брошенная в воздух, прозвучавшая как пронзительный истерический вопль. Право, это было в своем роде интересно и весьма внушительно. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее нет. Но побоялся, что он меня не поймет.

— Не говорите так, Гарри! Душа у человека есть,

это нечто до ужаса реальное. Ее можно купить, продать, променять. Ее можно отравить или спасти. У каждого из нас есть душа. Я это знаю.

— Вы совершенно в этом уверены, Дориан?

— Совершенно уверен.

— Ну, в таком случае это только иллюзия. Как раз того, во что твердо веришь, в действительности не существует. Такова фатальная участь веры, и этому же учит нас любовь. Боже, какой у вас серьезный и мрачный вид, Дориан! Полноте! Что нам за дело до суеверий нашего века! Нет, мы больше не верим в существование души. Сыграйте мне, Дориан! Сыграйте какой-нибудь ноктюрн и во время игры расскажите тихонько, как вы сохранили молодость. Вы, верно, знаете какой-нибудь секрет. Я старше вас только на десять лет, а посмотрите, как я износился, сморщился, пожелтел! Вы же поистине очаровательны, Дориан. И сегодня более чем когда-либо. Глядя на вас, я вспоминаю день нашей первой встречи. Вы были очень застенчивый, но при этом довольно дерзкий и вообще замечательный юноша. С годами вы, конечно, переменялись, но внешне — ничуть. Хотел бы я узнать ваш секрет! Чтобы вернуть свою молодость, я готов сделать все на свете — только не заниматься гимнастикой, не вставать рано и не вести добродетельный образ жизни. Молодость! Что может с ней сравниться? Как это глупо — говорить о «неопытной и невежественной юности». Я с уважением слушаю суждения только тех, кто много меня моложе. Молодежь нас опередила, ей жизнь открывает свои самые новые чудеса. А людям пожилым я всегда противоречу. Я это делаю из принципа. Спросите их мнение о чем-нибудь, что произошло только вчера, — и они с важностью преподнесут вам суждения, господствовавшие в тысяча восемьсот двадцатом году, когда мужчины носили длинные чулки, когда люди верили решительно во все, но решительно ничего не знали... Какую прелестную вещь вы играете! Она удивительно романтична. Можно подумать, что Шопен писал ее на Майорке ¹⁴⁶, когда море стонало вокруг его виллы и соленые брызги летели в окна. Какое счастье, что у нас есть хоть одно неподражательное искусство! Играйте, играйте, Дориан, мне сегодня хочется музыки!.. Я буду воображать, что вы — юный Аполлон, а я —

внимающий вам Марсий¹⁴⁷... У меня есть свои горести, Дориан, о которых я не говорю даже вам. Трагедия старости не в том, что человек стареет, а в том, что он душой остается молодым... Я иногда сам поражаюсь своей искренности. Ах, Дориан, какой вы счастливец! Как прекрасна ваша жизнь! Вы все извели, всем упивались, вы смаковали сок виноградин, раздавливая их во рту. Жизнь ничего не утаила от вас. И все в ней вы воспринимали как музыку, поэтому она вас не испортила. Вы все тот же.

— Нет, Гарри, я уже не тот.

— А я говорю — тот. Интересно, какова будет ваша дальнейшая жизнь. Только не портите ее отречениями. Сейчас вы — совершенство. Смотрите же, не станьте человеком неполноценным. Сейчас вас не в чем упрекнуть. Не качайте головой, вы и сами знаете, что это так. И, кроме того, не обманывайте себя, Дориан: жизнью управляют не ваша воля и стремления. Жизнь наша зависит от наших нервных волокон, от особенностей нашего организма, от медленно развивающихся клеток, где таятся мысли, где рождаются мечты и страсти. Вы, допустим, воображаете себя человеком сильным и думаете, что вам ничто не угрожает. А между тем случайное освещение предметов в комнате, тон утреннего неба, запах, когда-то любимый вами и навеявший смутные воспоминания, строка забытого стихотворения, которое снова встретилось вам в книге, музыкальная фраза из пьесы, которую вы давно уже не играли, — вот от каких мелочей зависит течение нашей жизни, Дориан! Браунинг¹⁴⁸ тоже где-то пишет об этом. И наши собственные чувства это подтверждают. Стоит мне, например, ощутить где-нибудь запах *lilas blanc*^{*}, — и я вновь переживаю один самый удивительный месяц в моей жизни. Ах, если бы я мог поменяться с вами, Дориан! Люди осуждали нас обоих, но вас они все-таки боготворят, всегда будут боготворить. Вы — тот человек, которого наш век ищет... и боится, что нашел. Я очень рад, что вы не изваяли никакой статуи, не написали картины, вообще не создали ничего вне себя. Вашим искусством была жизнь. Вы положили себя на музыку. Дни вашей жизни — это ваши сонеты.

* Белая сирень (фр.).

Дориан встал из-за рояля и провел рукой по волосам.

— Да, жизнь моя была чудесна, но так жить я больше не хочу, — сказал он тихо. — И я не хочу больше слышать таких сумасбродных речей, Гарри! Вы не все обо мне знаете. Если бы знали, то даже вы, вероятно, отвернулись бы от меня. Смеетесь? Ох, не смейтесь, Гарри!

— Зачем вы перестали играть, Дориан? Садитесь и сыграйте мне еще раз этот ноктюрн. Взгляните, какая большая, желтая, как мед, луна плывет в сумеречном небе. Она ждет, чтобы вы зачаровали ее своей музыкой, и под звуки ее она подойдет ближе к земле... Не хотите играть? Ну так пойдемте в клуб. Мы сегодня очень хорошо провели вечер, и надо кончить его так же. В клубе будет один молодой человек, который жаждет с вами познакомиться, — это лорд Пул, старший сын Борнмаута. Он уже копирует ваши галстуки и умоляет, чтобы я его познакомил с вами. Премилый юноша и немного напоминает вас.

— Надеюсь, что нет, — сказал Дориан, и глаза его стали печальны. — Я устал, Гарри, я не пойду в клуб. Скоро одиннадцать, а я хочу пораньше лечь.

— Не уходите еще, Дориан. Вы играли сегодня, как никогда. Ваша игра была как-то особенно выразительна.

— Это потому, что я решил исправиться, — с улыбкой промолвил Дориан. — И уже немного изменился к лучшему.

— Только ко мне не переменитесь, Дориан! Мы с вами всегда останемся друзьями.

— А ведь вы однажды отравили меня книгой, Гарри, — этого я вам никогда не прощу. Обещайте, что вы никому больше не дадите ее. Это вредная книга.

— Дорогой мой, да вы и в самом деле становитесь моралистом! Скоро вы, как всякий новообращенный, будете ходить и увещевать людей не делать всех тех грехов, которыми вы пресытились. Нет, для этой роли вы слишком хороши! Да и бесполезно это. Какие мы были, такими и останемся. А «отравить» вас книгой я никак не мог. Этого не бывает. Искусство не влияет на деятельность человека — напротив, оно парализует желание действовать. Оно совершенно нейтрально.

Так называемые «безнравственные» книги — это те, которые показывают миру его пороки, вот и все. Но давайте не будем сейчас затевать спор о литературе! Приходите ко мне завтра, Дориан. В одиннадцать я поеду кататься верхом, и мы можем покататься вместе. А потом я вас повезу завтракать к леди Бренксам. Эта милая женщина хочет посоветоваться с вами насчет гобеленов, которые она собирается купить. Так смотрите же, я вас жду!.. Или не поехать ли нам завтракать к нашей маленькой герцогине? Она говорит, что вы совсем перестали бывать у нее. Быть может, Глэдис вам наскучила? Я это предвидел. Ее остроумие действует на нервы. Во всяком случае, приходите к одиннадцати.

— Вы непременно этого хотите, Гарри?

— Конечно. Парк теперь чудо как хорош! Сирень там цветет так пышно, как цвела только в тот год, когда я впервые встретил вас.

— Хорошо, приду. Покойной ночи, Гарри.

Дойдя до двери, Дориан остановился, словно хотел еще что-то сказать. Но только вздохнул и вышел из комнаты.

ГЛАВА XX

Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому: «Смотри, это Дориан Грей». И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь? Ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне, куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он ей сказал, что в прошлом вел развратную жизнь, а она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех — совсем как пение дрозда! И как она прелестна в своем ситцевом платье и широкополой шляпе! Она, простая, невежественная девушка, обладает всем тем, что он утратил.

Придя домой, Дориан отослал спать лакея, который не ложился, дожидаясь его. Потом вошел в библиотеку и лег на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри.

Неужели правда, что человек при всем желании не может измениться? Дориан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, «бело-розовой юности», как назвал ее однажды лорд Генри. Он сознавал, что загрязнил ее, растлил свою душу, дал отвратительную пищу воображению, что его влияние было губительно для других, и это доставляло ему жестокое удовольствие. Из всех жизней, скрестившихся с его собственной, его жизнь была самая чистая и так много обещала — а он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды?

О, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения он молил небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, а сам он сохранил неприкосновенным весь блеск вечной молодости! В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре — очищение. Не «Прости нам грехи наши», а «Покарай нас за беззакония наши» — вот какой должна быть молитва человека справедливейшему Богу.

На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри, и белорукие купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки — совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, — и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, затуманенный слезами. Однажды кто-то, до безумия любивший его, написал ему письмо, кончавшееся такими словами: «Мир стал иным, потому что в него пришли вы, созданный из слоновой кости и золота. Изгиб ваших губ переделает заново историю мира». Эти идолопоклоннические слова вспомнились сейчас Дориану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота его погубила, красота и вечная молодость, которую он себе вымолил!

Если бы не они, его жизнь была бы чиста. Красота оказалась только маской, молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила.

Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс Вэйн лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан Кэмпбел застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении Бэзила Холлуорда скоро прекратятся, волнение уляжется — оно уже идет на убыль. Значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть Бэзила Холлуорда мучила и угнетала Дориана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. Бэзил написал портрет, который испортил ему жизнь, — и Дориан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет! Кроме того, Бэзил наговорил ему недопустимых вещей — и он стерпел это... А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. Алан Кэмпбел? Что из того, что Алан покончил с собой? Это его личное дело, такова была его воля. При чем же здесь он, Дориан?

Новая жизнь! Жизнь, начатая сначала, — вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку. И никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно.

Вспомнив о Гетти Мертон, он подумал: а пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему? Да, да, наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дориана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета? А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть.

Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его удивительно молодому лицу и осталась на губах. Да, он станет другим человеком, и этот мерзкий портрет, который приходится теперь прятать от всех, не будет больше держать его в страхе. Он чувствовал, что с души наконец свалилась страшная тяжесть.

Он вошел, тихо ступая, запер за собой дверь, как всегда, и сорвал с портрета пурпурное покрывало. Крик возмущения и боли вырвался у него. Никакой перемены! Только в выражении глаз было теперь что-то хитрое, да губы кривила лицемерная усмешка. Человек на портрете был все так же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке казалась еще ярче, еще более была похожа на свежeproлитую кровь. Дориан задрожал. Значит, только пустое тщеславие побудило его совершить единственное в его жизни доброе дело? Или жажда новых ощущений, как с ироническим смехом намекнул лорд Генри? Или стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих? Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расплзлось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни... Кровь была и на ногах портрета — не капала ли она с руки? Она была и на другой руке, той, которая не держала ножа, убившего Бэзила. Что же делать? Значит, ему следует сознаться в убийстве? Сознаться? Отдаться в руки полиции, пойти на смерть?

Дориан рассмеялся. Какая дикая мысль! Да если он и сознается, кто ему поверит? Нигде не осталось следов, все вещи убитого уничтожены, — он, Дориан, собственноручно сжег все, что оставалось внизу, в библиотеке. Люди решат, что он сошел с ума. И, если он будет упорно обвинять себя, его запрут в сумасшедший дом... Но ведь долг велит сознаться, покаяться перед всеми, понести публичное наказание, публичный позор. Есть Бог, и он требует, чтобы человек исповедовался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его, Дориана, пока он не сознается в своем преступлении... Преступлении? Он пожал плечами. Смерть Бэзила Холлуорда утратила в его глазах всякое значение. Он думал о Гетти Мертон. Нет, этот портрет, это зеркало его души, лжет! Самолюбование? Любопытство? Лицемерие? Неужели ничего, кроме этих чувств, не было в его самоотречении? Неправда, было нечто большее! По крайней мере, так ему казалось. Но кто знает?..

Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску

добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал.

А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним? Может, в самом деле сознаться?.. Нет, ни за что! Против него есть только одна-единственная — и то слабая — улика: портрет. Так надо уничтожить его! И зачем было так долго его хранить? Прежде ему нравилось наблюдать, как портрет вместо него старится и дурнеет, но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, омрачила меланхолией даже его страсти. Портрет этот — как бы его совесть. Да, совесть. И надо его уничтожить.

Дориан осмотрелся и увидел нож, которым он убил Бэзила Холлуорда. Он не раз чистил этот нож, и на нем не осталось ни пятнышка, он так и сверкал. Этот нож убил художника — так пусть же он сейчас убьет и его творение, и все, что с ним связано. Он убьет прошлое, и, когда прошлое умрет, Дориан Грей будет свободен! Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, и когда прекратятся эти зловещие предостережения, он вновь обретет покой.

Дориан схватил нож и вонзил его в портрет.

Раздался громкий крик и стук от падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, что проснувшиеся слуги в испуге выбежали из своих комнат. А два джентльмена, проходившие на площади, остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце.

— Чей это дом, констебль? — спросил старший из двух джентльменов.

— Мистера Дориана Грея, сэра, — ответил полицейский.

Джентльмены переглянулись, презрительно усме-

хаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона. А в доме, на той половине, где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лиф плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен как смерть.

Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев, и они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дориана. Но все было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались — задвижки были старые.

Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках слуги узнали, кто это.

A decorative flourish consisting of two symmetrical, swirling lines that frame the text. The lines are thick and black, with a slightly textured appearance. They start from the top left and right, curve inward to form a central space, and then curve outward and downward to meet at the bottom.

Рассказы

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

Материально-идеалистическая история

I

Мистер Хирам Б. Отис, американский посол, купил Кентервильский замок. Все уверяли его, что он делает большую глупость, так как не было никакого сомнения, что в замке водятся духи.

Даже сам лорд Кентервиль, человек честный до щепетильности, счел своим долгом предупредить об этом мистера Отиса, когда они стали сговариваться об условиях продажи.

— Мы предпочитали не жить в этом замке, — сказал лорд Кентервиль, — с тех пор, как моя двоюродная бабушка, вдовствующая герцогиня Болтон, была как-то раз напугана до нервного припадка двумя руками скелета, опустившимися к ней на плечи, когда она переодевалась к обеду. Она так и не излечилась впоследствии. И я считаю себя обязанным уведомить вас, мистер Отис, что привидение это являлось многим ныне здравствующим членам моего семейства. Его видел и наш приходский пастор, преподобный Огастес Дампир, кандидат королевского колледжа в Кембридже. После злополучного приключения с герцогиней никто из младшей прислуги не захотел оставаться у нас, а леди Кентервиль часто не удавалось уснуть по ночам из-за таинственных шорохов, доносившихся из коридора и библиотеки.

— Милорд, — ответил посол, — я куплю у вас и мебель и привидение, согласно вашей расценке. Я родом из передовой страны; там у нас имеется все, что можно купить за деньги, а при нашей шустрой молодежи, которая ставит ваш Старый Свет вверх ногами и увозит от вас ваших лучших актрис и примадонн, я уверен, что, если бы в Европе действительно существовало хоть одно привидение, оно давным-давно

было бы у нас в одном из наших публичных музеев, или его возили бы по городам на гастроли, в качестве диковинки.

— Боюсь, что это привидение существует, — сказал, улыбаясь, лорд Кентервиль, — хотя оно, быть может, и отклонило все заманчивые предложения ваших предприимчивых импресарио. Оно хорошо всем известно вот уже триста лет, — точнее сказать, с 1574 года, и оно всегда появляется незадолго до смерти кого-нибудь из нашей семьи.

— Ну, ведь и домашний врач тоже появляется незадолго до смерти, лорд Кентервиль. Но, сэр, таких вещей, как привидения, не существует, и смею думать, что законы природы не могут быть изменяемы даже для английской аристократии.

— Да, вы очень просто смотрите на вещи в Америке, — отозвался лорд Кентервиль, не совсем понявший последнее замечание мистера Отиса, — и если вы ничего не имеете против привидения, то все улажено. Но только не забудьте, — я вас предупреждал.

Через несколько недель была совершена купчая, и к концу сезона посол и его семья переехали в Кентервильский замок. Миссис Отис, еще будучи мисс Лукрецией Р. Тэппен, с 53-й Западной улицы¹, была известной нью-йоркской красавицей, теперь же это просто была красивая дама средних лет, с чудесными глазами и великолепным профилем. Многие американки, покидая свою родину, принимают хронически болезненный вид, думая, что это признак высшей европейской утонченности, но миссис Отис не совершила этой ошибки. У нее было великолепное телосложение, и она обладала просто сказочным избытком жизненных сил. Даже во многих отношениях она была прямо англичанкой и являлась прекрасным подтверждением того, что у нас теперь почти все с Америкой общее, кроме, конечно, языка². Старший сын ее, которого родители, под влиянием минутной вспышки патриотизма, окрестили Вашингтоном³, о чем он никогда не переставал сожалеть, — был довольно красивый юный блондин, проявивший все данные будущего американского дипломата, так как в течение трех сезонов подряд дирижировал немецкой кадрилию в ньюпортском казино⁴ и даже в Лондоне прослыл прекрасным танцором. Его единст-

венными слабостями были гардении⁵ и гербовник. Во всем остальном это был человек чрезвычайно здраво-мыслящий. Мисс Виргиния Е. Отис была девочка пятнадцати лет, стройная и грациозная, как лань, с большими, ясными, голубыми глазами. Она была прекрасной наездницей и как-то раз заставила старого лорда Билтона проскакать с нею дважды вокруг Гайд-парка и на полтора корпуса обогнала его на своем пони у самой статуи Ахиллеса; этим она привела в такой восторг молодого герцога Чеширского, что он тут же сделал ей предложение и в тот же вечер, весь в слезах, был отправлен своими опекунами обратно в Итонскую школу. После Виргинии шли близнецы, которых обыкновенно дразнили «Звездами и Полосами»⁶, так как их часто пороли. Они были прелестные мальчики и, за исключением почтенного посла, единственные республиканцы во всем доме.

Так как Кентервилбский замок отстоит на семь миль от Аскота, ближайшей железнодорожной станции, то мистер Отис заблаговременно телеграфировал, чтобы им выслали навстречу экипаж, и все отправились в путь в отличном расположении духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух был пропитан теплым ароматом соснового леса. Изредка слышалось нежное воркование лесной горлицы, наслаждающейся собственным голосом, или показывалась в гуще шелестящих папоротников пестрая грудь фазана. Крошечные белки посматривали на них с буков, а кролики стремительно улепетывали через низкую поросль и по мшистым кочкам, задрвав кверху белые хвостики. Когда они въехали в аллею, ведущую к Кентервилбскому замку, небо вдруг покрылось тучами, какая-то странная тишина как бы сковала весь воздух, молча пролетела огромная стая галок, и они еще не успели подъехать к дому, как стал накрапывать дождь большими редкими каплями.

На ступенях крыльца их поджидала старушка, в аккуратном черном шелковом платье, белом чепчике и переднике. Это была миссис Эмни, экономка, которую миссис Отис, по убедительной просьбе леди Кентервилб, оставила у себя на службе в прежней должности. Она перед каждым членом семьи по очереди низко присела и торжественно, по-старомодному, промолвила:

— Добро пожаловать в Кентервильский замок!

Они вошли вслед за нею в дом и, пройдя великолепный холл в стиле Тюдоров⁷, очутились в библиотеке, длинной и низкой комнате. Ее стены были обшиты черным дубом, а в противоположном конце находилось большое окно из разноцветных стекол. Здесь для них был сервирован чай. Сняв пальто, они уселись за стол и стали разглядывать комнату, а миссис Эмни прислуживала им.

Вдруг миссис Отис заметила темное красное пятно на полу, у самого камина, и, не зная его происхождения, указала на него миссис Эмни:

— Кажется, здесь что-то пролито.

— Да, сударыня, — ответила старая экономка шепотом, — на этом месте была пролита человеческая кровь.

— Какой ужас! — воскликнула миссис Отис. — Кровавые пятна в гостиной, на мой взгляд, совершенно неуместны. Это надо немедленно смыть.

Старуха улыбнулась и ответила тем же таинственным шепотом:

— Это кровь леди Элеоноры Кентервиль, которая была убита на этом самом месте в 1575 году своим собственным мужем, лордом Симоном де Кентервиль. Сэр Симон пережил ее на девять лет и потом неожиданно исчез при весьма загадочных обстоятельствах. Его тело так и не было найдено, но грешный дух его до сих пор еще бродит по замку. Пятно это приводило в восхищение туристов, и уничтожить его невозможно.

— Это все глупости! — воскликнул Вашингтон Отис. — «Всемирный Выводитель Пятен Пинкертона и Образцовый Очиститель» уничтожит его в одно мгновение.

И не успела помешать ему испуганная экономка, как он опустился на колени и стал быстро тереть пол маленькой палочкой какого-то вещества, похожего на черный фиксаж. Через несколько минут от кровавого пятна не осталось ни следа.

— Я знал, что «Пинкертона» тут поможет! — воскликнул он, торжествуя, и оглянулся на жену и детей, которые с одобрением смотрели на него; но он не договорил, так как яркая вспышка молнии озарила полутемную комнату, и оглушительный удар грома поднял всех на ноги, а миссис Эмни упала в обморок.

— Какой чудовищный климат, — заметил спокойно американский посол, закуривая длинную манильскую сигару. — Очевидно, в этой древней стране населения настолько много, что на всех не хватает приличной погоды. Я всегда держался того мнения, что эмиграция — единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хирам, — сказала миссис Отис, — что нам делать с женщиной, которая падает в обморок?

— Вычти из ее жалованья, как за битые посуды, — ответил посол, — после этого она не станет больше падать.

И действительно, через несколько минут миссис Эмни пришла в себя. Но, несомненно, она была очень взволнованна и торжественно предупредила миссис Отис, что ее дому неминуемо угрожает беда.

— Сэр, — сказала она, — я видела собственными глазами такие вещи, от которых у всякого доброго христианина волосы встали бы дыбом, и много ночей не смыкала я глаз от ужасов, творящихся здесь.

Но мистер Отис и его жена настойчиво убеждали почтенную женщину, что они не боятся привидений, и, призвав благословение Божие на своих новых хозяев и намекнув на прибавку жалованья, старая экономка удалилась нетвердыми шагами в свою комнату.

II

Буря дико бушевала всю ночь, но ничего особенного не случилось. Однако на следующее утро, когда семья сошла к завтраку, она снова нашла ужасное кровавое пятно на полу.

— Не думаю, чтобы тут виноват был мой «Образцовый Очиститель», — сказал Вашингтон, — так как я его испробовал на очень многих вещах. Должно быть, это дело привидения.

И он снова стер пятно, и снова к следующему утру оно появилось. И на третье утро оно было там, несмотря на то, что накануне вечером мистер Отис сам запер библиотеку и унес с собою ключ наверх. Вся семья сильно заинтересовалась этим; мистер Отис стал подумывать, не был ли он слишком догматичен, когда отрицал существование привидений; миссис Отис высказала ре-

шение вступить в члены Общества исследований спиритических явлений, а Вашингтон приготовил длинное письмо к господам Майерсу и Подмору⁸ на тему о «Прочности кровавых пятен, связанных с преступлением». Но в ту же ночь были рассеяны навсегда всякие сомнения относительно существования призраков.

День был жаркий и солнечный, и, когда наступила вечерняя прохлада, вся семья поехала кататься. Они вернулись домой только к девяти часам и сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался духов, так что не было даже тех элементарных условий повышенной восприимчивости, которая так часто предшествует всяким спиритическим явлениям. Темы, которые обсуждались, как мне потом удалось узнать от мистера Отиса, были обычные темы просвещенных американцев высшего класса, например: бесконечное превосходство мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бернар⁹; трудность получения даже в лучших английских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков и маисовой каши; значение Бостона для развития мировой души; преимущества билетной системы для провоза багажа по железной дороге; приятная мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тягучестью лондонского произношения. Никто не упомянул ни о чем сверхъестественном, и о сэре Симоне де Кентервиле вовсе не было речи. В одиннадцать часов семья ушла на покой, и полчаса спустя во всем доме были погашены огни. Через короткое время мистер Отис проснулся от страшного шума в коридоре, куда выходила его комната. Ему послышался как будто звон металла, приближающийся с каждой минутой. Он тотчас же встал, зажег спичку и посмотрел на часы. Было ровно час. Мистер Отис был совершенно спокоен и пощупал свой пульс, который бился ровно, как всегда. Страшный шум продолжался, и одновременно мистер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел туфли, достал из несессера маленький узкий флакон и открыл дверь. Прямо перед собой, при слабом свете луны, он увидел какого-то старика ужасной внешности. Глаза его были подобны красным горящим угольям; длинные седые волосы ниспадали на его плечи спутанными прядями; его платье, старинного покроя, было все в

лохмотьях и грязно, а с кистей его рук и со щиколоток ног свисали тяжелые ручные кандалы и ржавые цепи.

— Сэр, — сказал мистер Отис, — я решительно должен настоять на том, чтобы вы смазали себе цепи; для этой цели я принес вам маленький флакон смазки «Восходящего Солнца» фирмы Таммани. Уверяют, что она дает желаемые результаты после первого же смазывания, и на обертке вы можете найти несколько блестящих отзывов, с подписями наиболее видных пасторов моей родины. Я оставлю вам бутылочку здесь около подсвечников и буду рад снабжать вас этим средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов поставил пузырек на мраморный столик и, закрыв дверь, удалился.

Минуту кентервильское привидение стояло совершенно неподвижно, охваченное вполне естественным гневом; затем, озлобленно хватив бутылкой со всего размаху о паркет, оно понеслось по коридору, издавая глухие стоны, испуская зловещее зеленое сияние. Но едва оно достигло верхней площадки большой дубовой лестницы, как раскрылась какая-то дверь, показались две маленькие фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. Очевидно, нельзя было терять время, и, быстро пустивши в ход четвертое измерение, как средство к побегу, оно нырнуло в деревянную обшивку стены, и в доме все стихло.

Добравшись до маленькой потайной каморки в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, прислонился к лунному лучу и начал разбираться в своем положении. Никогда, за всю его славную, незапятнанную трехсотлетнюю карьеру, никто его так жестоко не оскорблял. Он вспомнил о вдовствующей герцогине, которую он напугал до припадка, когда она стояла перед зеркалом вся в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он просто улыбнулся им из-за портьеры какой-то нежилой спальни; о приходском пасторе, у которого он потушил свечу, когда тот как-то вечером выходил из библиотеки, и который с тех пор находился на излечении у сэра Уильяма Галла¹⁰, страдая нервным расстройством; о старой мадам де Тремульяк, которая, проснувшись однажды рано утром и увидав скелет, сидящий в кресле у

камина и читающий ее дневник, слегла на целых шесть недель от воспаления мозга, примирилась с церковью и раз и навсегда порвала всякие сношения с известным скептиком monsieur де Вольтером¹¹. Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестокого лорда Кентервиля у себя в спальне, и тот задышался, так как в горле у него застряла карта с бубновым валетом. Старик соznался перед смертью, что, играя у Крокфорда¹² с Чарлзом-Джеймсом Фоксом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с помощью этой же карты, и вот теперь эту карту ему сунуло в глотку кентервильское привидение. Он вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дворецкого, который застрелился в буфетной, увидев зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая прекрасной леди Стетфилд, которая принуждена была носить вокруг шеи черную бархатку, дабы скрыть следы пяти пальцев, оставшихся на ее бело-снежной коже. Она потом утопилась в сазанном пруду, в конце Королевской аллеи. С восторженным самодовольством настоящего художника стал он перебирать в памяти свои наиболее знаменитые выступления и горько улыбался, вспоминая свое последнее появление в качестве Красного Рубена, или Задушенного Младенца, свой дебют в роли Сухощавого Джибона, или Кровопийцы с Бекслейской Топи и фурор, который он произвел как-то ясным июньским вечером, играя в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого являются какие-то несчастные современные американцы, предлагают ему «Смазку Восходящего Солнца» и швыряют в него подушками! Это было просто невыносимо. Кроме того, до сих пор в истории не бывало примера, чтобы так обращались с привидениями. И он решил отомстить и до рассвета оставался в глубоком раздумье.

III

На следующее утро, когда семья Отисов встрети-лась за завтраком, стали подробно и много говорить о привидении. Посол Соединенных Штатов был немного обижен тем, что подарок его не был принят.

— Я не желаю наносить этому духу оскорбление, — сказал он, — и должен заметить, что, принимая во внимание долголетнее его пребывание в этом доме, не совсем вежливо швырять в него подушками. (Это вполне справедливое замечание было встречено, к сожалению, взрывами смеха со стороны близнецов.) Но с другой стороны, — продолжал посол, — если дух действительно отказывается пользоваться «Смазкой Восходящего Солнца», мы принуждены будем отобрать у него цепи. Совершенно невозможно спать, когда около спальни такой шум.

Однако остаток недели прошел тихо, и ничто не беспокоило их; единственное, что возбуждало внимание, — это постоянное возобновление кровавого пятна на полу библиотеки. Это было действительно странно, так как дверь всегда запирали на ночь сам мистер Отис, а окна закрывались ставнями с крепкими задвижками. Вызывала много толков и хамелеоноподобная окраска этого пятна. Иногда оно по утрам было густого (почти индийского) красного цвета, иногда киноварного, потом пурпурного, а однажды, когда семья сошла вниз к общесемейной молитве, — согласно упрощенному ритуалу свободной американской реформированной епископальной церкви¹³, — пятно было яркого изумрудно-зеленого цвета. Эти калейдоскопические перемены, естественно, очень забавляли всех членов семейства, и каждый вечер составлялись пари в ожидании следующего утра. Единственное лицо, которое не разделяло общего легкомысленного настроения, была маленькая Виргиния; она, по какой-то необъяснимой причине, всегда бывала крайне опечалена при виде кровавого пятна и чуть-чуть не расплакалась в то утро, когда оно было ярко-зеленое.

Второе появление духа состоялось в воскресенье ночью. Вскоре после того, как семья легла спать, все были внезапно испуганы невероятным треском в холле. Бросившись вниз, увидели большие рыцарские доспехи, сорвавшиеся с пьедестала и упавшие на пол, а на кресле с высокой спинкой сидело кентервильское привидение и терло коленки с выражением острой боли. Близнецы, захватившие с собой резиновые рогатки, с меткостью, которая достигается только долгим и упорным упражнением на особе учителя чистописания,

тотчас же выпустили в него два заряда, а посол Соединенных Штатов направил на него револьвер и, согласно калифорнийскому этикету, пригласил его поднять руки вверх¹⁴! Дух вскочил с диким криком бешенства и пронесся как туман через них, потушив при этом у Вашингтона свечу и оставив всех в абсолютной темноте. Добравшись до верхней площадки лестницы, он пришел в себя и решил разразиться своим знаменитым дьявольским хохотом. Не раз этот хохот оказывал ему услуги. Говорят, что от него в одну ночь поседел парик у лорда Райкера, и бесспорно этот хохот был причиной того, что три французских гувернантки леди Кентервиль отказались от места, не дослужив и месяца. И он захохотал своим самым ужасным хохотом, так что зазвенел старый сводчатый потолок; но едва замолкло страшное эхо, как раскрылась дверь, и вышла миссис Отис в бледно-голубом капоте.

— Мне кажется, вы не совсем здоровы, — сказала она, — и поэтому я вам принесла бутылку микстуры доктора Добеля. Если вы страдаете несварением желудка, то это средство вам очень поможет.

Дух бросил на нее яростный взгляд и начал тотчас делать приготовления, чтобы обернуться в черную собаку, — талант, который ему заслужил справедливую славу и которому домашний врач всегда приписывал неизлечимое слабоумие дяди лорда Кентервиля, мистера Томаса Хортон. Но звуки приближающихся шагов заставили его отказаться от этого намерения, и он удовольствовался тем, что стал слабо фосфоресцировать и исчез с глубоким кладбищенским вздохом, как раз в ту минуту, когда его почти настигли близнецы.

Добравшись до своей комнаты, он окончательно расстроился и сделался жертвой самого сильного волнения. Вульгарность близнецов и грубый материализм миссис Отис были крайне ему неприятны, но что его больше всего огорчило — это то, что ему так и не удалось облечься в эти доспехи. Он надеялся, что даже современные американцы будут смущены зрелищем «Привидения в доспехах», если не по какой-либо разумной причине, то по меньшей мере из уважения к их национальному поэту Лонгфелло¹⁵, над томами изящной и привлекательной поэзии кото-

рого он провел не один долгий час, когда Кентервили переезжали в город. Кроме того, это было его собственное облачение. Он носил его с большим успехом на турнире в Кенильворте и удостоился выслушать по поводу его много лестного от самой королевы-девственницы¹⁶. Но когда он теперь надел доспехи, он окончательно свалился под тяжестью огромного нагрудника и стального шлема и в изнеможении упал на каменный пол, сильно ушибив оба колена и разодрав кожу на пальцах правой руки.

В течение нескольких дней он серьезно хворал и почти не выходил из своей комнаты, кроме как ночью, для поддержания в надлежащем виде кровавого пятна. Но благодаря тщательному уходу за собой он поправился и решился в третий раз попытаться испугать посла Соединенных Штатов и его семью. Для этого он выбрал пятницу 17 августа и провел почти весь день, перебирая свой гардероб, остановив наконец свой выбор на большой широкополой шляпе с красным пером, саване с рюшками у ворота и на рукавах, и на заржавленном кинжале. К вечеру разразился сильный ливень, и ветер так бушевал, что все окна и двери в старом доме вздрагивали и дребезжали. Впрочем, такую именно погоду он очень любил. План был наметчен такой: первым делом он проберется тихонько в комнату Вашингтона Отиса, станет у него в ногах и наговорит ему всякого вздору, а потом пронзит себе горло кинжалом под звуки тихой музыки. Особую неприязнь он чувствовал к Вашингтону, так как прекрасно знал, что это именно он имел привычку стирать знаменитое Кентервильское пятно с помощью Образцового Пинкертоновского Очистителя. Доведя легкомысленного и дерзкого юношу до состояния несказанного ужаса, он должен был пройти в спальню посла Соединенных Штатов и его супруги и там положить покрытую холодным потом руку на голову миссис Отис, нашептывая в то же время ее дрожащему мужу на ухо ужасные тайны склепа. Что касается маленькой Виргинии, то он и сам еще не решил, что именно он предпримет. Она никогда его не оскорбляла, а была так мила и нежна. Несколько глухих стонов из шкапа будет более чем достаточно, а если это не разбудит ее, он может подергать дрожащими пальца-

ми ее одеяло. Близнецам же он решил преподать урок. Первое, что надо сделать, это, конечно, сесть им на грудь, чтобы вызвать отвратительные ощущения кошмара. Потом, ввиду того, что кровати близнецов стоят близко друг к другу, он встанет между ними в образе зеленого заледенелого трупа, пока они не застынут от ужаса, и тогда он сбросит свой саван и, обнажив свои кости, будет шагать по комнате, вращая одним глазом, в роли Немого Даниила, или Скелета Самоубийцы, которая не раз производила большой эффект и которую он по силе считал равной своему исполнению Сумасшедшего Мартина, или Сокрытой Тайны.

В половине одиннадцатого он слышал, как вся семья отправилась спать. Долго ему мешали дикие взрывы хохота близнецов, которые с легкомысленной беспечностью школьников, очевидно, резвились перед тем, как улечься на покой; в четверть двенадцатого все стихло, и, как только пробило полночь, он пустился в путь. Совы бились о стекла окон, ворон каркал со старого тисового дерева, и ветер блуждал, словно неприкаянная душа, вокруг старого дома. Но семья Отисов спокойно спала и не подозревала о предстоящем несчастье, и громче дождя и бури раздавался храп посла Соединенных Штатов. Дух осторожно выступил из обшивки, со злой улыбкой вокруг жестокого, сморщенного рта; луна спрятала свое лицо за тучей, когда он пробирался мимо круглого окна, на котором золотом и лазурью были выведены его герб и герб убитой им жены. Все дальше скользил он, словно зловещая тень; казалось, что и сама тьма встречала его с отвращением.

Однажды ему показалось, что кто-то окликнул его, и он остановился; но это был только лай собаки, доносившийся с Красной фермы. И он продолжал свой путь, бормоча страшные ругательства XVI века и не переставая размахивать в ночном воздухе заржавленным кинжалом. Наконец он добрался до угла коридора, ведущего в комнату злосчастного Вашингтона. На мгновение он там остановился; ветер развевал его длинные седые локоны и свертывал с неизреченным ужасом в чудовищные фантастические складки саван мертвеца. Потом часы пробили четверть, и он почувствовал, что время наступило. Он самодовольно замурылкал и по-

вернул за угол; но едва только он это сделал, как с воплем ужаса шарахнулся назад и закрыл побледневшее лицо длинными костлявыми руками. Прямо перед ним стоял ужасный призрак, неподвижный, словно изваяние, и чудовищный, как бред сумасшедшего. Голова у него была лысая, гладкая; лицо было круглое, жирное, белое; и как будто отвратительный смех свел черты его в вечную улыбку. Из глаз у него струились лучи красного света, рот был широким огненным колодцем, а безобразная одежда, похожая на его собственную, окутывала своими молчаливыми снегами титаническую фигуру. На груди у призрака висела доска с надписью, начертанной страшными буквами старинным шрифтом: верно, повесть о диких злодеяниях, ужасный перечень преступлений; в правой руке он высоко держал палицу из блестящей стали.

Никогда до этого времени не видав привидений, Кентервильский дух естественно ужаснулся и, снова бросив беглый взгляд на страшный призрак, побежал назад к себе в комнату, запутавшись несколько раз в складках савана и уронив заржавленный кинжал в сапоги посла, где на следующее утро он был найден дворецким. Добравшись до своей комнаты и очутившись наконец в безопасности, он бросился на узкую походную кровать и спрятал лицо под одеялом. Спустя некоторое время, однако, проснувшись в нем старая кентервильская отвага, и он решил пойти и заговорить с другим привидением, как только придет рассвет. И едва заря окрасила холмы серебром, он вернулся туда, где впервые увидел жуткий призрак, чувствуя, что в конце концов два привидения лучше одного, и что с помощью своего нового друга он будет в силах справиться с близнецами. Но когда дошел до этого места, его взорам представилась страшная картина. Что-то, очевидно, приключилось с призраком, так так свет окончательно потух в его пустых глазных впадинах, блестящая палица выпала из рук, и весь он прислонился к стене в крайне неудобной и неестественной позе. Дух Кентервиля подбежал к нему, поднял его, как вдруг — о, ужас! — голова соскочила и покатилась по полу, туловище окончательно согнулось, и он увидел, что обнимает белую канифасовую занавеску, а у ног его лежат метла, кухонный топор и выдолбленная тыква. Не по-

нимая причины этого странного превращения, он лихорадочными руками поднял плакат и при сером свете утра прочел следующие страшные слова:

ДУХ ОТИС

Единственный настоящий и оригинальный призрак!

Остерегайтесь подделок!!

Все остальные — не настоящие!

Ему сразу все стало ясно. Его обманули, перехитрили, оставили с носом! Глаза его засверкали старым кентервильским огнем; он заскрежетал беззубыми деснами и, подняв высоко над головой сморщенные руки, поклялся, согласно образной фразеологии старинной школы, что, когда Шантеклер дважды протрубит в свой рог¹⁷, совершатся кровавые преступления, и убийство тихими шагами пройдет по этому дому.

Едва он произнес эту ужасную клятву, как с красной черепичной крыши далекого домика раздалось пение петуха. Дух захохотал долгим, глухим и печальным хохотом и стал ждать. Час за часом ждал он, но по какой-то необъяснимой причине петух вторично уже не запел. Наконец около половины восьмого приход горничных заставил его отказаться от страшного бдения, и он вернулся в свою комнату, не переставая думать о своей тщетной надежде и неисполненном желании. Там, у себя, он стал перебирать несколько древних книг, которые очень любил, и вычитал, что каждый раз, когда бывала произнесена его клятва, всегда вторично пропевал петух.

— Да будет проклята эта гадкая птица, — пробормотал он, — дождусь ли дня, когда верным копьём проткну ей глотку и заставлю ее петь мне до смерти.

Потом он лег в удобный свинцовый гроб и оставался там до самого вечера.

IV

На следующий день дух чувствовал себя очень слабым и утомленным. Ужасное нервное возбуждение последних четырех недель начинало сказываться. Его нервы были совершенно разбиты, и он вздрагивал при малейшем шорохе. В течение целых пяти дней он не

выходил из своей комнаты и наконец решил бросить заботы о кровавом пятне на полу библиотеки. Если оно не нужно было семье Отисов, то ясно, что они были недостойны его. Это, очевидно, были люди, живущие в низшей материальной плоскости и совершенно не умеющие ценить символическое значение спиритических феноменов. Вопрос о сверхземных явлениях и о развитии астральных тел, конечно, был иного рода и, в сущности, не находился под его контролем. Но священной его обязанностью было являться раз в неделю в коридоре, издавать бессвязный вздох с большого круглого окна в первую и третью среду каждого месяца, и он не видел возможности отказаться от этих своих обязанностей. И хотя его жизнь была очень безнравственной, но, с другой стороны, он был крайне добросовестен во всех вопросах, связанных с потусторонним миром. Поэтому в ближайшие три субботы он, по обыкновению, прогуливался по коридору между полночью и тремя часами утра, принимая всевозможные меры, чтобы его не слышали и не видели. Он снимал сапоги, ступал как можно легче по изъеденным червями доскам пола, надевал широкий черный бархатный плащ и не забывал тщательно смазывать свои цепи «Смазкой Восходящего Солнца». Я должен признаться, что ему стоило многих усилий заставить себя прибегнуть к этой последней предохранительной мере. Все-таки однажды вечером, когда семья сидела за обедом, он пробрался в комнату к мистеру Отису и выкрал оттуда бутылку. Сперва он чувствовал себя немного униженным, но потом вынужден был благо-разумно сознаться, что изобретение это имело свои достоинства и до некоторой степени могло принести ему пользу. Но, несмотря на все предосторожности, его не оставляли в покое. Постоянно кто-то протягивал веревки поперек коридора, о которые он спотыкался в темноте; однажды же, когда он оделся для роли Черного Исаака, или Охотника из Хоглейских Лесов, он тяжело ушибся, поскользнувшись на масляном катке, который был устроен близнецами, начиная со входа в гобеленовую залу до верхней площадки дубовой лестницы. Эта последняя обида так разозлила его, что он решил сделать последнюю попытку для восстановления своего достоинства и общественного положения

и явиться дерзким юным школьникам в следующую ночь в своей знаменитой роли Отважного Руперта, или Герцога без головы.

Он не появлялся в этой роли более семидесяти лет, с тех самых пор, когда он так напугал хорошенькую леди Барбару Модииш, что она отказала своему жениху, деду нынешнего лорда Кентервиля, и убежала в Гретна-Грин¹⁸ с красавцем Джеком Каслтоном; она тогда заявила, что ни за что в мире не согласится выйти замуж за человека, семья которого позволяет такому ужасному призраку разгуливать в сумерках по террасе. Бедный Джек был вскоре убит на дуэли лордом Кентервильским на Вандсвортском лугу, а леди Барбара умерла от разбитого сердца в Тенбридж-Уэльсе меньше чем через год, так что в общем выступление духа имело большой успех. Но это был чрезвычайно трудный «грим», — если я могу воспользоваться таким театральным термином, говоря об одной из величайших тайн мира сверхъестественного, или, выражаясь научнее, мира «околоестественного», — и он потерял целых три часа на приготовления. Наконец все было готово, и он остался очень доволен своим видом. Большие кожаные ботфорты, которые составляли часть костюма, были немного велики, и ему не удалось отыскать один из двух пистолетов, но в общем он был совершенно доволен и ровно в четверть второго выскользнул из обшивки и прокрался вниз по коридору. Добравшись до комнаты, которую занимали близнецы (кстати сказать, эта комната называлась Голубой спальней из-за цвета обоев и штор), он заметил, что дверь была немного открыта. Желая как можно эффектнее войти, он широко распахнул ее... и прямо на него свалился тяжелый кувшин с водой, промочив его насквозь и едва не задев левое плечо. В ту же минуту он услышал сдержанные взрывы хохота из-под балдахина широкой постели.

Нервное потрясение было так велико, что он убежал в свою комнату как можно скорее и на следующий день слег от сильной простуды. Хорошо еще, что он не захватил с собою своей головы, иначе последствия могли бы быть очень серьезными.

Он теперь бросил всякую надежду напугать когда-нибудь эту невоспитанную американскую семью и большею частью довольствовался тем, что бродил по

коридору в войлочных туфлях, с толстым красным шарфом вокруг шеи, из боязни сквозняков, и с маленьким арбалетом в руках на случай нападения близнецов. Окончательный удар был нанесен ему 19 сентября. Он спустился в большую переднюю, чувствуя, что там по крайней мере будет в совершенной безопасности, и стал развлекать себя язвительными насмешками над большими увеличенными фотографиями посла Соединенных Штатов и его супруги, сменившими фамильные портреты Кентервилей. Одет он был просто, но аккуратно, в длинный саван, кое-где запятнанный могильной плесенью, нижняя челюсть была подвязана куском желтого полотна, а в руке он держал фонарик и заступ могильщика. Собственно говоря, он был одет для роли Ионы Непогребенного, или Пожирателя Трупов с Чертсейского Гумна, одно из его лучших воплощений. Оно так памятно всем Кентервилям, ибо именно оно послужило поводом для их ссор с соседом лордом Реффордом. Было уже около четверти третьего, и, насколько ему удалось заметить, никто не шевелился. Но когда он медленно пробирался к библиотеке, чтобы проверить, остались ли какие-нибудь следы от кровавого пятна, внезапно набросились на него из-за темного угла две фигуры, дико размахивавшие руками над головой, и крикнули ему на ухо: «Б-у-у!»

Охваченный вполне естественным, при таких условиях, паническим страхом, он бросился к лестнице, но там его ждал Вашингтон с большим садовым насосом; окруженный таким образом со всех сторон врагами и почти принужденный сдаться, он юркнул в большую железную печь, которая, к счастью, не топилась, и пробрался по трубам в свою комнату в ужасном виде, грязный, растерзанный, исполненный отчаяния.

После этого его ночные похождения были прекращены. Близнецы поджидали его в засаде несколько раз и каждый вечер посыпали пол коридоров ореховой скорлупой, к величайшему неудовольствию родителей и прислуги, но все было напрасно. Стало совершенно очевидно, что дух счел себя настолько обиженным, что не хотел больше появляться. Поэтому мистер Отис снова принялся за свой труд по истории демократической партии, над которым работал уже много лет; миссис Отис организовала состязание на

печение пирогов, поразившее все графство; мальчики увлеклись лакроссом, покером, юкером¹⁹ и другими национальными американскими играми; Виргиния же каталась по аллеям на своем пони, в сопровождении молодого герцога Чеширского, проводившего последнюю неделю своих каникул в Кентервильском замке. Все окончательно решили, что привидение куда-нибудь переселилось, и мистер Отис известил об этом письмом лорда Кентервиля, который в ответ выразил свою большую радость по этому поводу и поздравил почтенную супругу посла.

Но Отисы ошиблись, так как привидение все еще оставалось в доме, и хотя теперь оно стало почти инвалидом, все же не думало оставлять всех в покое, тем более когда узнало, что среди гостей был молодой герцог Чеширский, двоюродный дед которого, лорд Фрэнсис Стилтон, однажды поспорил на сто гиней с полковником Карбери, что сыграет в кости с Кентервильским духом; на следующее утро его нашли на полу игровой комнаты в беспомощном состоянии, разбитого параличом, и, хотя он дожил до преклонного возраста, никогда больше не мог сказать ни слова, кроме «шесть и шесть». Эта история в свое время получила большое распространение, но из уважения, конечно, к чувствам обеих благородных семей были приняты все меры к тому, чтобы замаять ее; подробное описание всех обстоятельств, связанных с этой историей, можно найти в третьем томе книги лорда Таттля «Воспоминания о принце-регенте и его друзьях». Поэтому вполне естественно было желание духа доказать, что он не потерял своего влияния над Стилтонами, с которыми к тому же у него было отдаленное родство; его собственная кузина была замужем *en secondes nocces*^{*} за сэром де Бёлкли, от которого, как всем известно, ведут свой род герцоги Чеширские. Ввиду этого он начал приготовления, чтобы предстать перед юным поклонником Виргинии в своем знаменитом воплощении Монаха-Вампира, или Бескровного Бенедиктинца, нечто столь страшное, что, когда его однажды, в роковой вечер под Новый год, в 1764 г., увидела старая леди Стартап, она разразилась пронзительными криками и через три дня скончалась от апоплексического уда-

* Второй брак (фр.).

ра, лишив Кентервилей, своих ближайших родственников, наследства и оставив все свое состояние своему лондонскому аптекарю.

Но в последнюю минуту страх перед близнецами помешал духу покинуть свою комнату, и маленький герцог спокойно провел ночь под большим балдахином с плюмажами в королевской опочивальне и видел во сне Виргинию.

V

Несколько дней спустя Виргиния и ее златокудрый кавалер поехали кататься верхом на Броклейские луга, где она, перескакивая через плетень, так разорвала свою амазонку, что по возвращении домой решила подняться в свою комнату по черной лестнице, чтобы никто не видел. Когда она пробегала мимо гобеленовой залы, дверь которой была чуть-чуть приоткрыта, ей померещилось, что она кого-то увидела в комнате, и, думая, что это камеристка ее матери, иногда приходившая сюда со своим шитьем, она решила попросить ее заштопать платье. К ее неописуемому удивлению, оказалось, однако, что это был сам Кентервильский дух! Он сидел у окна и смотрел, как по воздуху носилось тусклое золото желтеющих деревьев и красные листья мчались в бешеной пляске по длинной аллее. Он оперся головою на руки, и весь облик его говорил о крайнем отчаянии. Таким одиноким, истрепанным казался он, что маленькая Виргиния, первая мысль которой была — убежать и запереться у себя в комнате, преисполнилась жалостью и решила попробовать утешить его. Так легки и неслышны были ее шаги, так глубока была его грусть, что он не заметил ее присутствия, пока она не заговорила с ним.

— Мне вас очень жаль, — сказала она, — но братья мои завтра возвращаются в Итон, и тогда, если вы будете вести себя прилично, никто вас больше обижать не станет.

— Глупо просить меня, чтобы я вел себя прилично, — ответил он, оглядывая в удивлении маленькую хорошенькую девочку, которая решилась с ним заговорить, — просто нелепо. Я должен греметь своими цепями, стонать в замочные скважины, разгуливать по но-

чам, — о чем же вы говорите? В этом единственный смысл моего существования.

— Это вовсе не смысл существования, и вы знаете, что вы были очень злой человек. Миссис Эмни рассказывала нам в первый же день нашего приезда, что вы убили свою жену.

— Ну что ж, я и не отрицаю этого, — ответил дух сварливо, — но это чисто семейное дело, и оно никого не касается.

— Очень нехорошо убивать кого бы то ни было, — сказала Виргиния, которая иногда проявляла милую пуританскую строгость, унаследованную от какого-нибудь старого предка из английских переселенцев.

— О, я ненавижу дешевую строгость отвлеченной морали! Жена моя была очень некрасива, никогда не могла прилично накрахмалить мои брыжи и ничего не понимала в стряпне. Вот вам пример: однажды я убил в Хоглейском лесу оленя, великолепного годовалого самца, и как, вы думаете, она приказала подать его к столу? Впрочем, это неважно теперь, так как теперь все это кончилось, только, по-моему, было очень мило со стороны ее братьев, что они заморили меня голодной смертью, хотя бы я и был убийца своей жены.

— Заморили вас голодом? О, господин дух, то есть я хотела сказать, сэр Симон, вы голодны? У меня в сумке есть бутерброд. Хотите?

— Нет, благодарю вас. Я теперь никогда ничего не ем; но все же вы очень любезны, и вообще вы гораздо милее всех остальных в вашей отвратительной, невоспитанной, пошлой, бесчестной семье.

— Молчите! — крикнула Виргиния, топнув ногой. — Вы сами невоспитанный, и отвратительный, и пошлый, а что касается бесчестности, то вы сами знаете, что взяли у меня из ящика краски для того, чтобы поддерживать это глупое кровавое пятно в библиотеке. Вначале вы взяли все красные краски, включая и киноварь, так что я больше не могла рисовать солнечные закаты, потом взяли изумрудную зелень и желтый хром, и наконец у меня ничего не осталось, кроме индиго и белил, и я вынуждена была ограничиваться одними сценами при лунном освещении, что всегда выходило очень тоскливо и не так-то легко нарисовать. Я ни разу

не выдала вас, хотя мне было очень неприятно, и вообще вся эта история крайне нелепа; кто когда-либо слышал о крови изумрудно-зеленого цвета?

— Но скажите, — сказал дух довольно покорно, — что же мне было делать? Очень трудно в наши дни доставать настоящую кровь, и так как ваш брат пустил в ход свой Образцовый Очиститель, я не видел причины, почему бы мне не воспользоваться вашими красками. Что касается цвета, то это вопрос вкуса; у Кентервилей, например, кровь голубая, самая голубая во всей Англии; но я знаю, что вы, американцы, такого рода вещей не любите.

— Вы совершенный невежда, и лучшее, что вы можете сделать, это эмигрировать в Америку и пополнить немного свое образование. Отец мой рад будет выхлопотать вам бесплатный проезд, и хотя существует очень высокая пошлина на всякого рода духи, вас будут мало беспокоить в таможне, так как все чиновники — демократы. А раз вы попадете в Нью-Йорк, то вам обеспечен колоссальный успех. Я знаю многих людей, которые дали бы сто тысяч долларов, чтобы иметь деда, и несравненно дороже, чтобы иметь семейное привидение.

— Вряд ли мне понравится ваша Америка.

— Наверное, потому, что там нет никаких развалин и ничего архаического? — сказала Виргиния иронически.

— Никаких развалин — а ваш флот? Ничего архаического — а ваши обычаи?

— Прощайте; я пойду и попрошу папу, чтобы он выхлопотал близнецам еще на одну неделю каникулы.

— Не уходите, пожалуйста, мисс Виргиния! — воскликнул он. — Я так одинок и так несчастлив и, право, не знаю, что делать. Мне хочется уснуть, а я не могу.

— Ну, это уж совсем нелепо!.. Вам только надо лечь в постель и потушить свечу. Иногда бывает очень трудно не уснуть, особенно в церкви, но никогда не бывает трудно уснуть. Даже грудные младенцы умеют это делать, а они ведь не так уж умны.

— Я не спал триста лет, — сказал он печально, и красивые голубые глаза Виргинии широко раскрылись в удивлении, — триста лет я не спал, и я так утомлен.

Виргиния сделалась совершенно серьезной, и ее

губки задрожали, как розовые лепестки. Она подошла к нему, опустилась около него на колени и заглянула в старое и сморщенное лицо.

— Бедный, бедный дух, — прошептала она, — разве у тебя нет места, где бы лечь и уснуть?

— Далеко, далеко за сосновым бором, — ответил он тихим мечтательным голосом, — есть маленький сад. Там густа и высока трава, там большие белые звезды болиголова, и всю ночь там поет соловей. Всю ночь там поет соловей, а сверху глядит холодная хрустальная луна, и тисовое дерево простирает свои исполинские руки над спящими.

Глаза Виргинии потускнели от слез, и она закрыла лицо руками.

— Вы говорите о Саде Смерти? — прошептала она.

— Да, Смерти. Смерть должна быть прекрасна. Лежать в мягкой темной земле, чтоб над головой качались травы, и слушать молчание! Не знать ни вчера, ни завтра. Забыть время, простить жизнь, познать покой. Вы мне можете помочь. Вы можете открыть мне врата в обитель Смерти, ибо с вами — всегда Любовь, а Любовь сильнее Смерти.

Виргиния вздрогнула, холодная дрожь пронизала ее, и на несколько мгновений воцарилось молчание. Ей казалось, будто она в каком-то ужасном сне.

Потом снова заговорил дух, и голос его был похож на вздохи ветра.

— Вы когда-нибудь читали то старинное предсказание, что начертано на окне библиотеки?

— О, часто! — воскликнула девочка, поднимая голову. — Я его хорошо знаю. Оно написано странными черными буквами, и так трудно прочесть его. Там всего только шесть строк:

Когда златокудрая дева склонит
Уста грешника к молитве,
Когда сухое миндальное дерево зацветет
И малый ребенок заплачет,
Тогда затихнет весь наш дом,
И покой сойдет на Кентервиля.

Но я не понимала, что значат эти слова.

— Они означают, — сказал он печально, — что вы должны оплакать мои прегрешения, так как у меня у

самого нет слез, и помолиться за мою душу, так как у меня у самого нет веры, и тогда, если вы всегда были доброй, любящей и хорошей, Ангел Смерти смилуется надо мной. Вы увидите ужасных чудовищ во тьме, и злые голоса станут шептать вам на ухо, но они вам не причинят вреда, так как против чистоты ребенка злые силы ада бессильны.

Виргиния ничего не ответила, и дух в диком отчаянии стал ломать руки, глядя вниз на ее златокудрую головку. Вдруг, бледная, со страшно-светящимися глазами, она встала.

— Я не боюсь, — сказала она решительно, — и я попрошу Ангела помиловать вас.

С еле слышными криками радости встал он с места, взял ее руку и, склонившись к ней, поцеловал ее по старинному обычаю. Пальцы его были холодны как лед, а губы жгли как огонь, но Виргиния ни на минуту не поколебалась, пока он вел ее через полутемную комнату. На поблекших зеленых гобеленах были вытканы маленькие охотники. Они затрубили в свои украшенные кистями рога и крошечными ручками манили ее назад.

— Назад, маленькая Виргиния! — кричали они. — Назад!

Но дух схватил ее крепче за руку, и она закрыла глаза. Отвратительные звери с хвостами ящериц и выпученными глазами смотрели на нее с резной рамы камина и шептали:

— Берегись, маленькая Виргиния, берегись! Быть может, мы никогда больше не увидим тебя!

Но дух скользил вперед все быстрее, и она ничего не слышала. Когда они дошли до конца комнаты, он остановился и прошептал какие-то слова, которые она не могла понять. Она раскрыла глаза и видела, как стена медленно растаяла, словно мгла, и за ней открылась огромная черная пещера. Холодный ветер окутал их, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.

— Скорее, скорее, — крикнул дух, — а то будет слишком поздно!

И не прошло мгновения, как деревянные обшивки стены закрылись за ними, и гобеленовая зала стала пуста.

Минут десять спустя зазвонил гонг, призывая к чаю, и, так как Виргиния не явилась, миссис Отис послала наверх за нею одного из лакеев. Он вернулся и заявил, что нигде не мог найти мисс Виргинии. Так как у нее была привычка выходить каждый вечер за цветами для обеденного стола, миссис Отис не беспокоилась вначале, но, когда пробило шесть и все еще Виргинии не было, она серьезно заволновалась и послала мальчиков поискать ее в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла все комнаты в доме. В половине седьмого мальчики вернулись и заявили, что нигде нет никаких следов Виргинии. Они были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что несколько дней тому назад позволил цыганскому табору расположиться у него в парке. Поэтому он тотчас же отправился в сопровождении старшего сына и двух работников в Блэкфельский лог, где, как он знал, находились цыгане. Маленький герцог Чеширский, почти обезумевший от беспокойства, настойчиво просил, чтобы и его взяли с собой, но мистер Отис не взял его, так как боялся возможности свалки. Когда они прибыли на место, где был табор, оказалось, что цыган уже нет, и, судя по тому, что еще теплится костер и на траве валялись какие-то тарелки, отъезд их был крайне спешный. Отправив Вашингтона и работников обыскать местность, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы по всем полицейским участкам, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Потом он приказал подать себе лошадь и, убедив жену и трех мальчиков сесть за стол обедать, поехал по направлению к Аскоту в сопровождении грума. Но не успели они проехать и двух миль, как услышали за собой лошадиный топот, и, оглянувшись, мистер Отис увидел маленького герцога, прискакавшего на своем коне, без шляпы и с раскрасневшимся лицом.

— Простите меня, мистер Отис, — сказал мальчик, задыхаясь, — но я не могу есть, покуда Виргиния не найдена. Пожалуйста, не сердитесь на меня; но, если бы вы в прошлом году дали согласие на нашу помолв-

ку, этой истории не случилось бы. Вы не отправите меня назад, не правда ли? Я не хочу вернуться домой, и я не могу вернуться.

Посол не мог удержаться от улыбки при взгляде на красивого молодого сорванца, и его очень тронула преданность мальчика Виргинии; нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу и сказал:

— Ну, что же делать, Сесил? Если вы не хотите возвращаться домой, значит, надо мне взять вас с собой, но я должен буду купить вам в Аскоте шляпу.

— Черт с ней, со шляпой. Мне нужна Виргиния! — сказал маленький герцог, смеясь, и все поскакали по направлению к железнодорожной станции.

Там мистер Отис расспросил начальника станции, не видел ли кто-нибудь на платформе девочки, отвечающей по описанию приметам Виргинии, но никто ничего не знал. Все же начальник станции дал телеграммы по линии и уверил мистера Отиса, что к розыскам девочки будут приняты все меры; купив маленькому герцогу шляпу у торговца, уже закрывавшего свою лавку, посол поехал дальше в село Бексли, отстоявшее на расстоянии четырех миль от станции, которое славилось как место сборищ для цыган, так как рядом был широкий луг. Здесь они разбудили сельского полисмана, но ничего от него не узнали и, объехав весь луг, повернули домой и добрались до замка около одиннадцати часов, усталые, разбитые, почти в отчаянии. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями: в аллее было уже очень темно. Оказалось, что цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было; что же касается их внезапного отъезда, то цыгане объяснили его тем, что они ошиблись относительно дня, когда открывается Чертонская ярмарка, и поспешили, чтобы не опоздать к открытию. Они и сами встревожились, узнав об исчезновении Виргинии, так как были очень признательны мистеру Отису за то, что он им позволил разбить свой табор в парке, и четверо из них остались помогать в этих розысках. Обыскали сазанный пруд и обошли каждый уголок замка, но безуспешно. Было очевидно, что на эту ночь, по крайней мере, Виргиния пропала; в состоянии полного отчаяния направились к дому мистер Отис и мальчики, а грум следовал за ними с двумя ло-

шадьми и пони. В передней их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, почти обезумевшая от страха и тревоги; ко лбу ее прикладывала компрессы из одеколona старуха экономка. Мистер Отис тотчас же уговорил жену съесть что-нибудь и велел всем подать ужин. Это был грустный ужин, так как все молчали, и даже близнецы утомонились и сидели смирно, ибо они очень любили сестру.

Когда кончили есть, мистер Отис, невзирая на мольбы маленького герцога, отправил всех спать, говоря, что ночью все равно ничего нельзя сделать, а утром он даст телеграммы в Лондон, в сыскную полицию, чтобы немедленно прислали несколько сыщиков. Как раз, когда они выходили из столовой, церковные часы начали отбивать полночь, и вместе с последним ударом колокола раздался какой-то грохот и резкий крик; оглушительный раскат грома потряс весь дом; звуки неземной музыки полились в воздухе; на верхней площадке лестницы сорвалась с шумом тайная дверь в деревянной обшивке, и, бледная как полотно, держа в руках маленький ларец, показалась **Виргиния**.

В одно мгновение все подбежали к ней, миссис Отис нежно прижала ее к себе, маленький герцог почти душил ее пылкими поцелуями, а близнецы стали кружиться вокруг группы в дикой воинственной пляске.

— Господи, дитя мое, где ты была? — сказал мистер Отис довольно сердито, думая, что она сыграла с ними какую-нибудь глупую шутку. — Сесил и я объехали всю Англию, разыскивая тебя, а мать твоя напугалась до полусмерти. Никогда больше ты не должна дурачить нас таким образом.

— Только духа можешь дурачить, только духа! — кричали близнецы, прыгая как сумасшедшие.

— Милая моя, родная, слава Богу, что ты нашлась; ты больше не должна никогда покидать меня, — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая спутанные пряди ее золотистых волос.

— Папа, — сказала **Виргиния** спокойно, — я была все это время с духом. Он умер, и вы должны прийти и взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но он искренно раскаялся во всех своих проступках и

подарил мне на память вот этот ларец с чудесными драгоценностями.

Вся семья глядела на нее в немом изумлении, но она была совершенно серьезна и спокойна и, повернувшись, повела их через отверстие в обшивке стены вниз по узкому потайному коридорчику; Вашингтон следовал в хвосте с зажженной свечой, захваченной со стола. Наконец они дошли до большой дубовой двери, обитой ржавыми гвоздями. Когда Виргиния прикоснулась к ней, она распахнулась на больших петлях, и они очутились в маленькой низенькой комнатке со сводчатым потолком и единственным решетчатым окошечком. В стену было вделано огромное железное кольцо, и к нему цепью был прикован исполинский скелет, вытянувшийся во всю длину на каменном полу, и, казалось, он пытался ухватить длинными, без кожи и мяса, пальцами старинное блюдо и ковш, поставленные так, что их нельзя было достать. Ковш, очевидно, когда-то был наполнен водой, так как внутри он был покрыт зеленой плесенью. На блюде же ничего не было, кроме маленькой горсточки пыли. Виргиния опустила на колени рядом со скелетом и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться; остальные в удивлении смотрели на ужасную трагическую картину, тайна которой теперь раскрылась им.

— Смотрите! — вдруг воскликнул один из близнецов, выглянувший в окно, чтобы проверить, в каком крыле замка находилась комната. — Смотрите! Старое высохшее миндальное дерево расцвело. Я вижу ясно цветы при лунном свете.

— Бог простил его! — сказала серьезно Виргиния, поднимаясь на ноги, и лицо ее как будто озарилось ясным, лучезарным сиянием.

— Какой вы ангел! — воскликнул молодой герцог, обнял ее и поцеловал.

VII

Четыре дня спустя после этих страшных событий, около одиннадцати часов ночи из Кентервильского замка двинулся траурный поезд. Катафалк везли восемь вороных лошадей, и у каждой на голове разве-

вался пышный страусовый султан; свинцовый гроб был завешан роскошным пурпуровым покровом, на котором был золотом вышит герб Кентервилей. Рядом с катафалком и траурными каретами шли с зажженными факелами слуги, и вся процессия производила весьма торжественное впечатление. Лорд Кентервиль, приехавший на похороны специально из Уэльса, в качестве ближайшего родственника ехал в первой карете вместе с маленькой Виргинией. Дальше ехал посол Соединенных Штатов с супругой, за ними Вашингтон и три мальчика, а в последней карете сидела миссис Эмни. Было единогласно решено, что, раз привидение пугало ее аккуратно в течение пятидесяти лет, она имела полное право проводить его до места последнего упокоения. В углу церковной ограды, под тисовым деревом, была вырыта огромная могила, а заупокойную службу очень торжественно прочитал преподобный Огастес Дампир. Когда обряд предания земле кончился, слуги, согласно древнему обычаю, сохранившемуся в роде Кентервилей, потушили свои факелы; когда же гроб опускали в могилу, Виргиния подошла к нему и возложила на крышку большой крест из белых и розовых миндальных цветов. Когда она это сделала, из-за тучи показалась луна и залила своим молчаливым серебром всю церковную ограду, а в далекой роще зазвучала песнь соловья. Виргиния вспомнила описанный духом Сад Смерти, и глаза ее помутнели от слез, и по дороге домой она не проронила ни слова.

На следующее утро, перед тем как лорду Кентервилю вернуться в Лондон, мистер Отис имел с ним беседу по поводу драгоценностей, подаренных Виргинии привидением. Драгоценности эти были великолепны, особенно одно рубиновое ожерелье в венецианской оправе, изумительный образец работы XVI века; ценность их была так велика, что мистер Отис никак не мог решиться позволить своей дочери принять их.

— Милорд, — сказал он, — я знаю, что в вашей стране права наследства простираются как на фамильные драгоценности, так и на поместья, и мне совершенно ясно, что эти вещи принадлежат или должны принадлежать вашему роду. Поэтому я считаю своим

долгом просить вас взять их с собою в Лондон и смотреть на них просто как на часть вашей собственности, которая возвращена вам при немного странных обстоятельствах. Что касается моей дочери, то она еще ребенок и пока, к счастью, могу сказать, мало проявляет интерес к подобным принадлежностям ненужной роскоши. Кроме того, меня поставила в известность миссис Отис (могу похвастаться, недюжинный авторитет в вопросах искусства: она в молодости имела счастье провести несколько зим в Бостоне), что эти безделушки имеют большую денежную ценность и при продаже за них можно выручить большую сумму. При этих условиях, лорд Кентервиль, я уверен, вы поймете, что мне никак невозможно допустить, чтобы они остались во владении кого-нибудь из членов моей семьи; да вообще подобные бесполезные игрушки и штучки, как бы ни были они необходимы и соответственны достоинству великобританской аристократии, были бы совершенно лишние для моей дочери, воспитанной на строгих и, я бы сказал, бесмертных принципах республиканской простоты. Я должен, однако, упомянуть, что Виргинии очень хотелось бы, чтобы вы ей позволили оставить себе шкатулку как память о вашем несчастном, но введенном в заблуждение предке. Так как это чрезвычайно древняя и поэтому крайне потрепанная и нуждающаяся в ремонте вещь, то, может быть, вы найдете возможность исполнить ее просьбу. Что касается меня, то, должен сознаться, меня крайне удивляет, как может моя дочь проявлять сочувствие к средневековью, в каком бы то ни было виде, и могу это объяснить только тем, что Виргиния родилась в одном из ваших лондонских пригородов, вскоре после возвращения миссис Отис из поездки в Афины.

Лорд Кентервиль очень сосредоточенно выслушал речь почтенного посланника, лишь изредка покручивая седой ус, чтобы скрыть невольную улыбку, и, когда мистер Отис кончил, крепко пожал ему руку и сказал:

— Дорогой сэръ, ваша очаровательная дочь оказала моему злосчастному предку, сэру Симону, очень большую услугу, и я и моя семья чрезвычайно обязаны ей за ее похвальную смелость и мужество. Драгоценно-

сти, безусловно, принадлежат ей, и, клянусь вам, я убежден, что, если бы я был так бессердечен и отнял их у нее, этот старый грешник вылез бы из могилы меньше чем через две недели и отравил бы мне всю мою жизнь. Что касается того, что они составляют часть майората ²⁰, то вещь, о которой не упомянуто в юридическом документе, не составляет фамильной собственности, а о существовании этих драгоценностей нигде не упомянуто ни словом. Уверяю вас, что у меня на них не больше прав, чем у вашего лакея, и я уверен, когда мисс Виргиния вырастет, ей будет приятно носить такие красивые безделушки. Кроме того, вы забыли, мистер Отис, что вы у меня купили мебель вместе с привидением, и все, что принадлежало привидению, перешло тогда же в вашу собственность; и какую бы деятельность сэр Симон ни проявлял ночью в коридоре, юридически он был мертв, и вы законно купили все его имущество.

Мистер Отис был очень расстроен отказом лорда Кентервиля и просил его хорошенько обдумать свое решение, но добродушный пэр был очень тверд, и наконец ему удалось уговорить посла разрешить своей дочери оставить себе подарок привидения; когда же весной 18.. года молодая герцогиня Чеширская была представлена королеве на высочайшем приеме, ее драгоценности были предметом всеобщего внимания. Там Виргиния получила герцогскую корону, награду, которую получают все добронравные американские девочки, и вышла замуж за своего юного поклонника, как только он достиг совершеннолетия. Они оба были так очаровательны и так любили друг друга, что все были довольны их браком, кроме старой маркизы Дамблтон, которая пыталась заманить герцога для одной из своих семерых дочерей и для этой цели устроила три очень дорогих обеда; как это ни странно, недоволен был также и мистер Отис. Хотя он лично очень любил молодого герцога, но принципиально был врагом всяких титулов, и, по его собственным словам, «опасался, что под развращающим влиянием жаждущей только наслаждения аристократии могут быть забыты основные принципы республиканской простоты». Но его возражения были скоро преодолены, и, мне кажется, когда он подходил к алтарю церкви

Святого Георгия²¹, что на Ганновер-сквер, ведя под руку свою дочь, не было человека более гордого во всей Англии.

Герцог и герцогиня, как только кончился медовый месяц, поехали в Кентервильский замок и на следующий день после приезда отправились пешком на пустынное кладбище у соснового бора. Сперва долго не могли выбрать надпись для могильной плиты сэра Симона, но наконец решили вырезать на ней просто инициалы его имени и те строки, что были на окне в библиотеке. Герцогиня принесла с собой букет чудесных роз, которыми она посыпала могилу, и, постояв немного над нею, они вошли в развалившийся алтарь старинной церкви. Герцогиня села на опрокинутую колонну, а муж расположился у ее ног, куря папиросу и смотря ей в прекрасные глаза. Вдруг он отбросил папиросу, взял герцогиню за руку и сказал:

— **Виргиния, у тебя не должно быть никаких тайн от мужа.**

— **Дорогой Сесил, у меня нет никаких тайн от тебя.**

— **Нет, есть, — ответил он, улыбаясь, — ты мне никогда не рассказывала, что произошло, когда ты заперлась с привидением.**

— **Я никогда никому этого не рассказывала, Сесил, — сказала Виргиния серьезно.**

— **Я знаю, но мне рассказать ты могла бы.**

— **Пожалуйста, не спрашивай меня, Сесил, я не могу рассказать тебе это. Бедный сэр Симон! Я ему многим обязана. Нет, не смейся, Сесил. Я действительно обязана. Он открыл мне, что такое Жизнь, и что такое Смерть, и почему Любовь сильнее Жизни и Смерти.**

Герцог встал и нежно поцеловал свою жену.

— **Ты можешь хранить свою тайну, пока твое сердце принадлежит мне, — шепнул он.**

— **Оно всегда было твое, Сесил.**

— **Но ты расскажешь когда-нибудь нашим детям? Не правда ли?**

Виргиния покраснела.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

Размышление о чувстве долга

I

Леди Уиндермир давала последний прием перед Пасхой, и дом был заполнен до отказа. Шесть министров явились прямо из парламента в орденах и лентах, светские красавицы блистали изящнейшими туалетами, а в углу картинной галереи стояла принцесса София из Карлсруэ — грузная дама с роскошными изумрудами и крохотными черными глазками на скуластом татарском лице; она очень громко говорила на скверном французском и неумеренно хохотала в ответ на любую реплику. Как все чудесно перемешалось! Сиятельные леди запросто болтали с воинствующими радикалами, прославленные проповедники по-приятельски беседовали с известными скептиками, стайка епископов порхала из зала в зал вслед за дебелой примадонной, на лестнице стояли несколько действительных членов Королевской академии, маскирующихся под богему, и прошел слух, что столовую, где накрыли ужин, просто оккупировали гении. Без сомнения, это был один из лучших вечеров леди Уиндермир, и принцесса задержалась почти до половины двенадцатого.

Как только она уехала, леди Уиндермир вернулась в картинную галерею, где знаменитый экономист серьезно и обстоятельно разъяснял научную теорию музыки негодующему виртуозу из Венгрии, и заговорила с герцогиней Пейсли.

Как хороша была хозяйка вечера! Невозможно не восхищаться белизной ее точеной шеи, незабудковой синевою глаз и золотом волос. То было и в самом деле *ог риг**, а не бледно-желтый цвет соломы, который ныне смеют сравнивать с благородным металлом, то было золото, вплетенное в солнечные лучи и упрямое в таинственной толще янтаря; в золотом обрамлении ее лицо светилось как лик святого, но и не без магической прелести греха. Она являла собой интересный психологический феномен. Уже в юности она

* Чистое золото (фр.).

познала ту важную истину, что опрометчивость и легкомыслие чаще всего почитают за невинность. За счет нескольких дерзких проделок — большей частью, впрочем, совершенно безобидных — она приобрела известность и уважение, подобающие видной личности. Она не раз меняла мужей (согласно справочнику Дебретта, их у нее было три), но сохранила одного любовника, и потому пересуды на ее счет давно прекратились. Ей недавно исполнилось сорок, она была бездетна и обладала той неумемной жадностью удовольствий, которая единственно и продлевает молодость.

Вдруг она нетерпеливо огляделась и проговорила своим чистым контральто:

— Где мой хиромант?

— Кто-кто, Глэдис? — вздрогнув, воскликнула герцогиня.

— Мой хиромант, герцогиня. Я теперь жить без него не могу.

— Глэдис, милая, ты всегда так оригинальна, — пробормотала герцогиня, пытаюсь вспомнить, что такое хиромант, и опасаясь худшего.

— Он приходит два раза в неделю, — продолжала леди Уиндермир, — и извлекает интереснейшие вещи из моей руки.

— О Боже! — тихо ужаснулась герцогиня. — Что-то вроде мозольного оператора. Какой кошмар. Надеюсь, он, по крайней мере, иностранец. Это было бы еще не так страшно.

— Я непременно должна вас познакомить.

— Познакомить! — вскричала герцогиня. — Он что же, здесь? — Она принялась искать глазами свой черепаховый веер и весьма потрепанную кружевную накидку, с тем чтобы, если потребуется, ретироваться без промедления.

— Разумеется, он здесь. Какой же прием без него. Он говорит, что у меня богатая, одухотворенная рука и что если бы большой палец был чуточку короче, то я была бы меланхолической натурой и пошла в монастырь.

— Ах, вот что. — У герцогини отлегло от сердца. — Он гадает!

— И угадывает! — подхватила леди Уиндермир. — И так ловко! Вот в будущем году, например, меня подстерегает большая опасность и на суше и на море, так

что я буду жить на воздушном шаре, а ужин мне по вечерам будут поднимать в корзине. Это все написано на моем мизинце — или на ладони, я точно не помню.

— Ты искушаешь провидение, Глэдис.

— Милая герцогиня, я уверена, что провидение давно научилось не поддаваться искушению. По-моему, каждый должен ходить к хироманту хотя бы раз в месяц, чтобы знать, что ему можно и чего нельзя. Потом мы, конечно, делаем все наоборот, но как приятно знать о последствиях заранее! Если кто-нибудь сейчас же не отыщет мистера Поджерса, я пойду за ним сама.

— Позвольте мне, леди Уиндермир, — сказал высокий красивый молодой человек, который в продолжение всего разговора стоял, улыбаясь, рядом.

— Спасибо, лорд Артур, но вы же его не знаете.

— Если он такой замечательный, как вы рассказываете, леди Уиндермир, я его ни с кем не спутаю. Опишите его внешность, и я сию же минуту приведу его.

— Он совсем не похож на хироманта. То есть в нем нет ничего таинственного, романтического. Маленький, полный, лысый, в больших очках с золотой оправой — нечто среднее между семейным доктором и провинциальным стряпчим. Сожалею, но я, право, не виновата. Все это очень досадно. Мои пианисты страшно похожи на поэтов, а поэты на пианистов. Помню, в прошлом сезоне я пригласила на обед настоящее чудовище — заговорщика, который взрывает живых людей, ходит в кольчуге, а в рукаве носит кинжал. И что бы вы думали? Он оказался похожим на старого пастора и весь вечер шутил с дамами. Он был очень остроумен и все такое, но представьте, какое разочарование! А когда я спросила его о кольчуге, он только рассмеялся и ответил, что в Англии в ней было бы холодно. А вот и мистер Поджерс! Сюда, мистер Поджерс. Я хочу, чтобы вы погадали герцогине Пейсли. Герцогиня, вам придется снять перчатку. Нет, не эту, другую.

— Право, Глэдис, это не вполне прилично, — проговорила герцогиня, нехотя расстегивая отнюдь не новую лайковую перчатку.

— Все, что интересно, не вполне прилично, — парировала леди Уиндермир. — *On a fait le monde ainsi**.

* Так уж устроен мир (фр.).

Но я должна вас познакомить. Герцогиня, это мистер Поджерс, мой прелестный хиромант. Мистер Поджерс, это герцогиня Пейсли, и если вы скажете, что ее лунный бугор больше моего, я вам уже никогда не поверю.

— Глэдис, я уверена, что у меня на руке нет ничего подобного, — с достоинством произнесла герцогиня.

— Вы совершенно правы, ваша светлость, — сказал мистер Поджерс, взглянув на пухлую руку с короткими толстыми пальцами, — лунный бугор не развит. Но линия жизни, напротив, видна превосходно. Согните, пожалуйста, руку. Вот так, благодарю. Три четкие линии на сгибе! Вы доживете до глубокой старости, герцогиня, и будете очень счастливы. Честолюбие... весьма скромно, линия интеллекта... не утрирована, линия сердца...

— Говорите все как есть, мистер Поджерс! — встала леди Уиндермир.

— С превеликим удовольствием, сударыня, — сказал мистер Поджерс и поклонился, — но, увы, герцогиня не дает повода для пространных рассказов. Я вижу редкое постоянство в сочетании с завидным чувством долга.

— Продолжайте, прошу вас, мистер Поджерс, — весьма благосклонно произнесла герцогиня.

— Не последнее из достоинств вашей светлости — бережливость, — продолжал мистер Поджерс, и леди Уиндермир прыснула со смеху.

— Бережливость — прекрасное качество, — удовлетворенно проговорила герцогиня. — Когда я вышла за Пейсли, у него было одиннадцать замков и ни одного дома, пригодного для жизни.

— А теперь у него двенадцать домов и ни одного замка! — отозвалась леди Уиндермир.

— Видишь ли, милая, я люблю...

— Комфорт, — произнес мистер Поджерс, — удобства и горячую воду в каждой спальне. Вы совершенно правы, ваша светлость. Комфорт — это единственное, что может нам дать цивилизация.

— Вы чудесно отгадали характер герцогини, мистер Поджерс. Теперь погадайте леди Флоре. — Повинуясь знаку улыбающейся хозяйки, из-за дивана неловко выступила высокая девушка с острыми лопат-

ками и рыжеватыми волосами, выдающими шотландское происхождение; она протянула худую, длинную руку с крупными и как бы приплюснутыми пальцами.

— А, пианистка! Вижу, вижу, — сказал мистер Поджерс. — Превосходная пианистка, хотя, пожалуй, и не из тех, что зовутся музыкантами. Скромна, честна, очень любит животных.

— Сушая правда! — воскликнула герцогиня, обращаясь к леди Уиндермир. — Флора держит в Макклоски две дюжины овчарок. Она бы и наш городской дом превратила в зверинец, если б только отец позволил.

— Со своим домом я это проделываю каждый четверг, — рассмеялась леди Уиндермир, — вот только овчаркам предпочитаю львов.

— Тут вы ошибаетесь, леди Уиндермир, — сказал мистер Поджерс и чинно поклонился.

— Женщина без милых ошибок — это не женщина, а особа женского пола. Но погадайте нам еще. Сэр Томас, покажите вашу руку.

Приятного вида пожилой господин в белом жилете протянул большую шершавую руку с весьма длинным средним пальцем.

— Непоседливый нрав: четыре дальних путешествия в прошлом, одно еще предстоит. Трижды попадал в кораблекрушение. Нет-нет, дважды, но рискует разбиться вновь. Убежденный консерватор, весьма пунктуален, страстный коллекционер. Тяжело болел в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. В тридцать унаследовал крупное состояние. Питает отвращение к кошкам и радикалам.

— Поразительно! — вскричал сэр Томас. — Вы непременно должны погадать моей жене.

— Вашей второй жене, — уточнил мистер Поджерс, все еще не выпуская из рук пальцы сэра Томаса. — С превеликим удовольствием.

Но леди Марвел — меланхоличная дама с каштановыми волосами и сентиментальными ресницами — наотрез отказалась предать гласности свое прошлое и будущее, а русский посол мосье де Колов не пожелал даже снять перчатки, несмотря на все увещания леди Уиндермир. Да и многие другие побоялись предстать

перед забавным человечком с шаблонной улыбкой, очками в золотой оправе и пронизательными глазами-бусинками; а уж когда он сказал бедной леди Фермер — прямо здесь, в обществе, — что она равнодушна к музыке, но очень любит музыкантов, никто более не сомневался, что хиромантия — крайне опасная наука и поощрять ее не следует, кроме как *tête-à-tête**.

Однако лорду Артуру Сэвилу, который ничего не знал о печальной истории леди Фермер и с немалым интересом наблюдал за мистером Поджерсом, чрезвычайно захотелось, чтобы ему тоже погадали, но, не решаясь громко заявить о своем желании, он подошел к леди Уиндермир и, очаровательно покраснев, спросил, удобно ли, по ее мнению, побеспокоить мистера Поджера.

— Ну разумеется! — сказала леди Уиндермир. — Он здесь для того, чтобы его беспокоили. Все мои львы, лорд Артур, это львы-артисты; по первому моему слову они прыгают через обруч. Но я вас предупреждаю, что ничего не утаю от Сибил. Я жду ее завтра к обеду — нам надо поболтать о шляпках, и, если мистер Поджерс выяснит, что у вас дурной нрав, или склонность к подагре, или жена в Бейсуотере, я все ей непременно передам.

Лорд Артур улыбнулся и покачал головой:

— Я не боюсь. Она обо мне все знает, как и я о ней.

— В самом деле? Вы меня, право, немного огорчили. Взаимные иллюзии — вот лучшая основа для брака. Нет-нет, я не цинична, просто у меня есть опыт — впрочем, это одно и то же. Мистер Поджерс, лорд Артур Сэвил мечтает, чтоб вы ему погадали. Только не говорите, что он обручен с одной из милейших девушек в Лондоне; об этом «Морнинг пост» сообщила месяц тому назад.

— Леди Уиндермир, душечка, — вскричала маркиза Джедберг, — оставьте мне мистера Поджера. Он только что сказал, что меня ждут подмости — как интересно!

— Если он вам такое сказал, леди Джедберг, я забегу его от вас сию же секунду. Сюда, мистер Поджерс. Погадайте лорду Артуру.

* С глазу на глаз (фр.).

— Что ж, — леди Джедберг состроила обиженное личико и поднялась с дивана, — если мне нельзя на сцену, разрешите хотя бы быть зрителем.

— Разумеется. Мы все будем зрителями, — объявила леди Уиндермир. — Итак, мистер Поджерс, сообщите нам что-нибудь приятное. Лорд Артур — мой любимец.

Но, взглянув на руку лорда Артура, мистер Поджерс странно побледнел и не произнес ни слова. Он зябко поежился, и его кустистые брови уродливо задргались, как это случалось, когда он был в растерянности. На желтоватом лбу мистера Поджерса появились крупные бусинки пота, словно капли ядовитой росы, а его толстые пальцы сделались влажными и холодными.

Лорд Артур заметил эти признаки смтения и сам — впервые в жизни — почувствовал страх. Ему захотелось повернуться и бежать, но он сдержал себя. Лучше знать все, даже самое ужасное. Невыносимо оставаться в неведении.

— Я жду, мистер Поджерс, — сказал он.

— Мы все ждем! — нетерпеливо заметила леди Уиндермир, но хиромант по-прежнему молчал.

— Артуру, наверное, суждено играть на театре, — предположила леди Джедберг, — но вы были так строги с мистером Поджерсом, что он вас теперь боится.

Внезапно мистер Поджерс отпустил правую руку лорда Артура и схватил левую, склонившись над ней так низко, что золотая оправа его очков почти коснулась ладони. Мгновение его побелевшее лицо выражало неподдельный ужас, но он быстро совладал с собой и, повернувшись к леди Уиндермир, произнес с деланной улыбкой:

— Передо мной рука очаровательного молодого человека.

— Это ясно, — ответила леди Уиндермир. — Но будет ли он очаровательным мужем? Вот что я хочу знать.

— Как все очаровательные молодые люди, — сказал мистер Поджерс.

— По-моему, муж не должен быть слишком обворожительным, — в задумчивости проговорила леди Джедберг. — Это опасно.

— Дитя мое, — воскликнула леди Уиндермир, — муж никогда не бывает слишком обворожителен! Но я требую подробностей. Только подробности интересны. Что ждет лорда Артура?

— Гм, в течение ближайших месяцев лорд Артур отправится в путешествие...

— Ну разумеется, в свадебное!

— И потеряет одного из родственников.

— Надеюсь, не сестру? — жалобно спросила леди Джедберг.

— Нет, безусловно не сестру, — мистер Поджерс жестом успокоил ее. — Кого-то из дальней родни.

— Что ж, я безумно разочарована, — заявила леди Уиндермир. — Мне абсолютно нечего рассказать Сибил. Дальняя родня теперь никого не волнует — она давно уже вышла из моды. Впрочем, пусть Сибил купит черного шелку — он хорошо смотрится в церкви. А теперь ужинать. Там, конечно, давно все съели, но нам, быть может, подадут горячий суп. Когда-то Франсуа готовил отменный суп, но теперь он так увлекся политикой, что я не знаю, чего и ждать. Скорее бы угомонился этот генерал Буланже²². Герцогиня, вы не устали?

— Вовсе нет, Глэдис, свет мой, — отозвалась герцогиня, ковыляя к двери. — Я получила огромное удовольствие, и этот твой ортодонт, то бишь хиромант, весьма интересен. Флора, где мой черепаховый веер? Ах, спасибо, сэр Томас. А моя кружевная накидка. Флора? Благодарю вас, сэр Томас, вы очень любезны. — И сия достойная дама спустилась, наконец, по лестнице, уронив свой флакон с духами не более двух раз.

В продолжение всего этого времени лорд Артур Сэвил стоял у камина, объятый нестерпимым страхом, язвящей душу тревогой перед безжалостным роком. Он грустно улыбнулся сестре, когда та пропорхнула мимо в прелестной розовой парче и жемчугах, легко опершись на руку лорда Плимдейла, и словно во сне слышал, как леди Уиндермир пригласила его следовать за собой. Он думал о Сибил Мертон — и при мысли, что их могут разлучить, его глаза затуманились от слез.

Глядя на него, можно было подумать, что Немезида, похитив щит Афины, показала ему голову Медузы

Горгоны²³. Он словно окаменел, а меланхолическая бледность сделала его лицо похожим на мрамор. Сын знатных и богатых родителей, до сих пор он знал лишь жизнь, полную чудесной роскоши и тонкого изящества, жизнь по-мальчишески беспечную, начисто лишенную презренных забот; теперь — впервые — он прикоснулся к ужасной тайне бытия, ощутил трагическую неотвратимость судьбы.

Чудовищно, невероятно! Неужели на его руке начертано тайное послание, которое расшифровал этот человек, — предвестие злодейского греха, кровавый знак преступления? Неужели нет спасения? Или мы в самом деле всего лишь шахматные фигуры, которые незримая сила передвигает по своей воле, — пустые сосуды, подвластные рукам гончара, готовые для славы и для позора? Разум восставал против этой мысли, но лорд Артур чувствовал близость ужасной трагедии, словно вдруг на него взвалили непосильную ношу. Хорошо актерам! Они выбирают, что играть, — трагедию или комедию, сами решают, страдать им или веселиться, лить слезы или хохотать. Но в жизни все не так. В большинстве своем мужчины и женщины вынуждены играть роли, для которых они совсем не подходят. Наши Гильденстерны играют Гамлета, а наши Гамлеты паясничают, как принц Хэл. Весь мир — театр, но спектакль выходит скверный, ибо роли распределены из рук вон плохо²⁴.

Внезапно в гостиную вошел мистер Поджерс. Увидев лорда Артура, он вздрогнул, и его крупное, одутловатое лицо стало зеленовато-желтым. Их глаза встретились, и с минуту оба молчали.

— Герцогиня забыла здесь перчатку, лорд Артур, и меня за ней послали, — проговорил наконец мистер Поджерс. — Вот она, на диване. Честь имею.

— Мистер Поджерс, я настаиваю, чтобы вы мне прямо ответили на один вопрос.

— В другой раз, лорд Артур. Герцогиня очень волнуется. Ну, я пойду.

— Нет, не пойдете. Герцогиня подождет.

— Нехорошо заставлять даму ждать, лорд Артур, — пролепетал мистер Поджерс со своей тошнотворной улыбочкой. — Прекрасному полу свойственно нетерпение.

Красивые губы лорда Артура слегка изогнулись,

придав лицу дерзкое, презрительное выражение. Какое ему было дело в эту минуту до бедной герцогини! Он пересек гостиную и, остановившись перед мистером Поджерсом, протянул руку.

— Скажите, что вы там прочли. Скажите правду. Я должен знать. Я не ребенок.

Глазки мистера Поджерса заморгали за стеклами очков; он неловко переминался с ноги на ногу, теребя блестящую цепочку от часов.

— А почему вы, собственно, решили, лорд Артур, что я прочел по вашей руке больше, чем сказал?

— Я в этом уверен и желаю все знать. Я заплачу. Я дам вам чек на сто фунтов.

Зеленые глазки сверкнули и вновь погасли.

— Сто гиней? — еле слышно произнес мистер Поджерс после долгого молчания.

— Да, разумеется. Я пришлю вам чек завтра. Какой у вас клуб?

— Я не состою в клубе. Временно не состою. Мой адрес... но позвольте, я дам вам свою карточку. — С этими словами мистер Поджерс извлек из кармана карточку с золотым обрезом и, низко поклонившись, протянул ее лорду Артуру:

М-Р СЕПТИМУС Р. ПОДЖЕРС

Профессиональный хиромант

Уэст-Мун-стрит, 103 а

— Я принимаю с десяти до четырех, — машинально добавил мистер Поджерс. — Семьям предоставляю скидку.

— Быстрее! — вскричал лорд Артур. Он по-прежнему стоял с протянутой рукой и был чрезвычайно бледен.

Мистер Поджерс опасливо оглянулся и задернул тяжелую портьеру.

— Мне нужно время, лорд Артур. Присядьте.

— Быстрее, сэръ! — снова вскричал лорд Артур и рассерженно топнул ногой по полированному паркету.

Мистер Поджерс улыбнулся, извлек из нагрудного кармана увеличительное стекло и тщательно протер его носовым платком.

— Я готов, — сказал он.

Десять минут спустя лорд Артур Сэвил выбежал из дома с выражением ужаса на бледном лице и молчаливой мукой в глазах, протиснулся сквозь укутанных в шубы лакеев, столпившихся под полосатым навесом, и ринулся прочь, ничего не видя и не слыша. Ночь была холодная, и дул пронизывающий ветер, от которого газовые фонари на площади попеременно вспыхивали и тускнели, но у лорда Артура горели руки и лоб его пылал. Он шел не останавливаясь, нетвердой поступью пьяного, и полицейский на углу с любопытством проводил его взглядом. Нищий, сунувшийся было за подаванием, перепугался при виде такого отчаяния, какое даже ему не снилось. Один раз лорд Артур остановился под фонарем и посмотрел на свои руки. Ему показалось, что уже сейчас на них расплываются кровавые пятна, и с дрожащих губ слетел негромкий стон.

Убийство! Вот что увидел хиромант. Убийство! Ужасное слово звенело во мраке, и безутешный ветер шептал его на ухо. Это слово кралось по ночным улицам и скалило зубы с крыш.

Он вышел к Гайд-парку: его безотчетно влекло к этим темным деревьям. Он устало прислонился к ограде и прижал лоб к влажному металлу, вбирая тревожную тишину парка. «Убийство! Убийство!» — повторял он, словно надеясь притупить чудовищный смысл пророчества. От звука собственного голоса он содрогался, но в то же время ему хотелось, чтобы громогласное эхо, услышав его, пробудило весь огромный спящий город. Его охватило безумное желание остановить первого же прохожего и все ему рассказать.

Он двинулся прочь, пересек Оксфорд-стрит и углубился в узкие улочки — прибежище низменных страстей. Две женщины с ярко раскрашенными лицами осыпали его насмешками. Из темного двора послышалась ругань и звук ударов, а затем пронзительный вопль; сгорбленные фигуры, припавшие к сырой стене, явили ему безобразный облик старости и нищеты. Он почувствовал странную жалость. Возможно ли, чтоб эти дети бедности и греха так же, как и он сам, только следовали предначертанию? Неужто они, как и он, лишь марионетки в дьявольском спектакле?

Нет, не тайна, а ирония людских страданий поразила его, их полная бессмысленность, бесполезность. Как все нелепо, несообразно! Как начисто лишено гармонии! Его потрясло несоответствие между бойким оптимизмом повседневности и подлинной картиной жизни. Он был еще очень молод.

Спустя некоторое время он вышел к Марилебонской церкви. Пустынная мостовая была похожа на ленту отполированного серебра с темными арабесками колышущихся теней. Ряд мерцающих газовых фонарей убегал, извиваясь, вдаль; перед домом, обнесенным невысокой каменной оградой, стоял одинокий экипаж со спящим кучером. Лорд Артур поспешно зашагал по направлению к Портленд-Плейс, то и дело оглядываясь, словно опасаясь погони. На углу Рич-стрит стояли двое: они внимательно читали небольшой плакат. Лорда Артура охватило болезненное любопытство, и он перешел через дорогу. Едва он приблизился, как в глаза ему бросилось слово «УБИЙСТВО», напечатанное черными буквами. Он вздрогнул, и щеки его залились румянцем. Полиция предлагала вознаграждение за любые сведения, которые помогут задержать мужчину среднего роста, в возрасте от тридцати до сорока лет, в котелке, черном сюртуке и клетчатых брюках, со шрамом на правой щеке. Читая объявление снова и снова, лорд Артур мысленно спрашивал себя, поймут ли этого несчастного и откуда у него шрам. Когда-нибудь, возможно, и его имя расклеят по всему Лондону. Возможно, и за его голову назначат цену.

От этой мысли он похолодел. Резко повернувшись, он кинулся во мрак.

Он шел, не разбирая дороги. Лишь смутно вспоминал он потом, как бродил в лабиринте грязных улиц, как заблудился в бесконечном сплетенье темных тупиков и переулков, и, когда уже небо озарилось рассветным сиянием, вышел наконец на площадь Пикадилли.

Устало повернув к дому в сторону Белгрейв-сквер, он столкнулся с тяжелыми фермерскими повозками, катящимися в Ковент-Гарден. Возчики в белых фартуках, с открытыми загорелыми лицами и жесткими кудрями, неторопливо шагали, щелкая кнутами и перебрасываясь отрывистыми фразами. Верхом на огромной серой лошади во главе шумной процессии сидел круг-

лолицый мальчишка в старой шляпе, украшенной свежими цветами примулы; он крепко вцепился ручонками в гриву и громко смеялся. Горы овощей сверкали, как россыпи нефрита на фоне утренней зари, как зеленый нефрит на фоне нежных лепестков роскошной розы. Лорд Артур был взволнован, сам не зная почему. Что-то в хрупкой прелести рассвета показалось ему невыразимо трогательным, и он подумал о бесчисленных днях, что занимают в мирной красоте, а угасают в буре. И эти люди, что перекликаются так непринужденно, грубовато и благодушно, — какую странную картину являет им Лондон в столь ранний час! Лондон без ночных страстей и дневного чада — бледный, прозрачный город, скопище безжизненных склепов. Что они думают об этом городе, известно ли им о его великолепии и позоре, о безудержном, феерическом веселье и отвратительном голоде, о бесконечной смене боли и наслаждений? Возможно, для них это только рынок, куда они свозят плоды своего труда, где проводят не более двух-трех часов и уезжают по еще пустынным улицам, мимо спящих домов. Ему приятно было смотреть на них. Грубые и неловкие, в тяжелых башмаках, они все же казались посланцами Аркадии²⁵. Он знал, что они слились с природой и природа дала им душевный покой. Как не завидовать их невежеству!

Когда он добрал до Белгрейв-сквер, небо слегка поголубело и в садах зазвучали птичьи голоса.

III

Когда лорд Артур проснулся, был полдень и солнечные лучи заливали спальню, струясь сквозь кремовый шелк занавесок. Он встал и выглянул в окно. Лондон был погружен в легкую дымку жары, и крыши домов отливали темным серебром. Внизу, на ослепительно зеленом газоне, порхали дети, как белые бабочки, а на тротуаре теснились прохожие, идущие в парк. Никогда еще жизнь не казалась такой чудесной, а все страшное и дурное таким далеким.

Слуга принес на подносе чашку горячего шоколада. Выпив шоколад, он отодвинул бархатную портьеру персикового цвета и вошел в ванную. Сверху через

тонкие пластины прозрачного оникса падал мягкий свет, и вода в мраморной ванне искрилась, как лунный камень. Он поспешно лег в ванну, и прохладная вода коснулась его шеи и волос, а потом окунул и голову, словно желая смыть какое-то постыдное воспоминание. Вылезая, он почувствовал, что почти обрел обычное свое душевное равновесие. Сиюминутное физическое наслаждение поглотило его, как это часто бывает у тонко чувствующих натур, ибо наши ощущения, как огонь, способны не только истреблять, но и очищать.

После завтрака он прилег на диван и закурил папиросу. На каминной доске стояла большая фотография в изящной рамке из старинной парчи — Сибил Мертон, какой он впервые увидел ее на балу у леди Ноэл. Маленькая, изысканная головка чуть наклонена, словно грациозной шее-стебельку трудно удержать бремя ослепительной красоты, губы слегка приоткрыты и кажутся созданными для нежной музыки, и все очарование чистой девичьей души глядит на мир из мечтательных, удивленных глаз. В мягко облегающем платье из крепдешина, с большим веером в форме листа платана, она похожа на одну из тех прелестных статуэток, что находят в оливковых рощах возле Танагры, — в ее позе, в повороте головы есть истинно греческая грация. И в то же время ее нельзя назвать миниатюрной. Ее отличает совершенство пропорций — большая редкость в наше время, когда женщины в основном либо крупнее, чем положено природой, либо ничтожно мелки.

Теперь, глядя на нее, лорд Артур ощутил безмерную жалость — горький плод любви. Жениться, когда над ним нависает зловещая тень убийства, было бы предательством сродни поцелую Иуды, коварством, какое не снилось даже Борджиа. Что за счастье уготовано им, когда в любую минуту он может быть призван выполнить ужасное пророчество, написанное на ладони? Что за жизнь ждет их, пока судьба таит в себе кровавое обещанье? Во что бы то ни стало свадьбу надо отложить. Тут он будет тверд. Он страстно любил эту девушку; одно прикосновение ее пальцев, когда они сидели рядом, наполняло его чрезвычайным волнением и неземной радостью, и все же он ясно понимал, в чем состоит его долг, сознавая, что не имеет права жениться, пока не совершит убийство. Сделав то, что надле-

жит, он поведет Сибил Мертон к алтарю и без страха верит ей свою жизнь. Тогда он сможет обнять ее, твердо зная, что никогда ей не придется краснеть за него и склонять голову от стыда. Но прежде надо выполнить требование судьбы — и чем скорее, тем лучше для них обоих.

Многие в его положении предпочли бы сладкий самообман сознанию жестокой необходимости, но лорд Артур был слишком честен, чтобы ставить удовольствие выше долга. Его любовь — не просто страсть: Сибил олицетворяла для него все, что есть лучшего и благороднейшего. На мгновение то, что ему предстояло, показалось невыносимым, отвратительным, но это чувство скоро прошло. Сердце подсказало ему, что это будет не грех, а жертва; разум напомнил, что другого пути нет. Перед ним выбор: жить для себя или для других, и, как ни ужасна возложенная на него задача, он не позволит эгоизму возобладать над любовью. Рано или поздно каждому из нас приходится решать то же самое, отвечать на тот же вопрос. С лордом Артуром это случилось рано, пока он был еще молод и не заражен цинизмом и расчетливостью зрелых лет, пока его сердце не разъело модное ныне суетное себялюбие, и он принял решение не колеблясь. К тому же — и в этом его счастье — он не был мечтателем и праздным дилетантом. В противном случае он долго сомневался бы, как Гамлет, и нерешительность затуманила бы цель. Нет, лорд Артур был человеком практичным. Для него жить — значило действовать, скорее чем размышлять. Он был наделен редчайшим из качеств — здравым смыслом.

Безумные, путаные ночные переживания теперь совершенно улетучились, и ему даже стыдно было вспоминать, как он слепо бродил по городу, как метался в неистовом волнении. Сама искренность его страданий, казалось, лишала их реальности. Теперь ему было непонятно, как он мог вести себя столь глупо — роптать на то, что неотвратимо! Сейчас его беспокоил только один вопрос: кого убить, — ибо он понимал, что для убийства, как для языческого обряда, нужен не только жрец, но и жертва. Не будучи гением, он не имел врагов и был к тому же убежден, что теперь не время для сведения личных счетов; миссия, вверенная ему, слиш-

ком серьезна и ответственна. Он набросал на листке бумаги список своих знакомых и родственников и, тщательно все обдумав, остановился на леди Клементине Бичем — милейшей старушке, которая жила на Керзон-стрит и доводилась ему троюродной сестрой по материнской линии. Он с детства очень любил леди Клем, как все ее звали, а кроме того — поскольку сам он был весьма богат, ибо, достигнув совершеннолетия, унаследовал все состояние лорда Рэгби, — смерть старушки не могла представлять для него низменного корыстного интереса. Чем больше он думал, тем яснее ему становилось, что леди Клем — идеальный выбор. Понимая, что всякое промедление будет несправедливо по отношению к Сибил, он решил сейчас же заняться приготовлениями.

Для начала надо было расплатиться с хиромантом. Он сел за небольшой письменный стол в стиле «шера-тон»²⁶, что стоял у окна, и выписал чек достоинством в 105 фунтов стерлингов на имя м-ра Септимуса Поджерса. Запечатав конверт, он велел слуге отнести его на Уэст-Мун-стрит. Затем он распорядился, чтобы приготовили экипаж, и быстро оделся. Выходя из комнаты, он еще раз взглянул на фотографию Сибил Мертон и мысленно поклялся, что — как бы ни повернулась судьба — Сибил никогда не узнает, на что он пошел ради нее; это самопожертвование навсегда останется тайной, хранимой в его сердце.

По пути в «Букингем»²⁷ он остановился у цветочной лавки и послал Сибил корзину чудесных нарциссов с нежными белыми лепестками и яркими сердцевинами, а приехав в клуб, сразу отправился в библиотеку, позвонил и велел лакею принести содовой воды с лимоном и книгу по токсикологии. Он уже решил, что яд — самое подходящее средство в этом деле. Физическое насилие вызывало у него отвращение, и к тому же надо убить леди Клементину так, чтобы не привлечь всеобщего внимания, ибо ему очень не хотелось стать «львом» в салоне леди Уиндермир и прочесть свое имя в вульгарных светских газетах. Кроме того, следовало подумать и о родителях Сибил, которые были людьми старомодными и могли бы, пожалуй, возражать против брака в том случае, если разразится скандал (хотя лорд Артур и не сомневался, что, Расскажи он им все

как есть, они поняли и оценили бы его благородные побуждения). Итак, яд. Он надежен, безопасен, действует без шума и суеты и избавляет от тягостных сцен, которые для лорда Артура — как почти для всякого англичанина — были глубоко неприятны.

Однако он ничего не смыслил в ядах, а поскольку лакей оказался не в состоянии отыскать что-либо, кроме «Справочника Раффа» и последнего номера «Бейлиз мэгэзин»²⁸, он сам внимательно осмотрел полки и нашел изящно переплетенную «Фармакопею» и издание «Токсикологии» Эрскина под редакцией сэра Мэтью Рида — президента Королевской медицинской коллегии и одного из старейших членов «Букингема», избранного в свое время по ошибке вместо кого-то другого (это *contretemps** так разозлило руководящий комитет клуба, что, когда появился настоящий кандидат, его дружно забаллотировали). Лорд Артур пришел в немалое замешательство от научных терминов, которыми пестрели обе книги, и начал было всерьез сожалеть, что в Оксфорде пренебрегал латынью, как вдруг во втором томе Эрскина ему попало весьма интересное и подробное описание свойств аконитина, изложенное на вполне понятном английском. Этот яд подходил ему во всех отношениях. В книге говорилось, что он обладает быстрым — почти мгновенным — эффектом, не причиняет боли и не слишком неприятен на вкус, в особенности если принимать его в виде пилюли со сладкой оболочкой, как рекомендует сэр Мэтью. Лорд Артур записал на манжете, какова смертельная доза, поставил книги на полку и не спеша отправился по Сент-Джеймс-стрит к «Песл и Хамби» — одной из старейших лондонских аптек. Мистер Песл, который всегда лично обслуживал высший свет, весьма удивился заказу и почтительно пролепетал что-то насчет рецепта врача. Однако когда лорд Артур объяснил, что яд предназначается для большого норвежского дога, который проявляет симптомы бешенства и уже дважды укусил кучера в ногу, мистер Песл этим полностью удовлетворился, поздравил лорда Артура с блестящим знанием токсикологии и распорядился, чтобы заказ был исполнен немедленно.

* Досадное недоразумение (фр.).

Лорд Артур положил пилюлю в элегантную серебряную бонбоньерку, которую разглядел в одной из витрин на Бонд-стрит, выбросил некрасивую аптечную коробку и поехал к леди Клементине.

— Ну-с, *monsieur le mauvais sujet*^{*}, — воскликнула старушка, входя в гостиную, — что же вы меня так долго не навещали?

— Леди Клем, милая, у меня теперь ни на что нет времени, — улыбаясь, отвечал лорд Артур.

— Это значит, что ты целый день разгуливаешь с мисс Сибил Мертон, покупаешь туалеты и болтаешь о пустяках? Сколько суеты из-за женитьбы! В мое время нам и в голову бы не пришло обниматься и миловаться на людях. Да и наедине тоже.

— Уверяю вас, леди Клем, я уже целые сутки не видел Сибил. Насколько мне известно, ею завладели модистки.

— Ну да, оттого ты и решил проведать безобразную старуху. Вот бы где вам, мужчинам, призадуматься. *On a fait des folies pour moi*^{**}, а что осталось? Ноги еле ходят, зубов своих нет, характер скверный. Хорошо еще, леди Дженсен, добрая душа, присылает мне французские романы — один другого пошлее, — а то уже и не знаю, как дотянуть до вечера. От врачей никакого проку — эти только и умеют, что деньги считать. Даже от изжоги меня никак не избавят.

— Я принес вам средство от изжоги, леди Клем, — серьезным тоном произнес лорд Артур. — Чудесное лекарство, его изобрел один американец.

— Я не больно-то люблю американские штучки. Даже совсем не люблю. Попалась мне тут пара американских романов — так это, знаешь ли, полная бессмыслица.

— Но это же совсем другое, леди Клем! Уверяю вас, средство действует безотказно. Обещайте, что попробуете. — И, достав из кармана бонбоньерку, лорд Артур протянул ее старушке.

— Гм, коробочка прелестная. Это в самом деле подарок, Артур? Очень мило. А вот и чудесное лекарство? Похоже на драже. Я приму его сейчас же.

* Господин повеса (*фр.*).

** В меня влюблялись до безумия (*фр.*).

— Что вы, леди Клем! — вскричал лорд Артур, схватив ее за руку. — Ни в коем случае! Это гомеопатическое средство, и, если принять его просто так, без изжоги, может быть очень плохо. Вот начнется изжога, тогда и примете. Я вам обещаю, что эффект будет поразительный.

— Я бы его сейчас приняла, — проговорила леди Клементина, разглядывая прозрачную пилюлю на свет и любуясь пузырьком жидкого аконитина. — Наверняка будет очень вкусно. Видишь ли, я ненавижу врачей, но обожаю лекарства. Однако подожду, пока начнется изжога.

— И когда же это будет? — нетерпеливо спросил лорд Артур. — Скоро?

— Надеюсь, не раньше чем через неделю. Я только вчера утром мучилась. Впрочем, кто его знает.

— Но до конца месяца непременно случится, верно, леди Клем?

— Увы. Но какой ты сегодня предупредительный, Артур! Сибил хорошо на тебя влияет. А теперь ступай. Сегодня я обедаю с прескучными людьми — из тех, кто выше сплетен, так что если я сейчас не выплусь, то усну посреди обеда. До свиданья, Артур, поцелуй от меня Сибил, и спасибо тебе за американское лекарство.

— Но вы не забудете его принять, а, леди Клем? — спросил лорд Артур, вставая.

— Конечно, не забуду, вот дурачок! Ты добрый мальчик, и я тебе очень признательна. Если понадобится еще, я тебе напишу.

Лорд Артур выбежал из дома в прекрасном настроении и с чувством колоссального облегчения.

В тот же вечер он переговорил с Сибил Мертон. Он сказал ей, что внезапно оказался в чрезвычайно затруднительном положении, но отступить перед трудностями ему не позволяют честь и чувство долга. Свадьбу придется на время отложить, ибо, пока он не разделался с ужасными обстоятельствами, он не свободен. Он умолял Сибил довериться ему и не сомневаться в будущем. Все будет хорошо, но сейчас необходимо терпение.

Разговор состоялся в зимнем саду в доме мистера Мертонна на Парк-лейн, где лорд Артур обедал по обыкновению. В тот вечер Сибил выглядела как никог-

да счастливой, и лорд Артур чуть было не уступил соблазну малодушия: так просто было бы написать леди Клементине, забрать пилюлю и преспокойно жениться, как будто мистера Поджерса вообще не существует. Но благородство лорда Артура взяло верх, и даже когда Сибил, рыдая, бросилась к нему в объятия, он не дрогнул. Красота, столь взволновавшая его, задела и его совесть. Разве вправе он загубить прелестную, юную жизнь ради нескольких месяцев наслаждения?

Они с Сибил проговорили до полуночи, утешая друг друга, а рано утром лорд Артур отбыл в Венецию, написав мистеру Мертону твердое, мужественное письмо о том, что свадьбу необходимо отложить.

IV

В Венеции он встретил своего брата лорда Сэрбитона, который как раз приплыл на яхте с Корфу, и молодые люди сказочно провели две недели. Утром они катались верхом по Лидо или скользили по зеленым каналам в длинной черной гондоле, днем принимали на яхте гостей, а вечером ужинали у Флориана и курили бесчисленные папиросы на площади Святого Марка²⁹. И все же лорд Артур не был счастлив. Каждый день он изучал колонку некрологов в «Таймс», ожидая найти сообщение о смерти леди Клементины, и каждый день его ждало разочарование. Он начал опасаться, как бы с ней чего не случилось, и часто сожалел, что помешал ей принять аконитин, когда ей так не терпелось испытать его действие. Да и в письмах Сибил, хотя и исполненных любви, доверия и нежности, часто сквозила грусть, и ему стало порой казаться, что они расстались навеки.

Через две недели лорду Сэрбитону наскучила Венеция, и он решил проплыть вдоль побережья до Равенны, где, как ему рассказывали, можно отлично поохотиться на тетеревов. Вначале лорд Артур наотрез отказался сопровождать его. Однако Сэрбитон, которого Артур очень любил, в конце концов убедил его, что одиночество — худшее средство от хандры, и утром пятнадцатого числа они вышли из гавани, подгоняемые свежим норд-остом. Охота была и в самом деле превосходная; чудесный воздух и здоровая жизнь вернули

лорду Артуру юношеский румянец, но к двадцать второму числу он так разволновался из-за леди Клементины, что, невзирая на уговоры Сэрбитона, сел на поезд и вернулся в Венецию.

Едва он вышел из гондолы у входа в отель, как сам хозяин выбежал навстречу с пачкой телеграмм. Лорд Артур вырвал у него телеграммы и тут же вскрыл их. Все прошло удачно. Леди Клементина внезапно умерла в ночь с семнадцатого на восемнадцатое!

Первая его мысль была о Сибил, и он немедленно телеграфировал ей, что возвращается в Лондон. Затем он приказал лакею собирать вещи к ночному поезду, послал гондольерам в пять раз больше, чем им причиталось, и с легким сердцем взбежал по ступенькам в свою гостиную. Там его ждало три письма. Одно было от Сибил — полное любви и сочувствия, другие — от матери лорда Артура и от поверенного леди Клементины. Оказалось, что старушка в тот самый вечер обедала у герцогини, прелестно шутила и блистала остроумием, но уехала довольно рано, сославшись на изжогу. Утром ее нашли мертвой в постели; скончалась она, по-видимому, мирно и без боли. Тотчас же послали за сэром Мэтью Ридом, но, разумеется, сделать что-либо было невозможно, и похороны назначены на двадцать второе в Бичем-Чалкот. За несколько дней до смерти она написала завещание и оставила лорду Артуру свой небольшой дом на Керзон-стрит со всей мебелью, личными вещами и картинами, за исключением коллекции миниатюр, которую надлежало вручить ее сестре леди Маргарет Рафффорд, и аметистового ожерелья, завещанного Сибил Мертон. Дом и имущество не представляли большой ценности, но мистер Мэнсфилд, поверенный леди Клементины, очень просил лорда Артура приехать без промедления и распорядиться насчет непоплаченных счетов, которых было великое множество, ибо покойная вела дела небрежно.

Лорд Артур был чрезвычайно тронут завещанием леди Клементины и подумал, что мистеру Поджерсу за многое придется ответить. Однако любовь к Сибил затмила все остальное, и сознание выполненного долга несло сладостное успокоение. Когда поезд подошел к вокзалу Чаринг-Кросс, лорд Артур был совершенно счастлив.

Супруги Мертон встретили его весьма радушно, а Сибил взяла с него слово, что больше ничто и никогда не разлучит их. Свадьбу назначили на седьмое июня. Жизнь вновь наполнилась яркими, лучезарными красками, и к лорду Артуру вернулась его прежняя веселость.

Но однажды, когда в сопровождении Сибил и поверенного леди Клементины он разбирал вещи в доме на Керзон-стрит, не спеша сжигал связки поблекших писем и выгребал из комодов разнообразную мелочь, его юная невеста вдруг радостно вскрикнула.

— Что ты там нашла, Сибил? — спросил лорд Артур, с улыбкой оторвавшись от своего занятия.

— Посмотри, Артур, какая прелестная бонбоньерка. Ах, как красиво! Ведь это голландская работа? Подари ее мне, пожалуйста. Я знаю, аметисты будут мне к лицу только через семьдесят лет.

Это была коробочка из-под аконитина.

Лорд Артур вздрогнул, и легкий румянец разлился по его щекам. Он почти совершенно забыл о содеянном, и ему показалось примечательным, что именно Сибил, ради которой он пережил это ужасное волнение, первой напомнила о нем.

— Ну конечно, возьми ее, Сибил. Это я сам подарил бедной леди Клем.

— Правда? Вот спасибо, Артур. И конфетку тоже можно взять? Я и не знала, что леди Клементина была сластенной. Я думала, такие умные дамы не едят конфет.

Лорд Артур страшно побледнел, и в сознании его метнулась чудовищная мысль.

— Конфетку, Сибил? О чем ты? — медленно и с трудом проговорил он.

— В бонбоньерке осталась конфетка, вот и все. Она вся старая и пыльная, и есть я ее не собираюсь. Что случилось, Артур? Какой ты бледный!

Лорд Артур кинулся к ней и схватил коробочку. В ней лежала янтарного цвета пилюля с ядовитой жидкостью. Леди Клементина умерла своей смертью!

Лорд Артур был повергнут в отчаяние. Швырнув пилюлю в камин, он со страдальческим возгласом повалился на диван.

Мистер Мертон всерьез огорчился, узнав, что свадьба откладывается вторично, а леди Джулия, уже успевшая заказать себе платье, приложила немало стараний, убеждая Сибил расторгнуть помолвку. Но хотя Сибил нежно любила мать, вся ее жизнь принадлежала лорду Артуру, и уговоры леди Джулии нисколько не поколебали ее. Что до самого лорда Артура, то он лишь спустя несколько дней пришел в себя, и нервы его были расстроены чрезвычайно. Однако здравый смысл по своему замечательному обыкновению восторжествовал, и трезвый, практический характер лорда Артура направил его мысли по пути твердой логики. Раз яд не сработал, требуется динамит или какое-либо другое взрывчатое вещество.

Он опять взял список знакомых и родственников и, подумав, решил взорвать своего дядю, декана Чичестера³⁰. Декан был человеком исключительной культуры и образованности; он страстно любил часы всех видов и обладал изумительной коллекцией часов от пятнадцатого века до наших дней. В этом увлечении достопочтенного декана лорд Артур усмотрел блестящую возможность для осуществления своего плана. Другой вопрос — где достать взрывное устройство. Он ничего не нашел на сей счет в «Лондонском справочнике» и решил, что едва ли есть смысл обращаться в Скотланд-Ярд, ибо полиция никогда ничего не знает о действиях динамитчиков до самого взрыва, да и потом знает не намного больше.

Вдруг лорд Артур вспомнил, что у него есть приятель по фамилии Рувалов — молодой русский весьма радикальных настроений, с которым он познакомился минувшей зимой в салоне леди Уиндермир. Считалось, что граф Рувалов пишет биографию Петра Первого и приехал в Англию для изучения документов, связанных с пребыванием монарха на Британских островах в качестве корабельного плотника, однако многие подозревали, что Рувалов работает на нигилистов, и было очевидно, что его присутствие в Лондоне отнюдь не одобряется посольством Российской империи. Лорд Артур заключил, что это тот самый человек, который ему нужен, и однажды утром отправил-

ся в его комнаты в Блумсбери³¹ за советом и помощью.

— Значит, вы всерьез занялись политикой? — спросил граф Рувалов, выслушав лорда Артура, но Артур терпеть не мог рисоваться и сейчас же признался, что социальные вопросы его совершенно не интересуют, а взрывное устройство нужно ему по семейному делу, которое касается его одного.

Граф Рувалов в изумлении посмотрел на него, но, убедившись, что он не шутит, написал на листке бумаги адрес, поставил свои инициалы и протянул листок лорду Артуру.

— Имейте в виду, старина, Скотланд-Ярд дорого бы дал за этот адрес.

— Но он его не получит! — смеясь, воскликнул лорд Артур. С чувством пожав руку своему русскому другу, он сбежал вниз по лестнице, взглянул на записку и велел кучеру гнать к Сохо-сквер³².

Там он отпустил экипаж и по Грин-стрит дошел до переулка под названием Бейлз-Корт. Нырнув под арку, он оказался в глухом дворике, где, по-видимому, помещалась французская прачечная: между домами была протянута сеть бельевых веревок и утренний ветерок слегка трепал белоснежные простыни. Лорд Артур пересек двор и постучал в дверь небольшого зеленого домика. Спустя некоторое время, в течение которого каждое из окон, выходящих во двор, наполнилось любопытными лицами, дверь открылась, и свирепого вида иностранец спросил на скверном английском, что ему нужно. Лорд Артур протянул записку графа Рувалова. Прочитав записку, незнакомец поклонился и проводил лорда Артура в весьма обшарпанную гостиную на первом этаже, а через минуту туда же вбежал герр Винкелькопф, как он звал себя в Англии; в руке у него была вилка, а на шее салфетка, обильно залитая вином.

— Я приехал по рекомендации графа Рувалова, — сказал лорд Артур, поклонившись, — и хотел бы переговорить с вами по делу. Я Смит, мистер Роберт Смит. Мне нужны часы со взрывным устройством.

— Очень рад познакомиться, лорд Артур, — с улыбкой отвечал добродушный немец. — Вы не волнуйтесь, просто я обязан всех знать, а вас я однажды

видел у леди Уиндермир. Надеюсь, очаровательная хозяйка салона в добром здравии. Вы не откажетесь присесть за стол? Я как раз завтракаю. Могу предложить великолепный паштет, а мой рейнвейн, как утверждают друзья, лучше того, что подают в германском посольстве.

Не успел лорд Артур смириться с мыслью, что его узнали, как он уже сидел за столом в соседней комнате, потягивая превосходный «Маркобрюннер» из бледно-желтого бокала с имперской монограммой, и вел светскую беседу со знаменитым заговорщиком.

— Часы со взрывчаткой не годятся для вывоза за границу, — объяснял герр Винкелькопф. — Даже если на таможне все благополучно, железнодорожное сообщение — дело настолько ненадежное, что взрыв, как правило, происходит в пути. Однако, если ваш объект находится внутри страны, я готов предоставить вам отменный механизм и гарантировать результат. Могу я спросить, о ком идет речь? Если это кто-нибудь из Скотланд-Ярда или человек, связанный с полицией, я, к сожалению, ничем не смогу вам помочь. Английские сыщики — наши лучшие друзья: благодаря их тупости мы делаем все, что хотим. Каждый из них для меня слишком ценен.

— Уверяю вас, — воскликнул лорд Артур, — полиция тут ни при чем! Часы предназначаются для декана Чичестера.

— Вот как! Я и не подозревал, лорд Артур, что вы такое значение придаете религии. Для нынешней молодежи это редкость.

— Нет-нет, вы меня переоцениваете, герр Винкелькопф, — краснея, сказал лорд Артур. — Я, право же, ничего не смыслю в теологии.

— Значит, дело сугубо личное?

— Сугубо личное.

Герр Винкелькопф пожал плечами и вышел из комнаты, а через несколько минут вернулся с круглым кусочком динамита и изящными французскими часами, увенчанными бронзовой фигурой Свободы, топчущей гидру деспотии.

Увидев часы, лорд Артур просиял.

— Это как раз то, что нужно! Теперь покажите, как они действуют.

— А вот это мой секрет, — ответил герр Винкелькопф, с законной гордостью созерцая свое изобретение. — Скажите, когда должен произойти взрыв, и я установлю их с точностью до минуты.

— Так, сегодня у нас вторник, и если вы пошлете их немедленно...

— Это невозможно. Я должен закончить важную работу для друзей в Москве. Но завтра я, пожалуй, мог бы их отослать.

— Это вполне меня устроит, — вежливо сказал лорд Артур. — Итак, их доставят декану завтра вечером или в четверг утром. Взрыв назначим, ну, скажем, на двенадцать часов в пятницу. В это время декан всегда дома.

— Пятница, двенадцать часов, — повторил герр Винкелькопф и сделал запись в большом журнале, который лежал на бюро у камина.

— А теперь, — сказал лорд Артур, вставая, — скажите, сколько я вам должен.

— Дело такое простое, лорд Артур, что я, право, ничего с вас не возьму. Динамит стоит семь шиллингов шесть пенсов, часы — три фунта десять шиллингов, доставка — порядка пяти шиллингов. Для меня удовольствие уважить друга графа Рувалова.

— Но ваши труды, герр Винкелькопф?

— Пустяки! Мне это приятно. Я не работаю за деньги, я живу исключительно ради своего искусства.

Лорд Артур положил на стол четыре фунта два шиллинга и шесть пенсов, поблагодарил добродушного немца и, не без труда уклонившись от приглашения на товарищеский ужин анархистов в ближайшую субботу, вышел из дома и зашагал к Гайд-парку.

Следующие два дня он провел в состоянии крайнего возбуждения, а в пятницу в двенадцать часов отправился в «Букингем», чтобы там ждать новостей. В течение долгих послеобеденных часов флегматичный швейцар вывешивал в холле телеграммы из разных концов страны, в которых сообщалось о результатах скачек и бракоразводных процессов, о погоде и проч., в то время как аппарат выбивал на ленте бесконечные подробности ночного заседания палаты общин и детали небольшой паники на бирже. В четыре часа принесли вечерние газеты, и лорд Артур устремился в библиотеку.

ку, прихватив «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс газетт», «Глобус» и «Эко», чем вызвал крайнее негодование полковника Гудчайлда, который мечтал прочесть сообщения о своем утреннем выступлении в Мэншн-Хаус³³ по вопросу об английских миссиях в Южной Африке и о целесообразности назначения черных епископов в каждой провинции, но почему-то имел сильное предубеждение против «Ивнинг ньюс». Ни в одной из газет, однако, даже не упоминался Чичестер, и лорд Артур понял, что покушение не удалось. Это был неслыханный удар, и на время лорд Артур совершенно лишился присутствия духа. Герр Винкелькопф, к которому он отправился на следующий день, пространно извинялся и предложил ему бесплатно еще одни часы или ящик нитроглицериновых бомб по номинальной цене. Но лорд Артур более не доверял взрывчатке, да и сам герр Винкелькопф признал, что в наше время ничто, даже динамит невозможно достать в чистом, неразбавленном виде. Однако, отметив, что механизм почему-то не сработал, немец высказал надежду, что часы еще могут взорваться, и в качестве примера рассказал о барометре, который он однажды послал военному коменданту Одессы. Хотя взрыв был запланирован на десятый день, произошел он спустя три месяца. Правда, в результате на воздух взлетела лишь одна из горничных, тогда как сам комендант за месяц до этого уехал из города, но отсюда видно, что динамит в сочетании с соответствующим механизмом есть мощное, хотя и не вполне пунктуальное средство. Это наблюдение несколько утешило лорда Артура, но даже тут его ждало разочарование, ибо два дня спустя, когда он поднимался по лестнице, герцогиня позвала его в свой будуар и показала письмо, только что полученное из Чичестера.

— Джейн пишет прелестные письма, — сказала герцогиня. — Прочти. Право, не хуже тех романов, что нам присылают от Мьюди³⁴.

Лорд Артур выхватил у нее письмо. Вот что он прочел:

Дом декана, Чичестер,
27 мая

Дорогая тетушка!

Огромное спасибо за фланель и саржу для Доркасского общества³⁵. Я с вами совершенно согласна в том,

что желание этих людей красиво одеваться — нелепость, но теперь все сплошь радикалы и атеисты, и так трудно их убедить, что не следует подражать в одежде высшему сословию. К чему мы придем, не знаю. Как папа часто говорит в своих проповедях, в мире нет больше веры.

У нас был забавный случай с часами, которые папа в прошлый четверг получил от неизвестного почитателя. Их прислали из Лондона в деревянном ящике, с уведомлением о том, что доставка оплачена, и папа думает, что это подарок от кого-то, кто прочитал его замечательную проповедь «Свобода или вседозволенность?», потому что на часах сделана женская фигура, и папа говорит, что у нее на голове фригийский колпак, то есть символ свободы³⁶. По-моему, колпак совсем не изящный, но папа говорит, что он исторический, а это, конечно, другое дело. Паркер распаковал часы, и папа поставил их на каминную доску в библиотеке, и мы все там сидели в пятницу утром, когда часы пробили полдень, и вдруг послышалось жужжание, что-то чуть-чуть задымилось и богиня свободы упала и разбила себе нос о каминную решетку! Мария, кажется, испугалась, но это было так смешно, что мы с Джеймсом хохотали до слез, и даже папа развеселился. Когда мы посмотрели, оказалось, что это вроде будильника: если установить их на определенный час и под молоточек положить капсюль и немного пороху, то они «взрываются», когда захочешь. Папа сказал, что в библиотеке им не место, так как от них будет шумно, и Реджи забрал их себе в классную комнату и там теперь целый день устраивает крошечные взрывы. Как вы думаете, если подарить такие часы Артуру на свадьбу, он будет доволен? В Лондоне, наверное, они теперь в моде. Папа говорит, что от них есть польза, так как они показывают, что свобода непродолжительна и ее падение неизбежно. Папа говорит, что свободу придумали во времена французской революции. Какой ужас!

Теперь я иду в общество, где обязательно прочту вслух ваше поучительное письмо. Как верно вы пишете, дорогая тетюшка, что людям низкого сословия надлежит ходить в том, что не к лицу. И в самом деле, разве не абсурд, что они так заботятся о платье, когда и в этой жизни, и за гробом есть столько истинно важных

дел! Я так рада, что с вашим поплином в цветочек все вышло удачно и кружево нигде не разорвалось. Я сейчас надела желтый атлас, который вы мне подарили в среду у епископа, и, по-моему, все хорошо. Как вы думаете, нужны ли банты? Дженингс говорит, что теперь все носят банты, а нижняя юбка должна быть с оборочками. Реджи только что устроил очередной взрыв, и папа распорядился, чтобы часы отнесли на конюшню. Кажется, они уже не так нравятся папе, как вначале, хотя он очень польщен тем, что ему прислали такую красивую и хитроумную вещицу. Это показывает, что люди читают его проповеди со вниманием.

Папа передает привет, также и Джеймс, Реджи и Мария. Надеюсь, дядя Сесл больше не мучится подагрой. Остаюсь вашей любящей племянницей.

Джейн Перси.

Р. S. Пожалуйста, напишите про банты. Дженингс уверяет, что это ужасно модно.

Лорд Артур с такой горестной серьезностью читал письмо, что герцогиня расхохоталась.

— Артур, дитя мое, я больше не стану тебе показывать письма молодых девушек! Но что мне ответить про часы? По-моему, очаровательное изобретение, я бы и сама не отказалась.

— Я о них невысокого мнения, — с грустной улыбкой ответил Артур и, поцеловав мать, вышел из комнаты.

Поднявшись к себе, он бросился на диван, и глаза его наполнились слезами. Он сделал все, что мог, чтобы совершить это убийство, но оба раза потерпел неудачу, причем не по своей вине. Он честно пытался выполнить свой долг, но сама судьба предательски отвернулась от него. Он пронзительно ощутил бесплодность благих намерений, тщетность всяких попыток жить достойно. Наверное, надо все же расторгнуть помолвку. Сибил, конечно, будет страдать, но страдания не в силах бросить тень на столь чистую, возвышенную душу. Что до него, ему теперь все равно. Всегда найдется война, в которой можно погибнуть, или какое-нибудь дело, за которое легко умереть. Раз в жизни нет больше радости, то и смерть не страшна. Пусть судьба рас-

порядится им как хочет; сам он ей больше не помощник.

В половине восьмого он оделся и поехал в клуб. Там был Сэрбитон в компании молодых людей, и лорду Артуру пришлось с ними ужинать. Их банальные разговоры и праздные шутки были ему неинтересны, и как только принесли кофе, он покинул их, придумав какой-то предлог. Внизу швейцар вручил ему конверт. Это была записка от герра Винкелькопфа, который писал, что может предложить взрывающийся зонтик, и убедительно просил зайти к нему на следующий день. Это новейшее изобретение — зонтик, который взрывается, едва его раскрывают, — только что прислали из Женевы. Лорд Артур разорвал записку на мелкие кусочки. Он уже решил, что с него довольно экспериментов. Спустившись к набережной Темзы, он сел на скамейку и несколько часов просидел, глядя на реку. Луна блестела, как львиный глаз, сквозь рыжеватую гриву облаков, и бесчисленные звезды, рассыпанные по небосклону, сверкали, как золотая пыль на лиловом своде. Иногда на мутной воде появлялась баржа и уплывала, влекомая отливом, в то время как железнодорожные сигналы переключались с зеленого на пурпурный и поезда с ревом проносились по мосту. Прошло время, и часы на башне парламента пробили двенадцать; казалось, лондонская ночь вздрагивает с каждым ударом звучного колокола. Затем железнодорожные огни погасли; остался лишь один зажженный фонарь — как крупный рубин на высокой мачте, и шум города стал затихать.

В два часа ночи лорд Артур встал и побрел по направлению к Блэкфрайерз³⁷. Каким все казалось нереальным! Как в причудливом сне! Дома за рекой словно выстроены из мрака, как будто тени и серебристый свет перекроили мир. Огромный купол собора Святого Павла³⁸ повис, как пузырь, в сумрачном пространстве.

Приближаясь к «Игле Клеопатры»³⁹, лорд Артур увидел человека, облокотившегося о парапет. На мгновение тот поднял голову, и свет фонаря упал ему прямо в лицо.

Это был мистер Поджерс, хиромант! Всякий без труда узнал бы его дряблые, опухшие щеки, очки в золотой оправе, тошнотворную улыбочку полных губ.

Лорд Артур остановился. Его осенила блестящая мысль, и он тихо подкрался сзади. В одно мгновение он схватил мистера Поджерса за ноги и швырнул в Темзу. Послышалось грубое проклятие, шумный всплеск, и снова все стихло. Лорд Артур всмотрелся в залитую лунным светом воду, но увидел лишь медленно крутящуюся на поверхности шляпу хироманта. Потом утонула и шляпа, и от мистера Поджерса не осталось ни следа. Внезапно ему показалось, что грузная фигура всплыла у лестницы возле моста, и сердце его похолодело от сознания новой неудачи, но то была лишь игра теней, и, когда луна вновь выглянула из-за облака, тени рассеялись. Наконец-то он, кажется, выполнил веление судьбы! Испустив глубокий вздох облегчения, он прошептал имя Сибил.

— Вы что-нибудь уронили, сэр? — произнес голос у него за спиной.

Повернувшись, он увидел полицейского с сигнальным фонарем.

— Ничего существенного, сержант, — ответил он с улыбкой и, остановив проезжающего извозчика, велел ехать на Белгрейв-сквер.

В течение следующих дней он разрывался между надеждой и страхом. Бывали мгновения, когда ему казалось, что мистер Поджерс вот-вот войдет в гостиную, но в другие минуты он верил, что судьба не может быть к нему так несправедлива. Дважды он отправлялся к дому хироманта на Уэст-Мун-стрит, но не мог заставить себя позвонить. Он жаждал определенности и боялся ее.

Наконец она пришла.

Сидя в клубе, он пил чай и рассеянно слушал рассказ Сэрбитона о последнем ревю в «Гейети»⁴⁰, когда официант принес вечерние газеты. Взяв «Сент-Джеймс газетт», он принялся вяло переворачивать страницы, как вдруг его взгляд остановился на странном заголовке:

САМОУБИЙСТВО ХИРОМАНТА

Побледнев от волнения, он начал читать заметку. Вот что в ней говорилось:

«Вчера утром, около семи часов, прямо перед гостиницей «Корабль» в Гринвиче на берег вынесло тело известного хироманта, м-ра Септимуса Р. Поджерса. М-р

Поджерс исчез несколько дней тому назад, вызвав серьезное беспокойство в кругах, близких к хиромантии. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством при временном помутнении рассудка, происшедшем от переутомления. Таков вердикт, вынесенный после дознания. М-р Поджерс только что завершил работу над крупным трактатом под названием «Человеческая рука», который вскоре будет опубликован и, без сомнения, привлечет внимание пытливых читателей. Покойному было 65 лет, родственников он не оставил».

Лорд Артур ринулся из клуба с газетой в руках, чрезвычайно удивив швейцара, который тщетно пытался остановить его, и немедленно отправился на Парк-лейн. Сибил увидела его в окно, и что-то подсказало ей, что он несет добрую весть. Она сбежала ему навстречу и, едва взглянув на его сияющее лицо, поняла, что теперь все хорошо.

— Милая Сибил, — воскликнул лорд Артур, — давай поженимся завтра!

— Вот глупый мальчик. Ведь еще и торт не заказан! — отвечала Сибил, смеясь сквозь слезы.

VI

В день свадьбы — тремя неделями позже — собор Святого Петра заполнила элегантная толпа. Надлежащий текст был превосходно прочитан деканом Чичестера, и все согласились, что трудно себе представить пару красивее, чем жених и невеста. Но они были не только красивы — они были счастливы. Лорд Артур ни на минуту не сожалел о том, что выстрадал ради Сибил, а Сибил, со своей стороны, подарила ему лучшее, что может дать женщина мужчине: нежность, любовь и поклонение. Их романтическую любовь не убила реальность. Они навсегда сохранили молодость.

Несколько лет спустя, когда у них родились двое очаровательных детей, леди Уиндермир приехала погостить в Элтон-Прайери — великолепный старый дом, который герцог подарил сыну на свадьбу. Как-то после обеда, когда они с леди Артур Сэвил сидели под большой липой в саду, глядя, как мальчик и девочка бегают по розовой аллее, словно солнечные зайчики,

леди Уиндермир вдруг взяла хозяйку дома за руку и спросила:

— Ты счастлива, Сибил?

— Конечно, дорогая леди Уиндермир. Ведь и вы счастливы, правда?

— Я не успеваю быть счастливой, Сибил. Мне всегда нравится мой самый новый знакомый. Но стоит узнать его поближе, как мне становится скучно.

— Разве ваши львы вас не радуют, леди Уиндермир?

— Львы? Господь с тобой! Львы хороши на один сезон. Как только им подстригут гриву, они превращаются в банальнейшие создания. К тому же они дурно себя ведут с теми, кто к ним добр. Ты помнишь этого ужасного мистера Поджерса? Шарлатан, каких мало! Это меня, впрочем, совершенно не беспокоило, и даже когда он вздумал просить денег, я не слишком рассердилась. Но когда он стал объясняться мне в любви, я не выдержала. Из-за него я возненавидела хиромантию. Теперь я увлекаюсь телепатией, это намного интереснее.

— Только не говорите плохо о хиромантии, леди Уиндермир; это единственный предмет, о котором Артур не любит шутить. Уверяю вас, я не преувеличиваю.

— Не хочешь же ты сказать, что он в нее верит?

— Спросите его сами, леди Уиндермир. Вот он.

На дорожке и в самом деле появился лорд Артур: в руке у него был букет желтых роз, а вокруг него весело танцевали дети.

— Лорд Артур!

— Да, леди Уиндермир?

— Неужели вы действительно верите в хиромантию?

— Конечно, верю, — с улыбкой ответил молодой человек.

— Но почему?

— Потому что я обязан ей всем своим счастьем, — негромко проговорил он и сел в плетеное кресло.

— Но помилуйте, лорд Артур, чем вы ей обязаны?

— Сибил, — ответил он и протянул жене розы, глядя прямо в ее синие глаза.

— Какой вздор! — вскричала леди Уиндермир. — Я в жизни не слышала такой нелепости!

ПОРТРЕТ Г-НА У. Х.

I

Пообедав с Эрскином в его небольшом уютном домике на Бердкейдж-Уок, мы сидели и беседовали в библиотеке, куда подали кофе и папиросы. Случилось так, что речь зашла о литературных подделках. Теперь уже не скажу, что натолкнуло нас на эту несколько необычную при таких обстоятельствах тему, но помню точно, что мы долго говорили о Макферсоне, Айерленде и Чаттертоне⁴¹, причем в отношении последнего я настойчиво доказывал, что его так называемые подделки суть не что иное, как попытка добиться совершенства художественного воплощения, что мы не вправе спорить с автором по поводу формы, избранной им для своего произведения, и что, поскольку всякое Искусство является, до известной степени, действием — стремлением достичь самовыражения в некоей области воображаемого, свободной от досадных помех и ограничений реальной жизни, то осуждать художника за подделку — значит смешивать этическую проблему с проблемой эстетической.

Эрскин, который был много старше меня и до сих пор слушал с насмешливо-почтительным видом умудренного жизнью сорокалетнего человека, вдруг положил мне руку на плечо и спросил:

— Ну, а что бы ты сказал о молодом человеке, который имел странную теорию об одном произведении искусства, верил в нее и прибег к подделке, чтобы доказать свою правоту?

— О, это совсем другое дело, — ответил я.

Несколько мгновений Эрскин молчал, глядя на тоненькую серую струйку дыма, поднимающуюся с кончика его папиросы.

— Да, пожалуй, — промолвил он после паузы, — совсем другое.

Что-то в тоне его голоса — быть может, легкий оттенок горечи, — возбудило мое любопытство.

— А ты что, знал когда-нибудь такого человека? — спросил я.

— Да, — отозвался он, бросая папиросу в камин. — Я говорил о моем близком друге, Сириле Грэхэме. Он

был очень обаятелен, очень сумасброден и очень бессердечен. Однако именно он оставил мне единственное наследство, которое я получил за всю жизнь.

— И что же это было? — поинтересовался я.

Эрскин поднялся с кресла, подошел к стоявшему в простенке между двумя окнами высокому инкрустированному шкафу, отпер его и тотчас вернулся, держа в руке небольшой, писанный на доске портрет, заключенный в старинную, немного потемневшую раму елизаветинского стиля.

На портрете был изображен в полный рост юноша в costume шестнадцатого века. Он стоял у стола, положив правую руку на раскрытую книгу. Лет семнадцати на вид, он поражал необычайной, хотя и несколько женственной красотой. Собственно, если бы не одежда и коротко подстриженные волосы, лицо его, с мечтательными печальными глазами и тонко очерченным алым ртом, можно было бы принять за лицо девушки. Манерой, в особенности тем, как были написаны руки, картина напоминала позднего Франсуа Клуэ⁴². Причудливый узор золотого шитья на черном бархатном камзоле и ярко-синие переливы фона, который так чудесно оттенял цвет костюма, сообщая ему какую-то светящуюся прозрачность, были вполне в духе Клуэ; да и две маски — Трагедии и Комедии, — несколько нарочито помещенные на переднем плане, подле мраморного столика, отличала та строгость мазка и линий, столь непохожая на легкое изящество итальянцев, которую великий фламандский мастер так и не утратил полностью, даже живя при французском дворе, и которая сама по себе всегда была характерным признаком северного темперамента.

— Прелестная вещица, — заметил я. — Но кто же этот очаровательный юноша, чью красоту так счастливо сохранило для нас Искусство?

— Перед тобой портрет господина У. Х., — с грустной улыбкой ответил Эрскин.

Не знаю, возможно, то была всего лишь случайная игра света, но мне показалось, что в глазах его блеснули слезы.

— Господина У. Х., — повторил я. — А кто он такой, этот У. Х.?

— Неужели не помнишь? Посмотри на книгу у него под рукой.

— Там как будто что-то написано, вот только не разберу что, — откликнулся я.

— Вот лупа, попытайся разглядеть, — сказал Эрскин, лицо которого не покидала все та же грустная улыбка.

Я взял лупу и, придвинув лампу поближе, принялся с трудом читать рукописные строчки, выведенные замысловатой старинной вязью: «Тому единственному, кому обязаны появлением нижеследующие сонеты...»

— Боже милостивый! — воскликнул я. — Да не шекспировский ли это У. Х.?

— Так говорил и Сирил Грэхэм, — пробормотал Эрскин.

— Но ведь юноша ничуть не похож на лорда Пемброка, — возразил я. — Я же отлично знаю портреты из Пенхерста. Не далее как несколько недель назад мне довелось побывать в тех местах.

— А ты и в самом деле полагаешь, что сонеты посвящены лорду Пемброку?

— Совершенно в этом уверен, — ответил я. — Пемброк, сам Шекспир и г-жа Мэри Фиттон как раз и есть те три фигуры, что выступают в сонетах; на этот счет не может быть никаких сомнений.

— Что ж, я с тобой согласен, — сказал Эрскин, — но так я считал не всегда. Когда-то я верил — да, пожалуй, когда-то я верил в Сирила Грэхэма и его теорию.

— В чем же она состояла? — спросил я, глядя на прекрасный портрет, который уже начинал как-то странно меня завораживать.

— О, это длинная история, — ответил Эрскин, забирая у меня портрет, как мне показалось тогда, довольно неучтиво, — очень длинная история. Но если хочешь, я тебе ее расскажу.

— Меня всегда очень занимали всякие теории относительно этих сонетов, — сказал я, — но теперь я вряд ли поверю в какую-либо новую идею. В деле этом уже ни для кого нет загадки. Да и была ли она там когда-нибудь вообще, сказать трудно.

— Раз уж я сам не верю в эту теорию, тебя мне и по-давно не убедить, — рассмеялся Эрскин. — Однако она все же не лишена интереса.

— Конечно, рассказывай, — согласился я. — Если история хоть вполовину так хороша, как портрет, я буду более чем доволен.

— Ну что ж, начну, пожалуй, с того, — сказал Эрскин, зажигая новую папиросу, — что поведаю тебе о самом Сириле Грэхэме. Познакомились мы в Итоне, где жили в одном пансионе. Я был на год или два старше, однако нас связывала теснейшая дружба, и мы не разлучались ни в играх, ни в трудах. Разумеется, игр было гораздо больше, чем трудов, но не могу сказать, чтобы я об этом сожалел. Не получить основательного образования в общепринятом смысле слова — всегда преимущество, и то, что я приобрел на игровых площадках в Итоне, пригодилось мне ничуть не меньше, чем все, чему меня научили в Кембридже. Надо тебе сказать, что ни отца, ни матери у Сирила не было. Они погибли, когда их яхта потерпела ужасное крушение у берегов острова Уайт. Отец его был на дипломатической службе и женился на дочери — кстати, единственной — старого лорда Кредитона, который по смерти родителей Сирила стал его опекуном. Не думаю, чтобы лорд Кредитон очень любил Сирила. Он так до конца и не простил дочери, что она вышла замуж за человека без титула. Это был чудаковатый старый аристократ, который ругался, как уличный торговец, а манерами походил на деревенского мужлана. Помню, как однажды я повстречался с ним в Актовый день. Он что-то буркнул, сунул мне в руку соверен и выразил пожелание, чтобы я не вырос «дрянным радикалом» вроде моего отца. Сирил не питал к нему особой привязанности и весьма охотно проводил большую часть каникул у нас в Шотландии. Да и вообще, с дедом они никогда не ладили. Сирил считал его грубияном, а он его — изнеженным мальчишкой. Наверное, в некоторых отношениях Сирил и вправду был изнежен, что, впрочем, не мешало ему превосходно ездить верхом и отменно фехтовать. Собственно, великолепно владеть рапирой он научился еще в Итоне. Однако вид он имел женственно-томный, немало гордился своей красотой и испытывал глубокую неприязнь к футболу. Две вещи доставляли ему истинное наслаждение — поэзия и актерская игра. В Итоне он имел обыкновение наряжаться в старинный костюм и читать из Шекспира, а когда мы от-

правились продолжать учебу в Тринити-колледж, он в первом же семестре вступил в Любительское театральное общество. Помнится, я всегда очень завидовал его искусству. Я был до нелепого привязан к Сирилу — вероятно, потому, что в чем-то мы были так несхожи. Я был нескладным хилым юношей с огромными ступнями и ужасно веснушчатым лицом. В шотландских семьях веснушки передаются из поколения в поколение, как в английских — подагра. Сирил, однако, говорил, что из этих двух напастей предпочитает все же подагру. Внешности он действительно придавал до смешного большое значение и однажды даже прочел в нашем дискуссионном обществе эссе, в котором доказывал, что лучше хорошо выглядеть, чем хорошо поступать. Сам он был, право же, изумительно красив. Люди, не любившие Сирила, — пошлые глупцы, университетские наставники и студенты, готовившиеся к духовному поприщу, — говорили, что он миловиден, и только, но на самом деле в лице его было нечто гораздо большее, нежели обыкновенная миловидность. Я никогда, кажется, не знал более обворожительного создания, и сравниться с ним в грациозности движений и изяществе манер не мог решительно никто. Он очаровывал всех, кого стоило очаровывать, и очень многих, кто этого не заслуживал. Часто он бывал своенравен и капризен, я же считал его чудовищно неискренним. Последнее, полагаю, было в основном следствием его безмерного желания нравиться. Бедный Сирил! Как-то я сказал ему, что он находит удовольствие в успехах весьма невысокого сорта, но он лишь расхохотался в ответ. Он был ужасающе испорчен. Думаю, впрочем, что все обаятельные люди испорчены. В этом и кроется секрет их привлекательности.

Однако пора рассказать об игре Сирила. Тебе, конечно, известно, что женщин в Любительское театральное общество не принимают. Во всяком случае, так было в мое время. Не знаю, как обстоит дело сейчас. Ну и, разумеется, женские роли всегда доставались Сирилу. Когда ставили «Как вам это понравится», он играл Розалинду. В этой роли он был великолепен. Собственно говоря, Сирил Грэхэм был единственной безупречной Розалиндой из тех, что мне довелось видеть. Невозможно описать тебе всю прелесть, всю

утонченность, всю изысканность его игры. Она произвела невообразимую сенсацию, и скверный маленький театрик, где тогда давала представления труппа, каждый вечер был переполнен. Даже сейчас, читая пьесу, я не могу не думать о Сириле. Она была точно специально для него написана. На следующий год он окончил университет и уехал в Лондон готовиться к поступлению на дипломатическую службу. Но душа у него не лежала к занятиям. Целыми днями он читал сонеты Шекспира, а по вечерам отправлялся в театр. Разумеется, больше всего на свете он хотел стать актером. Однако я и лорд Кредитон сделали все, что в наших силах, чтобы ему помешать. Кто знает, пойдя Сирил на сцену, возможно, он был бы жив до сих пор. Давать советы, знаешь ли, вообще глупо, разумные же советы — просто губительно. Надеюсь, ты не совершишь подобной ошибки. А если все-таки совершишь, то очень в этом раскаешься.

Впрочем, перейду к тому, что составляет суть этой истории. Однажды я получил от Сирила письмо с просьбой в тот же вечер приехать к нему на квартиру. Он занимал несколько прекрасных комнат на Пикадилли, выходявших окнами на Грин-парк. Поскольку я и так бывал у него каждый день, меня, признаться, удивило то, что он дал себе труд написать мне. Я, конечно, приехал и застал моего друга в состоянии величайшего волнения. Он объявил, что разгадал наконец тайну шекспировских сонетов, что все знатоки и критики пошли по совершенно ложному пути и что он первый, опираясь лишь на сведения, содержащиеся в самих сонетах, открыл, кто был в действительности господин У. Х. Он был прямо-таки вне себя от восторга и долго не хотел объяснять, в чем заключается его теория. В конце концов он принес целую кипу записок, взял с камина томик Шекспира, устроился в кресле и прочел мне длинную лекцию по столь заинтересовавшему его предмету.

В самом начале он указал на то, что молодой человек, которому Шекспир посвятил эти полные необычайной страсти стихи, должен быть кем-то, кто сыграл поистине исключительную роль в развитии его драматического таланта, и что подобного нельзя сказать ни о лорде Пембroke, ни о лорде Саутгемптоне. Кто бы он

ни был, он не мог принадлежать к знатному роду, о чем достаточно ясно свидетельствует двадцать пятый сонет, где Шекспир, сравнивая себя с «любимцами сиятельных вельмож», прямо говорит:

Пускай обласканный счастливою звездой
Гордится титулом и блеском славных дел,
А мне, лишенному даров таких судьбою,
Мне почесть высшая досталась в удел, —

и в конце сонета радуется тому, что человек, внушивший ему такое обожание, из простого сословия, и дружбе их не грозят капризы фортуны:

Но я любим, любя, и жребий мой ценю,
Он не изменит мне, и я не изменю .

Этот сонет, заявил Сирил, был бы совершенно непонятен, если предположить, что адресован он лорду Пемброку или графу Саутгемптону, — ведь и тот, и другой стояли на высшей ступени английского общества и могли быть с полным основанием названы «сиятельными вельможами». В подтверждение своей точки зрения он прочел мне сто двадцать четвертый и сто двадцать пятый сонеты, где Шекспир говорит, что его любовь не «дитя удачи» и что ее «не создал случай». Я слушал с живым интересом, ибо не думаю, чтобы кто-нибудь раньше обратил внимание на эти факты, однако дальнейшее было еще любопытнее и, как мне показалось тогда, лишало всяких оснований притязания Пемброка. Миерс⁴³ передает, что сонеты были написаны до 1598 года, а из сонета сто четвертого явствует, что дружба Шекспира с господином У. Х. началась тремя годами раньше. Но лорд Пемброк, родившийся в 1580 году, не бывал в Лондоне до восемнадцати лет, то есть до 1598 года; Шекспир же, видимо, познакомился с господином У. Х. в 1594 или, самое позднее, в 1595 году и, следовательно, не мог встречаться с лордом Пемброком до того, как были написаны сонеты.

Сирил отметил также, что отец Пемброка умер только в 1601 году, тогда как строка:

* Перевод В. Мазуркевича.

ясно говорит о том, что в 1598 году отца господина У. Х. уже не было в живых. Помимо всего прочего, было бы нелепо думать, будто в те времена какой-либо издатель, — а посвящение написано именно издателем, — дерзнул бы обратиться к Уильяму Херберту, графу Пемброку, как к «господину У. Х.». То, что лорда Бакхерста однажды назвали просто «господином Сэксвиллом», едва ли может служить уместным примером, ибо лорд Бакхерст был не пэром, а лишь младшим сыном пэра и носил всего только «титул учтивости», да и то место в «Английском Парнасе», где его так называют, упоминая лишь вскользь, никак нельзя сравнить с торжественным официальным посвящением. Так было покончено с лордом Пемброком, чьи воображаемые притязания Сирил легко развеял в прах; я слушал в изумлении. Лорд Саутгемптон доставил ему еще меньше затруднений. Уже в ранней юности Саутгемптон стал любовником Элизабет Вернон и потому не нуждался в столь настойчивых уговорах подумать о продолжении рода; он не был красив или похож на мать, как господин У. Х.:

Для матери твоей ты зеркало такое же.
Она в тебе апрель свой дивный узнает*, —

и, самое главное, получил при крещении имя Генри, в то время как построенные на игре слов сонеты сто тридцать пятый и сто сорок третий подсказывают, что друга Шекспира звали так же, как его самого, — Уилл.

С другими, весьма неудачными догадками, высказанными комментаторами, — что инициалы искажены опечаткой, и читать следует «господину У. Ш.», то есть «Уильяму Шекспиру», что господин У. Х. — это Уильям Хатауэй, или что после слова «желает» нужно поставить точку, превратив тем самым господина У. Х. из человека, которому посвящены сонеты, в автора посвящения, — Сирил расправился очень быстро, и нет нужды приводить здесь его аргументы, хотя, помнит-

* Перевод В. Лихачева.

ся, он до колик рассмешил меня, прочтя вслух (к счастью, не в оригинале) несколько выдержек из какого-то немецкого комментатора по имени Барншторф, который настойчиво доказывал, что господин У. Х. не кто иной, как господин «Уильям Самолично»*. Ни на минуту не допускал он и мысли о том, что сонеты простая пародия на произведения Дрейтона и Джона Дэвиса Херфорда. Сирилу, как, впрочем, и мне, стихи эти казались исполненными глубокого и трагического чувства, вобравшего в себя всю горечь, исторгнутую шекспировским сердцем, и всю сладость, излитую его устами. Еще менее он склонен был признать сонеты философской аллегорией, в которой Шекспир обращается к своему идеальному «Я», или к идеальному Мужскому Образу, Духу Красоты, Разуму, Божественному Логосу, Католической Церкви. Он чувствовал, как и все мы, что стихи адресованы определенному лицу, некоему юноше, чей образ почему-то рождал в душе Шекспира безумную радость и столь же безумное отчаяние.

Как бы подготовив себе почву сказанным, Сирил попросил меня выбросить из головы любые предвзятые мнения, какие могли сложиться у меня по поводу сонетов, и выслушать с вниманием и беспристрастием его собственную теорию. Вопрос, сказал он, состоит в следующем: кто был тот юноша, современник Шекспира, который, не будучи благороден ни по рождению, ни даже по натуре, был воспет им с таким пламенным обожанием, что остается лишь дивиться этому странному преклонению, почти страхась приподнять завесу, скрывающую тайну, что жила в сердце поэта? Кто был он, обладавший красотой столь удивительной, что она наполнила собой все шекспировское искусство, стала источником его вдохновения, воплощением самой сокровенной его мечты? Смотреть на него только как на героя лирических стихов — значит совершенно их не понимать. Ведь, говоря в сонетах об искусстве, Шекспир подразумевает не сами сонеты, ибо для него они были лишь тайным и мимолетным увлечением, — нет, речь в них идет о его драматическом искусстве, и тот, кому Шекспир сказал:

* W(illiam) H(imself) (англ.).

Искусство все — в тебе; мой стих простой
Возвысил ты своею красотой, —

тот, кому он сулил бессмертие:

Ты будешь жить, земной покинув прах,
Там, где живет дыханье, — на устах , —

был, конечно же, не кем иным, как юношей-актером, для которого он создал Виолу и Имоджену, Джульетту и Розалинду, Порцию, Дездемону и даже Клеопатру. В этом и состояла теория Сирила Грэхэма, которую, как видишь, он построил на основании одних только сонетов и которая опиралась не столько на логические умозаключения и формальные доказательства, сколько на своего рода духовную и художественную интуицию, ибо лишь с ее помощью, утверждал он, возможно постичь подлинный смысл этих стихов. Я помню, он прочел мне прекрасный сонет:

Нсужто музе не хватает темы,
Когда ты можешь столько подарить
Чудесных дум, которые не все мы
Достойны на бумаге повторить.
И если я порой чего-то стою,
Благодари себя же самого.
Тот поражен душевной немотою,
Кто в честь твою не скажет ничего.
Для нас ты будешь музою десятой
И в десять раз прекрасней остальных,
Чтобы стихи, рожденные когда-то,
Мог пережить тобой внушенный стих ** , —

обратив мое внимание на то, как убедительно эти строки подтверждают его теорию. И действительно, тщательно проанализировав сонеты, он показал или воображал, что показал, как в свете нового объяснения их значения все, что казалось ранее непонятным, или дурным, или преувеличенным, обретает ясность, стройность и высокий художественный смысл, иллюстрируя шекспировское представление об истинных отношениях между искусством актера и искусством драматурга.

* Перевод С. Маршака.

** Перевод С. Маршака.

Совершенно очевидно, что в труппе Шекспира был великолепный юный актер редкостной красоты, которому он доверял воплощать на подмостках благородных героинь своих пьес — ведь Шекспир был не только вдохновенным поэтом, но и театральным антрепренером. И Сирилу удалось узнать имя этого актера. Его звали Уилл, или, как предпочитал называть его сам Сирил, Уилли Хьюз. Имя он, разумеется, обнаружил в каламбурных сонетах сто тридцать пять и сто сорок три; фамилия же, по его мнению, скрывалась в восьмой строке двадцатого сонета, где господин У. Х. описывается так:

Красавец в цвете лет и весь он — цвет творенья...

В первом издании сонетов слово «Цвет»* напечатано с заглавной буквы и курсивом, а это, утверждал он, явно указывает на желание автора вложить в созвучие двойное значение. Такое предположение во многом подтверждается теми сонетами, где встречаются любопытные каламбуры со словами «use» и «usury»**. Сирил, конечно, сразу обратил меня в свою веру, и Уилли Хьюз стал для меня не менее реальным лицом, чем сам Шекспир. Я нашел возразить лишь то, что имени Уилли Хьюза нет в дошедшем до нас списке актеров шекспировской труппы. Однако Сирил ответил, что отсутствие в списке этого имени, напротив, только подкрепляет его теорию, так как из восьмидесят шестого сонета понятно, что Уилли Хьюз покинул труппу Шекспира и стал играть в одном из конкурирующих театров — возможно, в каких-то пьесах Чапмена⁴⁴. Именно это Шекспир имеет в виду, когда в своем замечательном сонете о Чапмене говорит, обращаясь к Уилли Хьюзу:

...его стихи украсил твой привет,
И мой слабеет стих, и слов уж больше нет***.

Строка «его стихи украсил твой привет» подразумевает, видимо, что своей красотой молодой актер добавил преле-

* Английское слово «цвет» звучит так же, как имя «Хьюз».

** «Пользование» и «ростовщичество» — оба слова созвучны имени «Хьюз».

*** Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

сти чапменовским стихам, наполнил их жизнью и правдой. Та же мысль высказана и в семьдесят девятом сонете:

Когда один я находил истоки
Поэзии в тебе, блистал мой стих.
Но как теперь мои померкли строки
И голос музы немощной затих!

А в предыдущем сонете, где Шекспир говорит:

Поэты, переняв мою затею,
Свои стихи украсили тобой*, —

разумеется, очевидна игра слов *use* — Hughes**, и фраза «свои стихи украсили тобой» означает: «своим актерским искусством ты помогаешь успеху их пьес».

Это был чудесный вечер, и мы засиделись чуть ли не до рассвета, читая и перечитывая сонеты. Однако с течением времени я начал понимать, что сделать теорию всеобщим достоянием в совершенно законченном виде можно, лишь получив неоспоримые доказательства существования юного актера по имени Уилли Хьюз. Если бы удалось их отыскать, не осталось бы никаких оснований сомневаться в том, что он и господин У. Х. — одно и то же лицо; в противном случае теория просто рухнет. Эти соображения я со всей возможной убедительностью изложил Сирилу, который был немало раздосадован тем, что назвал моим «филистерским складом ума», и вообще очень обиделся и расстроился. Тем не менее я заставил его пообещать, что, в своих же собственных интересах, он не предаст огласке сделанного открытия до тех пор, пока не будут полностью рассеяны все сомнения. Многие и многие недели мы рылись в метрических записях лондонских церквей, в аллеиновских рукописях в Даллидже⁴⁵, в Государственном архиве, в Архиве лорда-гофмейстера — словом, везде, где была хоть какая-то надежда встретить упоминание об Уилли Хьюзе. Поиски наши, как и следовало ожидать, не увенчались успехом, и идея с каждым днем казалась все неправдоподобнее. Сирил пре-

* Перевод С. Маршакa.

** «*use*» (англ.). Здесь: «затея» — созвучно имени «Хьюз» (Hughes).

бывал в ужасном состоянии: изо дня в день он вновь и вновь объяснял мне свою теорию, умоляя в нее поверить. Но я отлично видел единственный изъян в его рассуждениях и отказывался с ними согласиться, прежде чем существование Уилли Хьюза, юноши-актера, жившего во времена королевы Елизаветы, не станет безусловно и неопровержимо доказанным фактом.

Однажды Сирил уехал из города. Я решил, что он отправился навестить своего деда, и лишь позже узнал от лорда Кредитона, что это было не так.

Недели через две от Сирила пришла телеграмма, посланная из Уорика — он просил меня непременно приехать и пообедать с ним в тот же вечер в восемь часов. Встретил он меня такими словами: «Единственный апостол, который не заслуживал, чтобы ему представили доказательства существования Божьего, был святой Фома, но получил их он один». На мой вопрос, как это понимать, он ответил, что ему удалось не только удостовериться в том, что в шестнадцатом веке действительно жил юноша-актер по имени Уилли Хьюз, но и окончательно доказать, что он и есть тот самый господин У. Х., которому посвящены сонеты. Ничего больше он в тот момент сказать не захотел, однако после обеда торжественно показал мне картину, которую ты только что видел, сообщив, что обнаружил ее по чистой случайности: портрет был прибит гвоздями к внутренней стенке старинной шкатулки, купленной им у какого-то фермера в Уорикшире. Самое шкатулку — замечательный образец ремесленного искусства конца шестнадцатого века — он, разумеется, тоже захватил с собой. На передней стенке, в самом центре, были отчетливо вырезаны инициалы «У. Х.». Именно эта монограмма и привлекла его внимание, хотя более тщательно осмотреть шкатулку изнутри ему пришлось в голову лишь спустя несколько дней после ее приобретения. Как-то утром он заметил, что одна из стенок гораздо толще остальных, и, присмотревшись, обнаружил прикрепленную к ней доску в раме. Это и была та самая картина, которая лежит сейчас на диване. Ее покрывал густой слой грязи и плесени, но Сирил сумел их считать и, к величайшей своей радости, увидел, что совершенно случайно нашел как раз то, что искал. Перед ним был подлинный портрет господина У. Х., рука ко-

того покоилась на томике сонетов, открытом на странице с посвящением, а на потускневшем золоте рамы можно было с трудом различить имя молодого человека, выведенное черными унциальными буквами: «Молодой Уилл Хьюз».

Что мне было сказать? Я и на миг не мог вообразить, что Сирил Грэхэм задумал сыграть со мной шутку или пытается доказать свою теорию с помощью подделки.

— Так это все же подделка? — спросил я.

— Разумеется, — сказал Эрскин. — Подделка превосходная, но тем не менее подделка. Уже тогда, правда, мне показалось, что Сирил отнесся к находке чересчур уж спокойно, однако я вспомнил, как он не раз говорил, что самому ему не нужны подобного рода доказательства и что теория вполне убедительна и без них. Смеясь, я отвечал, что без них вся его теория рухнет, как картонный домик, — и теперь искренне поздравил своего друга с блестящим открытием. Мы договорились заказать гравюру или репродукцию с портрета, чтобы поместить ее на фронтисписе нового издания сонетов, которое решил подготовить Сирил, и в течение трех месяцев занимались только тем, что кропотливо, строчку за строчкой, изучали каждый сонет, пока не были преодолены все неясности текста или смысла. И вот одним несчастным днем я забрел в какой-то магазин гравюр в Холборне, где внимание мое привлекли несколько прекрасных рисунков серебряным карандашом. Они так мне понравились, что я их купил, а владелец магазинчика, некий Ролингс, сказал мне, что рисунки сделал молодой художник по имени Эдвард Мертон — человек очень талантливый, но бедный, как церковная мышь. Через несколько дней я поехал повидать Мертона, чей адрес взял у торговца гравюрами. Меня встретил интересный молодой человек с бледным лицом и его жена, довольно вульгарная на вид женщина, которая, как я узнал потом, была его натурщицей. Я сказал, что восхищен его рисунками, чем, кажется, доставил ему большое удовольствие, и спросил, не покажет ли он мне еще что-нибудь из своих работ. Но когда мы стали одну за другой их рассматривать, — а у него оказалось множество, право же, чудесных вещей, ибо этот Мертон и в самом деле был великолепным и тонким мастером, — взгляд мой совер-

шенно неожиданно упал... на рисунок с портрета господина У. Х. Сомнений не было. Я держал в руках почти точную копию — с той лишь разницей, что маски Трагедии и Комедии лежали не перед мраморным столиком, как на картине, а у ног юноши.

«Каким образом к вам попало это?» — воскликнул я.

Явно смешавшись, Мертон пробормотал: «Так, какой-то случайный набросок. Не знаю даже, как он здесь оказался. Безделка, не более».

«Это же тот самый эскиз, который ты сделал для Сирила Грэхэма! — вмешалась его жена. — И если джентльмен хочет его купить, пусть покупает».

«Для Сирила Грэхэма? — повторил я. — Так это вы написали портрет господина У. Х.?»

«Я не понимаю, что вы имеете в виду», — ответил он, заливаясь краской.

Случилось ужасное. Его жена обо всем проболталась. Уходя, я украдкой дал ей пять фунтов. Сейчас вспоминать об этом невыносимо, но, конечно же, я был взбешен. Я тотчас поспешил к Сирилу, прождал три часа у него на квартире, и, когда он наконец вернулся, явившись мне, точно олицетворение этой отвратительной лжи, я сообщил ему, что обнаружил подделку. Он сильно побледнел и сказал:

«Я сделал это только ради тебя. Убедить тебя иным способом было невозможно. Однако достоверности теории это не умаляет».

«Достоверность теории! — воскликнул я. — Чем меньше мы будем говорить об этом, тем лучше! Ты даже сам никогда в нее не верил. Иначе бы не прибег к подделке, чтобы ее доказать».

Мы наговорили друг другу резкостей и страшно поссорились. Пожалуй, я был несправедлив. На следующее утро его нашли мертвым.

— Мертвым?! — вскричал я.

— Да. Он застрелился из револьвера. Брызги крови попали на раму картины, как раз на то место, где написано имя. Когда я приехал — слуга Сирила сейчас же послал за мной, — там уже была полиция. Сирил оставил для меня письмо, написанное, судя по всему, в величайшем смятении и расстройстве чувств.

— Что же он в нем говорил?

— О, что он абсолютно убежден в существовании

Уилли Хьюза, что подделка была лишь уступкой мне и ни в малейшей степени не лишает теорию правоты и что, желая доказать мне, как глубока и непоколебима его вера в идею, он приносит свою жизнь в жертву тайне сонетов. Это было безумное, испуганное письмо. Помню, в конце он писал, что завещает теорию об Уилли Хьюзе мне, что именно я должен рассказать о ней людям и разгадать тайну Шекспировой души.

— Какая трагическая история, — проговорил я. — Но почему же ты не исполнил его желания?

Эрскин пожал плечами.

— Да потому, что теория эта от начала и до конца совершенно ошибочна.

— Мой милый Эрскин, — сказал я, вставая с кресла, — на сей счет ты явно заблуждаешься. Эта теория — единственный верный ключ к пониманию сонетов Шекспира. Она продумана во всех деталях. Лично я верю в Уилли Хьюза.

— Не говори так, — глухо отозвался Эрскин. — Мне кажется, что в этой идее есть что-то роковое, с точки же зрения логики сказать в ее пользу нечего. Я тщательно во всем разобрался и уверяю тебя, теория совершенно безосновательна. Правдоподобной она кажется только до известного предела. Дальше — тупик. Ради всего святого, дружище, оставь всякую мысль об Уилли Хьюзе. Иначе тебе не миновать беды.

— Эрскин, — ответил я, — твой долг — сообщить миру об этой теории. И если этого не сделаешь ты, сделаю я. Скрывая ее, ты грешишь перед памятью Сирила Грэхэма — самого юного и самого прекрасного из мучеников искусства. Умоляю тебя! Ведь этого требует справедливость. Он не пожалел жизни ради идеи — так пусть же смерть его не будет напрасна.

Эрскин посмотрел на меня в изумлении.

— Полно, тебя просто захватили чувства, вызванные всей этой историей. Однако ты забываешь, что вера не становится истиной только потому, что кто-то за нее умирает. Я любил Сирила Грэхэма, и его смерть была для меня страшным ударом. Оправиться от него я не мог многие годы. Наверное, я не оправился от него вовсе. Но Уилли Хьюз? Нет, Уилли Хьюз — идея пустая. Такого человека никогда не было. Рассказать обо всем людям, говоришь ты? Но ведь люди думают, что

Сирил Грэхэм погиб от несчастного случая. Единственное доказательство его самоубийства — адресованное мне письмо, но о нем никто ничего не знает. Лорд Кредитон и по сей день уверен, что тогда произошел несчастный случай.

— Сирил Грэхэм пожертвовал жизнью во имя великой идеи, — возразил я. — И если ты не хочешь поведать о его мученичестве, расскажи хоть о его вере.

— Его вера, — ответил Эрскин, — основывалась на ложном представлении, на представлении порочном, на представлении, которое не задумываясь отверг бы любой исследователь творчества Шекспира. Да его теорию просто подняли бы на смех! Не будь же глупцом и оставь этот путь, он никуда не ведет. Ты исходишь из уверенности в существовании того самого человека, чье существование как раз и надо сперва доказать. И потом, всем известно, что сонеты посвящены лорду Пемброку. С этим вопросом покончено раз и навсегда.

— Нет, не покончено! — воскликнул я. — Я продолжу начатое Сирилом Грэхэмом и докажу всем, что он был прав.

— Безумный мальчишка! — пробормотал Эрскин. — Отправляйся-ка лучше домой — уже третий час. И выбрось из головы Уилли Хьюза. Я жалею, что рассказал тебе обо всем этом, и еще больше — что убедил тебя в том, чему не верю сам.

— О нет, ты дал мне ключ к величайшей загадке современной литературы, — ответил я, — и я не успокоюсь до тех пор, пока не заставлю тебя признать — пока не заставлю всех признать, что Сирил Грэхэм был самым тонким из современных знатоков Шекспира.

Я шел домой через Сент-Джеймс-парк, а над Лондоном занималась заря. Белые лебеди покойно дремали на полированной глади озера; высокие башни дворца на фоне бледно-зеленого неба отливали багрянцем. Я подумал о Сириле Грэхэме, и глаза мои наполнились слезами.

II

Когда я проснулся, шел уже первый час пополудни, и сквозь занавеси на окнах в комнату струились косые золотистые лучи солнца, в которых плясали мириады

пылинок. Сказав слуге, что меня ни для кого нет дома, и выпив чашку шоколада с булочкой, я взял с полки томик сонетов Шекспира и стал внимательно читать. Каждый сонет, казалось, подтверждал теорию Сирила Грэхэма. Я точно положил руку на Шекспирово сердце, явственно ощутив трепет и биение переполнявших его страстей. Мысли мои обратились к прекрасному юноше-актеру, и в каждой строчке мне стало видеться его лицо. Помню, особенно меня поразили два сонета — 53-й и 67-й. В первом из них, восхищаясь сценической разнохарактерностью Уилли Хьюза, многообразием исполняемых им ролей — от Розалинды до Джульетты и от Беатриче до Офелии, — Шекспир восклицает:

Какою ты стихией порожден?
Все по одной отбрасывают тени,
А за тобою вьется миллион
Твоих теней, подобий, отражений*.

Строки эти были бы непонятны, если бы не были обращены к актеру, ибо во времена Шекспира слово «тьень» имело и более узкое значение, связанное с театром**. «И лучшие среди них — всего лишь тени», — говорит об актерах Тезей из «Сна в летнюю ночь», и подобные выражения часто встречаются в литературе тех дней. Эти два сонета принадлежат, очевидно, к числу тех, где Шекспир размышляет о природе актерского искусства, о том странном и редкостном душевном temperamente, без которого нет настоящего актера. «Как тебе удастся быть столь многоликим?» — спрашивает Шекспир Уилли Хьюза. И заключает — красота его такова, что способна вдохнуть жизнь в любую форму или оттенок фантазии, воплотить любую мечту, рожденную воображением художника. Развивая эту идею в следующем сонете, он высказывает в первых его строках замечательную мысль:

Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной***, —

* Перевод С. Маршака.

** То есть «образ», «отображение», «сценический персонаж».

*** Перевод С. Маршака.

и зовет нас убедиться в том, как правда актерской игры, правда зримого сценического действия усиливает волшебное очарование поэзии, одушевляя ее красоту и сообщая реальность ее идеальной форме. И тем не менее в 67-м сонете Шекспир призывает Уилли Хьюза покинуть сцену с ее искусственностью, с фальшивыми гримасами размалеванных лиц и нелепыми костюмами, ее безнравственными влияниями и идеями, ее удаленностью от истинного мира благородных дел и правдивого слова:

О, для чего он будет жить бесславно,
С бесчестьем, с позором и с грехом
Вступать в союз и им служить щитом?
Зачем румяна спорить будут явно
С его румянцем нежным и зачем тайком
Фальшивых роз искать ему тщеславно,
Когда цветут живые розы в нем?*

Возможно, покажется странным, что такой великий драматург, как Шекспир, чей художественный гений и гуманистическое мироощущение обрели выражение именно в идеальной сфере сценического творчества, мог подобным образом писать о театре. Однако вспомним, что в сонетах 110 и 111 он говорит, как устал жить в царстве марионеток, как стыдится того, что превратился в «площадного шута». Горечь эта особенно ощущается в 111-м сонете:

О как ты прав, судьбу мою браня,
Виновницу дурных моих деяний,
Богиню, осудившую меня
Зависеть от публичных подаяний.
Красильщик скрыть не в силах ремесло,
Так на меня проклятое занятье
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье**,—

и признаки этого чувства, признаки, столь знакомые тем, кто действительно знает Шекспира, обнаруживают себя и во многих других его сонетах.

Читая сонеты, я был чрезвычайно озадачен одним

* Перевод А. Федорова.

** Перевод С. Маршака.

обстоятельством, и минули дни, прежде чем мне удалось найти ему верное толкование, которое, видимо, ускользнуло даже от Сирила Грэхэма. Я никак не мог понять, отчего Шекспир так сильно желал, чтобы его друг женился. Сам он женился в ранней молодости, что сделало его несчастным, и едва ли стал бы требовать, чтобы Уилли Хьюз совершил ту же ошибку. Юному актеру, игравшему Розалинду, нечего было ждать ни от брака, ни от познания страстей, властвующих в реальной жизни. И потому в первых сонетах, где Шекспир со странной настойчивостью упрощает его обзавестись потомством, мне слышалась какая-то нарушающая гармонию нота. Объяснение пришло неожиданно — я нашел его в необычном посвящении к сонетам. Как известно, заучит оно так:

ТОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ, КОМУ ОБЯЗАНЫ
ПОЯВЛЕНИЕМ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ СОНЕТЫ
Г-Н[У] У. Х. ВСЯКОГО СЧАСТЬЯ
И ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
ОБЕЩАННОЙ
НАШИМ БЕССМЕРТНЫМ ПОЭТОМ
ЖЕЛАЕТ
БЛАГОРАСПОЛОЖЕННЫЙ И
УПОВАЮЩИЙ НА УДАЧУ
ИЗДАТЕЛЬ.

Т. Т.

Некоторые исследователи предполагали, что выражение «...кому обязаны появлением...» подразумевает просто того человека, который передал сонеты их издателю, Томасу Торпу. Однако к настоящему времени большинство отказалось от такого взгляда, и наиболее уважаемые авторитеты согласны, что толковать эти слова следует как обращение к вдохновителю сонетов, усматривая здесь метафору, построенную на аналогии с появлением на свет живого существа. Вскоре я заметил, что эту метафору Шекспир использует в сонетах постоянно, и это натолкнуло меня на правильный путь. В итоге я сделал свое великое открытие. Любовный союз, к которому Шекспир побуждает Уилли Хьюза, — это «союз с его Музой» — выражение, употребленное вполне определенно в 82-м сонете, где, изливая горькую обиду, причиненную вероломным бегством юного актера,

для которого он написал лучшие роли в своих пьесах, поэт начинает жалобу словами:

Увы, но с Музой моей не связан ты союзом вечным...

А дети, которых Шекспир просит его произвести на свет, суть не существа из плоти и крови, но более долговечные создания, рожденные слиянием иных начал, чей союз осеняет нетленная слава. Весь же цикл ранних сонетов проникнут, по сути, одним стремлением — убедить Уилли Хьюза пойти на подмостки, стать актером. Сколь напрасна и бесплодна будет твоя красота, говорит Шекспир, если ты ею не воспользуешься:

Когда чело твое избородят
Глубокими следами сорок зим, —
Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем твоим?

И на вопрос: «Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?» —
Что скажешь ты? На дне угасших глаз?
Но злой насмешкой будет твой ответ*.

Ты должен творить: мои стихи «твои и рождены тобой»; внемли мне и «в строках этих переживешь лета и веки», населив подобиями своего образа воображаемый мир театра. Создания твои не угаснут, как угасают смертные существа, — ты навеки пребудешь в них и в моих пьесах, лишь только

Подобие свое создай хоть для меня,
Чтоб красота твоя жила в тебе иль близ тебя**.

Я собрал все отрывки, которые как будто подтверждали мою догадку, и они произвели на меня глубокое впечатление, показав, насколько справедлива теория Сирила Грэхэма. Я увидел также, как легко отличить строки, в которых Шекспир говорит о самих сонетах, от тех, где он ведет речь о своих великих драматических произведениях. Никто из критиков до Сирила Грэхэма не обратил внимания на это обстоятельство. А ведь оно чрезвы-

* Перевод С. Маршака.

** Перевод Н. Гербея.

чайно важно. К сонетам Шекспир был более или менее равнодушен, не связывая с ними помыслов о славе. Для него они были творениями «мимолетной музыки», как он называет их сам, предназначенными, по свидетельству Миерса, для весьма и весьма узкого круга друзей. Напротив, в художественной ценности своих пьес он отдавал себе ясный отчет и высказывал гордую веру в свой драматический гений. Когда он говорил Уилли Хьюзу:

А у тебя не убывает день,
Не увядает солнечное лето.
И смертная тебя не скроет тень, —
Ты будешь вечно жить в строках поэта.

Среди живых ты будешь до тех пор,
Доколе дышит грудь и видит взор, —

слова «Ты будешь вечно жить в строках поэта», несомненно, относятся к одной из его пьес, которую он тогда собирался послать своему другу, — точно так же, как последнее двустихие свидетельствует о его убеждении в том, что написанное им для театра будет жить всегда. В обращении к Музе (сонеты 100 и 101) звучит то же чувство:

Где Муза? Что молчат ее уста
О том, кто вдохновлял ее полет?
Иль, песенкой дешевой занята,
Она ничтожным славой создает? —

вопрошает он и, укоряя владычицу Трагедии и Комедии за то, что она «отвергла Правду в блеске Красоты», говорит:

Да, совершенству не нужна хвала,
Но ты ни слов, ни красок не жалеи,
Чтоб в славе красота пережила
Свой золотом покрытый мавзолей.
Нетронутым — таким, как в наши дни,
Прекрасный образ миру сохрани!***

Однако наиболее полно эта идея выражена, пожалуй, в 55-м сонете. Вообразить, будто «могучим стихом» на-

* Перевод С. Маршака.

** Перевод С. Маршака.

званы строки самого сонета, — значит совершенно неправильно понимать мысль Шекспира. Общий характер сонета создал у меня впечатление, что речь в нем идет о какой-то определенной пьесе и что пьеса эта — «Ромео и Джульетта»:

Надгробьям пышным, гордым изваяньям
Не пережить могучий этот стих.
Он охранит красы твоей сиянье
От язв и глена, что разрушат их.
И пусть падут столпы и рухнут стены
В горниле битв от Марсова меча,
Пребудет образ твой живой, нетленный
В глазах людей и в пламенных речах.
Смерть победив и немоту забвенья,
Пройдешь ты сквозь бесчисленные года,
Стяжашь славу в дальних поколениях
И встретишь день последнего суда.
Итак, пока не грянет труб небесных зов,
В очах живи влюбленных, в звуке этих слов.

Весьма примечательно также, что здесь, как и в других сонетах, Шекспир обещает Уилли Хьюзу бессмертие, открытое глазам людей, то есть бессмертие в зримой форме, в произведении, предназначенном для сцены.

Две недели я без усталости трудился над сонетами, почти не выходя из дому и отказываясь от всех приглашений. Каждый день приносил новое открытие, и вскоре Уилли Хьюз поселился в моей душе, точно призрак, и образ его завладел всеми моими мыслями. Временами мне даже чудилось, что я вижу его в полумраке моей комнаты, — так ярко нарисовал его Шекспир — с золотистыми волосами, нежного и стройного, словно цветок, с глубокими мечтательными глазами и лилейно-белыми руками. Даже имя его завораживало меня. Уилли Хьюз! Уилли Хьюз! Какая дивная музыка! О да! Кто, как не он, мог быть властелином и властительницей шекспировских страстей, повелителем его любви, которому он был предан, как верный вассал, изящным баловнем наслаждений, совершеннейшим на свете созданием, глашатаем весны в блистающих одеждах молодости, прелестным юношей, чей голос звучал сладко, точно струны лютни, а красота чудным покровом облекала душу Шекспира и была главным источником силы его драматического таланта?

Какой же жестокой трагедией казалось теперь бегство и позорная измена актера — скрашенная и облагороженная его колдовским очарованием, — но тем не менее измена. И все же, если Шекспир простил его, не простить ли его и нам? Мне, во всяком случае, не хотелось заглядывать в тайну его грехопадения.

Другое дело — его уход из шекспировского театра; это событие я исследовал со всей тщательностью. И в конце концов пришел к выводу, что Сирил Грэхэм ошибался, предполагая в соперничающем драматурге из 80-го сонета Чапмена. Речь, по всей видимости, шла о Марло. Ибо в тот период, когда писались сонеты, выражение «Его ли стих — могучий шум ветрил» не могло относиться к творчеству Чапмена, как бы ни было оно применимо к стилю его поздних пьес, написанных уже в годы правления короля Якова I. Нет, именно Марло был тем соперником на драматургическом поприще, которому Шекспир расточает такие похвалы, а

...дружественный дух —
Его ночной советчик бестелесный*, —

это Мефистофель из его «Доктора Фауста». Без сомнения, Марло пленила красота и изящество юного актера, и он переманил его из театра «Блэкфрайерс»⁴⁶ к себе, чтобы дать ему роль Гейвстона в своем «Эдуарде II». То, что Шекспир имел законное право не отпустить Уилли Хьюза, ясно из 87-го сонета, где он говорит:

Прощай! Ты для меня бесценное владенье,
Но стала для тебя ясней твоя цена —
И *хартии твоей* приносят письма
От *власти* временной моей освобожденье,
По милости твоей владел лишь я тобой:
Чем мог я заслужить такое наслажденье?
Но права на тебя мне не дано судьбой:
Бессилен договор, напрасно принужденье.
Мои достоинства неверно оцени,
Отдавши мне себя в минутном заблуденье,
Свой драгоценный дар, по строгом обсужденье,
Теперь ты хочешь взять обратно у меня...
Во сне был я король. Стал нищим в пробужденье**.

* Перевод С. Маршака.

** Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

Но удерживать силой того, кого не смог удержать любовью, он не захотел. Уилли Хьюз поступил в труппу лорда Пемброка и стал играть — быть может, во дворе таверны «Красный Бык» — роль изнеженного фаворита короля Эдуарда. После смерти Марло он, по-видимому, вернулся к Шекспиру, который, что бы ни думали на этот счет его товарищи по театру, не замедлил простить своенравного и вероломного юношу.

И, опять-таки, как точно описал Шекспир характер актера! Уилли Хьюз был одним из тех,

Кто двигает других, но, как гранит,
Неколебим и не подвержен страсти...

Он мог сыграть любовь, но был не способен испытать ее в жизни, мог изображать страсть, не зная ее.

Есть лица, что души лукавой
Несут печать в гримасах и морщинах...

Однако Уилли Хьюз был не таков.

«Но небо, — говорит Шекспир в сонете, полном безумного обожания, —

...иначе создать тебя сумело;
И только прелести полны твои черты,
Какие б ни были в душе твоей мечты, —
В глазах всегда любовь и нежность без предела**.

В его «непостоянстве чувств» и «лукавой душе» легко узнать неискренность и вероломство, присущие артистическим натурам, как в его тщеславии — ту жажду немедленного признания, что свойственна всем актерам. И все же Уилли Хьюзу, которому в этом смысле посчастливилось больше, чем другим актерам, суждено было обрести бессмертие. Неотделимый от шекспировских пьес, его образ продолжал жить в них.

Ты сохранишь и жизнь, и красоту,
А от меня ничто не сохранится.
На кладбище покой я обрету,
А твой приют — открытая гробница.

* Перевод С. Маршака.

** Перевод С. Маршака.

Твой памятник — восторженный мой стих.
Кто не рожден, еще его услышит.
И мир повторит повесть дней твоих,
Когда умрут все те, кто ныне дышит*.

Шекспир беспрестанно говорит и о власти, которой обладал Уилли Хьюз над зрителями — «очевидцами», как называл их поэт. Но, пожалуй, самое лучшее описание его изумительного владения актерским мастерством я нашел в «Жалобе влюбленной»:

Уловки хитрости соединились в нем
С притворством редкого, тончайшего искусства.
Он то бледнел, как воск, то вспыхивал огнем,
То, не окончив слов, он вдруг лишался чувства.

И быстро до того менял свой вид притом,
Что было бы нельзя не верить тем страданиям,
Слезам, и бледности, и искренним рыданиям.

* * *

Искусством говорить владел он вдохновенно:
Лишь отомкнет уста — уж ждет его успех.
Смутить ли, убедить, пленить — умел он всех.
Он находил слова, чтоб превратить мгновенно

Улыбку — в горечь слез, рыдания — в звонкий смех.
И смелой волею — все чувства, думы, страсти,
Поймав в ловушку слов, в своей держал он власти**.

Однажды мне показалось, что я в самом деле обнаружил упоминание об Уилли Хьюзе в книге елизаветинских времен. В удивительно ярком описании последних дней славного графа Эссекса его духовник, Томас Нелл, рассказывает, что вечером, накануне смерти, «граф призвал к себе Уильяма Хьюза, бывшего у него музыкантом, чтобы он сыграл на верджинеле и спел. «Сыграй, — сказал он, — мою песню, Уилл Хьюз, а я спою ее сам себе». Так он и сделал, пропев ее весьма весело, — не как лебедь, склонивший голову и заунывным криком оплакивающий близкий свой конец, но подобно чудному жаворонку, простерши руки и возведши очи к Господу своему, — и с нею вознесся к

* Перевод С. Маршака.

** Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

хрустальному своду небес и неутомимым гласом своим достиг до самой вершины высочайших эмпиреев». Сомнений нет! Юноша, игравший на клавесине умирающему отцу Сиднеевой Стеллы⁴⁷, был не кто иной, как Уилл Хьюз, которому Шекспир посвятил свои сонеты и чей голос сам «был музыке подобен». Однако лорд Эссекс скончался в 1576 году, когда самому Шекспиру было всего двадцать лет. Нет, его музыкант не мог быть «господином У. Х.» из сонетов. Но, возможно, юный друг Шекспира был сыном того Хьюза? Так или иначе, имя Хьюзов, как выяснилось, в ту пору встречалось, и это было уже нечто. Более того, оно, судя по всему, было тесно связано с музыкой и театром. Вспомним, что первой женщиной-актрисой в Англии была очаровательная Маргарет Хьюз, внушившая столь безумную страсть принцу Руперту. И разве не естественно предположить, что в годы, разделявшие музыканта графа Эссекса и ее, жил юноша-актер, игравший в шекспировских пьесах? Но доказательства, связующие звенья — где они? Увы, их я найти не мог. Мне казалось, что я все время стою на пороге открытия, которое окончательно подтвердит теорию, но что совершить его мне не суждено.

От предположений о жизни Уилли Хьюза я вскоре перешел к размышлениям о его смерти, пытаюсь представить, какой его постиг конец.

Быть может, он попал в число тех английских актеров, что в 1604 году отправились за море, в Германию и играли перед великим герцогом Генрихом-Юлием Брауншвейгским, который и сам был драматургом немалого дарования, или при дворе загадочного курфюрста Бранденбургского, который столь боготворил красоту, что, говорят, заплатил проезжему греческому купцу за его прекрасного сына столько янтаря, сколько весил юноша, а потом устраивал в честь своего раба пышные карнавалы в тот страшный голодный год, когда истощенные люди падали замертво прямо на улицах и на протяжении семи месяцев не пролилось ни капли дождя. Известно, во всяком случае, что «Ромео и Джульетту» поставили в Дрездене в 1613 году вместе с «Гамлетом» и «Королем Лиром», и, конечно, именно Уилли Хьюзу в 1615 году кем-то из свиты английского посла

была привезена посмертная маска Шекспира — печальное свидетельство кончины великого поэта, так нежно его любившего. В самом деле, было бы глубоко символично, если бы актер, чья красота являлась столь важным элементом шекспировского реализма и романтики, первым принес в Германию семена новой культуры и стал, таким образом, предвестником «Aufklärung», или Просвещения восемнадцатого века — прославленного движения, которое, хотя и было начато Лессингом и Гердером, а полного и блистательного расцвета достигло благодаря Гете, в немалой степени обязано своим развитием другому актеру, Фридриху Шредеру, пробудившему умы людей и показавшему посредством воображаемых театральных страстей и переживаний теснейшую, нерасторжимую связь жизни с литературой. Если так произошло в действительности, — а противоречащих этому свидетельств нет, — то совсем не исключено, что Уилли Хьюз находился среди тех английских комедиантов («*mimae quidam ex Britannia*»*, как называет их старинная летопись), которые были убиты в Нюрнберге во время народного бунта и тайно погребены в маленьком винограднике за пределами города некими молодыми людьми, «каковые находили удовольствие в их лицедействе и из коих иные желали обучиться у них таинствам нового искусства». Разумеется, более подходящего места, чем маленький виноградник за городской стеной, нельзя было бы и найти для того, кому Шекспир сказал: «Искусство все — в тебе». Ибо не из Дионисовых ли страданий возникла Трагедия⁴⁸? И не из уст ли сицилийских виноградарей впервые зазвенел жизнерадостный смех комедии с ее беспечным весельем и искрометным острословием? А пурпур и багрянец пенной влаги, брызжущей на лица, руки, одежду, — не это ли впервые открыло людям глаза на колдовство и очарование масок, внушив стремление к самосокранию, и не тогда ли ощущение смысла реального бытия проявилось в грубых начатках драматического искусства? Впрочем, где бы ни покоились его останки — на крошечном ли винограднике у готических ворот старинного немецкого города или на каком-нибудь безве-

* Лицедеи из Британии (лат.).

стном лондонском кладбище, затерявшемся в грохоте и сумятице нашей огромной столицы, — последнее его пристанище не отмечено великолепным надгробьем. Истинной его усыпальницей, как и пророчил поэт, стали шекспировские стихи, а подлинным памятником ему — вечная жизнь театра. Он разделил судьбу тех, чья красота дала новый толчок творческой фантазии их эпохи. Лилейное тело вифинского раба⁴⁹ истлело в зеленом иле нильских глубин, а прах юного афинянина развеян ветром по желтым холмам Керамика, но Антиной и поныне живет в скульптурах, а Хармид — в философских творениях.

III

По прошествии трех недель я решил обратиться к Эрскину с самым настойчивым призывом отдать дань памяти Сирила Грэхэма и сообщить миру о его блестящем толковании сонетов — единственном толковании, всецело объясняющем их загадку. У меня не сохранилось, к сожалению, копии этого письма, не удалось вернуть и оригинал, но помню, что я подробнейшим образом проанализировал всю теорию и на многих страницах с пылом и страстью повторил все аргументы и доказательства, подсказанные моими исследованиями. Мне казалось тогда, что я не просто возвращаю Сирилу Грэхэму принадлежащее ему по праву место в истории литературы, но спасаю честь самого Шекспира от докучных отголосков банальной интриги. В письмо это я вложил весь жар души, всю мою убежденность.

Однако не успел я его отослать, как мной овладело странное чувство. Словно, написав это письмо, я отдал ему всю свою веру в Уилли Хьюза, героя шекспировских сонетов, словно вместе с несколькими листками бумаги ушла частица меня самого, без которой я был совершенно равнодушен к некогда волновавшей меня идее. Но что же произошло? Ответить трудно. Быть может, дав полное выражение страсти, я исчерпал и самую страсть? Ведь духовные силы, как и силы физические, не беспредельны. Быть может, пытаюсь убедить другого, каким-то образом жертвуешь собст-

венной способностью верить? Быть может, наконец, я просто устал от всего этого, и, когда угас душевный порыв, в свои права вступил бесстрастный рассудок? Как бы там ни было — а найти объяснение случившемуся я не смог, — несомненно одно: Уилли Хьюз вдруг превратился для меня просто в миф, в бесплодную мечту; в мальчишескую фантазию юнца, который, подобно очень многим пылким натурам, больше стремился доказать свою правоту другим, нежели себе самому.

Поскольку в своем письме я наговорил Эрскину много несправедливого и обидного, я решил немедленно с ним повидаться и принести извинения за свое поведение. На другое же утро я отправился на Бердкейдж-Уок, где нашел Эрскина в библиотеке. Он сидел, глядя на стоявший перед ним поддельный портрет Уилли Хьюза.

— Дражайший Эрскин, — воскликнул я, — я приехал, чтобы перед тобой извиниться!

— Извиниться? — повторил он. — Помилуй, за что?

— За мое письмо, — ответил я.

— Тебе вовсе незачем жалеть о своем письме, — сказал он. — Напротив, ты оказал мне величайшую услугу, какую только мог. Ты показал мне, что теория Сирила Грэхэма абсолютно разумна.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что веришь в Уилли Хьюза? — вскричал я.

— Почему бы и нет? — отозвался он. — Ты вполне меня убедил. Неужели, по-твоему, я не в состоянии оценить силу доказательств?

— Но ведь нет же никаких доказательств, — простонал я, падая в кресло. — Когда я писал тебе, мной владел какой-то глупейший энтузиазм. Я был тронут рассказом о смерти Сирила Грэхэма, очарован его романтической теорией, пленен прелестью и новизной всей этой идеи. Однако теперь я вижу, что его теория возникла из заблуждения. Единственное доказательство существования Уилли Хьюза — картина, на которую ты смотришь, и картина эта — подделка. Ты не должен поддаваться эмоциям. Что бы ни нашептывали об Уилли Хьюзе романтические чувства, разум совершенно этого не приемлет.

— Я отказываюсь тебя понимать, — сказал Эр-

скин, с удивлением глядя на меня. — Не ты ли сам уверил меня своим письмом в том, что Уилли Хьюз — неопровержимая реальность? Что же заставило тебя переменить мнение? Или все, что ты говорил, только шутка?

— Это трудно объяснить, — ответил я, — но сейчас я вижу ясно, что толкование Сирила Грэхэма лишено смысла. Сонеты действительно посвящены лорду Пемброку. И ради Всевышнего, не трать попусту времени на безумные попытки отыскать в веках юного актера, которого никогда не было, и возложить на голову призрачной марионетки венки великих шекспировских сонетов.

— Ты, видно, просто не понимаешь теории, — возразил он.

— Ну, полно, милый Эрскин! — воскликнул я. — Не понимаю? Да мне уже кажется, что я сам ее сочинил. Из моего письма ты наверняка понял, что я не только тщательно ее изучил, но и предложил множество всякого рода доказательств. Так вот, единственный изъян теории в том, что она исходит из уверенности в существовании человека, реальность которого и есть главный предмет спора. Если допустить, что в труппе Шекспира и вправду был юноша-актер по имени Уилли Хьюз, то совсем не трудно сделать его героем сонетов. Но поскольку мы знаем, что актер с таким именем в театре «Глобус» никогда не играл, продолжать поиски бессмысленно.

— Но этого-то мы как раз и не знаем, — не уступал Эрскин. — Действительно, такого актера нет в списке труппы, но, как заметил Сирил, это скорее свидетельствует в пользу существования Уилли Хьюза, а не наоборот, если помнить о его предательском бегстве к другому антрепренеру и драматургу.

Мы проспорили несколько часов, но никакие мои аргументы не могли заставить Эрскина отказаться от веры в толкование Сирила Грэхэма. Он заявил, что намерен посвятить всю жизнь доказательству теории и полон решимости воздать должное памяти Сирила Грэхэма. Я увещевал его, смеялся над ним, умолял — но все было напрасно. Наконец мы расстались — не то чтобы поссорившись, но с явным отчуждением. Он думал, что я поверхностен, я — что он безрассуден. Ког-

да я пришел к нему в следующий раз, слуга сказал мне, что он уехал в Германию.

Прошло два года. И вот однажды, когда я приехал в свой клуб, привратник вручил мне письмо с иностранным штемпелем. Оно было от Эрскина и отправлено из гостиницы «Англетер» в Каннах. Прочитав его, я содрогнулся от ужаса, хотя до конца и не поверил, что у Эрскина хватит безрассудства привести в исполнение свое намерение, — ибо, испробовав все средства доказать теорию об Уилли Хьюзе и потерпев неудачу, он, помня о том, что Сирил Грэхэм отдал за нее жизнь, решил принести и свою жизнь в жертву той же идее. Письмо заканчивалось словами: «Я по-прежнему верю в Уилли Хьюза, и к тому времени, когда ты получишь это письмо, меня уже не будет на свете: я лишу себя жизни собственной рукой во имя Уилли Хьюза — во имя него и во имя Сирила Грэхэма, которого довел до смерти своим бездумным скептицизмом и слепым неверием. Однажды истина открылась и тебе, но ты отверг ее. Ныне она возвращается к тебе, омытая кровью двух людей. Не отворачивайся же от нее!»

То было страшное мгновение. Я испытывал мучительную боль и все же не мог в это поверить. Умереть за веру — самое худшее, что можно сделать со своей жизнью, но отдать ее за литературную теорию! Нет, это просто невыносимо.

Я взглянул на дату. Письмо было отправлено неделю назад. По несчастливой случайности я не заходил в клуб несколько дней, — получи я письмо раньше, я, возможно, успел бы спасти Эрскина. Но, может быть, еще не поздно? Я бросился домой, поспешно уложил вещи и в тот же вечер выехал почтовым поездом с Чаринг-Кросс. Путешествие показалось мне нестерпимо долгим. Я думал, что оно никогда не кончится. Прямо с вокзала я поспешил в «Англетер». Там мне сказали, что Эрскина похоронили двумя днями раньше на английском кладбище. В произошедшей трагедии было что-то чудовищно нелепое. Не помня себя, я нес невесть что, и люди в вестибюле гостиницы стали с любопытством поглядывать в мою сторону.

Неожиданно среди них появилась одетая в глубо-

кий траур леди Эрскин. Заметив меня, она подошла и, пробормотав что-то о своем несчастном сыне, разрыдалась. Я проводил ее в номер. Там ее дожидался какой-то пожилой джентльмен. Это был местный английский врач.

Мы много говорили об Эрскине, однако я ни словом не обмолвился о мотивах его самоубийства. Было очевидно, что он ничего не сказал матери о причине, толкнувшей его на столь роковой, столь безумный поступок. Наконец леди Эрскин поднялась и сказала:

— Джордж оставил кое-что для вас. Вещь, которой он очень дорожил. Сейчас я ее принесу.

Как только она вышла, я обернулся к доктору и сказал:

— Какой ужасный удар для леди Эрскин! Поистине удивительно, как стойко она его переносит.

— О, она уже несколько месяцев знала, что это произойдет.

— Знала, что это произойдет?! — вскричал я. — Но почему же она его не остановила? Почему не послала следить за ним? Ведь он, должно быть, просто сошел с ума!

Доктор посмотрел на меня изумленным взглядом.

— Я вас не понимаю, — пробормотал он.

— Но если мать знает, что сын ее хочет покончить с собой...

— Покончить с собой! — воскликнул он. — Но бедняга Эрскин вовсе не покончил с собой. Он умер от чахотки. Он и приехал сюда, чтобы умереть. Я понял, что он обречен, как только его увидел. От одного легкого почти ничего не осталось, другое было очень серьезно поражено. За три дня до смерти он спросил меня, есть ли какая-нибудь надежда. Я не стал скрывать правды и сказал, что ему осталось жить считанные дни. Он написал несколько писем и совершенно смирился со своей участью, сохранив ясность ума до последнего мгновения.

В этот момент вошла леди Эрскин с роковым портретом Уилли Хьюза в руках.

— Умирая, Джордж просил передать вам это, — промолвила она.

Когда я брал портрет, на руку мне упала ее слеза.

Теперь картина висит у меня в библиотеке, вызывая восторги моих знающих толк в искусстве друзей. Они пришли к выводу, что это не Клуэ, а Уври⁵⁰. У меня никогда не являлось желания рассказать им подлинную историю портрета. Но временами, глядя на него, я думаю, что в теории об Уилли Хьюзе и сонетах Шекспира определенно что-то есть.

СФИНКС БЕЗ ЗАГАДКИ

Как-то днем я сидел в Café de la Paix, на бульваре, созерцал убожество и пышность парижской жизни и дивился той причудливой панораме роскоши и нищеты, которая передо мною развевалась. Вдруг я услышал, что кто-то громко произнес мое имя. Я оглянулся и увидел лорда Мёрчисона. Мы не встречались почти десять лет, — с тех пор, как покинули колледж, так что я искренно обрадовался, увидав его снова, и мы сердечно поздоровались. В Оксфорде мы были с ним друзьями. Я его очень любил, — он был такой красивый, веселый и такой благородный. Мы всегда говорили, что он был бы милейшим человеком, не будь у него страсти всегда говорить правду, но, в сущности, эта прямота его характера только усиливала наше благоговение перед ним. Теперь я нашел его значительно изменившимся. Он казался озабоченным, смущенным, словно в чем-то не уверенным. Это не могло быть от современного скептицизма, так как Мёрчисон был тори до мозга костей и так же свято верил в Пятикнижие, как и в палату лордов⁵¹. Поэтому я решил, что причина здесь — женщина, и спросил, не женат ли он.

— Я недостаточно понимаю женщин, — ответил он.

— Но, дорогой Джеральд, — сказал я, — женщины созданы для того, чтобы их любить, а не понимать.

— Я не могу любить там, где не могу доверять, — возразил он.

— Мне кажется, вы храните какую-то тайну, Джеральд! — воскликнул я. — Расскажите же мне, в чем дело.

— Пройдемся куда-нибудь, — сказал Мёрчисон, — здесь слишком много людей. Нет, только не желтую

коляску, какого угодно цвета, только не желтую. Вот — возьмите темно-зеленую.

И несколько минут спустя мы катили бульваром по направлению к Мадлен.

— Куда же мы поедем? — спросил я.

— Куда хотите. По-моему — в Restaurant des Bois; мы можем там пообедать, и вы расскажете мне про себя.

— Я сперва хотел бы узнать про вас, — сказал я. — Расскажите же вашу таинственную повесть.

Он достал из кармана небольшой сафьяновый футляр, отделанный серебром, и протянул его мне. Я раскрыл его. В нем была фотография женщины. Высокого роста, гибкая, женщина казалась особенно прекрасной благодаря большим, неопределенным глазам и распущенным волосам. Она походила на какую-то ясновидящую и была одета в дорогие меха.

— Что вы скажете об этом лице? Кажется ли оно вам искренним?

Я внимательно рассматривал его. Оно показалось мне лицом человека, хранящего какую-то тайну; хорошую или дурную — сказать я не мог. Красота этого лица была словно соткана из многих тайн, красота — внутренняя, а не телесная, мимолетная же улыбка на устах казалась слишком тонкой, чтобы быть действительно ласкающей и нежной.

— Ну, что вы скажете?

— Это — Джоконда в соболях, — ответил я. — Расскажите же, что вы о ней знаете.

— Не теперь, после обеда. — И он заговорил о другом.

Как только слуга принес кофе и папиросы, я напомнил Джеральду его обещание. Он встал, прошелся раза два по комнате, потом опустился в кресло и рассказал мне следующее:

— Однажды под вечер, часов около пяти, шел я по Бонд-стрит. Была страшная толчея экипажей и людей, так что еле можно было пробиваться вперед. Около самого тротуара стояла маленькая желтая двухместная коляска, привлекающая, не помню почему, мое внимание. Когда я с ней поровнялся, из нее выглянуло личико, которое я вам только что показал. Оно меня тотчас же обворожило. Всю ночь напролет и

весь день я не переставал о нем думать. Я бродил вверх и вниз по этой проклятой улице, заглядывал в каждый экипаж и все ждал желтую двухместную коляску. Но увидеть вновь прекрасную незнакомку мне не удалось, и в конце концов я решил, что она мне просто померещилась.

Неделю спустя я обедал у мадам де Растель. Обед был назначен на восемь часов, но в половине девятого мы все еще ждали кого-то в гостиной. Наконец слуга доложил: леди Алрой. Это и была та дама, которую я так тщетно разыскивал. Она медленно вошла в гостиную и была подобна лунному лучу в серых кружевах. К моей великой радости, мне пришлось вести ее к столу. Как только мы сели, я заметил ей, безо всякой задней мысли:

— Мне кажется, леди Алрой, я вас как-то мельком видел на Бонд-стрит.

Она вся побледнела и тихо сказала:

— Ради бога, не говорите так громко, нас могут подслушать.

Мой неудачный дебют немало смутил меня, и я отважно пустился в пространное рассуждение о французской драме. Она говорила очень мало, все тем же мягким, музыкальным голосом, и как будто все беспокоилась, не подслушивает ли кто-нибудь. Я тут же в нее влюбился, страстно, безумно, а неопределенная атмосфера загадочности, которая ее окружала, лишь сильнее разжигала мое любопытство. При прощании — она вскоре по окончании обеда ушла — я спросил у нее разрешения посетить ее. Она заколебалась на мгновенье, оглянулась, нет ли кого поблизости, и затем сказала:

— Пожалуйста, завтра в три четверти пятого.

Я попросил мадам де Растель рассказать мне о ней все, что она знает, но я добился только того, что она вдова и владеет красивым особняком в Парк-лейне. Когда же какой-то ученый болтун стал защищать диссертацию на тему о вдовах, как наиболее приспособленных, по пережитому опыту, к брачной жизни, я встал и распрощался.

На следующий день я был аккуратно в назначенный час в Парк-лейне, но мне сказали, что леди Алрой только что вышла. Расстроенный, не зная, что думать, я

направился в клуб и после долгих размышлений написал ей письмо с просьбой позволить мне попытать счастья в другой раз. Прошло дня два, и я все не получал ответа, когда вдруг пришла маленькая записка с извещением, что она будет дома в воскресенье, в четыре часа, и с таким необычайным, неожиданным постскриптумом:

«Пожалуйста, не пишите мне больше по моему домашнему адресу; при свидании объясню вам причины».

В воскресенье она меня приняла и была очаровательна, но, когда я прощался, она попросила, меня, если бы мне пришлось ей что-нибудь написать, адресовать свои письма так:

«М-с Нокс, почтовый ящик книжной торговли Уайтэкера, Грин-стрит».

— Есть причины, — сказала она, — по которым я не могу получать письма у себя дома.

В течение этого «сезона» я встречался с нею довольно часто, но никогда не покидала она этой атмосферы загадочности. Иногда приходило мне в голову, что она во власти какого-нибудь мужчины, но она казалась такой неприступной, что эту мысль нельзя было не отбросить. Да и трудно было мне прийти к какому-нибудь определенному выводу или решению, так как леди Алрой была похожа на один из тех удивительных кристаллов, которые можно видеть в музеях и которые то прозрачны, то, через мгновение, совсем мутны. Наконец я решился сделать ей предложение; я окончательно измучился, устал от этой беспрестанной таинственности, которую она требовала от всех моих посещений, и от тех двух-трех писем, которые мне довелось ей послать. Я написал ей в книжный магазин, прося принять меня в ближайший понедельник в шесть часов. Она согласилась, и я был на седьмом небе. Я был просто ослеплен ею, несмотря на всю загадочность, окружавшую ее (как я тогда думал), или именно вследствие этой загадочности (как я полагаю теперь). Впрочем, нет!.. Я любил в ней женщину, только женщину. Загадочное, таинственное раздражало меня, сводило меня с ума. Ах! Зачем случай натолкнул меня на следы!

— Так вы открыли тайну? — спросил я.

— Боюсь, что да. Но решайте сами.

Наступил понедельник. Я позавтракал у дяди и в четыре часа был на Мэрилебонской улице. Дядя, как вы знаете, живет у Риджентс-парка. Мне надо было на Пикадилли, и, чтобы сократить путь, я пошел грязнейшими какими-то переулками. Вдруг я увидел перед собой леди Алрой. Она была под густой вуалью и шла очень быстро. У последнего дома в переулке она остановилась, поднялась по ступенькам, у двери достала ключ, отперла и вошла. «Вот где тайна», — сказал я себе и осмотрел снаружи этот дом. Он походил на один из тех, в которых сдаются комнаты. На ступеньках лежал платок, оброненный ею. Я поднял его и спрятал в карман. Затем стал раздумывать: что предпринять? Я пришел к выводу, что не имею никакого права выследить ее, и отправился в клуб.

В шесть часов я был у нее. Она лежала на кушетке в капоте из серебряной парчи, застегнутом парой чудных лунных камней, которые она всегда носила. Она была пленительна.

— Я так рада, что вы пришли, — сказала она, — я целый день не выходила из дому.

Пораженный, я уставился на нее в упор, достал из кармана платок и протянул его ей.

— Вы это сегодня обронили на Кёмнор-стрит, леди Алрой, — сказал я совсем спокойно. Она посмотрела на меня в ужасе, но платка не взяла. — Что вы там делали? — спросил я.

— Какое имеете вы право меня об этом расспрашивать? — ответила она.

— Право человека, который вас любит, — ответил я. — Я сегодня пришел просить вашей руки.

Она закрыла лицо и залилась слезами.

— Вы мне должны сказать все! — настаивал я.

Она встала, посмотрела мне в лицо и сказала:

— Мне нечего сказать вам, лорд Мёрчисон.

— Вы с кем-то виделись там, вот где ваша тайна!

Она страшно побледнела и сказала:

— Я ни с кем не виделась там.

— Скажите же мне правду! — молил я.

— Я вам ее сказала!

Я был вне себя, я сходил с ума. Не помню, что я ей тогда наговорил; должно быть, что-то ужасное.

Наконец я бежал из ее дома. На следующее утро я получил от нее письмо, но вернул его нераспечатанным и в тот же день уехал в Норвегию вместе с Алленом Колвилем. Когда же, месяц спустя, я вернулся, то первое, что мне бросилось в глаза в «Утренней почте», было объявление о смерти леди Алрой. Она простудилась в театре и дней через пять умерла от воспаления легких. Я удалился из общества и ни с кем не встречался. Как безумно я ее любил! Господи, как я любил эту женщину!

— А вы были на той улице, в том доме? — спросил я.

— Как же! — ответил он. — Я отправился вскоре на Кёмнор-стрит. Я не мог не пойти туда: меня мучили разные сомнения. Я постучался, какая-то очень почтенная женщина отперла мне. Я спросил, не сдаются ли у нее комнаты. «Да, — ответила она, — вот сдаются гостиные. Уже три месяца, как дама, снимавшая их, не является». — «Не она ли это?» — спросил я и показал ей карточку леди Алрой. «Она самая. Когда же она придет?» — «Дама эта уже умерла», — ответил я. «Не может быть! — вскричала старуха. — Она была лучшей моей квартиранткой. Она платила целых три гинеи в неделю только за то, чтобы изредка приходиться и посидеть в комнате». — «Она здесь встречалась с кем-нибудь?» — спросил я. Но старуха стала меня уверять, что леди всегда бывала одна и никто не приходил к ней. «Но что же она тут делала?» — воскликнул я. «Просто сидела в комнате, читала книжки, иногда пила здесь чай», — ответила женщина. Я не знал, что на это ответить, дал старухе золотой и ушел. А теперь что вы об этом скажете? Думаете ли вы, что старуха сказала правду?

— Я в этом уверен.

— Так зачем же леди Алрой нужно было ходить туда?

— Дорогой Джеральд, — ответил я. — Леди Алрой была самой заурядной женщиной с манией к таинственному. Она снимала комнату, чтобы доставлять себе удовольствие ходить туда под густой вуалью и выставить себя героиней какого-то романа. У ней была страсть к загадочному, но сама она была не более как Сфинкс без загадки.

— Вы так думаете?

— Я в этом твердо убежден.

Лорд Мёрчисон снова достал сафьяновый футляр, раскрыл его и стал пристально разглядывать портрет.

— Хотел бы я знать! — сказал он наконец.

НАТУРЩИК-МИЛЛИОНЕР

Дань восхищения

Не будучи богатым, совершенно ни к чему быть милым человеком. Романы — привилегия богатых, но никак не профессия безработных. Бедняки должны быть практичны и прозаичны. Лучше иметь постоянный годовой доход, чем быть очаровательным юношей.

Вот великие истины современной жизни, которые никак не мог постичь Хьюи Эрскин. Бедный Хьюи!

Впрочем, надо сознаться, он и с духовной стороны решительно ничем не выделялся. За всю свою жизнь ничего остроумного или просто злого он не сказал. Но зато его каштановые локоны, его правильный профиль и серые глаза делали его прямо красавцем.

Он пользовался таким же успехом среди мужчин, как и среди женщин, и обладал всевозможными талантами, кроме таланта зарабатывать деньги.

Отец завещал ему свою кавалерийскую шпагу и «Историю похода в Испанию» в пятнадцати томах. Хьюи повесил первую над зеркалом, а вторую поставил на полку рядом с «Путеводителем» Реффа и «Vai-ly's Magazine», и сам стал жить на двести фунтов в год, которые ему отпускала старая тетка.

Он перепробовал все. Шесть месяцев он играл на бирже, но куда было ему, легкой бабочке, тягаться с быками и медведями⁵². Приблизительно столько же времени он торговал чаем, но и это скоро ему надоело. Затем он попробовал продавать сухой херес. Но и это у него не пошло: херес оказался слишком сухим. Наконец он сделался просто ничем — милым, пустым молодым человеком, с прекрасным профилем, но без определенных занятий.

Но что еще ухудшало положение, — он был влюблен. Девушка, которую он любил, была Лаура Мертон, дочь отставного полковника, безвозвратно утративше-

го в Индии правильное пищеварение и хорошее настроение. Лаура обожала Хьюи, а он был готов целовать шнурки ее туфель. Они были бы самой красивой парой во всем Лондоне, но не имели за душой ни гроша. Полковник, хотя и очень любил Хьюи, о помолвке и слышать не хотел.

— Приходите ко мне, мой милый, когда у вас будет собственных десять тысяч фунтов, и мы тогда посмотрим, — говорил он всегда.

В такие дни Хьюи выглядел очень мрачно и должен был искать утешения у Лауры.

Однажды утром, направляясь к Холланд-парку, где жили Мертоны, он зашел проведать своего большого приятеля Аллена Тревора. Тревор был художник. Правда, в наши дни почти никто не избегает этой участи. Но Тревор был художник в настоящем смысле этого слова, а таких не так уж и много. Он был странный, грубоватый малый, лицо у него было в веснушках, борода всклокоченная, рыжая. Но стоило ему взять кисть в руки, — и он становился настоящим мастером, и картины его охотно раскупались. Хьюи ему очень нравился; сначала, правда, за очаровательную внешность. «Единственные люди, с которыми должен водить знакомство художник, — всегда говорил он, — это люди красивые и глупые; смотреть на них — художественное наслаждение, и с ними беседовать — отдых для ума. Лишь денди и очаровательные женщины правят миром, по крайней мере, должны править миром».

Но, когда он ближе познакомился с Хьюи, он полюбил его не меньше за его живой, веселый нрав и за благородную, бесшабашную душу, и открыл ему неограниченный доступ к себе в мастерскую.

Когда Хьюи вошел, Тревор накладывал последние мазки на прекрасный, во весь рост, портрет нищего. Сам нищий стоял на возвышении в углу мастерской. Это был сгорбленный старик, самого жалкого вида, и как сморщенный пергамент было его лицо. На плечи его был накинут грубый коричневый плащ, весь в дырках и лохмотьях; сапоги его были заплатаны и стоптаны; одной рукой он опирался на суковатую палку, а другой протягивал истрепанную шляпу за милостыней.

— Что за поразительный натурщик! — шепнул Хьюи, здороваясь со своим приятелем.

— Поразительный натурщик?! — крикнул Тревор во весь голос. — Еще бы! Таких нищих не каждый день встретишь. Une trouvaille, mon cher! * Живой Веласкес! Господи! Какой офорт сделал бы с него Рембрандт!

— Бедняга, — сказал Хьюи, — какой у него несчастный вид! Но, я думаю, для вас, художников, лицо его — достояние его?

— Конечно! — ответил Тревор. — Не станете же вы требовать от нищего, чтобы он выглядел счастливым, не правда ли?

— Сколько получает натурщик за позирование? — спросил Хьюи, усаживаясь поудобнее на диване.

— Шиллинг в час.

— А сколько вы получаете за ваши картины, Аллен?

— О! За эту я получу две тысячи!

— Фунтов?

— Нет, гиней. Художникам, поэтам и докторам всегда платят гинейями.

— Ну, тогда, мне кажется, натурщики должны получать какой-нибудь определенный процент с гонорара художника, — воскликнул, смеясь, Хьюи, — они работают не меньше вашего!

— Вздор, вздор! Вы только подумайте, сколько требует труда одно накладывание красок и торчание около мольберта целыми днями! Вам, конечно, Хьюи, легко говорить, но, уверяю вас, бывают минуты, когда искусство почти достигает достоинства физического труда. Но вы не должны болтать; я очень занят. Закурите папиросу и сидите смирно.

Вскоре вошел слуга и доложил Тревору, что пришел рамочник и желает с ним поговорить.

— Не удирайте, Хьюи, — сказал Тревор, выходя из комнаты, — я сейчас же вернусь.

Старик нищий воспользовался уходом Тревора и на мгновение присел отдохнуть на деревянную скамью, стоявшую сзади него. Он выглядел таким забитым и несчастным, что Хьюи не мог не почувствовать к нему

* Просто находка, мой милый! (фр.)

жалости и стал искать у себя в карманах денег. Он нашел лишь золотой и несколько медяков. «Бедный старикашка, — подумал он про себя, — он нуждается в этом золотом больше, чем я, но мне придется две недели обходиться без извозчиков». И он встал и сунул монету в руку нищему.

Старик вздрогнул, и еле заметная улыбка мелькнула на его поблекших губах.

— Благодарю вас, сэр, — сказал он, — благодарю.

Тут вошел Тревор, и Хьюи простился, слегка краснея за свой поступок. Он провел день с Лаурой, получил премилую головнойку за свою расточительность и должен был *пешком* вернуться домой.

В тот же вечер, около одиннадцати часов, он забрел в Palette Club и застал в курительной Тревора, одиноко пьющего рейнвейн с сельтерской водой.

— Ну, что, Аллен, вы благополучно закончили свою картину? — спросил он, закуривая папиросу.

— Закончил и вставил в раму, мой милый! — ответил Тревор. — Кстати, поздравляю вас с победой. Этот старый натурщик совсем очарован вами. Мне пришлось ему все подробно о вас рассказать, — кто вы такой, где живете, какой у вас доход, какие виды на будущее.

— Дорогой Аллен! — воскликнул Хьюи. — Вероятно, он теперь поджидает меня у моего дома. Ну, конечно, вы только шутите. Бедный старикашка! Как мне хотелось бы что-нибудь сделать для него! Мне кажется ужасным, что люди могут быть такими несчастными. У меня дома целая куча старого платья; как вы думаете, не подойдет ли ему что-нибудь? А то его лохмотья совсем разлезаются.

— Но он в них выглядит великолепно, — сказал Тревор. — Я ни за что не согласился бы писать с него портрет во фраке. То, что для вас кажется нищетой, то для меня — лишь живописно. Но все же я ему передам ваше предложение.

— Аллен, — сказал Хьюи серьезным тоном, — вы, художники, — бессердечные люди.

— Сердце художника — это его голова, — ответил Тревор. — Да и, кроме того, наше дело — реализовать мир таким, каким мы его видим, а не преобразовать его в такой, каким мы его знаем. А *счасин*

son métier.* А теперь расскажите мне, как поживает Лаура. Старый натурщик был прямо-таки заинтересован ею.

— Неужели вы хотите сказать, что вы ему и о ней рассказали? — спросил Хьюи.

— Конечно, рассказал. Он знает и об упрямом полковнике, и о прекрасной Лауре, и о десяти тысячах фунтов.

— Как! Вы посвятили этого старого нищего во все мои частные дела? — воскликнул Хьюи, начиная краснеть и сердиться.

— Мой милый, — сказал Тревор, улыбаясь, — этот старый нищий, как вы его назвали, один из самых богатых в Европе людей. Он смело мог бы завтра скупить весь Лондон. У него имеется по банкирской конторе в каждой столице мира, он ест на золоте и может, когда угодно, помешать России объявить войну.

— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул Хьюи.

— Что я хочу сказать? — ответил Тревор. — Да то, что старик, которого вы видели сегодня у меня в мастерской, не кто иной, как барон Хаусберг. Он — мой хороший приятель, скупает все мои картины... Месяц тому назад он заказал мне свой портрет в облике нищего. *Que voulez-Vous? La fantaisie d'un millionnaire!*** И я должен признаться, он великолепно выглядел в своих лохмотьях, или, вернее, в моих лохмотьях, так как этот костюм был куплен мною в Испании.

— Барон Хаусберг! — воскликнул Хьюи. — Боже мой! А я ему дал золотой!

И он опустил в кресло с видом величайшего смущения.

— Вы дали ему золотой? — И Тревор разразился громким хохотом. — Ну, милый мой, ваших денег вы больше не увидите. *Son affaire c'est l'argent des autres****.

— Мне кажется, вы могли, по крайней мере, меня предупредить, Аллен, — сказал Хьюи, насупившись, — и не дать мне разыграть из себя дурака.

* Каждому свое (*фр.*).

** Ну что вы хотите? Причуды миллионера! (*фр.*)

*** Деньги других — его профессия (*фр.*).

— Во-первых, Хьюи, — ответил Тревор, — мне никогда не приходило в голову, что вы раздаете так безрассудно направо и налево милостыню. Я понимаю, что вы могли бы поцеловать хорошенькую натурщицу, но давать золотой безобразному старику, — ей-богу, я этого не понимаю! Да и к тому же я, собственно, сегодня никого не принимаю, и когда вы вошли, я не знал, пожелает ли барон Хаусберг, чтобы я открыл его имя. Вы понимаете, он не был в сюртуке.

— Каким болваном он меня, наверное, считает! — сказал Хьюи.

— Ничего подобного, он был в самом веселом настроении после того, как вы ушли; он, не переставая, хихикал про себя и потирал свои старческие, сморщенные руки. Я не мог понять, почему он так заинтересовался вами, но теперь мне все ясно. Он пустит ваш фунт в оборот, будет вам выплачивать каждые шесть месяцев проценты, и у него будет прекрасный анекдот для приятелей.

— Как мне не везет! — проворчал Хьюи. — Мне ничего не остается делать, как пойти домой спать; и, дорогой Аллен, никому об этом не рассказывайте, прошу вас. А то мне нельзя будет показаться в парке.

— Вздор! Это только делает честь вашей отзывчивой натуре, Хьюи. Да не убегайте так рано, выкурите еще папиросу и рассказывайте, сколько хотите, о Лауре.

Но Хьюи не пожелал оставаться и пошел домой в отвратительном настроении, оставив хохочущего Трево одного.

На следующее утро, во время завтрака, ему подали карточку: «*Monsieur Gustave Naudin, de la part de M. le Baron Hausberg*».*

«Очевидно, он явился потребовать у меня извинений», — подумал про себя Хьюи и велел слуге принять посетителя.

В комнату вошел пожилой седоватый джентльмен в золотых очках и заговорил с легким французским акцентом:

— Имею ли я честь видеть мосье Эрскина?

Хьюи поклонился.

— Я пришел от барона Хаусберга, — продолжал он. — Барон...

* Мосье Гюстав Ноден по поручению барона Хаусберга (фр.).

— Прошу вас, сэр, передать барону мои искренние извинения, — пробормотал Хьюи.

— Барон, — сказал старый джентльмен с улыбкой, — поручил мне вручить вам это письмо! — И он протянул запечатанный конверт.

На конверте была надпись: «Свадебный подарок Хьюи Эрскину и Лауре Мертон от старого нищего», а внутри находился чек на десять тысяч фунтов.

На свадьбе Аллен Тревор был шафером, а барон произнес тост за свадебным завтраком.

— Натурщики-богачи, — заметил Аллен, — довольно редки в наши дни, но, ей-богу, богатые натуры — еще реже!



Сказки

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ

На высокой колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный рубин сиял на рукоятке его шпаги.

Все восхищались Принцем.

— Он прекрасен, как флюгер-петух! — изрек Городской Советник, жаждавший прослыть за тонкого ценителя искусств. — Но, конечно, флюгер куда полезнее! — прибавил он тотчас же, опасаясь, что его обвинят в непрактичности; а уж в этом он не был повинен.

— Постарайся быть похожим на Счастливого Принца! — убеждала разумная мать своего мальчугана, который все плакал, чтобы ему дали луну. — Счастливый Принц никогда не капризничает!

— Я рад, что на свете нашелся хоть один счастливец! — пробормотал гонимый судьбой горемыка, взирая на эту прекрасную статую.

— Ах, он совсем как ангел! — восхищались Приютские Дети, толпою выходя из собора в ярко-пунцовых пелеринках и белоснежных передниках.

— Откуда вы это знаете? — возразил Учитель Математики. — Ведь ангелов вы никогда не видали.

— О, мы их видали во сне! — отозвались Приютские Дети, и Учитель Математики нахмурился и сурово взглянул на них: ему не нравилось, что дети видят сны.

Как-то ночью пролетала тем городом Ласточка. Ее подруги вот уже седьмая неделя как улетели в Египет, а она отстала от них, потому что была влюблена в гибкий красивый Тростник. Еще ранней весной она увидела его, гоняясь за желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная его стройным станом.

— Хочешь, я полюблю тебя? — спросила Ласточка с первого слова, так как любила во всем прямо; и Тростник поклонился ей в ответ.

Тогда Ласточка стала кружиться над ним, изредка касаясь воды и оставляя за собой на воде серебристую рябь. Так она выражала любовь. И так продолжалось все лето.

— Что за нелепая связь! — щебетали остальные ласточки. — Ведь у Тростника ни гроша за душой и целая куча родственников.

Действительно, вся эта речка густо заросла тростниками. Потом наступила осень, и ласточки улетели.

Когда они улетели, Ласточка почувствовала себя сиротой, и эта привязанность к Тростнику показалась ей очень тягостной.

— Боже, ведь он как немой, ни слова от него не добьешься, — говорила с упреком Ласточка, — и я боюсь, что он очень ветрен: заигрывает с каждым ветерком.

И правда, чуть только ветер, Тростник так и гнется, так и кланяется.

— Пускай он домосед, но ведь я-то люблю путешествовать, и моему мужу не мешало бы тоже любить путешествия.

— Ну что же, полетишь ты со мною? — наконец спросила она, но Тростник только головой покачал: он был так привязан к дому!

— Ах, ты играл моею любовью! — крикнула Ласточка. — Прощай же, я лечу к пирамидам!

И она улетела.

Целый день летела она и к ночи прибыла в город.

«Где бы мне здесь остановиться? — задумалась Ласточка. — Надеюсь, город уже приготовился достойно встретить меня?»

Тут она увидела статую на высокой колонне.

— Вот и отлично. Я здесь и устроюсь: прекрасное место и много свежего воздуха.

И она приютилась у ног Счастливого Принца.

— У меня золотая спальня! — разнеженно сказала она, озираясь.

И она уже расположилась ко сну и спрятала головку под крыло, как вдруг на нее упала тяжелая капля.

— Как странно! — удивилась она. — На небе ни облачка. Звезды такие чистые, ясные, — откуда же взять-

ся дождю? Климат на севере Европы просто ужасен. Мой Тростник любил дождь, но ведь он такой эгоист.

Тут упала другая капля.

— Какая же польза от статуи, если она даже от дождя не способна укрыть. Поищу-ка себе пристанище где-нибудь у трубы на крыше. — И Ласточка решила улететь.

Но не успела она расправить крылья, как упала третья капля.

Ласточка посмотрела вверх, и что же увидела она!

Глаза Счастливого Принца были наполнены слезами. Слезы катились по его золоченым щекам. И так прекрасно было его лицо в лунном сиянии, что Ласточка преисполнилась жалостью.

— Кто ты такой? — спросила она.

— Я Счастливый Принц.

— Но зачем же ты плачешь? Ты меня промочил насквозь.

— Когда я был жив и у меня было живое человеческое сердце, я не знал, что такое слезы, — ответила статуя. — Я жил во дворце Sans Souci*, куда скорби вход воспрещен. Днем я забавлялся в саду с друзьями, а вечером я танцевал в Большом Зале. Сад был окружен высокой стеной, и я ни разу не догадался спросить, что же происходит за ней. Вокруг меня все было так прекрасно! «Счастливый Принц» — величали меня приближенные, и вправду, я был счастлив, если только в наслаждениях счастье. Так я жил, так и умер. И вот теперь, когда я уже неживой, меня поставили здесь, наверху, так высоко, что мне видны все скорби и вся нищета моей столицы. И хотя сердце теперь у меня оловянное, я не могу удержаться от слез.

«А, так ты не весь золотой!» — подумала Ласточка, но, конечно, не вслух, потому что была достаточно вежлива.

— Там, далеко, в узкой улочке, я вижу убогий дом, — продолжала статуя тихим мелодическим голосом. — Одно окошко открыто, и мне видна женщина, сидящая у стола. Лицо у нее изможденное, руки огрубевшие и красные, они сплошь исколоты иглой, потому что она швея. Она вышивает страстоцветы на шелко-

* Беззаботности (фр.).

вом платье прекраснейшей из фрейлин королевы для ближайшего придворного бала. А в постельке, в самом углу, ее больное дитя. Ее мальчик лежит в лихорадке и просит, чтобы ему дали апельсинов. Но у матери нет ничего, только речная вода. И вот этот мальчик плачет. Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Не снесешь ли ты ей рубин из моей шпаги? Ноги мои прикованы к пьедесталу, и я не в силах сдвинуться с места.

— Меня ждут не дождутся в Египте, — ответила Ласточка. — Мои подруги кружатся над Нилом и беседуют с пышными лотосами. Скоро они полетят на ночлег в усыпальницу Великого Царя. Там поживает он сам, в своем роскошном гробу. Он закутан в желтые ткани и набальзамирован благовонными травами. Шея у него обвита бледно-зеленой нефритовой цепью, а руки его как осенние листья.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка. Останься здесь на одну только ночь и будь моей посланницей. Мальчику так хочется пить, а мать его так печальна.

— Не очень-то мне по сердцу мальчики. Прошлым летом, когда я жила над рекою, дети мельника, злые мальчишки, всегда швыряли в меня камнями. Конечно, где им попасть! Мы, ласточки, слишком увертливы. К тому же мои предки славились особой ловкостью, но все-таки это было очень непочтительно.

Однако Счастливый Принц был так опечален, что Ласточка пожалела его.

— Здесь очень холодно, — сказала она, — но ничего, эту ночь я останусь с тобой и выполню твое поручение.

— Благодарю тебя, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц.

И вот Ласточка выклевала большой рубин из шпаги Счастливого Принца и полетела с этим рубином над городскими крышами. Она пролетела над колокольной собора, где стоят беломраморные изваяния ангелов. Она пролетела над королевским дворцом и слышала звуки музыки. На балкон вышла красивая девушка, и с нею ее возлюбленный.

— Какое чудо эти звезды, — сказал ей возлюбленный, — и как чудесна власть любви!

— Надеюсь, мое платье поспеет к придворному балу, — ответила она. — Я велела на нем вышить страстоцветы, но швеи такие лентяйки.

Ласточка пролетела над рекою и увидела огни на корабельных мачтах. Она пролетела над Гетто и увидела старых евреев, заключавших между собою сделки и взвешивавших монеты на медных весах. И наконец она прилетела к убогому дому и заглянула туда. Мальчик метался в жару, а мать его крепко заснула — она так была утомлена. Ласточка пробралась в каморку и положила рубин на стол, рядом с наперстком швеи. Потом она стала беззвучно кружиться над мальчиком, навевая на его лицо прохладу.

— Как мне стало хорошо! — сказал ребенок. — Значит, я скоро поправлюсь. — И он впал в приятную дремоту.

А Ласточка возвратилась к Счастливому Принцу и рассказала ему обо всем.

— И странно, — заключила она свой рассказ, — хотя на дворе стужа, мне теперь несколько не холодно.

— Это потому, что ты сделала доброе дело! — объяснил ей Счастливый Принц.

И Ласточка задумалась над этим, но тотчас же заснула. Стоило ей задуматься, и она засыпала.

На рассвете она полетела на речку купаться.

— Странное, необъяснимое явление! — сказал Профессор Орнитологии, проходивший в ту пору по мосту. — Ласточка среди зимы!

И он напечатал об этом пространное письмо в местной газете. Все цитировали это письмо; оно было полно таких слов, которых никто не понимал.

«Сегодня же ночью — в Египет!» — подумала Ласточка, и сразу ей стало весело.

Она посетила все памятники и долго сидела на шпице соборной колокольни. Куда бы она ни явилась, воробьи принимались чирикать: «Что за чужак! Что за чужак!» — и звали ее знатной иностранкой, что было для нее чрезвычайно лестно.

Когда же взошла луна. Ласточка вернулась к Счастливому Принцу.

— Нет ли у тебя поручений в Египет? — громко спросила она. — Я сию минуту улетаю.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Останься на одну только ночь.

— Меня ожидают в Египте, — ответила Ласточка. —

Завтра подруги мои полетят на вторые пороги Нила. Там в камышах лежат гиппопотамы, и на великом гранитном престоле восседает там бог Мемнон². Всю ночь он глядит на звезды, а когда засияет денница, он приветствует ее радостным кликом. В полдень желтые львы сходят к реке на водопой. Глаза их подобны зеленым бериллам, а рев их громче, чем рев водопада.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — сказал ей Счастливый Принц. — Там, далеко, за городом я вижу в мансарде юношу. Он склонился над столом, над бумагами. Перед ним в стакане увядшие фиалки. Его губы алы, как гранаты, его каштановые волосы вьются, а глаза его большие и мечтательные. Он торопится закончить свою пьесу для Директора Театра, но он слишком озяб, огонь догорел у него в очаге, и от голода он вот-вот лишится чувств.

— Хорошо, я останусь с тобой до утра! — сказала Ласточка Принцу. У нее было предоброе сердце. — Где же у тебя другой рубин?

— Нет у меня больше рубинов, уввы! — молвил Счастливый Принц. — Мои глаза — это все, что осталось. Они сделаны из редкостных сапфиров и тысячу лет назад были привезены из Индии. Выключь один из них и отнеси тому человеку. Он продаст его ювелиру и купит себе еды и дров и закончит свою пьесу.

— Милый Принц, я не могу сделать это! — И Ласточка стала плакать.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! Исполни волю мою!

И выклевала Ласточка у Счастливого Принца глаз и полетела к жилищу поэта. Ей было нетрудно проникнуть туда, ибо крыша была дырявая. Сквозь эту крышу и пробралась Ласточка в комнату. Юноша сидел, закрыв лицо руками, и не слышал трепетания крыльев. Только потом он заметил сапфир в кучке увядших фиалок.

— Однако меня начинают ценить! — радостно воскликнул он. — Это от какого-нибудь знатного поклонника. Теперь-то я могу закончить свою пьесу. — И счастье было на его лице.

А утром Ласточка отправилась в гавань. Она села на мачту большого корабля и стала оттуда смотреть, как матросы вытаскивают на веревках из трюма какие-то ящики.

— Дружнее! Дружнее! — кричали они, когда ящик поднимался наверх.

— Я улетаю в Египет! — сообщила им Ласточка, но на нее никто не обратил внимания.

Только вечером, когда взошла луна, Ласточка возвратилась к Принцу.

— Я пришла попрощаться с тобой! — издали закричала она.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка! — взмолился Счастливый Принц. — Не останешься ли ты до утра?

— Теперь зима, — ответила Ласточка, — и скоро здесь пойдет холодный снег. А в Египте солнце согревает зеленые листья пальм и крокодилы вытянулись в тине и лениво глядят по сторонам. Мои подруги выют уже гнезда в Баальбекском храме³, а белые и розовые голуби смотрят на них и воркуют. Милый Принц, я не могу остаться, но я никогда не забуду тебя, и, когда наступит весна, я принесу тебе из Египта два драгоценных камня вместо тех, которые ты отдал. Краснее, чем красная роза, будет рубин у тебя, и сапфир голубее морской волны.

— Внизу, на площади, — сказал Счастливый Принц, — стоит маленькая девочка, которая торгует спичками. Она уронила их в канаву, они испортились, и отец ее прибьет, если она возвратится без денег. Она плачет. У нее ни башмаков, ни чулок, и голова у нее непокрыта. Выключи другой мой глаз, отдай его девочке, и отец не побьет ее.

— Я могу остаться с тобою еще на одну ночь, — ответила Ласточка, — но выклевывать твой глаз не могу. Ведь тогда ты будешь совсем слепой.

— Ласточка, Ласточка, маленькая Ласточка, — молвил Счастливый Принц, — исполни волю мою!

И она выклевала у Принца второй глаз, и подлетела к девочке, и уронила ей в руку чудесный сапфир.

— Какое красивое стеклышко! — воскликнула маленькая девочка и, смеясь, побежала домой.

Ласточка возвратилась к Принцу.

— Теперь, когда ты слепой, я останусь с тобой навеки.

— Нет, моя милая Ласточка, — ответил несчастный Принц, — ты должна отправиться в Египет.

— Я останусь с тобой навеки, — сказала Ласточка и уснула у его ног.

С утра целый день просидела она у него на плече и рассказывала ему о том, что видела в далеких краях: о розовых ибисах, которые длинной фалангой стоят на отмелях Нила и клювами вылавливают золотых рыбок; о Сфинксе, старом как мир, живущем в пустыне и знающем все⁴; о купцах, которые медленно шествуют рядом со своими верблюдами и перебирают янтарные четки; о Царе Лунных гор, который черен, как черное дерево, и поклоняется большому осколку хрусталя; о великом Зеленом Змее, спящем в пальмовом дереве, где двадцать жрецов кормят его медовыми пряниками; о пигмеях, что плавают по озеру на плоских широких листьях и вечно сражаются с бабочками.

— Милая Ласточка, — отозвался Счастливый Принц, — все, о чем ты говоришь, удивительно. Но самое удивительное в мире — это людские страдания. Где ты найдешь им разгадку? Облети же мой город, милая Ласточка, и расскажи мне обо всем, что увидишь.

И Ласточка пролетела над всем огромным городом, и она видела, как в пышных палатах ликуют богатые, а бедные сидят у их порогов. В темных закоулках побывала она и видела бледные лица истощенных детей, печально глядящих на черную улицу. Под мостом два маленьких мальчика лежали обнявшись, стараясь согреть друг друга.

— Нам хочется есть! — повторяли они.

— Здесь не полагается валяться! — кричал Полицейский.

И снова они вышли под дождь.

Ласточка возвратилась к Принцу и поведала все, что видела.

— Я весь позолоченный, — сказал Счастливый Принц. — Сними с меня золото, листок за листком, и раздай его бедным. Люди думают, что в золоте счастье.

Листок за листком Ласточка снимала со статуи золота, покуда Счастливый Принц не сделался тусклым и серым. Листок за листком раздавала она его чистое золото бедным, и детские щеки розовели, и дети начинали смеяться и затевали на улицах игры.

— А у нас есть хлеб! — кричали они.

Потом выпал снег, а за снегом пришел и мороз.

Улицы засеребрились и стали сверкать; сосульки, как хрустальные кинжалы, повисли на крышах домов; все закуталось в шубы, и мальчики в красных шапочках катались по льду на коньках.

Ласточка, бедная, зябла и мерзла, но не хотела покинуть Принца, так как очень любила его. Она украдкой подбирала у булочной крошки и хлопала крыльями, чтобы согреться. Но наконец она поняла, что настало время умирать. Только и хватило у нее силы — в последний раз взобраться Принцу на плечо.

— Прощай, милый Принц! — прошептала она. — Ты позволишь мне поцеловать твою руку?

— Я рад, что ты наконец улетаешь в Египет, — ответил Счастливый Принц. — Ты слишком долго здесь оставалась; но ты должна поцеловать меня в губы, потому что я люблю тебя.

— Не в Египет я улетаю, — ответила Ласточка. — Я улетаю в Обитель Смерти. Смерть и Сон не родные ли братья?

И она поцеловала Счастливого Принца в уста и упала мертвая к его ногам.

И в ту же минуту странный треск раздался у статуи внутри, словно что-то разорвалось. Это расколосось оловянное сердце. Воистину был жестокий мороз.

Рано утром внизу на бульваре гулял Мэр Города, а с ним Городские Советники. Проходя мимо колонны Принца, Мэр посмотрел на статую.

— Боже! Какой стал оборвыш этот Счастливый Принц! — воскликнул Мэр.

— Именно, именно оборвыш! — подхватили Городские Советники, которые всегда во всем соглашались с Мэром.

И они приблизились к статуе, чтобы осмотреть ее.

— Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла, — продолжал Мэр. — Он хуже любого нищего!

— Именно хуже нищего! — подтвердили Городские Советники.

— А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление: птицам здесь умирать воспрещается.

И Секретарь городского совета тотчас же занес это предложение в книгу.

И свергли статую Счастливого Принца.

— В нем уже нет красоты, а стало быть, нет и пользы! — говорил в Университете Профессор Эстетики.

И расплавили статую в горне, и созвал Мэр городской совет, и решили, что делать с металлом.

— Сделаем новую статую! — предложил Мэр. — И эта новая статуя пусть изображает меня!

— Меня! — сказал каждый советник, и все они стали ссориться.

Недавно мне довелось слышать о них: они и сейчас еще ссорятся.

— Удивительно! — сказал Главный Литейщик. — Это разбитое оловянное сердце не хочет расплавляться в печи. Мы должны выбросить его прочь.

И швырнули его в кучу сора, где лежала мертвая Ласточка.

И повелел Господь ангелу своему:

— Принеси мне самое ценное, что ты найдешь в этом городе.

И принес ему ангел оловянное сердце и мертвую птицу.

— Правильно ты выбрал, — сказал Господь. — Ибо в моих райских садах эта малая пташка будет петь во веки веков, а в моем сияющем чертоге Счастливый Принц будет воздавать мне хвалу.

СОЛОВЕЙ И РОЗА

— Она сказала, что будет танцевать со мной, если я принесу ей красных роз, — воскликнул молодой Студент, — но в моем саду нет ни одной красной розы!

Его услышал Соловей, в своем гнезде на Дубе, и, удивленный, выглянул из листвы.

— Ни единой красной розы во всем моем саду! — продолжал сетовать Студент, и его прекрасные глаза наполнились слезами. — Ах, от каких пустяков зависит порою счастье! Я прочел все, что написали мудрые люди, я постиг все тайны философии, — а жизнь моя разбита из-за того только, что у меня нет красной розы.

— Вот он наконец-то, настоящий влюбленный, — сказал себе Соловей. — Ночь за ночью я пел о нем, хотя и не знал его, ночь за ночью я рассказывал о нем

звездам, и наконец я увидел его. Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его лицо бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело.

— Завтра вечером принц дает бал, — шептал молодой Студент, — и моя милая приглашена. Если я принесу ей красную розу, она будет танцевать со мной до рассвета. Если я принесу ей красную розу, я буду держать ее в своих объятиях, она склонит голову ко мне на плечо, и моя рука будет сжимать ее руку. Но в моем саду нет красной розы, и мне придется сидеть в одиночестве, а она пройдет мимо. Она даже не взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя.

— Это настоящий влюбленный, — сказал Соловей. — То, о чем я лишь пел, он переживает на деле; что для меня радость, то для него страдание. Воистину любовь — это чудо. Она драгоценнее изумруда и дороже прекраснейшего опала. Жемчуга и гранаты не могут купить ее, и она не выставляется на рынке. Ее не при торгуешь в лавке и не выменяешь на золото.

— На хорах будут сидеть музыканты, — продолжал молодой Студент. — Они будут играть на арфах и скрипках, и моя милая будет танцевать под звуки струн. Она будет носиться по зале с такой легкостью, что ноги ее не коснутся паркета, и вокруг нее будут толпиться придворные в расшитых одеждах. Но со мной она не захочет танцевать, потому что у меня нет для нее красной розы.

И юноша упал ничком на траву, закрыл лицо руками и заплакал.

— О чем он плачет? — спросила маленькая зеленая Ящерица, которая проползала мимо него, помахивая хвостиком.

— Да, в самом деле, о чем? — подхватила Бабочка, порхавшая в погоне за солнечным лучом.

— О чем? — спросила Маргаритка нежным шепотом свою соседку.

— Он плачет о красной розе, — ответил Соловей.

— О красной розе! — воскликнули все. — Ах, как смешно!

А маленькая Ящерица, несколько склонная к цинизму, беззастенчиво расхохоталась.

Один только Соловей понимал страдания Студента, он тихо сидел на Дубе и думал о таинстве любви.

Но вот он расправил свои темные крылышки и взвился в воздух. Он пролетел над рощей, как тень, и, как тень, пронесся над садом.

Посреди зеленой лужайки стоял пышный Розовый Куст. Соловей увидел его, подлетел к нему и спустился на одну из его веток.

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы белые, — ответил он, — они белы, как морская пена, они белее снега на горных вершинах. Поди к моему брату, что растет возле старых солнечных часов, — может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос возле старых солнечных часов.

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы желтые, — ответил он, — они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном престоле⁵, они желтее златоцвета на нескошенном лугу. Поди к моему брату, что растет под окном у Студента, может быть, он даст тебе то, чего ты просишь.

И Соловей полетел к Розовому Кусту, что рос под окном у Студента.

— Дай мне красную розу, — воскликнул он, — и я спою тебе свою лучшую песню!

Но Розовый Куст покачал головой.

— Мои розы красные, — ответил он, — они красны, как лапки голубя, они краснее кораллов, что колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. Но кровь в моих жилах застыла от зимней стужи, мороз побил мои почки, буря поломала мои ветки, и в этом году у меня совсем не будет роз.

— Одну только красную розу — вот все, чего я прошу! — воскликнул Соловей. — Одну-единственную красную розу! Знаешь ты способ получить ее?

— Знаю, — ответил Розовый Куст, — но он так страшен, что у меня не хватает духу открыть его тебе.

— Открой мне его, — попросил Соловей, — я не боюсь.

— Если ты хочешь получить красную розу, — молвил Розовый Куст, — ты должен сам создать ее из звуков песни при лунном сиянии, и ты должен обогреть ее кровью сердца. Ты должен петь мне, прижавшись грудью к моему шипу. Всю ночь ты должен мне петь, и мой шип пронзит твое сердце, и твоя живая кровь перельется в мои жилы и станет моею кровью.

— Смерть — дорогая цена за красную розу! — воскликнул Соловей. — Жизнь мила каждому! Как хорошо, сидя в лесу, любоваться солнцем в золотой колеснице и луною в колеснице из жемчуга. Сладко благоухание боярышника, милы синие колокольчики в долине и вереск, цветущий на холмах. Но Любовь дороже Жизни, и сердце какой-то пташки — ничто в сравнении с человеческим сердцем!

И, взмахнув своими темными крылышками. Соловей взвился в воздух. Он пронесся над садом, как тень, и, как тень, пролетел над рощей.

А Студент все еще лежал в траве, где его оставил Соловей, и слезы еще не высохли в его прекрасных глазах.

— Радуйся! — крикнул ему Соловей. — Радуйся, будет у тебя красная роза. Я создам ее из звуков моей песни при лунном сиянии и обогрью ее горячей кровью своего сердца. В награду я прошу у тебя одного: будь верен своей любви, ибо, как ни мудра Философия, в Любви больше Мудрости, чем в Философии, — и как ни могущественна Власть, Любовь сильнее любой Власти. У нее крылья цвета пламени, и пламенем окрашено тело ее. Уста ее сладки, как мед, а дыхание подобно ладану.

Студент привстал на локтях и слушал, но он не понял того, что говорил ему Соловей, ибо он знал только то, что написано в книгах.

А Дуб понял и опечалился, потому что очень любил эту малую пташку, которая свила себе гнездышко в его ветвях.

— Спой мне в последний раз твою песню, — прошептал он. — Я буду сильно тосковать, когда тебя не станет.

И Соловей стал петь Дубу, и пение его напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина.

Когда Соловей кончил петь, Студент поднялся с травы, вынул из кармана карандаш и записную книжку и сказал себе, направляясь домой из рощи:

— Да, он мастер формы, это у него отнять нельзя. Но есть ли у него чувство? Боюсь, что нет. В сущности, он подобен большинству художников: много виртуозности и ни капли искренности. Он никогда не принесет себя в жертву другому. Он думает лишь о музыке, а всякий знает, что искусство эгоистично. Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно красивы. Жаль только, что в них нет никакого смысла и они лишены практического значения.

И он пошел к себе в комнату, лег на узкую койку и стал думать о своей любви; вскоре он погрузился в сон.

Когда на небе засияла луна, Соловей прилетел к Розовому Кусту, сел к нему на ветку и прижался к его шипу. Всю ночь он пел, прижавшись грудью к шипу, и холодная хрустальная луна слушала, склонив свой лик. Всю ночь он пел, а шип вонзался в его грудь все глубже и глубже, и из нее по каплям сочилась теплая кровь.

Сперва он пел о том, как прокрадывается любовь в сердце мальчика и девочки. И на Розовом Кусте, на самом верхнем побеге, начала распускаться великолепная роза. Песня за песней — лепесток за лепестком. Сперва роза была бледная, как легкий туман над рекою, — бледная, как стопы зари, и серебристая, как крылья рассвета. Отражение розы в серебряном зеркале, отражение розы в недвижной воде — вот какова была роза, расцветавшая на верхнем побеге Куста.

А Куст кричал Соловью, чтобы тот еще крепче прижался к шипу.

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!

Все крепче и крепче прижимался Соловей к шипу, и песня его звучала все громче и громче, ибо он пел о зарождении страсти в душе мужчины и девушки.

И лепестки розы окрасились нежным румянцем, как лицо жениха, когда он целует в губы свою невесту. Но шип еще не проник в сердце Соловья, и сердце розы оставалось белым, ибо только живая кровь соловьиного сердца может обогреть сердце розы.

Опять Розовый Куст крикнул Соловью, чтобы тот крепче прижался к шипу.

— Крепче прижмись ко мне, милый Соловушка, не то день придет раньше, чем заалеет роза!

Соловей еще сильнее прижался к шипу, и острие

коснулось наконец его сердца, и все тело его вдруг пронзила жестокая боль. Все мучительнее и мучительнее становилась боль, все громче и громче раздавалось пенье Соловья, ибо он пел о Любви, которая обретает совершенство в Смерти, о той Любви, которая не умирает в могиле.

И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце.

А голос Соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло.

Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе. Красная роза услышала ее и, вся затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному дуновению утра. Эхо понесло эту трель к своей багряной пещере в горах и разбудило спавших там пастухов. Трель прокатилась по речным камышам, и те отдали ее морю.

— Смотри! — воскликнул Куст. — Роза стала красной!

Но Соловей ничего не ответил. Он лежал мертвый в высокой траве, и в сердце у него был острый шип.

В полдень Студент распахнул окно и выглянул в сад.

— Ах, какое счастье! — воскликнул он. — Вот она, красная роза. В жизни не видал такой красивой розы! У нее, наверное, какое-нибудь длинное латинское название.

И он высунулся из окна и сорвал ее.

Потом он взял шляпу и побежал к Профессору, держа розу в руках.

Профессорская дочь сидела у порога и наматывала голубой шелк на катушку. Маленькая собачка лежала у нее в ногах.

— Вы обещали, что будете со мной танцевать, если я принесу вам красную розу! — воскликнул Студент. — Вот самая красная роза на свете. Приколите ее вечером поближе к сердцу, и, когда мы будем танцевать, она расскажет вам, как я люблю вас.

Но девушка нахмурилась.

— Боюсь, что эта роза не подойдет к моему туалету, — ответила она. — К тому же племянник камергера

прислал мне настоящие камни, а всякому известно, что камни куда дороже цветов.

— Как вы неблагодарны! — с горечью сказал Студент и бросил розу на землю.

Роза упала в колею, и ее раздавило колесом телеги.

— Неблагодарна? — повторила девушка. — Право же, какой вы грубиян! Да и кто вы такой, в конце концов? Всего-навсего студент. Не думаю, чтоб у вас были такие серебряные пряжки к туфлям, как у камергерова племянника.

И она встала с кресла и ушла в комнаты.

— Какая глупость — эта Любовь, — размышлял Студент, возвращаясь домой. — В ней и наполовину нет той пользы, какая есть в Логике. Она ничего не доказывает, всегда обещает несбыточное и заставляет верить в невозможное. Она удивительно непрактична, а так как наш век — век практический, то вернусь я лучше к Философии и буду изучать Метафизику.

И он вернулся к себе в комнату, вытащил большую запыленную книгу и принялся ее читать.

ВЕЛИКАН-ЭГОИСТ

Каждый день, возвращаясь из школы, дети, как повелось, заходили в сад Великана поиграть. Это был большой красивый сад, и трава там была зеленая и мягкая. Из травы тут и там, словно звезды, выглядывали венчики прекрасных цветов, а двенадцать персиковых деревьев, которые росли в этом саду, весной покрывались нежным жемчужно-розовым цветом, а осенью приносили сочные плоды. На деревьях сидели птицы и пели так сладко, что дети бросали игры, чтобы послушать их пение.

— Как хорошо нам здесь! — радостно кричали дети друг другу.

Но вот однажды Великан вернулся домой. Он навещал своего приятеля — корнуэльского Великана-людоеда и пробыл у него в гостях семь лет. За семь лет он успел поговорить обо всем, о чем ему хотелось поговорить, ибо был не слишком словоохотлив, после чего решил возвратиться в свой замок, а возвратившись, увидел детей, которые играли у него в саду.

— Что вы тут делаете? — закричал он страшным голосом, и дети разбежались.

— Мой сад — это мой сад, — сказал Великан, — и каждому это должно быть ясно, и, уж конечно, никому, кроме самого себя, я не позволю здесь играть. И он обнес свои сад высокой стеной и прибил объявление:

**ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ.**

Он был большим эгоистом, этот Великан.

Бедным детям теперь негде было играть. Они попробовали поиграть на дороге, но там оказалось очень много острых камней и пыли, и им не понравилось там играть. Теперь после школы они обычно бродили вокруг высокой стены и вспоминали прекрасный сад, который за ней скрывался.

— Как хорошо нам было там, — говорили они друг другу.

А потом пришла Весна, и повсюду на деревьях появились маленькие почки и маленькие птички, и только в саду Великана-эгоиста по-прежнему была Зима. Птицы не хотели распевать там своих песен, потому что в саду не было детей, а деревья забыли, что им пора цвести. Как-то раз один хорошенький цветочек выглянул из травы, но увидел объявление и так огорчился за детей, что тут же спрятался обратно в землю и заснул. Только Снегу и Морозу все это очень пришлось по душе.

— Весна позабыла прийти в этот сад, — воскликнули они, — и мы теперь будем царить здесь круглый год!

Снег покрыл траву своим толстым белым плащом, а Мороз расписал все деревья серебряной краской. После этого Снег и Мороз пригласили к себе в гости Северный Ветер, и он прилетел. С головы до пят он был закутан в меха и целый день бушевал в саду и завывал в печной трубе.

— Какое восхитительное местечко! — сказал Северный Ветер. — Мы должны пригласить в гости Град.

И тогда явился и Град. Изо дня в день он часами стучал по кровле замка, пока не перебил почти всей черепицы, а потом что было мочи носился по саду. На нем были серые одежды, а дыхание его было ледяным.

— Не понимаю, почему так запаздывает Весна,

пора бы уж ей прийти, — сказал Великан-эгоист, сидя у окна и поглядывая на свой холодный, белый сад. — Надеюсь, Погода скоро переменится.

Но Весна так и не пришла, не пришло и Лето. Осень принесла золотые плоды в каждый сад, но даже не заглянула в сад Великана.

— Он слишком большой эгоист, — сказала Осень. И в саду Великана всегда была Зима, и только Северный Ветер да Снег, Град и Мороз плясали и кружились между деревьев.

Однажды Великан, проснувшись в своей постели, услышал нежную музыку. Эта музыка показалась ему такой сладостной, что он подумал, не идут ли мимо его замка королевские музыканты. На самом-то деле это была всего лишь маленькая коноплянка, которая запела у него под окном, но Великан так давно не слышал пения птиц в своем саду, что щебет коноплянки показался ему самой прекрасной музыкой на свете. И тут Град перестал выплывать у него над головой, и Северный Ветер прекратил свои завывания, а в приотворенное окно долетел восхитительный аромат.

— Должно быть, Весна все-таки пришла наконец, — сказал Великан, выскочил из постели и глянул в окно.

И что же он увидел?

Он увидел совершенно необычайную картину. Дети проникли в сад сквозь небольшое отверстие в стене и залезли на деревья. Они сидели на всех деревьях. Куда бы Великан ни бросил взгляд — на каждом дереве он видел какого-нибудь ребенка. И деревья были так рады их возвращению, что сразу зацвели и стояли, тихонько покачивая ветвями над головками детей. А птицы порхали по саду и щебетали от восторга, и цветы выглядывали из зеленой травы и улыбались. Это было очаровательное зрелище, и только в одном углу сада все еще стояла Зима. Это был самый укромный уголок, и Великан увидел там маленького мальчика. Он был так мал, что не мог дотянуться до ветвей дерева и только ходил вокруг него и горько плакал. И бедное деревце было все до самой верхушки еще покрыто инеем и снегом, а над ним кружился и завывал Северный Ветер.

— Взберись на меня, мальчик! — сказала Дерево и склонило ветви почти до самой земли.

Но мальчик не мог дотянуться до них — он был слишком мал.

И сердце Великана растаяло, когда он глядел в окно.

— Какой же я был эгоист! — сказал он. — Теперь я знаю, почему Весна не хотела прийти в мой сад. Я посажу этого маленького мальчика на верхушку дерева и сломаю стену, и мой сад на веки вечные станет местом детских игр. — Он и в самом деле был очень расстроен тем, что натворил.

И вот он на цыпочках спустился по лестнице, тихонько отомкнул парадную дверь своего замка и вышел в сад. Но как только дети увидели Великана, они так испугались, что тут же бросились врассыпную, и в сад снова пришла Зима. Не убежал один только маленький мальчик, потому что глаза его были полны слез, и он даже не заметил появления Великана. А Великан тихонько подкрался к нему сзади, осторожно поднял с земли и посадил на дерево. И дерево тотчас зацвело, и к нему слетелись птицы и запели песни, порхая с ветки на ветку, а маленький мальчик обхватил Великана руками за шею и поцеловал. И тогда другие дети, увидав, что Великан перестал быть злым, прибежали обратно, а вместе с ними возвратилась и Весна.

— Теперь этот сад ваш, дети, — сказал Великан и взял большой топор и снес стену.

И жители, направляясь в полдень на рынок, видели Великана, который играл с детьми в самом прекрасном саду, какой только есть на свете.

Весь день дети играли в саду, а вечером они подошли к Великану, чтобы пожелать ему доброй ночи.

— А где же ваш маленький приятель? — спросил Великан. — Мальчик, которого я посадил на дерево? — Он особенно пришелся по душе Великану, потому что поцеловал его.

— Мы не знаем, — отвечали дети. — Он куда-то ушел.

— Непременно передайте ему, чтобы он не забыл прийти сюда завтра, — сказал Великан.

Но дети отвечали, что они не знают, где живет этот мальчик, так как ни разу не видели его раньше, и тогда Великан очень опечалился.

Каждый день после уроков дети приходили поиг-

рать с Великаном, но маленький мальчик, который так полюбился Великану, ни разу больше не пришел в сад. Великан был теперь очень добр ко всем детям, но тосковал о своем маленьком друге и часто о нем вспоминал.

— Как бы мне хотелось повидать его! — то и дело говорил Великан.

Год проходил за годом, и Великан состарился и одряхлел. Он уже не мог больше играть в саду и только сидел в глубоком кресле, смотрел на детей и на их игры да любовался своим садом.

— У меня много прекрасных цветов, — говорил он, — но нет на свете цветов прекраснее, чем дети.

Как-то раз зимним утром Великан, одеваясь, выглянул в окно. Он теперь не испытывал неприязни к Зиме, — ведь он знал, что Весна просто уснула, а цветы отдыхают.

И вдруг он стал тереть глаза и все смотрел и смотрел в окно, словно увидел чудо. А глазам его и вправду открылось волшебное зрелище. В самом укромном уголке сада стояло дерево, сплошь покрытое восхитительным белым цветом. Ветви его были из чистого золота, и на них висели серебряные плоды, а под деревом стоял маленький мальчик, который когда-то так полюбился Великану.

Не помня себя от радости, побежал Великан вниз по лестнице и ринулся в сад. Быстрым шагом прошел он по траве прямо к ребенку. Но когда он подошел совсем близко, лицо его побагровело от гнева, и он спросил:

— Кто посмел нанести тебе эти раны?

Ибо на ладонях мальчика он увидел раны от двух гвоздей, и на детских его ступнях были раны от двух гвоздей тоже.

— Кто посмел нанести тебе эти раны? — вскричал Великан. — Скажи мне, и я возьму мой большой меч и поражу виновного.

— Нет! — ответствовало дитя. — Ведь эти раны породила Любовь.

— Скажи — кто ты? — спросил Великан, и благоговейный страх обуял его, и он пал перед ребенком на колени.

А дитя улыбнулось Великану и сказало:

— Однажды ты позволил мне поиграть в твоём

саду, а сегодня я поведу тебя в свой сад, который зовется Раем.

И на другой день, когда дети прибежали в сад, они нашли Великана мертвым: он лежал под деревом, которое было все осыпано белым цветом.

ПРЕДАННЫЙ ДРУГ

Старая Водяная Крыса высунула однажды утром голову из своей норы. У нее были блестящие, как бусы, глаза и жесткие серые усы, а хвост похож был на длинную нитку из черной резины. Маленькие утята плавали по пруду, совсем как желтые канарейки, а их мать, совершенно белая, с ярко-красными лапами, старалась научить их, как нужно стоять в воде вниз головой.

— Вас никогда не примут в хорошее общество, если вы не научитесь стоять на голове, — приговаривала она и время от времени показывала им, как именно это делается.

Но утята не обращали на нее внимания. Они были еще так малы, что никак не могли понять всех преимуществ, которые дает хорошее общество.

— Какие непослушные дети! — воскликнула Водяная Крыса. — Право, они стоят того, чтобы их утопить.

— Ничуть не бывало, — возразила Утка. — Всякое начало трудно, и не должно быть пределов родительскому терпению.

— Ах, я понятия не имею о родительских чувствах, — сказала Водяная Крыса, — я особа не семейная. Замужем я никогда не бывала, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, вещь очень хорошая в своем роде, но дружба гораздо выше. Право, я не знаю ничего на свете выше и прекраснее преданной дружбы.

— А в чем, скажите, пожалуйста, состоят, по вашему мнению, обязанности преданного друга? — спросила зелененькая Коноплянка, сидевшая поблизости на иве и слышавшая весь этот разговор.

— Вот именно! Мне тоже очень хотелось бы это знать, — сказала Утка, а сама отплыла на противоположный конец пруда и там стала вниз головой, с тем, чтобы показать добрый пример своим детям.

— Какой глупый вопрос! — воскликнула Водяная

Крыса. — Разумеется, я потребовала бы от моего преданного друга, чтобы он был мне предан.

— А что бы вы ему дали за это взамен? — спросила птичка, покачиваясь на серебристой ветке и помахивая крохотными крылышками.

— Я вас не понимаю, — отозвалась Водяная Крыса.

— Позвольте по этому случаю рассказать вам маленькую историю, — сказала Коноплянка.

— Эта история обо мне? — спросила Водяная Крыса. — Если да, то я буду слушать, потому что я ужасно люблю разные фантазии.

— Ее можно применить и к вам, — ответила Коноплянка, и, слетев вниз и опустившись на берег, она рассказала историю о Преданном Друге.

— Жил-был здесь когда-то, — начала Коноплянка, — славный паренек по имени Ганс.

— Это был человек замечательный? — спросила Водяная Крыса.

— Нет, — ответила Коноплянка, — мне кажется, он ничем не был особенно замечателен, кроме разве своего доброго сердца и круглого, забавного, веселого лица. Жил он один-одинешенек в своей маленькой избушке и целый день работал у себя в саду. Во всей округе не было такого прелестного садика. Тут росли и гвоздика, и левкой, и пастушья сумка, и бель-де-жур. Были тут пунцовые розы, и желтые, и лиловые, и золотистые крокусы, и фиалки темные и белые. Колокольцы, луговой сердечник, душица и дикий базилик, ирисы и первоцвет, златоцвет и красная гвоздичка распускались и цвели каждый своим чередом, по мере того, как сменялись месяцы, так что одни цветы занимали место других, и все там радовало взор, и все благоухало.

У маленького Ганса было множество друзей, но самым преданным из всех был большой Гью, Мельник. Да, богатый Мельник был так предан маленькому Гансу, что, когда проходил мимо его сада, всегда, перегнувшись через забор, набирал целый букет цветов, или охапку душистых трав, или наполнял карманы сливами и вишнями, если наступала пора плодов.

— У истинных друзей все должно быть общее, — говорил Мельник, а маленький Ганс улыбался и кивал

головой, и очень гордился тем, что у него есть друг с такими благородными взглядами.

Правда, соседи иногда находили странным, что богатый Мельник никогда ничем не отблагодарил Ганса, хотя у него накопилась на мельнице сотня мешков с мукой и было шесть дойных коров и большое стадо тонкорунных овец. Но маленький Ганс никогда не ломал голову над такими вопросами, и ничто не доставляло ему такого удовольствия, как вслушиваться в те восхитительные речи, которые произносил Мельник о самоотвержении истинной дружбы.

Итак, маленький Ганс все работал в своем саду. Весной, летом и осенью он был совершенно счастлив, но когда приходила зима и у него уже не было ни цветов, ни плодов, которые он мог бы отнести на базар, ему приходилось терпеть и холод и голод, и частенько ложился он в постель без ужина, если не считать нескольких сушеных груш или жестких орехов. К тому же зимой он был весьма одинок, потому что Мельник ни разу не навещал его.

— Не подобает мне ходить к маленькому Гансу, пока не сойдет снег, — говорил обыкновенно Мельник своей жене, — потому что, когда человеку приходится плохо, его лучше оставлять в покое и не докучать ему своими посещениями. Таков, по крайней мере, мой взгляд на дружбу, и я убежден, что я прав. Подожду, когда придет весна, и тогда навещу его, а он даст мне большую корзину первоцвета, и это доставит ему такое счастье!

— Ты ведь всегда заботишься о других, — отвечала жена, сидя в покойном кресле у камина, где ярко пылали сосновые дрова, — право, все о других. Просто наслаждение послушать, как ты рассуждаешь о дружбе. Я уверена, что сам священник не умеет говорить такие прекрасные слова, хотя он и живет в трехэтажном доме и носит на мизинце золотое кольцо.

— А нельзя ли позвать маленького Ганса к нам сюда? — спросил Мельника его младший сын. — Если бедному Гансу плохо, я отдам ему половину своей каши и покажу ему моих белых кроликов.

— Какой ты глупый мальчишка! — воскликнул Мельник. — Я, право, не знаю, какой толк посылать тебя в школу. Ты там, как видно, ничему не научился. Ведь

если бы Ганс пришел сюда к нам, увидел бы наш теплый очаг, наш добрый ужин и славный бочонок красного вина, он, пожалуй, позавидовал бы нам, а зависть — это самая ужасная вещь на свете и может испортить душу любого человека. И уж, конечно, я не допущу, чтобы душа у Ганса испортилась. Я его лучший друг и всегда буду зорко следить, чтобы он не подвергался соблазну. При том же, если бы Ганс пришел сюда, он, пожалуй, попросил бы у меня одолжить ему немного муки, а я никак не мог бы этого сделать. Мука — одно, а дружба — другое, смешивать их нельзя. Ведь и слова эти пишутся разное и означают совершенно разные вещи. Это для каждого ясно.

— Как хорошо ты говоришь! — сказала жена Мельника, наливая себе большую кружку теплого эля. — Право, я даже чуть не задремала. Ну, точно в церкви.

— Многие поступают хорошо, — ответил Мельник, — но хорошо говорят очень немногие, и это показывает, что уметь говорить гораздо труднее, а потому и гораздо важнее.

И он через стол строго посмотрел на своего маленького сына, которому стало так стыдно за себя, что он опустил голову, густо покраснел и заплакал прямо к себе в чай. Впрочем, он ведь был еще так мал, что вы должны простить его!

— Тут и конец вашей истории? — спросила Водяная Крыса.

— Конечно, нет, — ответила Коноплянка, — это только начало.

— Вы, значит, совсем отстали от жизни, — заметила Водяная Крыса, — каждый порядочный современный рассказчик начинает с конца, потом переходит к началу, а заканчивает серединой. Это новая метода. Я все это слышала на днях от одного критика, который гулял тут вокруг пруда с каким-то молодым человеком. Он долго толковал на эту тему, и я уверена, что он прав, потому что у него были синие очки и лысая голова, и стоило только юноше сделать какое-нибудь замечание, как он тотчас же отвечал: «Фу!». Но продолжайте лучше вашу историю. Мне страшно нравится Мельник. Я сама переполнена высокими чувствами, так что очень ему сочувствую.

— Итак, — сказала Коноплянка, прыгая то на одну

ветку, то на другую, — как только зима миновала и первоцвет стал разворачивать свои бледно-желтые звездочки, Мельник сказал жене, что он пойдет навестить Ганса.

— Ах, какое у тебя доброе сердце! — воскликнула жена. — Ты всегда думаешь о других. Да не забудь захватить с собой корзину для цветов.

Мельник связал крылья ветряной мельницы толстой железной цепью и спустился с холма с пустой корзиной на руке.

— Здравствуй, маленький Ганс, — сказал Мельник.

— Здравствуйте, — ответил маленький Ганс, опираясь на лопату и улыбаясь во весь рот.

— Ну, как ты провел эту зиму? — спросил Мельник.

— Право, — воскликнул маленький Ганс, — очень мило с вашей стороны, что вы меня об этом спрашиваете, мило! Признаться, подчас мне приходилось очень туго. Но вот наступила весна, и я совершенно счастлив, и цветочкам моим хорошо.

— А мы зимой частенько говорили о тебе, Ганс, — молвил Мельник, — и все интересовались, как-то ты поживаешь.

— Это было очень мило с вашей стороны, — ответил Ганс. — А я уж начинал было бояться, не забыли ли вы меня.

— Ты меня удивляешь, Ганс, — сказал Мельник. — Дружба не забывается. Вот этим-то она и прекрасна. Боюсь, впрочем, что ты не понимаешь всей поэзии жизни. Кстати, как хороши твои первоцветы!

— Они действительно прелесть как хороши, — согласился Ганс, — и это прямо мое счастье, что их уродилось так много. Я отнесу их на базар и продам дочери бургомистра, а на эти деньги я выкуплю мою тачку.

— Выкупишь тачку? Неужели ты хочешь сказать, что ты ее заложил? Какую же глупость ты сделал!

— Да, дело в том, — ответил Ганс, — что мне пришлось так сделать. Зима, видите ли, была для меня время крутое, и у меня положительно не было ни гроша, чтобы купить себе хлеба. Поэтому я сначала заложил серебряные пуговицы с моей воскресной куртки, потом заложил серебряную цепочку, потом мою большую трубку и, наконец, тачку. Но теперь я опять все это выкуплю.

— Ганс, — сказал Мельник, — я подарю тебе свою тачку. Правда, она не совсем в порядке. У нее не хватает, кажется, одного бока, и с колесными спицами что-то не ладно, но, как бы то ни было, я подарю ее тебе. Я знаю, это очень великодушно с моей стороны, и многие найдут, что я поступаю страшно глупо, расставаясь с ней, но я непохож на других. Я полагаю, что великодушные — это самая сущность дружбы, а к тому же я купил себе новую тачку. Да, ты теперь можешь быть совершенно спокоен, я подарю тебе мою тачку.

— Действительно, это очень великодушно с вашей стороны, — отозвался маленький Ганс, и его забавное круглое лицо так и загорелось от радости. — Мне очень легко будет починить ее, потому что у меня есть деревянная доска.

— Деревянная доска! — воскликнул Мельник. — Это как раз то, что мне нужно для крыши моего амбара. В крыше большая дыра, и, если я ее не заделаю, все зерно у меня отсыреет. Хорошо, что ты упомянул о ней! Просто замечательно, как одно доброе дело всегда порождает другое. Я подарил тебе мою тачку, а ты теперь подаришь мне свою доску. Правда, тачка стоит гораздо больше, чем доска, но при истинной дружбе таких вещей не замечают. Достань-ка ее, пожалуйста, сейчас же, и я сегодня же примусь за работу в моем амбаре.

— Конечно! — воскликнул Ганс, и он тотчас же побежал в сарай и вытащил оттуда доску.

— Ну, доска-то невелика, — заметил Мельник, осматривая ее. — Боюсь, что, когда я починю у своего амбара крышу, от нее останется слишком мало для починки тачки. Но это, конечно, уж не моя вина. А теперь, раз я подарил тебе мою тачку, я уверен, что тебе за то хочется дать мне побольше цветов. Вот корзина, наполни ее до самого верху.

— До самого верха? — переспросил Ганс с некоторой грустью, потому что это была довольно-таки большая корзина, и он видел, что если наполнить ее доверху, то для рынка уж ничего не останется, а ему так хотелось выкупить свои серебряные пуговицы.

— Ну, знаешь ли, — отозвался Мельник, — раз я подарил тебе тачку, то не думал, что попросить у тебя каких-нибудь цветочков будет уж слишком много. Я,

может быть, не прав, но мне казалось, что дружба, истинная дружба, свободна от всякого эгоизма.

— Дорогой мой друг, мой лучший друг! — воскликнул маленький Ганс. — Я с радостью отдам вам все цветы из моего садика. Мне гораздо дороже ваше доброе мнение обо мне, чем какие-то серебряные пуговицы.

И он побежал и сорвал все свои дивные первоцветы и наполнил ими корзину Мельника.

— До свидания, маленький Ганс! — сказал Мельник и пошел на свою горку с доской на плече и корзиной в руках.

— До свидания! — отвечал маленький Ганс и весело стал работать лопатой, так рад он был тачке.

На другой день он прибывал вьющуюся жимолость над своим крылечком, как вдруг услышал голос Мельника, звавшего с дороги. Тогда он соскочил по лесенке вниз, побежал в сад и посмотрел через стену.

Там стоял Мельник с большим мешком муки на спине.

— Дорогой Ганс, — сказал Мельник, — снеси, пожалуйста, этот мешок с мукой на базар для меня.

— Ах, мне очень жаль, — ответил Ганс, — но я, право, так занят сегодня. Мне нужно прибить все мои вьющиеся растения, и полить все цветы, и выполоть траву.

— Вот как, — сказал Мельник, — а мне казалось, что, раз я готов подарить тебе тачку, ты не был бы мне другом, если бы отказал.

— О, нет, не говорите так! — воскликнул маленький Ганс. — Я ни за что на свете не хотел бы поступить не по-дружески.

И он побежал в дом за шапкой и поплелся на базар с большим мешком на плечах.

День был очень жаркий, дорога была очень пыльная, и Ганс, не дойдя и до шестого верстового столба, так устал, что вынужден был присесть и отдохнуть. Тем не менее он храбро продолжал путь и наконец дошел до базара. Побывши там немного, он продал мешок муки за очень хорошую цену и потом тотчас же пустился в дорогу обратно, боясь, как бы не встретить какого-нибудь разбойника, если бы случилось запоздать.

«Трудный нынче выдался день, — сказал себе Ганс, ложась в постель, — но все-таки я рад, что не отказал Мельнику в его просьбе, потому что он — лучший мой друг да к тому же обещал мне подарить свою тачку».

На следующий день, рано утром, Мельник пришел получить деньги за муку, но маленький Ганс так устал, что был еще в постели.

— Однако же ты лентяй, честное слово, — сказал Мельник. — Право, принимая во внимание, что я собираюсь подарить тебе мою тачку, ты, мне кажется, мог бы работать усерднее. Лень — большой порок, и я, конечно, не могу потерпеть, чтобы кто-нибудь из моих друзей был бездельником или лентяем. Ты не обижайся, что я уж очень откровенно говорю с тобой. Разумеется, мне и в голову не пришло бы так говорить, если бы я не был твоим другом. Но что было бы хорошего в дружбе, если бы каждый не мог сказать другому в глаза именно то, что он думает? Всякий может наговорить разных обворожительных вещей, может льстить и подлаживаться, но истинный друг всегда говорит неприятные вещи и не боится огорчить своего друга. Если только он истинный друг, он, конечно, предпочитает поступать так, сознавая, что таким путем приносит пользу.

— Мне очень жаль, — сказал маленький Ганс, протирая глаза и снимая ночной колпак, — но я так устал, что мне хотелось поваляться немножко в постели и послушать пение птиц. Я, знаете ли, всегда лучше работаю после того, как послушаю пение птиц.

— Что же, я очень рад, — сказал Мельник, похлопывая Ганса по спине, — потому что я пришел просить тебя прийти на мельницу, как только ты встанешь, и починить на моем амбаре крышу.

Бедному Гансу очень хотелось поработать в саду, потому что он не поливал своих цветов уже двое суток, но ему неприятно было отказать Мельнику: ведь тот был его добрым другом.

— По-вашему, очень нелюбезно с моей стороны было бы сказать вам, что мне некогда? — спросил он робким, нерешительным голосом.

— Ну, конечно, — ответил Мельник, — я не думал, что прошу у тебя слишком много, особенно если принять во внимание, что я собираюсь подарить тебе мою тачку. Впрочем, если ты мне откажешь, я, конечно, пойду и сделаю это сам.

— О, ни в коем случае! — воскликнул Ганс, и, тотчас же вскочив с постели, направился к амбару.

Он проработал весь день до заката солнца, а на за-

кате Мельник пришел посмотреть, как идет у него дело.

— Ну что, Ганс, заделал дыру? — крикнул он весело.

— Совсем заделана! — ответил Ганс и спустился с лестницы.

— Ах, нет работы приятнее той, которую мы делаем для другого, — сказал Мельник.

— Истинное счастье — слушать, как вы говорите, — ответил Ганс, присаживаясь и отирая пот со лба. — Поистине — большое счастье. Только я боюсь, что у меня никогда не будет таких возвышенных мыслей, как у вас.

— О, это придет! — ответил Мельник. — Нужно только больше стараться. До сих пор у тебя была только практика дружбы, когда-нибудь овладеешь и теорией.

— Вы в самом деле так думаете? — спросил Ганс.

— Я в этом не сомневаюсь, — ответил Мельник, — но теперь, раз ты уже починил крышу, тебе лучше идти домой и отдохнуть, потому что мне хочется, чтобы завтра ты отвел моих овец в горы.

Бедный маленький Ганс боялся возразить что-нибудь на это, и на другой день утром Мельник пригнал своих овец к его домику, и Ганс отправился с ними в горы. Целый день ушел на то, чтобы пригнать их туда и обратно, а вернувшись домой, он так устал, что заснул прямо в кресле и проснулся только при ярком свете дня.

— Вот славно проведу я наконец время у себя в саду! — сказал он и тотчас же принялся за работу.

Однако ему совсем не пришлось заняться своими цветами, потому что друг его Мельник постоянно приходил и посылал его с дальними поручениями, или брал его с собою помогать на мельнице. Временами маленький Ганс приходил в отчаяние и боялся, как бы цветочки его не подумали, что он забыл их, но он утешал себя мыслью, что Мельник — его лучший друг. К тому же он собирается подарить ему тачку, — обычно говорил он при этом, — а это истинное великодушие с его стороны.

Так и работал маленький Ганс на Мельника, а Мельник говорил всевозможные прекрасные вещи о дружбе, которые Ганс записывал в тетрабочку и потом

перечитывал по ночам, потому что он очень любил учиться.

И вот однажды вечером, когда маленький Ганс сидел у своего камелька, раздался сильный стук в дверь. Ночь была бурная, ветер так страшно завывал и ревел вокруг домика, что сначала он принял и этот стук за шум бури. Но раздался второй удар, а потом и третий, громче двух первых.

— Верно, какой-нибудь несчастный путник, — сказал себе Ганс и бросился к двери.

Там стоял Мельник с фонарем в одной руке и большой палкой в другой.

— Дорогой Ганс! — воскликнул Мельник. — Я в большой тревоге: мой маленький сын упал с лестницы и расшибся, и я иду за доктором. Но доктор живет так далеко, а ночь такая ужасная, что мне пришло в голову: не лучше ли будет тебе пойти за доктором вместо меня. Ты знаешь, что я хочу подарить тебе мою тачку, так что это будет только справедливо, если ты тоже сделаешь что-нибудь для меня.

— Разумеется! — воскликнул маленький Ганс. — Я прямо за честь считаю, что вы обратились ко мне, и сейчас же отправлюсь за доктором. Одолжите мне только ваш фонарь, потому что ночь так темна, и я боюсь, как бы мне не свалиться в канаву.

— Мне очень жаль, — ответил Мельник, — но фонарь у меня новый, и мне было бы очень досадно, если бы с ним что-нибудь случилось.

— Ну, это ничего, обойдусь и без фонаря! — воскликнул маленький Ганс, надел свою большую шубу, теплую красную шапку, повязал шею шарфом и вышел.

Какая это была ужасная буря! Ночь была так темна, что маленький Ганс почти ничего не видел, а ветер был такой сильный, что Ганс едва держался на ногах. Однако мужество не покидало его, и, пройдя около трех часов, он добрался до дома доктора и постучался в дверь.

— Кто там? — спросил доктор, высовывая голову из окна своей спальни.

— Это я, господин доктор. Я — Ганс.

— Чего тебе нужно, Ганс?

— Сын Мельника упал с лестницы и расшибся, и Мельник просит вас поскорее приехать.

— Хорошо! — ответил доктор и велел подать лошадь, большие сапоги и фонарь; потом спустился вниз и уехал верхом по направлению к дому Мельника, между тем как Ганс поплелся за ним пешком.

Буря тем временем разыгрывалась все сильнее и сильнее, дождь лил потоками. Маленький Ганс и сам не видал, куда идет, и не поспевал за лошадей. В конце концов он сбился с дороги и заблудился в болоте, которое было очень опасно, потому что в нем было много глубоких ям. Там бедный Ганс и утонул. На другой день пастухи нашли его тело в большой яме, наполненной водой, и принесли к его дому.

Все пошли на похороны маленького Ганса, потому что все его любили, а больше всех горевал Мельник.

— Я был его лучшим другом, — говорил Мельник, — а потому справедливость требует, чтобы мне принадлежало первое место.

И он шел во главе процессии в длинном черном плаще, и время от времени вытирал глаза большим носовым платком.

— Смерть маленького Ганса является, конечно, большой потерей для каждого, — сказал Кузнец, когда похороны окончились и все уселись в уютном трактире, попивая душистое вино и закусывая сладкими пряниками.

— Для меня это, во всяком случае, большая потеря, — отозвался Мельник, — потому что ведь я уж почти подарил ему мою тачку, а теперь положительно не знаю, что с ней делать. Дома она мешает, а между тем она в таком плохом виде, что мне, пожалуй, ничего не дадут за нее, вздумай я ее продавать. Впредь буду осторожнее и никому ничего не стану дарить. Всегда приходится расплачиваться за свою же щедрость.

— Ну? — сказала Водяная Крыса после долгой паузы.

— Это конец, — ответила Коноплянка.

— А что же было дальше с Мельником?

— Ах, право, не знаю, — ответила Коноплянка, — да мне, честно говоря, до этого и дела нет.

— Вот и видно, что вы по натуре совсем не отзывчивы, — заметила Водяная Крыса.

— Боюсь, вам не будет ясна мораль моего рассказа, — сказала Коноплянка.

— Что будет неясно? — воскликнула Водяная Крыса.

— Мораль.

— Вы хотите сказать, что в этом рассказе есть мораль?

— Конечно, — ответила Коноплянка.

— Ну, знаете, — сказала Водяная Крыса с большим раздражением, — мне кажется, вам бы следовало предупредить об этом заранее. Если бы вы так сделали, уж я наверно не стала бы вас слушать. Несомненно, я сказала бы: «Фу!», как тот критик. Впрочем, я и теперь могу это сделать. — И она во весь голос выкрикнула: «Фу!», потом взмахнула хвостом и спряталась в нору.

— Как вам нравится Водяная Крыса? — спросила Утка, снова подплывая несколько минут спустя. — У нее очень много хороших черт, но, если говорить о себе, во мне так сильно развито материнское чувство, что, чуть я увижу закоренелую старую деву, слезы выступают у меня на глазах.

— А я даже боюсь, что обидела ее, — ответила Коноплянка. — Дело в том, что моя история была с моралью.

— Ах, это всегда очень опасно, — заметила Утка. И я с ней совершенно согласен.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ РАКЕТА

Королевский сын намерен был сочетаться браком, и по этому поводу ликовал и стар и млад. Приезда своей невесты Принц дождался целый год, и вот наконец она прибыла. Это была русская Принцесса, и весь путь от самой Финляндии она проделала в саних, запряженных шестеркой оленей. Сани были из чистого золота и имели форму лебедя, а меж крыльев лебедя возлежала маленькая Принцесса. Она была закутана до самых пят в длинную горностаевую мантию, голову ее покрывала крошечная шапочка из серебряной ткани, и Принцесса была бела, как снежный дворец, в котором она жила у себя на родине. Так бледно было ее лицо, что весь народ дивился, глядя на нее, когда она проезжала по улицам.

— Она похожа на Белую розу! — восклицали все и осыпали ее цветами с балконов.

Принц вышел к воротам замка, чтобы встретить невесту. У него были мечтательные фиалковые глаза и волосы как чистое золото. Увидав Принцессу, он опустился на одно колено и поцеловал ей руку.

— Ваш портрет прекрасен, — прошептал он, — но вы прекраснее во сто крат!

И щеки маленькой Принцессы заалели.

— Она была похожа на Белую розу, — сказал молодой Паж кому-то из придворных, — но теперь она подобна Алой розе.

И это привело в восхищение весь двор. Три дня кряду все ходили и восклицали:

— Белая роза. Алая роза. Алая роза. Белая роза, — и Король отдал приказ, чтобы Пажу удвоили жалованье.

Так как Паж не получал никакого жалованья вовсе, то пользы от этого ему было мало, но зато очень много чести, и потому об этом было своевременно оповещено в Придворной Газете.

По прошествии трех дней отпраздновали свадьбу. Это была величественная церемония: жених с невестой, держась за руки, стояли под балдахином из пунцового бархата, расшитого мелким жемчугом, а потом был устроен пир на весь мир, который длился пять часов. Принц и Принцесса сидели во главе стола в Большом зале и пили из прозрачной хрустальной чаши. Только истинные влюбленные могли пить из этой чаши, ибо стоило лживым устам прикоснуться к ней, как хрусталь становился тусклым, мутным и серым.

— Совершенно ясно, что они любят друг друга, — сказал маленький Паж. — Это так же ясно, как ясен хрусталь этой чаши!

И Король вторично удвоил ему жалованье.

— Какой почет! — хором воскликнули придворные.

* * *

После пира состоялся бал. Жениху и невесте предстояло протанцевать Танец розы, а Король вызвался поиграть на флейте. Он играл из рук вон плохо, но никто ни разу не осмелился сказать ему это, потому что он был Король. В сущности, он знал только две песенки и никогда не был уверен, какую именно исполняет,

но это не имело ни малейшего значения, так как, что бы он ни делал, все восклицали:

— Восхитительно! Восхитительно!

* * *

Программа празднеств должна была закончиться грандиозным фейерверком, которому надлежало состояться ровно в полночь. Маленькая Принцесса еще никогда в жизни не видала фейерверка, и поэтому Король отдал приказ, чтобы Королевский пиротехник самолично занялся фейерверком в день свадьбы.

— Фейерверк? А на что это похоже? — спросила Принцесса у своего жениха, прогуливаясь утром по террасе.

— Это похоже на Северное Сияние, — сказал Король, который всегда отвечал на все вопросы, адресованные к другим лицам, — только гораздо натуральнее. Фейерверк так же прекрасен, как моя игра на флейте, и я лично предпочитаю его огни звездам, потому что, по крайней мере, знаешь наверняка, когда эти огни зажгутся. Словом, вам непременно нужно полюбоваться на него.

И вот в углу королевского сада был воздвигнут большой помост, и как только Королевский пиротехник разложил все, что требовалось, по местам, огни фейерверка вступили в разговор друг с другом.

— Как прекрасен мир! — воскликнула маленькая Шутиха. — Вы только взгляните на эти желтые тюльпаны. Даже если бы это были настоящие фейерверочные огни, и тогда они не могли бы быть прелестней. Я счастлива, что мне удалось совершить путешествие. Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освободиться от предрассудков.

— Королевский сад — это еще далеко не весь мир, глупая ты Шутиха, — сказала Большая Римская Свеча. — Мир огромен, и меньше чем за три дня с ним нельзя основательно ознакомиться.

— То место, которое мы любим, включает в себе для нас весь мир! — мечтательно воскликнул Огненный Фонтан, который на первых порах был крепко привязан к старой сосновой дощечке и гордился своим разбитым сердцем. — Но любовь вышла из моды, ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все пере-

стали им верить, и, признаться, это меня несколько не удивляет. Истинная любовь страдает молча. Помнится, когда-то я... Впрочем, теперь это не имеет значения. Романтика отошла в прошлое.

— Чепуха! — сказала Римская Свеча. — Романтика никогда не умирает. Это как луна. — она вечна. Наши жених и невеста, например, нежно любят друг друга. Мне все рассказала о них сегодня утром бумажная гильза от патрона, которая случайно попала в один ящик со мной и знала все последние придворные новости.

Но Огненный Фонтан только покачал головой.

— Романтика умерла. Романтика умерла. Романтика умерла, — прошептал он. Он принадлежал к тому сорту людей, которые полагают, что если долго твердить одно и то же, то в конце концов это станет истиной.

Вдруг раздалось резкое сухое покашливание, и все оглянулись.

Кашляла длинная, высокомерная с виду Ракета, прикрепленная к концу длинной палки. Она всегда начинала свою речь с покашливания, дабы привлечь к себе внимание.

— Кхе! Кхе! — кашлянула она, и все обратились в слух, за исключением бедняги Огненного Фонтана, который продолжал покачивать головой и шептать:

— Романтика умерла.

— Внимание! Внимание! — закричал Бенгальский Огонь.

Он увлекался политикой, всегда принимал деятельное участие в местных выборах и поэтому очень умело пользовался всеми парламентскими выражениями.

— Умерла безвозвратно, — прошептал Огненный Фонтан, начиная дремать.

Как только воцарилась тишина, Ракета кашлянула в третий раз и заговорила. Она говорила медленно, внятно, словно диктовала мемуары, и всегда смотрела поверх головы собеседника. Словом, она отличалась самыми изысканными манерами.

— Какая удача для сына Короля, — сказала она, — что ему предстоит сочетаться браком в тот самый день, когда меня запустят в небо. В самом деле, если бы даже все это было обдуманно заранее, и тогда не могло бы получиться удачнее. Но ведь Принцам всегда везет.

— Вот так так! — сказала маленькая Шутиха. — А

мне казалось, что все как раз наоборот; это нас будут пускать в воздух в честь бракосочетания Принца.

— Вас-то, может, и будут, — сказала Ракета. — Я даже не сомневаюсь, что с вами поступят именно так, а я — другое дело. Я весьма замечательная Ракета и происхожу от весьма замечательных родителей. Мой отец был в свое время самым знаменитым Огненным Колесом и прославился грацией танца. Во время своего знаменитого выступления перед публикой он девятнадцать раз повернулся вокруг собственной оси, прежде чем погаснуть, и при каждом повороте выбрасывал из себя семь розовых звезд. Он был три фута с половиной в диаметре и сделан из самого лучшего пороха. А моя мать была Ракета, как и я, и притом французского происхождения. Она взлетела так высоко, что все очень испугались — а вдруг она не вернется обратно. Но она вернулась, потому что у нее был очень кроткий характер, и возвращение ее было ослепительно эффектным — она рассыпалась дождем золотых звезд. Газеты с большой похвалой отозвались о ее публичном выступлении. Придворная Газета назвала ее триумфом Пилотехнического искусства.

— Пиротехнического — хотели вы сказать. Пиротехнического, — отозвался Бенгальский Огонь. — Я знаю, что это называется Пиротехникой, потому что прочел надпись на своей собственной коробке.

— А я говорю Пилотехнического, — возразила Ракета таким свирепым тоном, что Бенгальский Огонь почувствовал себя уничтоженным и тотчас стал задирать маленьких Шутих, дабы показать, что он тоже имеет вес.

— Итак, я говорила, — продолжала Ракета, — я говорила... о чем же я говорила?

— Вы говорили о себе, — отвечала Римская Свеча.

— Ну разумеется. Я помню, что обсуждала какой-то интересный предмет, когда меня так невежливо прервали. Я не выношу грубости и дурных манер, ибо я необычайно чувствительна. Я уверена, что на всем свете не сыщется другой столь же чувствительной особы, как я.

— А что это такое — чувствительная особа? — спросила Петарда у Римской Свечи.

— Это тот, кто непременно будет отдавливать дру-

гим мозоли, если он сам от них страдает, — шепнула Римская Свеча на ухо Петарде, и та чуть не взорвалась со смеху.

— Над чем это вы смеетесь, позвольте узнать? — осведомилась Ракета. — Я же не смеюсь.

— Я смеюсь, потому что чувствую себя счастливой, — отвечала Петарда.

— Это весьма эгоистическая причина, — сердито промолвила Ракета. — Какое вы имеете право чувствовать себя счастливой? Вам следовало бы подумать о других. Точнее, вам следовало бы подумать обо мне. Я всегда думаю о себе и от других жду того же. Это называется отзывчивостью, а отзывчивость — высокая добродетель, и я обладаю ею в полной мере. Допустим, например, что сегодня ночью со мной что-нибудь случится, — представляете, какое это будет несчастье для всех! Принц и Принцесса уже никогда не смогут быть счастливы, и вся их супружеская жизнь пойдет прахом. А что касается Короля, то я знаю, что он не оправится после такого удара. Право, когда я начинаю думать о том, сколь ответственно занимаемое мною положение, я едва удерживаюсь от слез.

— Если вы хотите доставить другим удовольствие, — вскричала Римская Свеча, — так уж постарайтесь хотя бы не отсыреть!

— Ну конечно, — воскликнул Бенгальский Огонь, который уже несколько воспрянул духом, — это же подсказывает простой здравый смысл!

— Простой здравый смысл! — возмущенно фыркнула Ракета. — Вы забываете, что я совсем не простая, а весьма замечательная. Здравым смыслом может обладать кто угодно, при условии отсутствия воображения. А у меня очень богатое воображение, потому что я никогда ничего не представляю себе таким, как это есть на самом деле. Я всегда представляю себе все совсем наоборот. А что касается того, чтобы бояться отсыреть, то здесь, по-видимому, никто не в состоянии понять, что такое эмоциональная натура. По счастью, меня это мало трогает. Единственное, что меня поддерживает в течение всей жизни, — это сознание моего неоспоримого превосходства над всеми, а это качество я всегда развивала в себе по мере сил. Но ни у кого из вас нет сердца. Вы смее-

тесь и веселитесь так, словно Принц и Принцесса и не думали сочетаться браком.

— Как так? — воскликнул маленький Огненный Шар. — А почему бы нет? Это же самое радостное событие, и, поднявшись в воздух, я непременно сообщу о нем звездам. Вы увидите, как они будут подмигивать мне, когда я шепну им, как прелестна невеста.

— Боже! Какой тривиальный взгляд на вещи! — сказала Ракета. — Но ничего другого я и не ждала. В вас же решительно ничего нет — одна пустота. А что, если Принц и Принцесса поселятся где-нибудь в сельской местности и, может статься, там будет протекать глубокая река, а у Принца и Принцессы может родиться сын, маленький, белокурый мальчик с фиалковыми глазами, как у отца, и, быть может, он пойдет однажды погулять со своей няней, и няня заснет под большим кустом бузины, а маленький мальчик упадет в глубокую реку и утонет? Какое страшное горе! Несчастные отец и мать — потерять единственного сына! Это же ужасно! Я этого просто не переживу.

— Но они же еще не потеряли своего единственного сына, — сказала Римская Свеча. — Никакого несчастья с ними еще не произошло.

— А разве я говорила, что они потеряли? — возразила Ракета. — Я сказала только, что они могут потерять. Если бы они уже потеряли единственного сына, не было бы никакого смысла об этом говорить. Снявши голову — по волосам не плачут, и я терпеть не могу тех, кто не придерживается этого правила. Но когда я думаю о том, что Принц и Принцесса могут потерять своего единственного сына, меня это, разумеется, чрезвычайно удручает.

— Что верно, то верно! — вскричал Бенгальский Огонь. — По правде говоря, такой удрученной особы, как вы, мне еще никогда не доводилось видеть.

— А мне никогда еще не доводилось видеть такого грубияна, как вы, — сказала Ракета. — И вы совершенно не способны понять моего дружеского расположения к Принцессе.

— Да ведь вы даже незнакомы с ней, — буркнула Римская Свеча.

— А разве я сказала, что я с ней знакома? — возразила Ракета. — Позвольте вам заметить, что я никогда не

стала бы ее другом, будь я с ней знакома. Это очень опасная вещь — хорошо знать своих собственных друзей.

— Все же вы бы лучше постарались не отсыреть, — сказал Огненный Шар. — Вот что самое главное.

— Для вас, конечно, это самое главное, можно не сомневаться, — возразила Ракета, — а я вот возьму и заплачу, если мне захочется. — И она и вправду залилась самыми настоящими слезами, и они, словно капли дождя, побежали по ее палке и едва не затопили двух маленьких жучков, которые только что задумали обзавестись своим домом и подыскивали хорошее сухое местечко.

— Должно быть, это действительно очень романтическая натура, — сказал Огненный Фонтан, ведь она плачет абсолютно без всякой причины, и он испустил тяжелый вздох, вспомнив свою сосновую дощечку.

Но Римская Свеча и Бенгальский Огонь были очень возмущены и долго восклицали во весь голос:

— Вздор! Вздор! — Они были чрезвычайно здравомыслящие особы, и, когда им что-нибудь приходилось не по вкусу, они всегда говорили, что это вздор.

Тут взошла луна, похожая на сказочный серебряный щит, и на небе одна за другой зажглись звезды, а из дворца долетели звуки музыки.

Принц с Принцессой открыли бал, и танец их был так прекрасен, что высокие белые лилии, желая полюбоваться им, встали на цыпочки и заглянули в окна, а большие красные маки закивали в такт головами.

Но вот пробило десять часов, а потом одиннадцать и, наконец, двенадцать, и с последним ударом часов, возвестивших полночь, все вышли из дворца на террасу, а Король послал за Королевским пиротехником.

— Повелеваю зажечь фейерверк, — сказал Король, и Королевский пиротехник отвесил низкий поклон и направился в глубину сада. За ним следовали шесть помощников, каждый из которых нес горящий факел, прикрепленный к концу длинного шеста, и это было поистине величественное зрелище.

Пшш! Пшш! — зашипел, воспламеняясь, Огненный Фонтан.

Бум! Бум! — вспыхнула Римская Свеча.

А за ними и Шутихи заплясали по саду, и Бенгальские Огни озарили все алым блеском.

— Прощайте! — крикнул Огненный Шар, взмывая ввысь и рассыпая крошечные голубые искорки.

Хлоп! Хлоп! — вторили ему Петарды, которые веселились от души. Все участники фейерверка имели большой успех, за исключением замечательной Ракеты. Она настолько отсырела от слез, что ее так и не удалось запустить. Самой существенной частью ее был порох, а он намок, и от него не было никакого толку. А все бедные родственники Ракеты, которых она даже никогда не удостаивала разговором, разве что презрительной усмешкой, взлетели к небу и распустились волшебными огненными цветами на золотых стеблях.

— Ура! Ура! — закричали Придворные, а маленькая Принцесса засмеялась от удовольствия.

— Вероятно, они прибегают ко мне для особо торжественного случая, — сказала Ракета. — Это несомненно так. — И она исполнилась еще большего высокомерия.

На следующий день в сад пришли слуги, чтобы привести его в порядок.

— По-видимому, это делегация, — сказала Ракета. — Надо принять их так, чтобы не уронить своего достоинства. — И она задрала нос кверху и сердито нахмурилась, делая вид, что размышляет о весьма важных материях. Но слуги даже не заметили ее, и только когда они уже собрались уходить, она случайно попала на глаза одному из них.

— Гляньте! — крикнул этот слуга. — Тут какая-то негодная Ракета! — И он швырнул ее за ограду, прямо в канаву.

— Негодная Ракета? Негодная Ракета? — воскликнула она, перелетая через ограду. — Этого не может быть! Превосходная Ракета — вот что, должно быть, сказал этот человек. Негодная и Превосходная звучат почти одинаково, да, в сущности, очень часто и означают одно и то же. — И с этими словами она шлепнулась прямо в грязь.

— Не очень-то приятное место, — сказала она, — но это, без сомнения, какой-нибудь модный лечебный курорт, и они отправили меня сюда для укрепления здоровья. Что говорить, нервы у меня действительно расшатаны, и отдых мне крайне необходим.

Тут к ней подплыл маленький Лягушонок с блестя-

щими, как драгоценные камни, глазами, одетый в зеленый пятнистый мундир.

— А! Что я вижу! К нам кто-то прибыл! Что ж, в конце концов, грязь лучшее, что есть на свете. Дайте мне хорошую дождливую погоду и канаву, и я буду вполне счастлив. Как вы полагаете, к вечеру соберется дождь? Я все-таки не теряю надежды, хотя небо синее и на нем ни облачка. Такая обида!

— Кхе! Кхе! — произнесла Ракета и раскашлялась.

— Какой у вас приятный голос! — воскликнул Лягушонок. — Он очень напоминает кваканье, а разве кваканье не самая приятная музыка на свете? Сегодня вечером вы услышите выступление нашего многоголового хора. Мы сидим в старом утином пруду, что возле фермерского дома, и, как только всходит луна, начинаем наш концерт. Это нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть — все слушают нас. Да не далее как вчера жена фермера говорила своей матушке, что она из-за нас не сомкнула глаз всю ночь. Очень приятно сознавать, что ты пользуешься таким признанием, — это доставляет большое удовлетворение.

— Кхе! Кхе! — сердито кашлянула Ракета. Она была очень раздосадована тем, что ей не дадут вымолвить ни слова.

— Нет, в самом деле, какой восхитительный голос, — продолжал Лягушонок. — Я надеюсь, что вы посетите наш утиный пруд. Я отправляюсь на поиски своих дочерей. У меня шесть красавиц дочерей, и я очень боюсь, как бы их не увидела Шука. Это настоящее чудовище, она позавтракает ими — и глазом не моргнет. Итак, до свидания. Наша беседа доставила мне огромное удовольствие, поверьте.

— По-вашему, это называется беседой? — сказала Ракета. — Только вы один и говорили все время, не закрывая рта. Хороша беседа!

— Кто-то же должен слушать, — возразил Лягушонок, — а говорить я люблю сам. Это экономит время и предупреждает разногласия.

— Но я люблю разногласия, — сказала Ракета.

— Ну что вы, — миролюбиво заметил Лягушонок. — Разногласия нестерпимо вульгарны. В хорошем обществе все придерживаются абсолютно одинаковых

взглядов. Еще раз до свидания, я вижу вдаль моих дочерей. — И маленький Лягушонок поплыл прочь.

— Вы чрезвычайно нудная особа, — сказала Ракета, — и очень дурно воспитаны. Я не выношу людей, которые, подобно вам, все время говорят о себе, в то время как другому хочется поговорить о себе. Как мне, например. Я это называю эгоизмом, а эгоизм — чрезвычайно отталкивающее свойство, особенно для людей моего склада, — ведь общеизвестно, что у меня очень отзывчивая натура. Словом, вам бы следовало взять с меня пример, едва ли вам встретится еще когда-нибудь образец более достойный подражания. И раз уж представился такой счастливый случай, я бы посоветовала вам воспользоваться им, ибо в самом непродолжительном времени я отправлюсь ко двору. Если хотите знать, я в большом фаворе при дворе: не далее как вчера Принц и Принцесса сочетались браком в мою честь. Вам это, конечно, никак не может быть известно, поскольку вы типичный провинциал.

— Нет никакого смысла говорить ему все это, — сказала Стрекоза, сидевшая на верхушке длинной коричневой камышины. — Совершенно никакого смысла, ведь он уже уплыл.

— Тем хуже для него, — отвечала Ракета. — Я не собираюсь молчать только потому, что он меня не слушает, — мне-то что до этого. Я люблю слушать себя. Для меня это одно из самых больших удовольствий. Порой я веду очень продолжительные беседы сама с собой, и, признаться, я настолько образованна и умна, что иной раз не понимаю ни единого слова из того, что говорю.

— Тогда вам, безусловно, необходимо выступать с лекциями по Философии, — сказала Стрекоза и, расправив свои прелестные газовые крылышки, поднялась в воздух.

— Как это глупо, что она улетела! — сказала Ракета. — Я уверена, что ей не часто предоставляется такая возможность расширить свой кругозор. Мне-то, конечно, все равно. Такие гениальные умы, как я, рано или поздно получают признание. — И тут она еще чуть глубже погрузилась в грязь.

Через некоторое время к Ракете подплыла большая Белая Утка. У нее были желтые перепончатые лапки, и

она слыла красавицей благодаря своей грациозной походке.

— Кряк, кряк, кряк, — сказала Утка, — какое у вас странное телосложение! Осмелюсь спросить, это от рождения или результат несчастного случая?

— Сразу видно, что вы всю жизнь провели в деревне, — отвечала Ракета, — иначе вам было бы известно, кто я такая. Но я прощаю вам ваше невежество. Было бы несправедливо требовать от других, чтобы они были столь же выдающимися личностями, как ты сама. Вы, без сомнения, будете поражены, узнав, что я могу взлететь к небу и пролиться на землю золотым дождем.

— Велика важность, — сказала Утка. — Какой кому от этого прок? Вот если бы вы могли пахать землю, как вол, или возить телегу, как лошадь, или стеречь овец, как овчарка, тогда от вас еще была бы какая-нибудь польза.

— Я вижу, уважаемая, — воскликнула Ракета высокомерно-снисходительным тоном, — я вижу, что вы принадлежите к самым низшим слоям общества. Особы моего круга никогда не приносят никакой пользы. Мы обладаем хорошими манерами, и этого вполне достаточно. Я лично не питаю симпатии к полезной деятельности какого бы то ни было рода, а уж меньше всего — к такой, какую вы изволили рекомендовать. По правде говоря, я всегда придерживалась того мнения, что в тяжелой работе ищут спасения люди, которым ничего другого не остается делать.

— Ну хорошо, хорошо, — сказала Утка, отличавшаяся покладистым нравом и не любившая препираться попусту. — О вкусах не спорят. Я буду очень рада, если вы решите обосноваться тут, у нас.

— Да ни за что на свете! — воскликнула Ракета. — Я здесь гость, почетный гость, и только. Откровенно говоря, этот курорт кажется мне довольно унылым местом. Тут нет ни светского общества, ни уединения. По-моему, это чрезвычайно смахивает на предместье. Я, пожалуй, возвращусь ко двору, ведь я знаю, что мне суждено произвести сенсацию и прославиться на весь свет.

— Когда-то я тоже подумывала заняться общественной деятельностью, — заметила Утка. — Очень многое еще нуждается в реформах. Не так давно я

даже открывала собрание, на котором мы приняли резолюцию, осуждающую все, что нам не по вкусу. Однако не заметно, чтобы это имело какие-нибудь серьезные последствия. Так что теперь я целиком посвятила себя домоводству и заботам о своей семье.

— Ну, а я создана для общественной жизни, — сказала Ракета, — так же как все представители нашего рода, вплоть до самых незначительных. Стоит нам где-нибудь появиться, и мы тотчас привлекаем к себе всеобщее внимание. Мне самой пока еще ни разу не приходилось выступать публично, но, когда это произойдет, зрелище будет ослепительное. Что касается домоводства, то от него быстро стареют и оно отвлекает ум от размышлений о возвышенных предметах.

— Ах! Возвышенные предметы — как это прекрасно! — сказала Утка. — Это напомнило мне, что я основательно проголодалась. — И она поплыла вниз по канаве, восклицая: — Кряк, кряк, кряк.

— Куда же вы! Куда! — взвизгнула Ракета. — Мне еще очень многое необходимо вам сказать. — Но Утка не обратила никакого внимания на ее призыв. — Я очень рада, что она оставила меня в покое, — сказала Ракета. — У нее необычайно мешанские взгляды. — И она погрузилась еще чуть-чуть глубже в грязь и начала раздумывать о том, что одиночество — неизбежный удел гения, но тут откуда-то появились два мальчика в белых фартучках. Они бежали по краю канавы с котелком и вязанками хвороста в руках.

— Это, вероятно, делегация, — сказала Ракета и постаралась придать себе как можно более величественный вид.

— Гляди-ка! — крикнул один из мальчиков. — Вон какая-то грязная палка! Интересно, как она сюда попала. — И он вытащил Ракету из канавы.

— Грязная Палка! — сказала Ракета. — Неслыханно! Грозная Палка — хотел он, по-видимому, сказать. Грозная Палка — это звучит очень лестно. Должно быть, он принял меня за одного из придворных Сановников.

— Давай положим ее в костер, — сказал другой мальчик. — Чем больше дров, тем скорее закипит котелок.

И они свалили хворост в кучу, а сверху положили Ракету и разожгли костер.

— Но это же восхитительно! — воскликнула Ракета. — Они собираются запустить меня среди бела дня, так, чтобы всем было видно.

— Ну, теперь мы можем немножко соснуть, — сказали мальчики. — А когда проснемся, котелок уже закипит. — И они растянулись на траве и закрыли глаза.

Ракета очень отсырела и поэтому долго не могла воспламениться. Наконец ее все же охватило огнем.

— Ну, сейчас я взлечу! — закричала она, напыжилась и распрямилась. — Я знаю, что взлечу выше звезд, выше луны, выше солнца. Словом, я взлечу так высоко... Пшш! Пшш! Пшш! — И она взлетела вверх. — Упоительно! — вскричала она. — Я буду лететь вечно! Воображаю, какой я сейчас произвожу фурор.

Но никто ее не видел.

Тут она почувствовала странное ощущение щекотки во всем теле.

— А теперь я взорвусь! — закричала она. — И я охвачу огнем всю землю и наделаю такого шума, что ни о чем другом никто не будет говорить целый год. — И тут она и в самом деле взорвалась. Бум! Бум! Бум! — вспыхнул порох. В этом не могло быть ни малейшего сомнения.

Но никто ничего не услышал, даже двое мальчиков, потому что они спали крепким сном.

Теперь от Ракеты осталась только палка, и она упала прямо на спину Гусыни, которая вышла прогуляться вдоль канавы.

— Господи помилуй! — вскричала Гусыня. — Кажется, начинает накрапывать... палками! — И она поспешно плюхнулась в воду.

— Я знала, что произведу сенсацию, — прошипела Ракета и погасла.

ЮНЫЙ КОРОЛЬ

*Посвящается Маргарет
леди Брук рани Саравака⁶*

В ночь накануне того дня, когда была назначена коронация, юный Король сидел в одиночестве в своих прекрасных покоях. Все придворные попрощались с ним, отвесив, по обычаю того времени, земной поклон, и удалились в Большой зал дворца, чтобы выслушать последние наставления от Профессора Этикета, поскольку некоторые из них все еще держались совершенно естественно, а это, надо вам заметить, весьма серьезный проступок со стороны придворного.

Их уход не вызвал сожалений у мальчика — ведь он и был всего только мальчиком шестнадцати лет от роду, — с глубоким вздохом облегчения откинулся он на мягкие подушки своего расшитого узорами ложа и лежал с испуганными глазами и приоткрытым ртом, словно смуглый лесной Фавн или молодое животное из заповедной рощи, только что пойманное охотниками.

А его и впрямь отыскивали охотники, случайно повстречавшие его, когда он, босоногий, со свирелью в руках, гнал стадо коз бедного пастуха, который его вырастил и сыном которого он всегда себя считал. Ребенок единственной дочери старого Короля от тайного брака с человеком много ниже ее по своему положению — чужеземцем, как утверждали одни, который волшебством — чудесной игрой на лютне — внушил любовь юной Принцессе; другие поговаривали о художнике из Римини⁷, которому Принцесса оказала большую, может быть чересчур большую, честь и который внезапно исчез, так и не закончив своей работы в Соборе, — итак, ребенок единственной дочери старого Короля, когда ему исполнилась всего неделя, был похищен прямо от матери, пока она спала, и отдан на воспитание простому крестьянину и его жене, не имевшим своих детей и жившим далеко в лесу, откуда до города и

за день не доедешь. Горе ли, или болезнь, как утверждал придворный лекарь, или же быстро действующий итальянский яд, подмешанный в бокал пряного вина, как полагали другие, убили невинную, что произвела его на свет, через час после ее пробуждения; и когда доверенный гонец Короля, увезший ребенка на луке седла, еще только склонялся с утомленной лошади и стучал в дверь убогой хижины пастуха, тело Принцессы уже опускали в свежерытую могилу на заброшенном кладбище за городскими воротами, где, как поговаривали, будто бы покоилось другое тело — того юноши дивной чужеземной красоты, и руки его были связаны за спиной веревкой, стянутой узлом, а на груди зияло множество кровавых ран, нанесенных кинжалом.

Во всяком случае, такую историю передавали шепотом люди из уст в уста. Несомненно лишь, что на смертном одре старый Король, то ли движимый раскаянием в содеянном им грехе, то ли не желая, чтобы королевство досталось человеку чужого рода, велел послать за мальчиком и перед лицом Совета провозгласил его своим наследником.

И кажется, будто с первого же мгновения, как он был признан, в нем проявились признаки того странного влечения к красоте, которому суждено было так сильно повлиять на его жизнь. Те, кто сопровождал его в отведенные ему покои, часто рассказывали, какой восхищенный возглас сорвался с его губ, когда он увидел приготовленные для него изысканные одеяния и дорогие украшения, с какой почти неистовой радостью он сбросил свою куртку из толстой кожи и грубый плащ из овечьей шкуры. Правда, временами он тосковал о своей привольной лесной жизни, и его неизменно сердили утомительные дворцовые церемонии, отнимавшие ежедневно столько времени, но чудесный дворец — дворец Joyeuse⁸, как его называли, — владельцем которого он теперь стал, казался ему новым миром, заново украшенным по его велению, и, как только ему удавалось ускользнуть с заседания Совета или из зала аудиенций, он сбегал вниз по парадной лестнице с бронзовыми позолоченными львами и ступенями из чистого порфира и бродил по комнатам и переходам, словно человек, который надеется обрести в красоте некое утоляющее боль средство, своего рода исцеление.

В этих путешествиях за открытиями, как он сам их называл — а для него это и впрямь были дивные странствия по дивной стране, — его иногда сопровождали стройные белокурые пажы в развевающихся накидках и ярких трепещущих лентах, но чаще он ходил один, каким-то чутьем, которое сродни пророческому дару, угадав, что тайны искусства лучше всего постигаются втайне и что, подобно Мудрости, Красота любит одиноких почитателей.

Много забавных историй рассказывали о нем в эту пору. Говорили, будто дородный Бургомистр, явившийся, чтобы произнести цветистую речь — приветствие от имени жителей города, — застал его коленопреклоненным и замеревшим в истинном восхищении перед огромной картиной, которая была только что доставлена из Венеции и, видимо, предвещала поклонение каким-то новым богам. В другой раз он пропадал несколько часов, и после длительных поисков его обнаружили в маленькой комнатке в одной из северных башен дворца — он словно в трансе рассматривал греческую гемму с фигурой Адониса. Ходила молва, будто видели, как он своими теплыми губами припал к мраморному челу античной статуи, которую нашли на дне реки при сооружении каменного моста и на которой было высечено имя вифинского раба императора Адриана⁹. Он провел целую ночь, созерцая игру лунного света на серебряном изваянии Эндимиона¹⁰.

Его, безусловно, очаровывали все редкие и дорогие вещи, и, сгорая от желания получить их, он разослал повсюду множество купцов: к диким рыбакам северных морей — за янтарем, в Египет — за той странной, зеленой бирюзой, что находят лишь в царских гробницах, в Персию — за шелковыми коврами и расписными сосудами, в Индию — за кисеей и разрисованной слоновой костью, за лунным камнем и браслетами из яшмы, за сандалом, голубой эмалью и шальями из тонкой шерсти.

Но больше всего занимали его сотканная из золотых нитей мантия, которую ему предстояло надеть на коронацию, корона с рубинами и скипетр, усыпанный жемчугом, выложенным рядами и кругами. Об этом он как раз и думал в ту ночь, раскинувшись на роскошном

ложе, глядя на огромное сосновое полено, догоравшее в камине. Много месяцев назад ему доставили эскизы, принадлежавшие кисти знаменитейших художников того времени, и он повелел, чтобы ремесленники трудились день и ночь, стараясь их воплотить, и чтобы по всему свету искали драгоценные камни, которые были бы достойны их работы. В своем воображении он увидел себя перед высоким алтарем в соборе в прекрасном королевском облачении, и улыбка заиграла на его детских губах и не сходила с них, ярким сиянием озаряя его темные лесные глаза.

Спустя некоторое время он поднялся со своего ложа и, прислонясь к резному навесу над камином, окинул взглядом полуосвещенные покои. Стены были увешаны богатыми гобеленами, изображающими Триумф Красоты. Один угол занимал огромный шкаф, выложенный агатом и ляпис-лазурью, напротив окна стоял дивной работы сервант с золочеными лакированными стенками, покрытыми золотой мозаикой, в котором помещались изящные бокалы венецианского стекла и кубок из темного, в прожилках оникса. На шелковом покрывале, устилавшем его ложе, были вышиты бледные маки, словно выпавшие из усталых рук сна; высокие, стройные, как тростник, колонны из точеной слоновой кости поддерживали бархатный балдахин, над которым, словно белая пена, вздымались к бледному серебру резного потолка огромные султаны страусовых перьев. В головах смеющийся Нарцисс из позеленевшей бронзы держал полированное зеркало. На столе стоял плоский фиал из аметиста.

Он видел за окном огромный купол собора, округлый контур которого нависал над призрачными домами, и усталых часовых, шагавших взад и вперед по окутанной туманом террасе у реки. Вдали, в саду, пел соловей. Из открытого окна тянуло слабым ароматом жасмина. Откинув со лба темные кудри, он взял лютню и пробежал пальцами по струнам. Тяжелые веки смежились, и странная усталость овладела им. Никогда прежде не испытывал он с такой остротой, или с такой бесконечной радостью, магию и таинство красивых вещей.

Когда башенные часы пробили полночь, он позвонил в колокольчик, явились пажи и раздели его с великими церемониями, омыв ему руки розовой водой и

осыпав его подушку цветами. И стоило лишь им покинуть комнату, как он тотчас заснул.

И когда он спал, ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он стоит в длинном зале с низким потолком, под самой крышей, среди жужжания и грохота множества ткацких станков. Тусклый свет сочился сквозь зарешеченные окна, позволяя различить изможденные фигуры, склонившиеся над работой. Бледные, болезненного вида дети сидели, скрючившись, на поперечных балках. Когда челноки проходили через основу, они поднимали тяжелые красна, а когда челноки останавливались, они их отпускали, и те, падая, прижимали одну нить к другой. Их лица осунулись от голода, тонкие ручки тряслись и дрожали. У стола сидело несколько изможденных женщин, они шили. Ужасное зловоние наполняло пространство. Воздух был тяжелый и смрадный, на стенках каплями проступала влага, струйками стекая вниз.

Юный Король подошел к одному из ткачей и остановился, наблюдая за ним.

Ткач сердито посмотрел на него и сказал:

— Ты чего наблюдаешь за мной? Ты шпион, которого хозяин приставил следить за нами?

— Кто твой хозяин? — спросил юный Король.

— Наш хозяин! — воскликнул ткач с горечью. — Он такой же человек, как и я. Право, между нами только и разницы, что он носит прекрасные одежды, тогда как я хожу в отрепьях, и, в то время как я слабею от голода, он едва ли страдает от обжорства.

— Это свободная страна, — сказал юный Король, — и ты не раб.

— На войне, — отвечал ткач, — сильные превращают в рабов слабых, а в мирное время богатые превращают в рабов бедняков. Чтобы жить, мы должны трудиться, а они дают нам такую скудную плату, что мы умираем. Мы корпим на них целый день, а у них груды золота в сундуках, наши дети вянут до времени, и лица тех, кого мы любим, грубеют и становятся злыми. Мы давим виноград, а вино пьют другие. Мы сеем хлеб, но наш стол пуст. Мы влачим цепи, хотя они и невидимы глазу, и, хотя нас называют свободными, мы рабы.

— И это относится ко всем? — спросил юный Король.

— Ко всем, — отвечал ткач, — как к молодым, так и к старым, и к женщинам так же, как к мужчинам, к малолетним так же, как к престарелым. Торговцы сдирают с нас шкуру, и нам поневоле приходится делать, что они велят. Приедет священник, прочитает молитвы, перебирая четки, а до нас никому нет дела. По нашим улицам, что не знают солнца, крадется Нищета с голодными глазами, а за ней по пятам — Грех с испытанным лицом. Беда будит нас поутру, и Стыд сидит с нами по вечерам. Но что тебе до всего этого? Ты не из нашего числа. У тебя слишком счастливое лицо.

И он отвернулся, нахмурившись, и запустил уток на своем станке, и юный Король увидел, что в него вложена золотая нить.

И великий ужас охватил его, и он спросил ткача:

— Что за мантию ты ткешь?

— Это мантия для коронации юного Короля, — отвечал тот. — Тебе-то что до этого?

И юный Король громко вскрикнул и проснулся, и — о чудо! — он был в своих покоях, и в окне он увидел огромную луну цвета меда, висевшую в темном небе.

И он снова заснул, и ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он возлежит на палубе огромной галеры, где была сотня рабов, которые гребли. На ковре рядом с ним сидел хозяин галеры. Он был черен, как эбеновое дерево, и на голове у него был тюрбан алого шелка. Громадные серебряные серьги оттягивали толстые мочки его ушей, в руках он держал весы из слоновой кости.

На рабах не было ничего, кроме рваных набедренных повязок, и каждый был прикован цепью к соседу. Жаркое солнце нещадно палило их, взад и вперед по проходу бегали негры, осыпая их ударами кожаных бичей. Они вытягивали тощие руки и, налегая на тяжелые весла, рассекали ими воду. От весел разлетались соленые брызги.

Наконец они достигли небольшого залива и стали измерять глубину. С берега дул легкий ветер, покрывая палубу и огромный треугольный парус мельчайшей красной пылью. Показались три араба на диких ослах и метнули в них копья. Хозяин галеры взял расписной

лук и сразил одного из них, попав тому в шею. Он тяжело свалился в прибрежную пену, а его товарищи ускакали. За ними последовала закутанная в желтое покрывало и чадру женщина на медленно ступавшем верблюде, время от времени оглядываясь на труп.

Как только они бросили якорь и убрали парус, негры спустились в трюм и принесли оттуда длинную веревочную лестницу с тяжелыми свинцовыми грузилами. Хозяин галеры привязал концы к железным пиллерсам и перекинул лестницу через борт. Потом негры схватили самого юного из рабов, сбили его кандалы, залили ему ноздри и уши воском и привязали к поясу большой камень. Устало он сполз по лестнице вниз и исчез в море. Там, где он погрузился в воду, поднялось несколько пузырьков. Некоторые рабы с любопытством смотрели за борт. На носу галеры сидел заклинатель акул и монотонно бил в барабан.

Спустя некоторое время ныряльщик показался над водой и, тяжело дыша, ухватился за лестницу — в правой руке у него была жемчужина. Негры выхватили ее и опять столкнули его в воду. Рабы заснули у своих весел.

Снова и снова поднимался он, принося каждый раз прекрасную жемчужину. Хозяин галеры взвешивал их и опускал в маленький мешочек из зеленой кожи.

Юный Король пытался заговорить, но язык его словно прилип к небу, и губы отказывались шевелиться. Болтавшие друг с другом негры затеяли ссору из-за нитки ярких бус. Над галерой все кружила и кружила пара журавлей.

Потом пловец поднялся на поверхность в последний раз, и жемчужина, которую он принес, была прекраснее всех жемчугов Ормуза¹¹, потому что по форме она была словно луна в полнолуние, и была она бледнее утренней звезды. Но лицо раба заливала странная бледность, и, когда он упал на палубу, из носа и ушей его хлынула кровь. Некоторое время его сотрясала дрожь, потом он затих. Негры пожали плечами и бросили тело за борт.

Владелец галеры рассмеялся, протянул руку и взял жемчужину, и когда он увидел ее, то прижал ее ко лбу и поклонился.

— Она пойдет, — сказал он, — на скипетр юного Короля, — и подал знак неграм сниматься с якоря.

И когда юный Король услышал это, он громко вскрикнул и проснулся и увидел в окно, как рассвет длинными серыми пальцами цепляется за меркнущие звезды.

И он снова заснул, и ему приснился сон, и вот что ему приснилось. Ему привиделось, будто он идет по темному лесу среди деревьев, увешанных странного вида плодами и покрытых прекрасными ядовитыми цветами. Гадюки шипели, когда он проходил мимо, и яркие попугаи с криком перелетали с ветки на ветку. Огромные черепахи спали, разлегшись в горячей болотной тине. На деревьях сидело множество обезьян и павлинов.

Шел он шел, пока не вышел на опушку, и тут он увидел несметное скопище людей, которые работали в русле высохшей реки. Они кишели на склоне утеса, точно муравьи. Они рыли в земле глубокие ямы и спускались в них. Кто-то отбивал камень большим кайлом, кто-то рылся в песке. Они вырывали с корнями кактус и топтали алые цветы. Они торопились, перекликаясь друг с другом, ни один не сидел без дела.

Из темной пещеры за ними наблюдали Смерть и Жадность, и Смерть проговорила:

— Я устала; отдай мне третью часть этих людей и отпусти меня.

Но Жадность покачала головой.

— Это мои слуги, — отвечала она.

И Смерть сказала ей:

— Что у тебя в руке?

— У меня три зернышка, — ответила та, — а тебе что до этого?

— Дай мне одно из них, — воскликнула Смерть, — я посажу его у себя в саду; только одно, и я уйду.

— Ничего я тебе не дам, — сказала Жадность и спрятала руку в складках платья.

И Смерть рассмеялась и, взяв кружку, опустила ее в лужу, и из кружки вышла Малярия. Прошла она среди великого скопища людей, и треть из них полегла, сраженная насмерть. Следом за ней плыл холодный туман, а рядом скользили водяные змеи.

И когда увидела Жадность, что треть людей полегла, ударила она себя в обнаженную грудь и возопила.

— Ты убила треть моих слуг, — кричала она, — уби-

райся отсюда. В горах Татарии¹² идет война, и цари обеих сторон призывают тебя. Афганцы зарезали черного быка и выступили в поход. Они ударили копьями по своим щитам и надели железные шлемы. На что тебе моя долина, что ты медлишь здесь? Убирайся отсюда и никогда больше не появляйся здесь.

— Нет, — отвечала Смерть, — не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна.

Но Жадность сжала руку и стиснула зубы.

— Ничего я тебе не дам.

И Смерть рассмеялась и, подняв черный камень, бросила его в лес, и из зарослей дикого болиголова вышла Лихорадка в огненном облачении. Прошла она среди скопища людей, прикасаясь к ним, и каждый, кого она коснулась, умирал. И когда она проходила, трава жухла у нее под ногами.

И Жадность содрогнулась и посыпала голову пеплом.

— Ты жестока, — воскликнула она, — жестока! Голод царит в обнесенных стенами городах Индии, и водоемы Самарканда пересохли. Голод царит в обнесенных стенами городах Египта, а из пустыни налетела саранча. Нил не разлился, и жрецы взывают к милости Изиды и Озириса¹³. Отправляйся к тем, кому ты нужна, и оставь мне моих слуг.

— Нет, — отвечала Смерть, — не уйду, пока ты не дашь мне одного зерна.

— Ничего я тебе не дам, — сказала Жадность.

И Смерть снова рассмеялась и, вложив пальцы в рот, свистнула, и по воздуху прилетела женщина. На лбу у нее было написано: «Чума», и стая тощих хищных птиц кружила вокруг нее. Накрыла она долину своими крыльями, и не осталось там ни одной живой души.

С воплем помчалась Жадность по лесу, а Смерть вскочила на своего красного коня и ускакала прочь, и неслась она быстрее ветра.

И из вязкого ила на дне долины выползли драконы и ужасные твари, покрытые чешуей, и по песку трусцой прибежали шакалы, нюхая ноздрями воздух.

И заплакал юный Король и сказал:

— Кто были эти люди и что они искали?

— Рубины для короны юного Короля, — ответил кто-то у него за спиной.

И юный Король вздрогнул и, обернувшись, увидел человека в облачении паломника; который держал в руке серебряное зеркало.

И он побледнел и сказал:

— Какого короля?

— Посмотри в зеркало, и ты увидишь его, — ответил паломник.

И он посмотрел в зеркало и, увидев собственное лицо, громко вскрикнул и проснулся, — яркий свет струился в комнату, и на ветвях деревьев и на лужайках распевали птицы.

Тут к нему вошли Канцлер и другие государственные мужи и почтительно поклонились ему, и пажи принесли ему златотканую мантию и положили перед ним корону и скипетр.

Поглядел на них юный Король, и были они прекрасны. Прекраснее всего, что он когда-либо видел. Но он вспомнил свои сны и сказал своим вельможам:

— Унесите эти вещи, потому что я не стану их носить.

И придворные удивились, а некоторые из них рассмеялись, так как решили, что он шутит.

Но он сурово заговорил с ними снова и сказал:

— Унесите эти вещи, уберите их с моих глаз. Хотя это и день моей коронации, я не надену их. Ибо на станке Скорби бледными руками Боли была соткана эта мантия. Кровь сокрыта в сердце рубина, и Смерть — в сердце жемчужины.

И он поведал им три своих сна.

И, выслушав его, придворные переглянулись и стали шептаться, говоря:

— Он поистине сошел с ума, ибо сон только и есть что сон, а видение — лишь видение и не больше. На самом деле ничего такого не было, и незачем обращать на это внимания. И что нам за дело до жизни тех, кто работает на нас? Что же, человеку и хлеба не есть, покуда он не увидит сеятеля, и вина не пить, покуда не поговорит с виноделом?

И Канцлер заговорил с юным Королем и сказал:

— Повелитель мой, умоляю тебя, оставь свои черные мысли, надень эту дивную мантию и возложи этот венец на свою голову. Ибо как узнают люди, что ты король, если на тебе не будет королевского облачения?

И юный Король посмотрел на него.

— Это действительно так? — спросил он. — Они не узнают, что я король, если на мне не будет королевского облачения?

— Они не узнают тебя, мой повелитель, — воскликнул Канцлер.

— Я думал, что есть люди, которые походят на королей, — ответил он, — но, возможно, все так и есть, как ты говоришь. И все же я не надену этой мантии и не стану венчаться этим венцом, но выйду из дворца в том виде, в каком я пришел сюда.

И он велел всем покинуть его, кроме одного паж, паренька, который был на год моложе его и которого он оставил при себе ради общества и за его службу. И когда он омылся чистой водой, он открыл большой расписной сундук и достал из него кожаную куртку и грубый плащ из овечьей шкуры — те, что он носил, когда гонял на склоне холма стадо лохматых коз. Их-то он и надел и взял в руку грубый пастушеский посох.

И, открыв в изумлении голубые глаза, маленький паж спросил его с улыбкой:

— Повелитель мой, я вижу твою мантию и твой скипетр, но где же твоя корона?

И юный Король сорвал ветку шиповника, обвивавшего балкон, согнул ее кольцом и возложил себе на голову.

— Вот что будет мне короной, — ответил он.

И в таком облачении он вышел из своих покоев в Большой зал, где его дожидались вельможи.

И вельможи развеселились, и некоторые из них кричали ему:

— Мой повелитель, люди ждут своего короля, а ты показываешь им нищего!

А другие разгневались и сказали:

— Он позорит наше государство и недостойн быть нашим властелином.

Но он не промолвил в ответ ни единого слова, спустился по лестнице из яркого порфира и вышел через бронзовые ворота, сел на коня и направился к собору; рядом с ним бежал маленький паж.

И люди смеялись и говорили:

— Это едет королевский шут, — и издевались над ним.

И, натянув поводья, он придержал коня и сказал:

— Нет, не шут — Король. — И он поведал им три своих сна.

И вышел из толпы человек, и с горечью заговорил с ним, и сказал:

— Ужели неведомо тебе, господин, что из роскоши богача возрастает жизнь бедняка? Ваша пышность питает нас, и ваши пороки дают нам хлеб. Работать на хозяина несладко, но, когда нет хозяина, на которого можно работать, и того горше. Или ты думаешь, что вóроны нас прокормят? И каким снадобьем станешь ты врачевать все это? Велишь ли покупателю: «Купи за столько-то», — и продавцу: «Продай по такой цене»? Едва ли. А посему возвращайся во Дворец и надень свою пурпурную мантию и одежды из тонкого полотна. Что тебе до нас и до наших страданий?

— Разве богатый и бедный — не братья? — спросил юный Король.

— Да, — отвечал человек, — и богатому брату имя — Каин.

И глаза юного Короля наполнились слезами, и он проследовал дальше сквозь ропот толпы, и маленький паж испугался и покинул его.

И когда он достиг главного портала собора, солдаты преградили ему путь своими алебардами и сказали:

— Ты чего тут ищешь? Никто, кроме Короля, не войдет в эти двери.

И лицо его вспыхнуло гневом, и он сказал им:

— Я — ваш Король, — и, отстранив рукой алебарды, вошел в собор.

И, когда старый епископ увидел его в пастушьем наряде, он в изумлении поднялся со своего престола, и пошел навстречу ему, и сказал:

— Это ли облачение Короля, сын мой? И какой короной я увенчаю тебя, и какой скипетр вложу в твою руку? Воистину этот день должен быть для тебя днем радости, а не днем унижения.

— Пристало ли Радости облачаться в то, что сотворено руками Скорби? — сказал юный Король. И он поведал ему три своих сна.

И, когда епископ выслушал их, он нахмурился и сказал:

— Сын мой, я стар и на закате дней моих знаю, что немало зла творится на белом свете. Беспощадные разбойники спускаются с гор и похищают малых детей и продают их маврам. Львы лежат, поджидая караваны, и нападают на верблюдов. Дикий вепрь уничтожает посе-вы в долине, а лисы подгрызают лозы в винограднике на холме. Пираты разоряют побережье, сжигают суда рыбаков и отнимают у них сети. В засоленных низинах, в хижинах из плетеного тростника живут прокаженные, и никто не смеет подойти близко к ним. Нищие бродят по городам и едят одну пищу с собаками. В твоих ли силах искоренить это? Положишь ли ты прокаженного с собой в постель и посадишь ли нищего за свой стол? Станет ли лев выполнять твои приказания и дикий вепрь повиноваться тебе? И не мудрее ли тебя Тот, кто создал страдание? Оттого я не восхваляю тебя за содеянное тобою, но повелеваю тебе возвратиться во Дворец и, оставив печаль, надеть облачение, какое пристало Королю, и я увенчаю тебя золотой короной и вложу тебе в руки жемчужный скипетр. А что до твоих снов, не думай о них более. Бремя мира сего слишком тяжело, и его не снести одному человеку, и мировая скорбь слишком велика, и ее не выстрадать одному сердцу.

— И ты говоришь это в этом доме? — сказал юный Король и, пройдя мимо епископа, поднялся по ступеням алтаря и остановился пред образом Христа.

Он стоял пред образом Христа, а справа и слева от него помещались дивные золотые сосуды: кубок с желтым вином и потир с елеем. Он преклонил колена пред образом Христа, и ярко вспыхнули огромные свечи перед усыпанной драгоценностями святыней, и тонкими голубыми колечками заструился к куполу дым от ладана. Он склонил голову в молитве, и священники в негнущихся ризах, крадучись, удалились из алтаря.

И вдруг снаружи донесся страшный шум, и в храм, обнажив мечи, вошли вельможи с развевающимися плюмажами и щитами из блестящей стали.

— Где этот сновидец, видящий сны? — кричали они. — Где этот Король, что обрядился, точно нищий, этот мальчишка, что позорит наше государство? Правдо же, мы убьем его, потому что он недостоин властвовать над нами.

И юный Король вновь склонил голову и сотворил

молитву, и, окончив молитву, он поднялся и, обернувшись, посмотрел на них с грустью.

И — о чудо! — сквозь витражи устремился на него солнечный свет, и солнечные лучи соткали вокруг него мантию прекраснее той, что изготовили по его велению. Мертвый посох расцвел и покрылся лилиями белее жемчужин. Сухая ветка в шипах расцвела и покрылась розами краснее рубинов. Белее дивных жемчужин были лилии, и их стебли мерцали серебром. Краснее редчайших рубинов были розы, и листья их были из чеканного золота.

Он стоял там в королевском облачении, и покрытые драгоценностями створки святыни отворились, и кристалл в лучистой дароносице воссиял чудесным таинственным светом. Он стоял там в королевском облачении, и божественное сияние наполнило храм, и казалось, будто святые движутся в своих каменных нишах. В прекрасном королевском облачении он стоял перед ними, и гремели раскаты органа, и трубачи трубили в трубы, и пели мальчики в хоре.

И люди в благоговении упали на колени, и вельможи вложили в ножны свои мечи и воздали ему почести, и лицо епископа побледнело, и руки его задрожали.

— Тебя короновал Тот, кто могущественнее меня! — воскликнул он и опустился перед ним на колени.

И юный Король спустился с высокого алтаря и направился во Дворец сквозь толпу людей. Но ни один не осмелился взглянуть на его лицо, потому что оно было подобно лику ангела.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНФАНТЫ

*Г-же Гренфелл из Теплоу Корт
(леди Десборо)*

То был день рождения Инфанты¹⁴. Ей исполнилось двенадцать лет, и солнце ярко светило в дворцовом парке. Хотя она была самой настоящей Принцессой и Инфантой Испанской, день рождения у нее бывал раз в году, совсем как у детей бедных родителей; само собой разумеется, для всей страны было очень важно, чтобы этот день удался на славу. День и правда удался на сла-

ву. Высокие полосатые тюльпаны навтыжку стояли на своих стеблях, словно длинные шеренги солдат, и задорно поглядывали через газон на розы, говоря: «Теперь и мы не хуже!» Вокруг порхали пурпурные бабочки с золотистой пыльцой на крылышках и не пропускали ни одного цветка; ящерики повылезали из расщелин стены и лежа грелись в ослепительном белом блеске солнца; плоды гранатов, трескаясь и лопаясь от зноя, обнажали свои кровоточащие красные сердца. Даже бледно-желтые лимоны, в таком изобилии висевшие на расшатанных решетках и в тени аркад, казалось, обрели под чудесным солнечным светом более насыщенный оттенок, а магнолии раскрыли свои большие шарообразные цветы, словно выточенные из слоновой кости, и напоили воздух густым сладостным ароматом.

Сама маленькая Принцесса прогуливалась по террасе со своею свитой и играла в прятки возле каменных вазонов и старых, замшелых статуй. В обычные дни ей дозволялось играть только с детьми королевского достоинства, и потому ей всегда приходилось проводить время в одиночестве, но в день ее рождения было сделано исключение, и, согласно распоряжениям Короля, она могла пригласить в гости тех своих юных друзей, которые ей по нраву, и веселиться вместе с ними. Была величавая прелесть в прогуливавшихся с нею изящных испанских детях: на мальчиках были шляпы с плюмажем и короткие развевающиеся плащи, девочки придерживали шлейфы длинных парчовых платьев и закрывали глаза от солнца массивными веерами цвета черного серебра. Но Инфанта была прелестнее всех, и платье на ней было в лучшем вкусе, согласно несколько тяжеловесной моде того времени. На ней был серый атласный наряд, юбка и широкие рукава буфами расшиты были серебром, а жесткий корсаж усеян рядами прекрасных жемчужин. При каждом шаге из-под платья выглядывали туфельки с большими розовыми помпонами. Ее веер из розовой кисеи покрывали жемчужины, а в волосах, которые бледно-золотым ореолом обрамляли ее лицо, была прекрасная белая роза.

Из дворцового окна на детей смотрел печальный, погруженный в меланхолию Король. За спиною у него стоял ненавистный ему брат, дон Педро Арагонский, а рядом с ним сидел его исповедник, Великий Инквизи-

тор Гранады¹⁵. И был Король печальнее обычного, ибо, глядя, как Инфанта с детской серьезностью отвечает на поклоны придворных или, закрывшись веером, смеется над мрачной Герцогиней Альбукеркской¹⁶, всегда ее сопровождавшей, он вспомнил ее мать, молодую Королеву, которая еще совсем недавно — так казалось ему — приехала из веселой французской земли и увяла в мрачном великолепии Испанского Двора, скончавшись всего через полгода после рождения дочери и не успев во второй раз увидеть, как цветет миндаль в саду, и собрать второй урожай со старой кривой смоковницы, стоящей посреди двора, ныне поросшего травой. Так велика была любовь Короля, что он не потерпел, чтобы могила скрыла от него Королеву. Ее тело бальзамировал мавританский врач, и в награду за эту услугу ему была дарована жизнь, на которую, как поговаривали, за еретичество и по подозрению в колдовстве уже покушалась Святая Инквизиция, и тело Королевы по-прежнему пребывало на застланном гобеленами ложе в черной мраморной часовне Дворца таким же, каким внесли его туда монахи в тот ветреный мартовский день двенадцать лет назад. Раз в месяц Король, завернувшись в темный плащ и держа в руке потайной фонарь, входил в часовню и опускался на колени рядом с Королевой, взывая: «*Mi geina! Mi geina!*»^{*} — а порой, поправ формальный этикет, который в Испании царит надо всем, что делает человек, и ставит предел даже скорби Короля, он в безумном припадке горя сжимал ее бледные, украшенные перстнями руки и пытался неистовыми поцелуями разбудить холодное раскрашенное лицо.

Сегодня он, казалось, снова видел ее такой, какой встретил впервые, в замке Фонтенбло¹⁷, когда ему едва исполнилось пятнадцать лет, а она была еще моложе. Тогда они по всей форме были обручены Палским Нунцием¹⁸ в присутствии французского Короля и всего двора, и он воротился в Эскуриал¹⁹, унося с собою колечко светлых волос и воспоминание о детских губах, поцеловавших его руку, когда он садился в карету. Потом была свадьба, спешно совершившаяся в Бургосе, маленьком городке на границе двух государств, и торжест-

* Моя Королева! Моя Королева! (*исп.*)

венный въезд в Мадрид, где согласно обычаю отслужили молебен в церкви Ла Аточа и с бóльшим, чем обычно, размахом провели auto-da-fé²⁰, на котором для сожжения в руки светских властей было передано около трехсот еретиков, и среди них — много англичан.

Да, он безумно любил ее — и, как считали многие, во вред собственной стране, воевавшей в то время с Англией за владения в Новом Свете. Он не отпускал ее от себя ни на шаг; ради нее он забыл — или казалось, что забыл, — все важные государственные дела и с ужасающей слепотой, которой награждает своих служителей страсть, не замечал, что хитроумные церемонии, которыми он хотел порадовать ее, лишь усиливали ту непонятную болезнь, от которой она страдала. Когда она умерла, Король на какое-то время словно лишился разума. Он, несомненно, отрекся бы от престола и удалился в большой монастырь траппистов²¹ в Гранаде, почетным настоятелем которого он был, если бы не боялся оставить маленькую Инфанту на милость брата, который, даже по испанским меркам, славился жестокостью и которого многие подозревали в том, что это он умертвил Королеву с помощью пары отравленных перчаток, поднесенных ей в честь ее приезда в его замок в Арагоне. Даже по истечении официального трехлетнего траура, объявленного во всех владениях Короля особым эдиктом, он и слушать не хотел, когда министры заговаривали о новом супружестве, и когда сам Император²² направил к нему послов и предложил ему руку очаровательной Эрцгерцогини Богемской, своей племянницы, он велел послам ответить их повелителю, что Король Испании уже обвенчан со Скорбью, и, хотя она не принесет ему потомства, он любит ее сильнее Красоты; этот ответ стоил его короне богатых нидерландских провинций, которые, вняв подстрекательствам Императора, вскоре восстали против Короля, руководимые фанатиками реформистской церкви²³.

Вся его супружеская жизнь с неистово-жгучими радостями и ужасной агонией ее внезапного конца сегодня, казалось, возвращалась к нему, когда он смотрел на Инфанту, игравшую на террасе. Ей была присуща милая порывистость Королевы, она так же своенравно скидывала голову, так же горделиво кривила прекрасные губы, так же чудесно улыбалась, воистину

vrai sourire de France*, когда время от времени поглядывала на окно или протягивала ручку для поцелуя величавым испанским придворным. Но громкий смех детей резал ему ухо, и яркое безжалостное солнце потешалось над его печалью, и неясный запах тех странных снадобий, которые применяются при бальзамировании, осквернял — или ему только это чудилось — чистый утренний воздух. Он закрыл лицо руками, и, когда Инфанта вновь подняла глаза, занавесь была задернута и Король уже удалился.

Она состроила разочарованную moue** и пожала плечами. Король, конечно, мог бы побыть с нею в день ее рождения. Кому нужны эти глупые государственные дела? Или же он направился в ту мрачную часовню, где всегда горят свечи и куда ее никогда не пускают? Как это нелепо — ведь ярко светит солнце, и все так счастливы! И потом, он пропустит шуточный бой быков, на который уже зовет труба, не говоря о кукольном театре и прочих чудесах. То ли дело ее дядя и Великий Инквизитор! Они вышли на террасу и наговорили ей милых комплиментов. И вот, вскинув головку, она взяла дону Педро под руку и, спустившись по ступеням, медленно пошла к большому шатру пурпурного шелка, а другие дети, пропуская вперед более знатных, последовали за нею, и первыми шли те, кто носил самые длинные имена.

Навстречу ей вышла процессия юных дворян, одетых в фантастические костюмы тореадоров, и молодой граф Тьерра-Нуэва, поразительно красивый отрок лет четырнадцати, обнажив голову со всей грацией урожденного испанского идалго и гранда²⁴, торжественно подвел ее к маленькому креслу из золота и слоновой кости, стоявшему на помосте над ареной. Дети, перешептываясь и обмахиваясь веерами, встали вокруг, а дон Педро и Великий Инквизитор, посмеиваясь, остановились у входа. Даже Герцогиня — или, как называли ее, Старшая Камерера²⁵ — сухопарая дама с резкими чертами лица, в платье с жестким плоеным воротником, и та, казалось, пребывала не в столь скверном настроении, как обычно, и подобие ледяной улыбки

* Настоящая французская улыбка (фр.).

** Гримаска (фр.).

промелькнуло на ее сморщенном лице и покривило ее тонкие, бескровные губы.

Бой быков, по мнению Инфанты, великолепно удался и был куда лучше настоящего, который она видела в Севилье²⁶, когда к ее отцу приехал Герцог Пармский. Одни мальчики гарцевали на покрытых роскошными чепраками игрушечных лошадках и потрясали длинными копьями, к которым были привязаны яркие, пестрые ленты; другие, спешившись, помахивали перед быком алыми плащами, а когда он бросался на них — легко перепрыгивали через барьер; что до самого быка, он был совсем как настоящий, хотя сделан был из плетеных прутьев, на которые натянули шкуру, и то и дело норовил встать на задние ноги, что и в голову не придет живому быку. Этот бык бился просто великолепно, и дети пришли в такой восторг, что повскакали на скамьи и, размахивая кружевными платками, закричали: «Bravo toro! Bravo toro!»* — столь же уместно, сколь это делают взрослые. В конце концов, после продолжительного боя, в ходе которого несколько игрушечных лошадок были подняты на рога, а их хозяйева спешились, юный граф Тьерра-Нуэва все же повалил быка на колени и, получив разрешение Инфанты нанести *coup de grâce*** , вонзил деревянную шпагу в шею животного с такой силой, что голова отвалилась и показалось смеющееся личико маленького мосье де Лоррена, сына французского Посланника в Мадриде.

Затем раздались громкие рукоплескания, арену очистили, и два пажа-мавра в черно-желтых ливреях торжественно выволокли павших игрушечных лошадок, а после короткой интерлюдии, во время которой французский жонглер показал свое искусство на туго натянутом канате, на сцене маленького театра, нарочно построенного с этой целью, итальянские марионетки разыграли полуклассическую трагедию «Софонисба»²⁷. Они играли так хорошо и движения их были столь естественны, что к концу представления на глазах Инфанты навернулись слезы. Некоторые дети даже плакали по-на-

* Браво, бык! Браво, бык! (*исп.*) — традиционный возглас поощрения во время корриды.

** Букв.: удар милосердия (*фр.*). Удар, которым добивают умирающее животное или смертельно раненного человека.

стоящему, и их пришлось утешить сладостями, и даже сам Великий Инквизитор, расчувствовавшись, признался дону Педро, что ему кажется невыносимым, чтобы простые куклы из дерева и крашеного воска, да вдобавок управляемые проволочками, были столь несчастны и обречены на такие ужасные невзгоды.

Потом появился африканский фокусник, который вынес большую плоскую корзину, накрытую красной тканью, и, поставив ее посреди арены, извлек из своего тюрбана диковинную тростниковую дудочку и подул в нее. Вдруг ткань зашевелилась, дудочка заиграла громче — и вот две золотисто-зеленые змеи выставили свои странные клинообразные головки и стали медленно подниматься, разворачиваясь, подобно водорослям на дне. Однако детей испугали их пятнистые капюшоны и быстрые жала, и им было куда приятнее, когда по воле фокусника из песка выросло апельсиновое деревце, на котором появились белые цветы и настоящие плоды; а когда он взял веер у маленькой дочки маркиза де Ла-Торрес и превратил его в синюю птицу, восторгу и изумлению детей не было предела. Очарователен был и торжественный менуэт, исполненный маленькими танцорами из церкви Нуэстра Сеньора дель Пилар²⁸. Никогда прежде не видела Инфанта этой чудесной церемонии, происходящей каждый год в мае перед высоким алтарем пресвятой Девы и в ее честь: дело в том, что никто из испанской королевской семьи не переступил порога сарагосского собора с тех пор, когда обезумевший священник, подкупленный, как полагали многие, Елизаветой Английской, попытался окропить отравленной водой Принца Астурийского. Поэтому Инфанта только понаслышке знала о «танце во славу девы Марии», как его именовали, а это, несомненно, было прекрасное зрелище. На мальчиках были старомодные придворные костюмы белого бархата, серебряная бахрома и большие плюмажи из страусовых перьев украшали их диковинные треуголки, и пока они танцевали под ярким солнцем, их смуглые лица и длинные черные волосы еще сильнее подчеркивали ослепительную белизну их нарядов. Все были очарованы важностью и достоинством, с которыми они исполняли замысловатые фигуры танца, изысканным изяществом их движений и плавными поклонами, и, когда, окон-

чив танец, они сняли свои великолепные шляпы с перьями перед Инфантой, она милостиво приняла это и дала обет отправить к алтарю Богоматери дель Пилар большую восковую свечу в благодарность за удовольствие, которое та ей доставила.

Потом на арену вышли египтянки — так тогда называли цыганок, — сели, скрестив ноги, в кружок и начали тихо наигрывать на цитрах, покачиваясь в такт музыке и едва слышно напевая тихую задумчивую мелодию. Когда они заметили доня Педро, то нахмурились, а иные и испугались, потому что не прошло и месяца, как он повесил двух их соплеменниц за колдовство на рыночной площади Севильи, но их обворожила маленькая Инфанта, которая откинулась в кресле и глядела на них из-за веера своими большими голубыми глазами, и они уверились в том, что такое прелестное создание, как она, не может быть жестоко ни с кем. Потому они продолжали чуть слышно играть, едва касаясь струн пальцами с длинными острыми ногтями, и их головы то и дело падали, будто их клонило ко сну. Внезапно, с громким криком, от которого все дети вздрогнули, а дон Педро схватился за агатовую рукоять кинжала, они вскочили на ноги и, потрясая бубнами, безумным вихрем понеслись по кругу и запели какую-то варварскую любовную песню на своем странном гортанном языке. Затем, снова издав клич, они опять бросились на землю и лежали совершенно неподвижно — тишину нарушало только тихое бречанье цитр. Так повторилось еще несколько раз, а потом они на мгновение удалились и вернулись, ведя за собою на цепи косматого бурого медведя и неся на плечах маленьких барбарийских обезьянок. Медведь, сохраняя величайшее достоинство, стоял на голове, а обезьянки со сморщенными личиками выделывали забавные штуки с двумя цыганятами, которые, видно, были их хозяевами, — бились на крохотных шпагах, стреляли из мушкетов, изображая крохотных королевских гвардейцев. В общем, цыгане имели огромный успех.

Но самой потешной частью всего утреннего представления, несомненно, был танец маленького Карлика. Когда он вышел на арену, спотыкаясь, переваливаясь на кривых ножках и мотая из стороны в сторону огромной уродливой головой, дети громко закричали

от восторга, и сама Инфанта так смеялась, что Камерера вынуждена была напомнить ей, что, хотя в Испании было множество случаев, когда дочь Короля плакала в присутствии равных ей, не случалось еще такого, чтобы Принцесса королевской крови так веселилась в присутствии тех, кто ниже ее по рождению. Однако Карлик действительно был совершенно неотразим, и даже при Испанском Дворе, славившемся своим утонченным пристрастием к ужасам, еще никогда не видывали такого фантастического уродца. Кроме того, это было первое его выступление. Днем раньше двое придворных, которым случилось охотиться в глухом пробковом лесу, окружавшем город, обнаружили Карлика, когда тот стремглав бежал через чащу, и доставили его во дворец как сюрприз для Инфанта; его отец, бедный угольщик, был только рад отделаться от столь уродливого и бесполезного отпрыска. Быть может, всего забавнее в Карлике было то, что он знать не знал о своей гротескной наружности. Казалось даже, что он совершенно счастлив и находится в самом бодром расположении духа. Когда смеялись дети, он смеялся вместе с ними, столь же свободно и от души, а в конце каждого танца отвешивал зрителям презабавные поклоны, улыбаясь и кивая им, как если бы он был одним из них, а не маленьким уродцем, которого Природа из шалости сотворила на потеху другим. Инфанта совершенно пленила его. Он глаз от нее не мог отвести и, казалось, плясал для нее одной, и когда в конце представления Инфанта, вспомнив, как на ее глазах знатные придворные дамы бросали букеты знаменитому итальянскому дисканту Каффарелли²⁹, которого Папа Римский прислал из своей капеллы в Мадрид, чтобы он своим сладостным пением излечил Короля от меланхолии, вынула из волос прекрасную белую розу и отчасти шутки ради, отчасти чтобы подразнить Камереру, нежно улыбаясь, бросила цветок на арену, то Карлик воспринял это с полной серьезностью, прижал розу к толстым своим, безобразным губам, приложил руку к сердцу, стал перед Инфантой на одно колено, улыбаясь во весь рот, и его маленькие блестящие глазки засверкали от удовольствия.

Это настолько вывело Инфанту из равновесия, что она еще долго смеялась, после того как маленький Кар-

лик убежал с арены, и выразила своему дяде желание, чтобы танец был немедленно повторен. Однако Камерера, сославшись на усиливающийся зной, решила, что будет лучше, если Ее Величество незамедлительно проследует во Дворец, где ее уже ожидает великолепный пир, в том числе и самый настоящий праздничный пирог, на котором разноцветным сахаром выведены ее инициалы, а на верхушке поставлен хорошенький серебряный флажок. Поэтому Инфанта с большим достоинством встала и, распорядившись, чтобы маленький Карлик танцевал перед ней после сиесты³⁰, выразила свою благодарность юному графу Тьерра-Нуэва за прекрасный прием и удалилась в свои покои, а дети удалились за нею в том же порядке, в каком пришли.

Карлик же, слышавший, что он должен во второй раз танцевать перед Инфантой, к тому же по ее настойчивому требованию, был так горд, что убежал в сад, в нелепом восторге целуя белую розу и выражая свою радость самыми неуклюжими и нескладными жестами.

Цветы были крайне возмущены его бесцеремонным вторжением в их прекрасную обитель, а когда увидали, как он носится по аллеям и несуразно размахивает над головой руками, то не смогли больше сдерживать свое негодование.

— Недопустимо, чтобы такой урод играл рядом с нами! — воскликнули Тюльпаны.

— Напоить его маковым соком — пусть спит тысячу лет, — промолвили большие алые Лилии и так и запылали от злости.

— Вот так чудище! — завизжал Кактус. — Недомерок скрюченный! Голова, как тыква — при таких-то ножках! У меня колючки так и чешутся: пусть только подойдет, я пушу их в ход.

— А в руках-то у него мой лучший цветок, — воскликнул Куст Белых Роз. — Сегодня утром я сам подарил его Инфанте на день рождения, а он украл. — И Куст завопил что есть мочи: — Держи вора! Держи вора!

Даже красные Герани, которые обычно не важничали и, как известно, сами имели множество бедных родственников, и те, увидев Карлика, сморщились от отвращения, а когда Фиалки кротко заметили, что, хотя Карлик и выглядит в высшей степени непривлекательно, он в этом неповинен. Герани с полным правом возра-

зили, что в том-то и заключается его главный недостаток и если кто-то неизлечим, то это еще не основание, чтобы им восхищаться; да и некоторые Фиалки сами понимали, что уродство маленького Карлика уж чересчур откровенное и что он обнаружил бы куда больше вкуса, если бы погрузился в печаль или по меньшей мере в задумчивость, вместо того чтобы весело скакать и принимать столь гротескные и несуразные позы.

Что до старых Солнечных Часов, которые представляли собой весьма замечательную личность и показывали время дня самому Императору Карлу Пятому, то они были настолько ошарашены наружностью маленького Карлика, что чуть не забыли отмерить целых две минуты своим длинным тенистым пальцем, и, не сдержавшись, заметили большому молочно-белому павлину, гревшемуся на солнышке на балюстраде, что, как каждому известно, королевские дети — и сами короли, а дети угольщиков — угольщиками и останутся и что нелепо делать вид, будто это не так; павлин целиком и полностью согласился с этим мнением и даже прокричал: «Еще бы, еще бы!» — столь пронзительно, что золотые рыбки, обитавшие в прохладном фонтане, высунули головы из воды и спросили у больших каменных тритонов, что там, в конце концов, случилось.

А вот птицам он почему-то понравился. Они часто видели, как он, приплясывая подобно эльфу³¹, гонялся в лесу за кружащимися листьями или залезал в дупло старого дуба и делился орехами с белками. Его уродство их не смущало. Ведь даже сам соловей, который так сладко поет по ночам в апельсиновых рощах, что порою Луна опускается пониже, чтобы его послушать, и тот, в конце концов, невесть как красив; а кроме того, Карлик был к ним добр и в ту страшную морозную зиму, когда не осталось ягод на кустах, и как железо застыла земля, и волки подходили к самым городским воротам в поисках пищи, — в ту пору он ни разу не забыл о птицах, но всегда крошил им свой черный ломоть и делил с ними свой завтрак, как бы скуден он ни был.

Поэтому птицы вились вокруг маленького Карлика и, пролетая мимо, касались его щеки крыльями и щебетали, а маленькому Карлику было так весело, что он показал им свою прекрасную белую розу и рассказал

им, что цветок ему дала сама Инфанта, потому что любила его.

Они не поняли ни единого его слова, но это не имело никакого значения — ведь они наклоняли головы набок и принимали умный вид, а это ничуть не хуже, чем что-то понимать, и куда как проще.

Ящерицам он тоже очень понравился, и, когда, устав от беготни, он бросился на траву, они принялись играть и возиться на нем и изо всех сил старались его развлечь. «Не всем дано быть такими же красивыми, как ящерицы, — шумели они. — Это было бы чересчур. Пусть это звучит нелепо, но он, по сути дела, не так уж уродлив, особенно если закрыть глаза и на него не смотреть». Ящерицы по природе своей были философами и часто проводили целые часы в размышлениях — когда больше нечего было делать или приходилось прятаться от дождя.

Однако Цветы были весьма раздражены поведением ящериц и птиц. «Отсюда ясно, — говорили они, — как неприлична вся эта беготня и суета. Воспитанные люди стоят на месте, как мы. Кто видел, чтобы мы скакали по дорожкам или носились как безумные по газонам за стрекозами? Если нам хочется переменить обстановку, мы посылаем за садовником, и он переносит нас на другую клумбу. Это и благородно, и прилично. Но птицам и ящерицам не хватает усидчивости, а у птиц даже постоянного адреса нет. Это попросту бродяги, вроде цыган, и обращаться с ними следует точно так же». Тут цветы задрали носы с высокомерным видом и были совершенно счастливы, когда через некоторое время убедились, что маленький Карлик неуклюже поднимается с травы и через террасу направляется к Дворцу.

— Лучше бы он сидел взаперти до конца дней, — сказали они. — Вы только посмотрите на его горбатую спину и кривые ножки. — И они захихикали.

Но маленький Карлик обо всем этом и не подозревал. Он очень любил птиц и ящериц, а про цветы думал, что они — самые чудесные создания на свете, разумеется, после Инфанты, но она ведь подарила ему прекрасную белую розу и полюбила его, а это совсем другое дело. Вот бы оказаться рядом с нею! Она бы посадила его справа от себя, и он всегда был бы поблизо-

сти, и играл бы с ней, и научил бы ее разным чудесным проделкам. Ибо, хотя прежде он ни разу не бывал во Дворце, он знал множество удивительных вещей. Он мог построить из тростника крошечные клетки и посадить в них стрекочущих кузнечиков или смастерить из длинных трубок бамбука свирель, которую любит слушать Пан³². Он знал голоса всех птиц, и на его зов слетали с верхушки дерева скворцы и с озера прилетала цапля. Он ведал следы всех зверей и узнавал зайца по нежным отпечаткам лапок, а кабана — по истоптанной листве. Знал он и все танцы природы: неистовую осеннюю пляску в багровых одеждах, невесомый танец в голубых сандалиях на ниве, зимний танец в белых венчиках снега, и танец цветения в весенних садах. Он знал, где вьют гнезда дикие голуби, и как-то раз, когда пtiцелов поймал в силок голубей-родителей, он сам выкормил птенцов и устроил для них маленькую голубятню в дупле подстриженного вяза. Он приучил птенцов, и каждое утро они ели из его рук. Они понравятся Принцессе, как и кролики, снующие в высоких папоротниках, и черноклювые сойки в отливающем сталью оперении, и ежи, умеющие свернуться колючим клубком, и большие мудрые черепахи, которые неторопливо переползают с места на место, кивая головой и пощипывая молодую травку. Да, Инфанта непременно должна прийти в лес и поиграть с ним. Он уступит ей свою кроватку, а сам до зари просидит под окном, оберегая ее от свирепых лосей и не подпуская к хижине тощих волков. А на заре он постучит в ставни и разбудит ее, и они уйдут в лес и будут плясать там до вечера. Ведь в лесу вовсе не пусто! Порой проедет через лес на своем белом муле Епископ, читая книгу с разноцветными буквицами. Порой пройдут сокольничьи в зеленых бархатных шляпах и куртках из дубленой оленьей шкуры, держа на руке соколов в колпачках. Созреет виноград, и появятся в лесу давилышки с красными от сока руками и ногами, в венках из глянцевого плюща, и понесут мехи, сочащиеся вином; и угольщики рассядутся ночью вокруг огромных жаровен, глядя на медленно обугливающиеся на огне сухие поленья и жаря в золе каштаны, и выберутся из пещер разбойники и будут веселиться вместе с ними. А однажды маленький Карлик видел великолепную процессию, по пы-

льной извилистой дороге направляющуюся в Толедо³³. Впереди с песнопениями шли монахи, неся разноцветные хоругви и золотые распятия, за ними в серебряной броне, с мушкетами и пиками шагали солдаты, а между ними выступали босиком трое в странных желтых одеждах, разрисованных удивительными ликами, и с горящими свечами в руках. Конечно же, в лесу есть на что подивиться, а когда Инфанта устанет, он уложит ее на мягкий мох или понесет ее на руках, потому что он очень сильный, хотя и знает, что не вышел ростом. Он сделает ей ожерелье из красных ягод брионии — они ничуть не хуже тех белых ягод, что украшают ее платье, а когда ей надоеет это ожерелье, пусть выбросит: он отыщет другие ягоды. Он принесет ей чашечки желудей, и покрытые росой анемоны, и маленьких светлячков, чтобы они, как звездочки, засияли в бледном золоте ее волос.

Но где она? Он спросил у белой розы, но она не ответила. Казалось, весь Дворец спит, и даже там, где ставни не были затворены, тяжелые занавеси наглухо закрывали окна от ослепительного света. Маленький Карлик побродил вокруг Дворца в поисках входа и наконец заметил оставшуюся открытой маленькую дверцу. Он проскользнул внутрь и очутился в великолепном зале, увы, куда более великолепном, чем лес: золота здесь было гораздо больше, и даже пол был покрыт разноцветными каменными плитами, образовывавшими геометрический узор. Но маленькой Инфанта не было — лишь чудесные белые статуи взирали на него с яшмовых пьедесталов печальными пустыми глазами и кривили губы в странной улыбке.

В глубине зала висел богато расшитый занавес черного бархата, испещренный солнцами и лунами, изблюбленными эмблемами Короля, вышитыми по ткани его любимого цвета. Быть может, она прячется там? Так или иначе, надо проверить.

И вот он тихонько пересек зал и отдернул занавес. Нет, за занавесом начинался новый зал, и, как ему подумалось, еще более красивый, чем тот, из которого он только что вышел. Стены здесь были увешаны зелеными гобеленами ручной работы, со множеством фигур, изображавших сцену охоты, — произведение фламандских мастеров, потративших на этот труд более семи

лет. Некогда это была спальня Jean Le Fou*, как его прозвали, — безумного Короля, который так любил охоту, что нередко пытался в бреду оседлать могучих, вставших на дыбы коней и, трубя в охотничий рог, поразить кинжалом убегающего бледно-зеленого оленя. Теперь в этих покоях заседал Совет, и на стоявшем посередине столе лежали красные портфели министров с оттиснутыми на них золотыми тюльпанами Испании и гербами и эмблемами дома Габсбургов³⁴.

Маленький Карлик в изумлении оглядывался по сторонам и не сразу решился идти дальше. Странные молчаливые всадники, быстро и бесшумно мчавшиеся по широким полянам, напомнили ему о тех ужасающих фантомах, про которые рассказывали угольщики, — о компрачос³⁵, которые охотятся только по ночам, а встретив человека, превращают его в оленя и устраивают за ним погоню. Но тут маленький Карлик вспомнил об Инфанте и собрался с духом. Он хотел застать ее одну и сказать ей, что он тоже любит ее. Быть может, она в соседней комнате?

Пробежав через зал по мягким мавританским коврам, он отворил дверь. Нет! И здесь ее не было. Следующий зал был пуст.

То был тронный зал, где принимали иноземных послов, когда Король — что в последнее время случалось нечасто — соглашался дать им аудиенцию, тот самый зал, куда много лет назад явились посланцы из Англии, чтобы сговориться о браке их Королевы, тогда еще — одной из католических монархинь Европы, со старшим сыном Императора. Стены были обиты позолоченной кордовской кожей³⁶, а под черным в белую клетку потолком висела тяжелая золоченая люстра на триста восковых свечей. Под большим золотым балдахином, по которому мелким жемчугом были вышиты львы и башни Кастилии³⁷, стоял трон, покрытый черным бархатом, который был усеян серебряными тюльпанами и искусно окаймлен серебром и жемчугами. На второй ступени трона стояла скамеечка с подушкой из серебристой ткани, на которую вставала на коленях Инфанта, а еще ниже, в отдалении от балдахина, помещалось кресло Папского Нунция, который один имел

* Жана Безумного (фр.).

право сидеть в присутствии Короля во время любого публичного церемониала; его кардинальская шапка с плетеными алыми кистями лежала перед креслом на красном табурете. На стене лицом к трону висел портрет, изображавший Карла V во весь рост, в охотничьем костюме и с большим мастифом, а середину другой стены занимала картина, на которой Филипп II³⁸ принимал вассальную дань Нидерландов. Между окон стоял секретер черного дерева, инкрустированный слоновой костью, на котором была выгравирована Гольбейнова «Пляска смерти», притом, как говорили, рукою самого знаменитого мастера³⁹.

Но маленький Карлик остался безразличен ко всему этому великолепию. Он не отдал бы своей розы за все жемчуга на балдахине и одного белого лепестка — за весь трон. Он хотел только увидеть Инфанту, прежде чем она придет в шатер, и попросить ее уйти вместе с ним, когда он закончит танец. Здесь, во Дворце, воздух душливый и тяжелый, а в лесу веет вольный ветер и солнечный свет чуткими золотыми пальцами раздвигает трепещущую листву. И потом, в лесу есть цветы, пусть не такие великолепные, как в парке, но пахнут они нежнее, ранней весной — гиацинты, заливающие волной багрянца тенистые овражки и поросшие травой холмы; желтоватый первоцвет, которым поросли дубовые корни; яркий чистотел, голубая вероника и сиреневые и золотые ирисы. На орешнике — серые сережки, а наперстянка гнется под тяжестью пестрых чашечек, так и притягивающих пчел. На каштане — белозвездные шпильки, а на боярышнике — прекрасные бледные луны. Ну конечно же она пойдет с ним, если только удастся ее разыскать! Она пойдет с ним в прекрасный лес, и день-деньской он будет танцевать для нее. Маленький Карлик вообразил это, улыбка зажглась в его глазах, и он вошел в следующую комнату.

Эта комната была наряднее и красивее других. Стены покрывал шелк из Лукки⁴⁰, весь в розовых цветах, птицах и прелестных серебряных бутонах; мебель литого серебра украшали гирлянды и венки с порхающими купидонами; перед двумя большими каминами стояли экраны, расшитые попугаями и павлинами, а пол из оникса цвета морской волны, казалось, простирается вдаль. Теперь он был не один. Он увидел, что кто-то

смотрит на него, стоя в тени приоткрытой двери напротив. Сердце его дрогнуло, с губ сорвался крик радости, и он шагнул на яркий свет. В это время фигурка в глубине комнаты тоже шагнула вперед, и он ясно разглядел ее.

Инфанта! То было чудовище, самое гротескное чудовище, какое приходилось ему видеть. Не стройное, как другие люди, но горбатое и кривоногое, с огромной, болтающейся головой в гриве черных волос. Маленький Карлик нахмурился — нахмурилось и чудовище. Он засмеялся — засмеялось и оно и опустило руки точь-в-точь, как он сам. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон — и оно ответило ему низким поклоном. Он пошел ему навстречу, и чудовище двинулось к нему, повторяя каждый его шаг и замирая, когда останавливался он. Маленький Карлик вскрикнул от изумления и побежал к чудовищу, и протянул руку, и коснулся руки чудовища, и была она холодна как лед. Испугавшись, он опустил руку, и оно повторило его движение. Он хотел было шагнуть вперед, но что-то гладкое и твердое преградило ему путь. Теперь лицо чудовища вплотную приблизилось к его лицу и, казалось, было полно ужаса. Он поднял рукою прядь со лба. Оно сделало то же. Он ударил чудовище, и оно ответило ударом на удар. Он преисполнился ненависти, и оно скорчило в ответ отвратительную гримасу. Он сделал шаг назад, и оно отступило.

Кто это? Маленький Карлик задумался и обвел взглядом комнату. Странно, но все вокруг, казалось, имело своего двойника за этой невидимой стеной, прозрачной как вода. Да, ложу отвечало ложе, а картина — картина. У спящего Фавна, лежавшего в алькове, у дверей был брат-близнец, который тоже дремал, а озаренная солнцем серебряная Венера⁴¹ протягивала руки к Венере, столь же прелестной, как и она сама.

Не Эхо ли это? Однажды маленький Карлик окликнул Эхо в долине, и оно повторило за ним все слово в слово. Может ли оно вторить виду, как вторит голосу? Может ли оно сотворить мир подобий, неотличимый от мира действительного? Могут ли тени обрести цвет, и жизнь, и движение подлинных вещей? Может ли случиться так, что...

Он содрогнулся и, сняв с груди прекрасную белую

розу, обернулся и поцеловал ее. У чудовища тоже была роза, такая же, как у него! Оно так же целовало ее и с омерзительными гримасами прижимало ее к сердцу.

Когда истина осенила его, он издал дикий вопль отчаяния и в слезах рухнул наземь. Так это он — уродливый, горбатый, гнусный на вид монстр. Он и есть чудовище, и это над ним потешались дети, и маленькая Принцесса, которая, как он верил, полюбила его, тоже просто насмеялась над его безобразием и издевалась над его кривыми ножками. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, способного рассказать ему, как он мерзок? Почему отец не убил его, а продал на позор? Горячие слезы побежали по его щекам, и он разорвал на клочки белую розу. Осевшее на пол чудовище поступило так же и отшвырнуло слабые лепестки. Оно простерлось ниц, и, когда маленький Карлик посмотрел на него, лицо чудовища было искажено болью. Как раненое животное, Карлик со стоном отполз в тень.

В это мгновение с террасы вошла Инфанта со своими спутниками, и, когда они увидели, что маленький уродец лежит и самым фантастическим и абсурдным образом колотит по полу сжатыми кулачками, все так и покатались со смеху и, окружив его, принялись его разглядывать.

— Танцевал он забавно, — сказала Инфанта, — а лицедействует еще забавнее. Право, он представляет не хуже марионеток, хотя, конечно, не так натурально.

И она принялась обмахиваться веером, а потом захопала в ладоши.

Но маленький Карлик все не поднимал головы, а рыдания его делались все тише и тише, и вдруг он странно вздохнул и схватился за бок. Потом голова его вновь упала, и он остался недвижим.

— Превосходно, молодец! — сказала Инфанта, помолчав. — А теперь танцуй для меня.

— Да! — закричали дети. — Вставай и танцуй, ты ведь такой же ловкий, как барбарийские обезьянки, только куда как потешней.

Но маленький Карлик не отвечал.

И Инфанта топнула ножкой, и позвала своего дядю, который прогуливался по террасе с Камергером и читал последние депеши из Мексики, где недавно учредили Святую Инквизицию.

— Мой смешной маленький Карлик дуется! — кричала она. — Растормоши его и вели ему танцевать для меня.

Дядя и Камергер улыгнулись друг другу и не спеша вошли в комнату, и дон Педро наклонился и похлопал Карлика по щеке вышитой перчаткой.

— Танцуй, — сказал он, — танцуй же, *petit monstge**. Инфанте Испании и обеих Индий⁴² угодно развлечься.

Но маленький Карлик не шевелился.

— Надо его высечь, — устало сказал дон Педро и вышел на террасу.

Но Камергер нахмурился и стал на колени рядом с маленьким Карликом и приложил руку к его сердцу. А потом он пожал плечами, встал и с низким поклоном обратился к Инфанте:

— *Mi bella Princesa*** , ваш смешной Карлик никогда больше не будет танцевать. А жаль — ведь он так уродлив, что развеселил бы и самого Короля.

— Почему же он не будет больше танцевать? — улыбаясь, спросила Инфанта.

— Потому что сердце его разорвалось, — ответил Камергер.

И Инфанта нахмурилась, и ее прелестные губки, подобные розовым лепесткам, покривились в очаровательной презрительной гримаске.

— Впредь да не будет сердца у тех, кто приходит со мной играть! — воскликнула она и убежала в сад.

РЫБАК И ЕГО ДУША

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю и забрасывал в море сети.

Когда ветер был береговой, у Рыбака ничего не ловилось или ловилось, но мало, потому что это злобный ветер, у него черные крылья, и буйные волны вздымаются навстречу ему. Но когда ветер был с моря, рыба поднималась из глубин, сама заплывала в сети, и Рыбак относил ее на рынок и там продавал.

* Уродец (*фр.*).

** Моя прекрасная принцесса (*исп.*).

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю, и вот однажды такую тяжелою показалась ему сеть, что трудно было поднять ее в лодку. И Рыбак, усмехаясь, подумал: «Видно, я выловил из моря всю рыбу, или попало мне, на удивление людям, какое-нибудь глупое чудо морское, или моя сеть принесла мне такое страшилище, что великая наша королева пожелает увидеть его».

И, напрягая силы, он налег на грубые канаты, так что длинные вены, точно нити голубой эмали на бронзовой вазе, означились у него на руках. Он потянул тонкие бечевки, и ближе и ближе большим кольцом подплыли к нему плоские пробки, и сеть наконец поднялась на поверхность воды.

Но не рыба оказалась в сети, не страшилище, не подводное чудо, а маленькая Дева морская, которая крепко спала.

Ее волосы были подобны влажному золотому руну, и каждый отдельный волос был как тонкая нить из золота, опущенная в хрустальный кубок. Ее белое тело было как из слоновой кости, а хвост жемчужно-серебряный. Жемчужно-серебряный был ее хвост, и зеленые водоросли обвивали его. Уши ее были похожи на раковины, а губы — на морские кораллы. Об ее холодные груди бились холодные волны, и на ресницах ее искрилась соль.

Так прекрасна была она, что, увидев ее, исполненный восхищения юный Рыбак потянул к себе сети и, перегнувшись через борт челнока, охватил ее стан руками. Но только он к ней прикоснулся, она вскрикнула, как испугнутая чайка, и пробудилась от сна, и в ужасе взглянула на него аметистово-лиловыми глазами, и стала биться, стараясь вырваться. Но он не отпустил ее и крепко прижал к себе.

Видя, что ей не уйти, заплакала Дева морская.

— Будь милостив, отпусти меня в море, я единственная дочь Морского царя, и стар и одинок мой отец.

Но ответил ей юный Рыбак:

— Я не отпущу тебя, покуда ты не дашь мне обещания, что на первый мой зов ты поднимешься ко мне из глубины и будешь петь для меня свои песни: потому что нравится рыбам пение Обитателей моря, и всегда будут полны мои сети.

— А ты и вправду отпустишь меня, если дам тебе такое обещание? — спросила Дева морская.

— Воистину так, отпущу, — ответил молодой Рыбак.

И она дала ему обещание, какое он пожелал, и подкрепила свое обещание клятвою Обитателей моря, и разомкнул тогда Рыбак свои объятия, и, все еще трепеща от какого-то странного страха, она опустилась на дно.

* * *

Каждый вечер выходил молодой Рыбак на ловлю и звал к себе Деву морскую. И она поднималась из вод и пела ему свои песни. Вокруг нее резвились дельфины, и дикие чайки летали над ее головой.

И она пела чудесные песни. Она пела о Жителях моря, что из пещеры в пещеру гоняют свои стада и носят детенышей у себя на плечах; о Тритонах, зеленобородых, с волосатою грудью, которые трубят в витые раковины во время шествия Морского царя⁴³; о царском янтарном чертоге — у него изумрудная крыша, а полы из ясного жемчуга; о подводных садах, где колышутся целыми днями широкие кружевные веера из кораллов, а над ними проносятся рыбы, подобно серебряным птицам; и льнут анемоны к скалам, и розовые пескари гнездятся в желтых бороздах песка. Она пела об огромных китах, приплывающих из северных морей, с колючими сосульками на плавниках; о Сиренах, которые рассказывают такие чудесные сказки, что купцы затыкают себе уши воском, чтобы не броситься в воду и не погибнуть в волнах⁴⁴; о затонувших галерах, у которых длинные мачты, за их снасти ухватились матросы, да так и зачоченели навек, а в открытые люки всплывает макрель и свободно выплывает оттуда; о малых ракушках, великих путешественницах: они присасываются к килям кораблей и объезжают весь свет; о карака-тицах, живущих на склонах утесов: она простирает свои длинные черные руки, и стоит им захотеть, будет ночь. Она пела о моллюске-наутилусе: у него свой собственный опаловый ботик, управляемый шелковым парусом; и о счастливых Тритонах, которые играют на арфе и чарами могут усыпить самого Осьминога Великого; и о маленьких детях моря, которые поймают черепаху и со смехом катаются на ее скользкой

спине; и о Девах морских, что нежатся в белеющей пене и простирают руки к морякам; и о моржах с кривыми клыками, и о морских конях, у которых развеваются грива.

И пока она пела, стаи тунцов, чтобы послушать ее, выплывали из морской глубины, и молодой Рыбак ловил их, окружая своими сетями, а иных убивал острогою. Когда же челнок у него наполнялся, Дева морская, улыгнувшись ему, погружалась в море.

И все же она избегала к нему приближаться, чтобы он не коснулся ее. Часто он молил ее и звал, но она не подплывала ближе. Когда же он пытался схватить ее, она ныряла, как ныряют тюлени, и больше в тот день не показывалась. И с каждым днем ее песни все сильнее пленяли его. Так сладостен был ее голос, что Рыбак забывал свой челнок, свои сети, и добыча уже не прельщала его. Мимо него проплывали целыми стаями золотоглазые, с алыми плавниками, тунцы, а он и не замечал их. Праздно лежала у него под рукой острога, и его корзины, сплетенные из ивовых прутьев, оставались пустыми. Полу-раскрыв уста и с затуманенным от упоения взором неподвижно сидел он в челноке, и слушал, и слушал, пока не подкрадывались к нему туманы морские и блуждающий месяц не пятнал серебром его загорелое тело.

В один из таких вечеров он вызвал ее и сказал:

— Маленькая Дева морская, маленькая Дева морская, я люблю тебя. Будь моей женой, потому что я люблю тебя.

Но Дева морская покачала головой и ответила:

— У тебя человечья душа! Прогони свою душу прочь, и мне можно будет тебя полюбить.

И сказал себе юный Рыбак:

— На что мне моя душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она. И вправду: я прогоню ее прочь, и будет мне великая радость.

И он закричал от восторга и, встав в своем расписном челноке, простер руки к Деве морской.

— Я прогоню свою душу, — крикнул он, — и ты будешь моей юной женой, и мужем я буду тебе, и мы поселимся в пучине, и ты покажешь мне все, о чем пела, и я сделаю все, что захочешь, и жизни наши будут навек неразлучны.

И засмеялась от радости Дева морская, и закрыла лицо руками.

— Но как же мне прогнать мою душу? — закричал молодой Рыбак. — Научи меня, как это делается, и я выполню все, что ты скажешь.

— Увы! Я сама не знаю! — ответила Дева морская. — У нас, Обитателей моря, никогда не бывало души.

И, горестно взглянув на него, она погрузилась в пучину.

* * *

На следующий день рано утром, едва солнце поднялось над холмом на высоту ладони, юный Рыбак подошел к дому Священника и трижды постучался в его дверь.

Послушник взглянул через решетку окна и, когда увидал, кто пришел, отодвинул засов и сказал:

— Войди!

И юный Рыбак вошел и преклонил колени на душистые тростники, покрывавшие пол, и обратился к Священнику, читавшему Библию, и сказал ему громко:

— Отец, я полюбил Деву морскую, но между мною и ею встала моя душа. Научи, как избавиться мне от души, ибо поистине она мне не надобна. К чему мне моя душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

— Горе! Горе тебе, ты лишился рассудка. Или ты отравлен ядовитыми травами? Душа есть самое святое в человеке и дарована нам Господом Богом, чтобы мы достойно владели ею. Нет ничего драгоценнее, чем душа человеческая, и никакие блага земные не могут сравняться с нею. Она стоит всего золота на свете и ценнее царских рубинов. Поэтому, сын мой, забудь свои помыслы, ибо это неискупаемый грех. А Обитатели моря прокляты, и прокляты все, кто вздумает с ними знаться. Они, как дикие звери, не знают, где добро и где зло, и не за них умирал Искупитель.

Выслушав жестокое слово Священника, юный Рыбак разрыдался и, поднявшись с колен, сказал:

— Отец, Фавны обитают в чаще леса — и счастливы! И на скалах сидят Тритоны с арфами из червонного золота. Позволь мне быть таким, как они, — умоляю тебя! —

ибо жизнь их как жизнь цветов. А к чему мне моя душа, если встала она между мной и той, кого я люблю?

— Мерзостна плотская любовь! — нахмутив брови, воскликнул Священник. — И мерзостны и пагубны те твари языческие, которым Господь попустил блуждать по своей земле. Да будут прокляты Фавны лесные, и да будут прокляты эти морские певцы! Я сам их слышал по ночам, они тщились меня обольстить и отторгнуть меня от моих молитвенных четок. Они стучатся ко мне в окно и хохочут. Они нашептывают мне в уши слова о своих погибельных радостях. Они искушают меня искушениями, и, когда я хочу молиться, они корчат мне рожи. Они погибшие, говорю я тебе, и воистину им никогда не спастись. Для них нет ни рая, ни ада, и ни в раю, ни в аду им не будет дано славословить имя Господне.

— Отец! — вскричал юный Рыбак. — Ты не знаешь о чем говоришь. В сети мои уловил я недавно Морскую царевну. Она прекраснее, чем утренняя звезда, она белее, чем месяц. За ее тело я отдал бы душу и за ее любовь откажусь от вечного блаженства в раю. Открой же мне то, о чем я тебя молю, и отпусти меня с миром.

— Прочь! — закричал Священник. — Та, кого ты любишь, отвергнута Богом, и ты будешь вместе с нею отвергнут.

И не дал ему благословения, и прогнал от порога своего.

И пошел молодой Рыбак на торговую площадь, и медленна была его поступь, и голова была опущена на грудь, как у того, кто печален.

И увидели его купцы и стали меж собою шептаться, и один из них вышел навстречу и, окликнув его, спросил:

— Что ты принес продавать?

— Я продам тебе душу, — ответил Рыбак. — Будь добр, купи ее, ибо она мне в тягость. К чему мне душа? Мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

Но купцы посмеялись над ним.

— На что нам душа человеческая? Она не стоит ломаного гроша. Продай нам в рабство тело твое, и мы облачим тебя в пурпур и украсим твой палец перстнем, и ты будешь любимым рабом королевы. Но не говори о душе, ибо для нас она ничто и не имеет цены.

И сказал себе юный Рыбак:

— Как это все удивительно! Священник убеждает меня, что душа ценнее, чем все золото в мире, а вот купцы говорят, что она не стоит и гроша.

И он покинул торговую площадь, и спустился на берег моря, и стал размышлять о том, как ему надлежит поступить.

* * *

К полудню он вспомнил, что один его товарищ, собиратель морского укропа, рассказывал ему о некоей искусной в делах колдовства юной Ведьме, живущей в пещере у входа в залив. Он тотчас вскочил и пустился бежать, так ему хотелось поскорее избавиться от своей души, и облако пыли бежало за ним по песчаному берегу. Юная Ведьма узнала о его приближении, потому что у нее почесалась ладонь, и с хохотом распустила свои рыжие волосы. И, распустив свои рыжие волосы, окружившие все ее тело, она встала у входа в пещеру, и в руке у нее была цветущая ветка дикой цикуты.

— Чего тебе надо? Чего тебе надо? — закричала она, когда, изнемогая от бега, он взобрался вверх и упал перед ней. — Не нужна ли сетям твоим рыба, когда буйствует яростный ветер? Есть у меня камышовая дудочка, и стоит мне дунуть в нее, голавли заплывают в залив. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Не надобен ли тебе ураган, который разбил бы суда и выбросил бы на берег сундуки с богатым добром? Мне подвластно больше ураганов, чем ветру, ибо я служу тому, кто сильнее ветра, и одним только ситом и ведерком воды я могу отправить в пучину морскую самые большие галеры. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я знаю цветок, что растет в долине. Никто не знает его, одна только я. У него пурпурные лепестки, и в его сердце звезда, и молочно-бел его сок. Прикоснись этим цветком к непреклонным устам королевы, и на край света пойдет за тобою она. Она покинет ложе короля и на край света пойдет за тобою. Но это не дешево стоит, мой хорошенький мальчик, это не дешево стоит. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Я в ступе могу истолочь жабу, и сварю из нее чу-

десное снадобье, и рукою покойника помешаю его. И когда твой недруг заснет, брызни в него этим снадобьем, и обратится он в черную ехидну, и родная мать раздавит его. Моим колесом я могу свести с неба Луну и в кристалле покажу тебе Смерть. Чего тебе надо? Чего тебе надо? Открой мне твое желание, и я исполню его, и ты заплатишь мне, мой хорошенький мальчик, ты заплатишь мне красную цену.

— Невелико мое желание, — ответил юный Рыбак, — но Священник разгневался на меня и прогнал меня прочь. Малого я желаю, но купцы осмеяли меня и отвергли меня. Затем и пришел я к тебе, хоть люди и зовут тебя злою. И какую цену ты ни спросишь, я заплачу тебе.

— Чего же ты хочешь? — спросила Ведьма и подошла к нему ближе.

— Избавиться от своей души, — сказал он.

Ведьма побледнела, и стала дрожать, и прикрыла лицо синим плащом.

— Хорошенький мальчик, мой хорошенький мальчик, — пробормотала она, — страшного же ты захотел!

Он тряхнул своими темными кудрями и засмеялся в ответ.

— Я отлично обойдусь без души. Ведь мне не дано ее видеть. Я не могу прикоснуться к ней. Я не знаю, какая она.

— Что же ты дашь мне, если я научу тебя? — спросила Ведьма, глядя на него сверху вниз прекрасными своими глазами.

— Я дам тебе пять золотых, и сети мои, и расписной мой челнок, и тростниковую хижину, в которой живу. Только скажи мне скорее, как избавиться мне от души, и я дам тебе все, что имею.

Ведьма захохотала насмешливо и ударила его веткой цикуты.

— Я умею обращать в золото осенние листья, лунные лучи могу превратить в серебро. Всех земных царей богаче тот, кому я служу, и ему подвластны их царства.

— Что же я дам тебе, если тебе не нужно ни золота, ни серебра?

Ведьма погладила его голову тонкой и белой рукой.

— Ты должен сплясать со мною, мой хорошенький мальчик, — тихо прошептала она и улыбнулась ему.

— Только и всего? — воскликнул юный Рыбак в изумлении и тотчас вскочил на ноги.

— Только и всего, — ответила она и снова улыбнулась ему.

— Тогда на закате солнца, где-нибудь в укромном местечке, мы спляшем с тобою вдвоем, — сказал он, — и сейчас же, чуть кончится пляска, ты откроешь мне то, что я жажду узнать.

Она покачала головою.

— В полнолуние, в полнолуние, — прошептала она.

Потом она оглянулась вокруг и прислушалась. Какая-то синяя птица с диким криком взвилась из гнезда и закружила над дюнами, и три пестрые птицы зашуршали в серой и жесткой траве и стали меж собой пересвистываться. И больше не было слышно ни звука, только волны плескались внизу, перекатывая у берега гладкие камешки. Ведьма протянула руку и привлекла своего гостя к себе и в самое ухо шепнула ему сухими губами:

— Нынче ночью ты должен прийти на вершину горы. Нынче Шабаш, и Он будет там.

Вздрогнул юный Рыбак, поглядел на нее, она оскалила белые зубы и засмеялась опять.

— Кто это Он, о ком говоришь ты? — спросил у нее Рыбак.

— Не все ли равно? Приходи туда нынче ночью и встань под ветвями белого граба и жди меня. Если набросится на тебя черный пес, ударь его ивовой палкой, — и он убежит от тебя. Если скажет тебе что-нибудь филин, не отвечай ему. В полнолуние я приду к тебе, и мы попляшем вдвоем на траве.

— Но можешь ли ты мне поклясться, что тогда ты научишь меня, как избавиться мне от души?

Она вышла из пещеры на солнечный свет, и рыжие ее волосы заструились под ветром.

— Клянусь тебе копытами козла! — ответила она.

— Ты самая лучшая ведьма! — закричал молодой Рыбак. — И, конечно, я приду и буду с тобой танцевать нынче ночью на вершине горы. Поистине я предпочел бы, чтобы ты спросила с меня серебра или золота. Но если такова твоя цена, ты получишь ее, ибо она не велика.

И, сняв шапку, он низко поклонился колдунье и,

исполненный великою радостью, побежал по дороге в город.

А Ведьма не спускала с него глаз, и, когда он скрылся из виду, она вернулась в пещеру и, вынув зеркало из резного кедрового ларчика, поставила его на подставку и начала жечь перед зеркалом на горящих угольях вербену и вглядываться в клубящийся дым.

Потом в бешенстве стиснула руки.

— Он должен быть моим, — прошептала она. — Я так же хороша, как и та.

* * *

Едва только показалась луна, взобрался юный Рыбак на вершину горы и стал под ветвями граба. Словно металлический полированный щит, лежало у ног его округлое море, и тени рыбачьих лодок скользили вдаль по заливу. Филин, огромный, с желтыми глазами, окликнул его по имени, но он ничего не ответил. Черный рычащий пес набросился на него; Рыбак ударил его ивовой палкой, и, взвизгнув, пес убежал.

К полночи, как летучие мыши, стали слетаться ведьмы.

— Фью! — кричали они, чуть только спускались на землю. — Здесь кто-то чужой, мы не знаем его!

И они нюхали воздух, перешептывались и делали какие-то знаки. Молодая Ведьма явилась сюда последней, и рыжие волосы ее струились по ветру. На ней было платье из золотой парчи, расшитое павлиньими глазками, и маленькая шапочка из зеленого бархата.

— Где он? Где он? — заголосили ведьмы, когда увидали ее, но она только засмеялась в ответ, и подбежала к белому грабу, и схватила Рыбака за руку, и вывела его на лунный свет, и принялась танцевать.

Они оба кружились вихрем, и так высоко прыгала Ведьма, что были ему видны красные каблучки ее башмаков. Вдруг до слуха танцующих донесся топот коня, но коня не было видно нигде, и Рыбак почувствовал страх.

— Быстрее! — кричала Ведьма и, обхватив его шею руками, жарко дышала в лицо. — Быстрее! Быстрее! — кричала она, и, казалось, земля завертелась у него под ногами, в голове у него помутилось, и великий ужас напал на него, будто под взором какого-то злобного дья-

вола, и наконец он заметил, что под сенью утеса скрывается кто-то, кого раньше там не было.

То был человек, одетый в бархатный черный испанский костюм. Лицо у него было до странности бледно, но уста его были похожи на алый цветок. Он казался усталым и стоял, прислонившись к утесу, небрежно играя рукоятью кинжала. Невдалеке на траве виднелась его шляпа с пером и перчатки для верховой езды. Они были оторочены золотыми кружевами, и мелким жемчугом был вышит на них какой-то невиданный герб. Короткий плащ, обшитый соболями, свешивался с его плеча, а его холеные белые руки были украшены перстнями; тяжелые веки скрывали его глаза.

Как замороженный смотрел на него юный Рыбак. Наконец их глаза встретились, и потом, где бы юный Рыбак ни плясал, ему чудилось, что взгляд незнакомца неотступно следит за ним. Он слышал, как Ведьма засмеялась, и обхватил ее стан, и завертел в неистовой пляске.

Вдруг в лесу залаяла собака; танцующие остановились, и пара за парой пошли к незнакомцу, и, преклоняя колена, припадали к его руке. При этом на его гордых губах заиграла легкая улыбка, как играет вода от трепета птичьих крыльев. Но было в той улыбке презрение. И он продолжал смотреть только на молодого Рыбака.

— Пойдем же, поклонимся ему! — шепнула Ведьма и повела его вверх, и сильное желание сделать именно то, о чем говорила она, охватило его всего, и он пошел вслед за нею. Но когда он подошел к тому человеку, он внезапно, не зная и сам почему, осенил себя крестным знамением и призвал имя Господне.

И тотчас же ведьмы, закричав, словно ястребы, улетели куда-то, а бледное лицо, что следило за ним, передернулось судорогой боли. Человек отошел к роще и свистнул. Испанский жеребец в серебряной сбруе выбежал навстречу ему. Человек вскочил на коня, оглянулся и грустно посмотрел на юного Рыбака.

И рыжеволосая Ведьма попыталась улететь вместе с ним, но юный Рыбак схватил ее за руки и крепко держал.

— Отпусти меня, дай мне уйти! — взмолилась она. — Ибо ты назвал такое имя, которое не подобает называть, и сделал такое знамение, на которое не подобает смотреть.

— Нет, — ответил он ей, — не пущу я тебя, покуда не откроешь мне тайну.

— Какую тайну? — спросила она, вырываясь от него, словно дикая кошка, и кусая запененные губы.

— Ты знаешь сама, — сказал он.

Ее глаза, зеленые, как полевая трава, вдруг замутились слезами, и она сказала в ответ:

— Что хочешь проси, но не это!

Он засмеялся и сжал ее крепче.

И, увидев, что ей не вырваться, она прошептала ему:

— Я так же пригожа, как дочери моря, я так же хороша, как и те, что живут в голубых волнах, — и она стала ласкаться к нему и приблизила к нему свое лицо.

Но он нахмурился, оттолкнул ее и сказал:

— Если не исполнишь своего обещания, я убью тебя, Ведьма-обманщица.

Лицо у нее сделалось серым, как цветок иудина дерева, и, вздрогнув, она тихо ответила:

— Будь по-твоему. Душа не моя, а твоя. Делай с нею что хочешь.

И она вынула из-за пояса маленький нож и подала ему. Рукоятка у ножа была обтянута зеленой змеиной кожей.

— Для чего он мне надобен? — спросил удивленный Рыбак.

Она помолчала недолго, и ужас исказил ее лицо. Потом она откинула с чела свои рыжие волосы и, странно улыбаясь, сказала:

— То, что люди называют своей тенью, не тень их тела, а тело их души. Выйди на берег моря, стань спиной к луне и отрежь у самых своих ног свою тень, это тело твоей души, и повели ей покинуть тебя, и она исполнит твое повеление.

Молодой Рыбак задрожал.

— Это правда? — прошептал он.

— Истинная правда, и лучше б я не открывала ее! — воскликнула Ведьма, рыдая и цепляясь за его колени.

Он отстранил ее, и там она осталась, в буйных травах, и, дойдя до склона горы, он сунул этот нож за пояс и, хватаясь за выступы, начал быстро спускаться вниз.

И бывшая в нем Душа воззвала к нему и сказала:

— Слушай! Все эти годы жила я с тобою и верно служила тебе. Не гони же меня теперь. Какое зло я причинила тебе?

Но юный Рыбак засмеялся.

— Зла я от тебя не видел, но ты мне не надобна. Мир велик, и есть еще Рай, и Ад, есть и сумрачная серая обитель, которая между Раем и Адом. Иди же, куда хочешь, отстань, моя милая давно уже кличет меня.

Душа жалобно молила его, но он даже не слушал ее. Он уверенно, как дикий козел, прыгал вниз со скалы на скалу; наконец он спустился к желтому берегу моря.

Стройный, весь как из бронзы, словно статуя, изваянная эллином, он стоял на песке, повернувшись спиною к луне, а из пены уже простирались к нему белые руки, и вставали из волн какие-то смутные призраки, и слышался их неясный привет.

Прямо перед ним лежала его тень, тело его Души, а там, позади, висела луна в воздухе, золотистом, как мед.

И Душа сказала ему:

— Если и вправду ты должен прогнать меня прочь от себя, дай мне с собой твое сердце. Мир жесток, и без сердца я не хочу уходить.

Он улыбнулся и покачал головой.

— А чем же я буду любить мою милую, если отдам тебе сердце?

— Будь добр, — молила Душа, — дай мне с собой твое сердце: мир очень жесток, и мне страшно.

— Мое сердце отдано милой! — ответил Рыбак. — Не мешкай же и уходи поскорее.

— Разве я не любила бы вместе с тобою? — спросила его Душа.

— Уходи, тебя мне не надобно! — крикнул юный Рыбак и, выхватив маленький нож с зеленою рукояткой из змеиной кожи, отрезал свою тень у самых ног, и она поднялась и предстала пред ним, точно такая, как он, и взглянула ему в глаза.

Он отпрянул назад, заткнул за пояс нож, и чувство ужаса охватило его.

— Ступай, — прошептал он, — и не показывайся мне на глаза!

— Нет, мы снова должны встретиться! — сказала Душа.

Негромкий ее голос был как флейта, и губы ее чуть шевелились.

— Но как же мы встретимся? Где? Ведь не пойдешь ты за мной в морские глубины! — воскликнул юный Рыбак.

— Каждый год я буду являться на это самое место и призывать тебя, — ответила Душа. — Кто знает, ведь может случиться, что я понадобится тебе.

— Ну зачем ты мне будешь нужна? — воскликнул юный Рыбак. — Но все равно, будь по-твоему!

И он бросился в воду, и Тритоны затрубили в свои раковины, а маленькая Дева морская выплыла навстречу ему, обвила его шею руками и поцеловала в самые губы.

А Душа стояла на пустынном побережье, смотрела на них и, когда они скрылись в волнах, рыдая, побрела по болотам.

* * *

И когда миновал первый год, Душа сошла на берег моря и стала звать юного Рыбака, и он поднялся из пучины и спросил:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и, опершись головою на руку, стал слушать.

* * *

И сказала ему Душа:

— Когда я покинула тебя, я повернулась лицом к Востоку и отправилась в дальний путь. С Востока приходит все мудрое. Шесть дней была я в пути, и наутро седьмого дня я подошла к холму, что находится в землях Татарии. Чтобы укрыться от солнца, я уселась в тени тамариска. Почва была сухая и выжжена зноем. Как ползают мухи по медному гладкому диску, так двигались люди по этой равнине.

В полдень багряное облако пыли поднялось от ровного края земли. Когда жители Татарии увидели его, они натянули расписные свои луки, вскочили на приземистых коней и галопом поскакали навстречу. Женщи-

ны с визгом побежали к кибиткам и спрятались за висящими войлоками.

В сумерки татары вернулись, но пятерых не хватало, а из вернувшихся немало было раненых. Они впрягли своих коней в кибитки и торопливо снялись с места. Три шакала вышли из пещеры и посмотрели им вслед. Потом они понюхали воздух и рысью побежали в обратную сторону.

Когда же взошла луна, я увидела на равнине костер и пошла прямо на него. Вокруг костра на коврах сидели какие-то купцы. Их верблюды были привязаны позади, а негры-прислужники разбивали палатки из дубленой кожи на песке и воздвигали высокую изгородь из колючего кактуса.

Когда я приблизилась к ним, их предводитель поднялся и, обнажив меч, спросил, что мне надо.

Я ответила, что была у себя на родине Принцем и что теперь бегу от Татар, которые хотели обратить меня в рабство. Предводитель усмехнулся и показал мне пять человеческих голов, насаженных на длинные бамбуковые шесты.

Потом он спросил меня, кто был Пророк Бога на земле, и я ответила: Магомет.

Услышавши имя лжепророка, он склонил голову и взял меня за руку и посадил рядом с собою. Негр принес мне кумысу в деревянной чашке и кусок жареной баранины.

На рассвете мы двинулись в путь. Я ехала на рыжем верблюде рядом с предводителем отряда, а перед нами бежал скороход, и в руке у него было копье. Воины были и справа и слева, и сзади следовали мулы, нагруженные разными товарами. Верблюдов в караване было сорок, а мулов было дважды столько.

Мы прошли из страны Татарии к тем, которые проклинают Луну. Мы видели Грифов⁴⁵, стерегущих свое золото в белых скалах, мы видели чешуйчатых Драконов, которые спали в пещерах. Когда мы проходили через горные кряжи, мы боялись дохнуть, чтобы снеговые лавины не сверглись на нас, и каждый повязал глаза легкой вуалью из газа. Когда мы проходили по долинам, в нас метали стрелы Пигмеи, таившиеся в дупле деревьев, а по ночам мы слышали, как дикие люди били в свои барабаны. Подойдя к Башне Обезьян, мы поло-

жили пред ними плоды, и они не тронули нас. Когда же мы подошли к Башне Змей, мы дали им теплого молока в медных чашах, и они пропустили нас. Трижды во время пути выходили мы на берег Окса⁴⁶. Мы переплывали его на деревянных плотках с большими мехами из воловьих шкур, надутых воздухом. Бегемоты яростно бросались на нас и хотели нас растерзать. Верблюды дрожали, когда видели их.

Цари каждого города взимали с нас пошлину, но не выпускали в городские ворота. Они бросали нам еду из-за стен — медовые оладьи из маиса и пирожки из мельчайшей муки, начиненные финиками. За каждую сотню корзин мы давали им по янтарному шарикку.

Когда обитатели сел видели, что мы приближаемся, они отравляли колодцы и убегали на вершины холмов.

Мы должны были сражаться с Магадаями, которые рождаются старыми и, что ни год, становятся моложе и умирают младенцами; мы сражались с Лактроями, которые считают себя порождением тигров и раскрашивают себя черными и желтыми полосами. Мы сражались с Аурантами, которые хоронят своих мертвецов на вершинах деревьев, а сами прячутся в темных пещерах, чтобы Солнце, которое считается у них божеством, не убило их; и с Кримнийцами, которые поклоняются крокодилу и приносят ему в дар серьги из зеленой травы и кормят его маслом и молодыми цыплятами; и с Агазонбаями, у коих песьи морды; и с Сибанами на лошадиных ногах, более быстрых, чем ноги коней. Треть нашего отряда погибла в битвах, и треть нашего отряда погибла от лишений. Прочие роптали на меня и говорили, что я принесла им несчастье. Я взяла из-под камня рогатую ехидну и дала ей ужалить меня. Увидев, что я невредима, они испугались.

На четвертый месяц мы достигли города Иллель. Была ночь, когда мы приблизились к роще за городскими стенами, и воздух был душный, ибо Луна находилась в созвездии Скорпиона⁴⁷.

Мы срывали спелые гранаты с деревьев, и разламывали их, и пили их сладкий сок. Потом мы легли на ковры и дожидались рассвета.

И на рассвете мы встали и постучались в городские ворота. Из кованой красной меди были эти городские ворота, и на них были морские драконы, а также дра-

коны крылатые. Стража, наблюдавшая с бойниц, спросила, чего нам надо. Толмач каравана ответил, что мы с острова Сирии пришли сюда с богатыми товарами. Они взяли у нас заложников и сказали, что в полдень откроют ворота, и велели ждать до полудня.

В полдень они открыли ворота, и люди толпами выбегали из домов, чтобы поглядеть на пришельцев, и глашатай помчался по улицам города, крича в раковину о нашем прибытии. Мы остановились на базаре, и, едва только негры развязали тюки узорчатых тканей и раскрыли резные ларцы из смоковницы, купцы выставили напоказ свои диковинные товары: навощенные льняные ткани из Египта, крашеное полотно из земли Эфиопов, пурпурные губки из Тира, синие сидонские занавеси⁴⁸, прохладные янтарные чаши, тонкие стеклянные сосуды и еще сосуды из обожженной глины, очень причудливой формы. С кровли какого-то дома женщины смотрели на нас. У одной на лице была маска из позолоченной кожи.

И в первый день пришли к нам жрецы и выменивали наши товары. Во второй день пришли знатные граждане. В третий день пришли ремесленники и рабы. Таков их обычай со всеми купцами, пока те пребывают в их городе.

И в течение одной луны мы оставались там, и, когда луна пошла на убыль, торговля наскучила мне, и я стала скитаться по улицам города и приблизилась к тому саду, который был садом их бога. Жрецы, одетые в желтое, безмолвно двигались меж зеленью деревьев, и на черных мраморных плитах стоял красный, как роза, дворец, в котором и жил этот бог. Двери храма были покрыты глазурью, и их украшали блестящие золотые барельефы, изображавшие быков и павлинов. Изразцовая крыша была сделана из фарфора цвета морской воды, и по ее краям висели целые гирлянды колокольчиков. Белые голуби, пролетая, задевали колокольчики крыльями, и колокольчики от трепета крыльев звенели.

Перед храмом был бассейн прозрачной воды, выложенный испещренным прожилками ониксом. Я легла у бассейна и бледными пальцами трогала широкие листья. Один из жрецов подошел ко мне и стал у меня за спиной. На ногах у него были сандалии, одна из мягкой змеиной кожи, другая из птичьих перьев. На голо-

ве у него была войлочная черная митра, украшенная серебряными полумесяцами. Семь узоров желтого цвета были вытканы на его одеянии, и сурьюю были выкрашены его курчавые волосы.

Помолчав, он обратился ко мне и спросил, что мне угодно.

Я сказала, что мне угодно видеть бога.

— Бог на охоте, — ответил жрец, как-то странно глядя на меня узкими косыми глазами.

— Скажи мне, в каком он лесу, и я буду охотиться с ним.

Он расправил мягкую бахрому своей туники длинными и острыми ногтями.

— Бог спит!

— Скажи, на каком он ложе, и я буду охранять его сон.

— Бог за столом, он пирует.

— Если вино его сладко, я буду пить вместе с ним; а если вино его горько, я также буду пить вместе с ним.

Он склонил в изумлении голову и, взяв меня за руку, помог мне подняться и ввел меня в храм.

И в первом покое я увидела идола, сидевшего на яшмовом троне, окаймленном крупными жемчугами Востока. Идол был из черного дерева, и рост его был рост человека. На челе у него был рубин, и густое масло струилось с его волос на бедра. Его ноги были красны от крови только что убитого козленка, а чресла его были опоясаны медным поясом с семью бериллами.

И я сказала жрецу:

— Это бог?

И он ответил:

— Это бог.

— Покажи мне бога! — крикнула я. — Или ты будешь убит!

И я коснулась его руки, и рука у него отсохла.

И взмолился жрец, говоря:

— Пусть повелитель исцелит раба своего, и я покажу ему бога.

Тогда я дохнула на руку жреца, и снова она стала живою, и он задрожал и ввел меня в соседний покой, и я увидела идола, стоявшего на нефритовом лотосе, который был украшен изумрудами. Он был выточен из слоновой кости, и рост его был как два человеческих

роста. На челе у него был хризолит, а грудь его была умащена корицей и миррой. В одной руке у него был извилистый нефритовый жезл, а в другой — хрустальная держава. Его обувью были котурны из меди, а тучную шею обвивало селенитовое ожерелье.

И я сказала жрецу:

— Это бог?

И он ответил:

— Это бог.

— Покажи мне бога! — крикнула я. — Или ты будешь убит!

И я тронула рукой его веки, и глаза его тотчас ослепли.

И взмолился жрец:

— Пусть исцелит повелитель раба своего, и я покажу ему бога.

Тогда я дохнула на его ослепшие очи, и они опять стали зрячими, и, весь дрожа, он ввел меня в третий покой, и там не было идола, не было никаких кумиров, а было только круглое металлическое зеркало, стоящее на каменном жертвеннике.

И я сказала жрецу:

— Где же бог?

И он ответил:

— Нет никакого бога, кроме зеркала, которое ты видишь перед собой, ибо это Зеркало Мудрости. И в нем отражается все, что в небе и что на земле. Только лицо смотрящего в него не отражается в нем. Оно не отражается в нем, чтобы смотрящийся в него стал мудрецом. Много есть всяких зеркал, но те зеркала отражают лишь Мысли глядящего в них. Только это зеркало — Зеркало Мудрости. Кто обладает этим Зеркалом Мудрости, тому ведомо все на земле, и ничто от него не скрыто. Кто не обладает этим зеркалом, тот не обладает и Мудростью. Посему это зеркало и есть бог, которому мы поклоняемся.

И я посмотрела в зеркало, и все было так, как говорил мне жрец.

И я совершила необычайный поступок, но что я совершила — не важно, и вот в долине, на расстоянии дня пути, спрятала я Зеркало Мудрости. Позволь мне снова войти в тебя и быть твоею рабою, — ты будешь мудрее всех мудрых, и вся Мудрость будет твоя. По-

зволь мне снова войти в тебя, и никакой мудрец не сравнится с тобою.

Но юный Рыбак засмеялся.

— Любовь лучше Мудрости, — вскричал он, — а маленькая Дева морская любит меня.

— Нет, Мудрость превыше всего, — сказала ему Душа.

— Любовь выше ее! — ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа, рыдая, побрела по болотам.

* * *

И по прошествии второго года Душа снова пришла на берег моря и позвала Рыбака, и он вышел из глубины и сказал:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе и послушай меня, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и опершись головою на руку, стал слушать.

* * *

И Душа сказала ему:

— Когда я покинула тебя, я обратилась к Югу и отправилась в дальний путь. С Юга приходит все, что на свете есть драгоценного. Шесть дней я была в пути, шла по большим дорогам, ведущим к городу Аштер⁴⁹, по красным, пыльным дорогам, по которым бредут паломники, и наутро седьмого дня я подняла свои взоры, и вот у ног моих распростерся город, ибо этот город в долине.

У города девять ворот, и у каждого ворот стоит бронзовый конь, и кони эти ржут, когда Бедуины спускаются с гор. Стены города обиты красной медью, и башни на этих стенах покрыты бронзой. В каждой башне стоит стрелок, и в руках у каждого лук. При восходе солнца каждый пускает стрелу в гонг, а на закате трубит в рог.

Когда я пыталась проникнуть в город, стража задержала меня и спросила, кто я. Я ответила, что я Держиш и теперь направляюсь в Мекку⁵⁰, где находится зеленое покрывало, на котором ангелы вышили серебром Коран. И стража исполнилась удивления и просила меня войти в город.

Город был подобен базару. Поистине жаль, что тебя не было вместе со мною. В узких улицах веселые бумажные фонарики колышутся, как большие бабочки. Когда ветер проносится по кровлям, фонарики качаются под ветром, словно разноцветные пузыри. У входа в лавчонки на шелковых ковриках восседают купцы. У них прямые черные бороды, чалмы их усыпаны золотыми цехинами; и длинные нити янтарных четок и точеных персиковых косточек скользят в их холодных пальцах. Иные торгуют гилбаном, и нардом, и какими-то неведомыми ароматами с островов Индийского моря, и густым маслом из красных роз, из мирры и мелкой гвоздики. Если кто-нибудь остановится и вступит с ними в беседу, они бросают на жаровню щепотки ладана, и воздух становится сладостным. Я видела сирийца, который держал в руке прут, тонкий, подобный тростинке. Серые нити дыма выходили из этого прута, и его запах, пока он горел, был как запах розового миндаля по весне. Иные продают серебряные браслеты, усеянные млечно-голубой бирюзой, и запястья из медной проволоки, окаймленные мелким жемчугом, и тигровые когти и когти диких кошек — леопардов, оправленные в золото, и серьги из просверленных изумрудов, и кольца из выдолбленного нефрита. Из чайных слышатся звуки гитары, и бледнолицые курильщики опия с улыбкой глядят на прохожих.

Поистине жаль, что тебя не было вместе со мною. С большими черными бурдюками на спинах протискиваются там сквозь толпу продавцы вина. Чаще всего торгуют они сладким, как мед, вином Ширази. Они подают его в маленьких металлических чашах и сыплют туда лепестки роз. На базаре стоят продавцы и продают все плоды, какие есть на свете: спелые фиги с пурпурной мякотью; дыни, пахнущие мускусом и желтые, как топазы; померанцы и розовые яблоки, и гроздь белого винограда; круглые красно-золотые апельсины и продолговатые зелено-золотые лимоны. Однажды я видела слона, проходящего мимо. Его хобот был расписан шафраном и киноварью, и на ушах у него была сетка из шелковых алых шнурков. Он остановился у одного шалаша и стал пожирать апельсины, а торговец только смеялся. Ты и представить себе не можешь, какой это странный народ. Когда у них радость, они идут

к торговцам птицами, покупают птицу, заключенную в клетку, и выпускают на волю, дабы умножить веселье; а когда у них горе, они бичуют себя терновником, чтобы скорбь их не стала слабее.

Однажды вечером мне навстречу попались какие-то негры; они несли по базару тяжелый паланкин. Он был весь из позолоченного бамбука, ручки у него были красные, покрытые глазурью и украшенные медными павлинами. На окнах висели тонкие муслиновые занавески, расшитые крыльями жуков и усеянные мельчайшими жемчужинками, а когда паланкин поравнялся со мною, оттуда выглянула бледнолицая черкешенка и улыбнулась мне. Я последовала за паланкином. Негры ускорили шаг и сердито посмотрели на меня. Но я пренебрегла их угрозами. Великое любопытство охватило меня.

Наконец они остановились у четырехугольного белого дома. В этом доме не было окон, только маленькая дверь, словно дверь, ведущая в гробницу. Негры опустили паланкин на землю и медным молотком постучали три раза. Армянин в зеленом сафьяновом кафтане выглянул через решетку дверного окошечка и, увидев их, отпер дверь, разостлал на земле ковер, и женщина покинула носилки. У входа в дом она оглянулась и снова послала мне улыбку. Я никогда еще не видала такого бледного лица.

Когда на небе показалась луна, я снова пришла на то место и стала искать тот дом, но его уже не было там. Тогда я догадалась, кто была эта женщина и почему она мне улыбнулась.

Воистину жаль, что тебя не было вместе со мною. На празднике Новолуния юный Султан выезжал из дворца и следовал в мечеть для молитвы. Его борода и волосы были окрашены листьями розы, а щеки были напудрены мелким золотым порошком. Его ладони и ступни его ног были желты от шафрана.

На восходе солнца он вышел из своего дворца в серебряной одежде, а на закате вернулся в одежде из золота. Люди падали ниц перед ним и скрывали свое лицо, но я не упала ниц. Я стояла у лотка торговца финиками и ждала. Когда Султан увидел меня, он поднял свои крашенные брови и остановился. Но я стояла спокойно и не поклонилась ему. Люди удивлялись моей

дерзости и советовали скрыться из города. Я пренебрегла их советами и пошла и села рядом с продавцами чужеземных богов; этих людей презирают, так как презирают их промысел. Когда я рассказала им о том, что я сделала, каждый подарил мне одного из богов и умолял удалиться.

В ту же ночь, едва я простерлась на ложе в чайном домике, что на улице Гранатов, вошли телохранители Султана и повели меня во дворец. Они замыкали за мною каждую дверь и вешали на нее железную цепь. Внутри был обширный двор, весь окруженный аркадами. Стены были алебастровые, белые, с зелеными и голубыми изразцами, колонны были из зеленого мрамора, а мраморные плиты под ногою были такого же цвета, как лепестки персикового дерева. Подобного я не видала никогда.

Пока я проходила этот двор, две женщины, лица которых были закрыты чадрами, посмотрели на меня с балкона и послали мне вслед проклятие. Телохранители ускорили шаг, и их копья забряцали по гладкому полу. Наконец они открыли ворота, выточенные из слоновой кости, и я очутилась в саду, расположенном на семи террасах. Сад был обильно орошаем водой. В нем были посажены тюльпаны, ночные красавицы и серебристый алоэ. Как тонкая хрустальная тростинка, повисла во мгlistом воздухе струйка фонтана. И кипарисы стояли, точно догоревшие факелы. На ветвях одного кипариса распевал соловей.

В конце сада была небольшая беседка. Когда мы приблизились к ней, навстречу нам вышли два евнуха. Их тучные тела колыхались, и они с любопытством оглядели меня из-под желтых век. Один из них отвел начальника стражи в сторону и тихим голосом шепнул ему что-то. Другой продолжал все время жевать какие-то душистые лепешки, которые жеманным движением руки доставал из эмалевой овальной коробочки лилового цвета.

Через несколько минут начальник стражи велел солдатам уйти. Они пошли обратно во дворец, за ними медленно последовали евнухи, срывая по пути с деревьев сладкие тутовые ягоды. Тот евнух, который постарше, глянул на меня и улыбнулся зловещей улыбкой.

Затем начальник стражи подвел меня к самому вхо-

ду в беседку. Я бестрепетно шагала за ним и, отдернув тяжелый полог, вошла.

Юный Султан возлежал на крашенных львиных шкурах, на руке у него сидел сокол. За спиной Султана стоял нубиец⁵¹ в украшенном медью тюрбане, обнаженный до пояса и с грузными серьгами в проколотых ушах. Тяжелая кривая сабля лежала на столе у ложа.

Султан нахмурился, увидев меня, и сказал:

— Кто ты такой? Скажи свое имя. Или тебе неведомо, что я властелин этого города?

Но я ничего не ответила.

Султан указал на кривую саблю, и нубиец схватил ее и, подавшись вперед, со страшной силой ударил меня. Лезвие со свистом прошло сквозь меня, но я осталась жива и невредима. Нубиец растянулся на полу, и, когда поднялся, его зубы стучали от ужаса, и он спрятался за ложе Султана.

Султан вскочил на ноги и, выхватив дротик из оружейной подставки, метнул его в меня. Я поймала его на лету и разломала пополам. Султан выстрелил в меня из лука, но я подняла руки, и стрела остановилась в полете. Тогда из-за белого кожаного пояса выхватил он кинжал и воткнул его в горло нубийцу, чтобы раб не мог рассказать о позоре своего господина. Нубиец стал корчиться, как раздавленная змея, и красная пена пузырями выступила у него на губах.

Как только он умер, Султан обратился ко мне и сказал, отирая платком из пурпурного расшитого шелка блестящую на челе испарину:

— Уж не Пророк ли ты Божий, ибо вот я не властен причинить тебе какое-нибудь зло, или, может быть, сын Пророка, ибо мое оружие не в силах уничтожить тебя. Прошу тебя, удались отсюда, потому что, покуда ты здесь, я не властелин моего города.

И я ответила ему:

— Я уйду, если ты мне отдашь половину твоих сокровищ. Отдай мне половину сокровищ, и я удалюсь отсюда.

Он взял меня за руку и повел в сад. Начальник стражи, увидев меня, изумился. Но когда меня увидели евнухи, их колени дрогнули, и они в ужасе пали на землю.

Есть во дворце восьмистенная зала, вся из багряного порфира, с чешуйчатым медным потолком, с которого свисают светильники. Султан коснулся стены; она разверзлась, и мы пошли каким-то длинным ходом, освещаемым многими факелами. В нишах, справа и слева, стояли винные кувшины, наполненные доверху серебряными монетами. Когда мы дошли до середины коридора, Султан произнес какое-то заповедное слово, и на потайной пружине распахнулась гранитная дверь; Султан закрыл лицо руками, чтобы его глаза не ослепли.

Ты не поверишь, какое это было чудесное место. Там были большие черепаховые панцири, полные жемчуга, и выдолбленные огромные лунные камни, полные красных рубинов. В сундуках, обитых слоновьими шкурами, было червонное золото, а в сосудах из кожи был золотой песок. Там были опалы и сапфиры: опалы в хрустальных чашах, а сапфиры в чашах из нефрита. Зеленые крупные изумруды рядами были разложены на тонких блюдах из слоновой кости, а в углу стояли шелковые тюки, одни набитые бирюзой, другие — бериллами. Охотничьи рога из слоновой кости были полны до краев пурпурными аметистами, а рога, которые были из меди, — халцедонами и карнерилами. Колонны из кедрового дерева были увешаны нитками рысьих глаз⁵², на овальных плоских щитах там были груды карбункулов, иные такого цвета, как вино, другие такого, как трава. И все же я описала едва ли десятую часть того, что было в этом тайном чертоге.

И сказал мне Султан, отнимая руки от лица:

— Здесь хранятся все мои сокровища. Половина сокровищ твоя, как и было обещано мною. Я дам тебе верблюдов и погонщиков, которые будут покорны тебе и отвезут твою долю, куда только ты пожелаешь. Все это будет исполнено нынче же ночью, ибо я не хочу, чтобы отец мой, Солнце, увидел, что живет в моем городе тот, кого я не в силах убить.

Но я сказала Султану в ответ:

— Золото это твое, и серебро это тоже твое, и твои эти драгоценные камни и все эти несметные богатства. Этого ничего мне не надобно. Я ничего не возьму от тебя, только этот маленький перстень на пальце твоей руки.

Нахмурился Султан и сказал:

— Это простое свинцовое кольцо. Оно не имеет никакой цены. Бери же свою половину сокровищ и скорее покинь мой город.

— Нет, — ответила я, — я не возьму ничего, только этот свинцовый перстень, ибо я знаю, какие на нем начертания и для чего они служат.

И, вздрогнув, взмолился Султан:

— Бери все сокровища, какие только есть у меня, только покинь мой город. Я отдаю тебе также и свою половину сокровищ.

И странное я совершила деяние, но о нем не стоит говорить, — и вот в пещере, на расстоянии дня отсюда, я спрятала Перстень Богатства. Туда только день пути, и этот перстень ожидает тебя. Владеющий этим перстнем богаче всех на свете царей. Поди же возьми его, и все сокровища мира — твои.

Но юный Рыбак засмеялся.

— Любовь лучше Богатства! — крикнул он. — А маленькая Дева морская любит меня.

— Нет, лучше всего Богатство! — сказала ему Душа.

— Любовь лучше! — ответил Рыбак и погрузился в пучину, а Душа, рыдая, побрела по болотам.

* * *

И снова, по прошествии третьего года, Душа пришла на берег моря и позвала Рыбака, и он вышел из пучины и сказал:

— Зачем ты зовешь меня?

И Душа ответила:

— Подойди ко мне ближе, чтоб я могла с тобой побеседовать, ибо я видела много чудесного.

И подошел он ближе, и лег на песчаной отмели, и, опершись головою на руку, стал слушать.

И Душа сказала ему:

— Я знаю один город. Там есть над рекою харчевня. Там я сидела с матросами. Они пили вина обоих цветов, ели мелкую соленую рыбу с лавровым листом и уксусом и хлеб из ячменной муки. Мы сидели там и веселились, и вошел какой-то старик, и в руках у него был кожаный коврик и лютня с двумя янтарными колышками. Разостлав на полу коврик, он ударил перышком по металлическим струнам своей лютни, и вбе-

жала девушка, у которой лицо было закрыто чадрой, и стала плясать перед ними. Лицо ее было закрыто кисейной чадрой, а ноги у нее были нагие. Нагие были ноги ее, и они порхали по этому ковру, как два голубя. Ничего чудеснее я никогда не видала, и тот город, где она пляшет, отсюда на расстоянии дня.

Услыхав эти слова своей Души, вспомнил юный Рыбак, что маленькая Дева морская совсем не имела ног и не могла танцевать. Страстное желание охватило его, и он сказал себе самому: «Туда только день пути, и я могу вернуться к моей милой».

И он засмеялся, и встал на отмели, и шагнул к берегу.

И когда он дошел до берега, он засмеялся опять и протянул руки к своей Душе. А Душа громко закричала от радости, и побежала навстречу ему, и вселилась в него, и молодой Рыбак увидел, что тень его тела простерлась опять на песке, а тень тела — это тело Души.

И сказала ему Душа:

— Не будем мешкать, нужно тотчас же удалиться отсюда, ибо Боги Морские ревнивы, и есть у них много чудовищ, которые повинуются им.

* * *

И они поспешно удалились, и шли под луною всю ночь, и весь день они шли под солнцем, и, когда завечерело, приблизились к какому-то городу.

И сказала Душа ему:

— Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли бродить по его улицам, и, когда проходили по улице Ювелиров, молодой Рыбак увидел прекрасную серебряную чашу, выставленную в какой-то лавчонке.

И Душа его сказала ему:

— Возьми эту серебряную чашу и спрячь.

И взял он серебряную чашу и спрятал ее в складках своей туники, и они поспешно удалились из города.

И когда они отошли на расстояние мили, молодой Рыбак насупился, и отшвырнул эту чашу, и сказал Душе:

— Почему ты велела мне украсть эту чашу и спрятать ее? То было недоброе дело.

— Будь покоен, — ответила Душа, — будь покоен.

К вечеру следующего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак снова спросил у Души:

— Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа ответила ему:

— Это не тот, а другой. Но все же войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли по улицам его, и, когда проходили по улице Продающих Сандалии, молодой Рыбак увидел ребенка, стоящего у кувшина с водой.

И сказала ему его Душа:

— Ударь этого ребенка.

И он ударил ребенка, и ребенок заплакал; тогда они поспешно покинули город.

И когда они отошли на расстояние мили от города, молодой Рыбак насупился и сказал Душе:

— Почему ты повелела мне ударить ребенка? То было недоброе дело.

— Будь покоен, — ответила Душа, — будь покоен!

И к вечеру третьего дня они приблизились к какому-то городу, и молодой Рыбак сказал своей Душе:

— Не это ли город, где пляшет та, о которой ты мне говорила?

И Душа сказала ему:

— Может быть, и тот, войдем в него.

И они вошли в этот город и пошли по улицам его, но нигде не мог молодой Рыбак найти ни реки, ни харчевни. И жители этого города с любопытством взирали на него, и ему стало жутко, и сказал он своей Душе:

— Уйдем отсюда, ибо та, которая пляшет белыми ногами, не здесь.

Но его Душа ответила ему:

— Нет, мы останемся здесь, потому что ночь теперь темная и на дороге нам могут встретиться разбойники.

И он уселся на площади рынка и стал отдыхать, и вот прошел мимо него купец, и голова его была закрыта капюшоном плаща, а плащ был из татарского сукна, и на длинной камышине держал он фонарь из коровьего рога.

И сказал ему этот купец:

— Почему ты сидишь на базаре? Ты видишь: все лавки закрыты и тюки обвязаны веревками.

И молодой Рыбак ответил ему:

— Я не могу в этом городе отыскать заезжего двора, и нет у меня брата, который приютит бы меня.

— Разве не все мы братья? — сказал купец. — Разве мы не созданы единым Творцом? Пойдем же со мною, у меня есть комната для гостей.

И встал молодой Рыбак, и пошел за купцом в его дом. И когда, через гранатовый сад, он вошел под кров его дома, купец принес ему в медной лохани розовую воду для омовения рук и спелых дынь для утоления жажды и поставил перед ним блюдо рису и жареного молодого козленка.

По окончании трапезы купец повел его в покой для гостей и предложил ему отдохнуть и опочить. И молодой Рыбак благодарил его, и облобызал кольцо, которое было у него на руке, и бросился на ковры из козьей крашеной шерсти. И когда он укрылся покровом из черной овечьей шерсти, сон охватил его.

И за три часа до рассвета, когда была еще ночь, его Душа разбудила его и сказала ему:

— Встань и поди к купцу, в ту комнату, где он почивает, и убей его, и возьми у него его золото, ибо мы нуждаемся в золоте.

И встал молодой Рыбак, и прокрался в опочивальню купца, и в ногах купца был какой-то кривой меч, и рядом с купцом, на подносе, было девять кошель золотых. И он протянул свою руку и коснулся меча, но, когда он коснулся его, вздрогнул купец и, воспрянув, сам ухватился за меч и крикнул молодому Рыбаку:

— Злом платишь ты за добро и пролитием крови за милость, которую я оказал тебе?

И сказала Рыбаку его Душа:

— Бей!

И он так ударил купца, что купец упал мертвый, а он схватил все девять кошель золотых и поспешно убежал через гранатовый сад, и к звезде обратил лицо, и была та звезда — звезда Утренняя.

И, отойдя от города, молодой Рыбак ударил себя в грудь и сказал своей Душе:

— Почему ты повелела убить этого купца и взять у него золото? Поистине ты злая Душа!

— Будь покоен, — ответила она, — будь покоен!

— Нет, — закричал молодой Рыбак, — я не могу быть покоен, и все, к чему ты понуждала меня, для

меня ненавистно! И ты ненавистна мне, и потому я прошу, чтобы ты мне сказала, зачем ты так поступила со мной?

И его Душа ответила ему:

— Когда ты отослал меня в мир и прогнал меня прочь от себя, ты не дал мне сердца, потому и научилась я этим деяниям и полюбила их.

— Что ты говоришь! — вскричал Рыбак.

— Ты знаешь, — ответила его Душа, — ты сам хорошо это знаешь. Или ты позабыл, что ты не дал мне сердца? Полагаю, что ты не забыл. И посему не тревожь ни себя, ни меня, но будь покоен, ибо не будет той скорби, от которой бы ты не избавился, и не будет того наслаждения, которого бы ты не изведal.

И когда молодой Рыбак услышал эти слова, он задрожал и сказал:

— Ты злая, ты злая, ты заставила меня забыть мою милую, ты соблазнила меня искушениями и направила мои стопы на путь греха.

И его Душа отвечала:

— Ты помнишь, что, когда ты отсылал меня в мир, ты не дал мне сердца. Пойдем же куда-нибудь в город и будем там веселиться, потому что мы обладаем теперь девятью кошельми золота.

Но молодой Рыбак взял эти девять кошель золотa, и бросил на землю, и стал их топтать.

— Нет! — кричал он. — Мне нечего делать с тобою, и я с тобою не пойду никуда, но как некогда я прогнал тебя, так я прогоню и теперь, ибо ты причинила мне зло.

И он повернулся спиною к луне и тем же коротким ножом с рукоятью, обмотанной зеленой змеиной кожей, попытался отрезать свою тень у самых ног. Тень тела — это тело Души.

Но Душа не ушла от него и не слушала его повелений.

— Чары, данные тебе Ведьмою, — сказала она, — уже утратили силу: я не могу отойти от тебя, и ты не можешь меня отогнать. Только однажды за всю свою жизнь может человек отогнать от себя свою Душу, но тот, кто вновь обретает ее, да сохранит ее во веки веков, и в этом его наказание, и в этом его награда.

И стал бледен молодой Рыбак, сжал кулаки и воскликнул:

— Проклятая Ведьма обманула меня, ибо умолчала об этом!

— Да, — ответила Душа, — она была верна тому, кому служит и кому вечно будет служить.

И когда узнал молодой Рыбак, что нет ему избавления от его Души и что она злая Душа и останется с ним навсегда, он пал на землю и горько заплакал.

* * *

И когда был уже день, встал молодой Рыбак и сказал своей Душе:

— Вот я свяжу мои руки, дабы не исполнять твоих велений, и вот я сомкну мои уста, дабы не говорить твоих слов, и я вернусь к тому месту, где живет любимая мною. К тому самому морю вернусь я, к маленькой бухте, где поет она свои песни, и я позову ее и расскажу ей о зле, которое я совершил и которое внушено мне тобою.

И его Душа, искушая его, говорила:

— Кто она, любимая тобою, и стоит ли к ней возвращаться? Есть многие прекраснее ее. Есть танцовщицы из Самарии⁵³, которые в танцах своих подражают каждой птице и каждому зверю. Ноги их окрашены лавзонией, и в руках у них медные бубенчики. Когда они пляшут, они смеются, и смех у них звонок, подобно смеху воды. Пойдем со мною, и я покажу их тебе. Зачем сокрушаться тебе о грехах? Разве то, что приятно вкушать, не создано для вкушающего? И в том, что сладостно пить, разве заключается отрава? Забудь же свою печаль, и пойдем со мной в другой город. Есть маленький город неподалеку отсюда, и в нем есть сад из тюльпанных деревьев. В этом прекрасном саду есть павлины белого цвета и павлины с синею грудью. Хвосты у них, когда они распускают их при сиянии солнца, подобны дискам из слоновой кости, а также позолоченным дискам. И та, что дает им корм, пляшет, чтобы доставить им радость; порою она пляшет на руках. Глаза у нее насурьмленные; ноздри как крылья ласточки. К одной из ее ноздрей подвешен цветок из жемчуга. Она смеется, когда пляшет, и серебряные запястья звенят у нее на ногах бубенцами. Забудь же твою печаль, и пойдем со мной в этот город.

Но ничего не ответил молодой Рыбак своей Душе,

на уста он наложил печать молчания и крепкою веревкою связал свои руки, и пошел обратно к тому месту, откуда он вышел, к той маленькой бухте, где обычно любимая пела ему свои песни. И непрестанно Душа искушала его, но он не отвечал ничего и не совершил дурных деяний, к которым она побуждала его. Так велика была сила его любви.

И когда пришел он на берег моря, он снял со своих рук веревку, и освободил уста от печати молчания, и стал звать маленькую Деву морскую. Но она не вышла на зов, хотя он звал ее от утра до вечера и умолял ее выйти к нему.

И Душа насмеялась над ним, говоря:

— Мало же радостей приносит тебе любовь. Ты подобен тому, кто во время засухи льет воду в разбитый сосуд. Ты отдаешь, что имеешь, и тебе ничего не дается взамен. Лучше было бы тебе пойти со мною, ибо я знаю, где Долина Веселья и что совершается в ней.

Но молодой Рыбак ничего не ответил Душе. В расщелине утеса построил он себе из прутьев шалаш и жил там в течение года. И каждое утро он звал Деву морскую, и каждый полдень он звал ее вновь, и каждую ночь призывал ее снова. Но она не поднималась из моря навстречу ему, и нигде во всем море не мог он найти ее, хотя искал и в пещерах, и в зеленой воде, и в оставленных приливом затонах, и в ключах, которые клокочут на дне.

И его Душа неустанно искушала его грехом и шептала о страшных деяниях, но не могла соблазнить его, так велика была сила его любви.

И когда этот год миновал, Душа сказала себе: «Злом я искушала моего господина, и его любовь оказалась сильнее меня. Теперь я буду искушать его добром, и, может быть, он пойдет со мною».

И она сказала молодому Рыбаку:

— Я говорила тебе о радостях мира сего, но не слышало меня ухо твое. Дозволь мне теперь рассказать тебе о скорбях человеческой жизни, и, может быть, ты услышишь меня. Ибо поистине Скорбь есть владычица этого мира, и нет ни одного человека, кто избег бы ее сетей. Есть такие, у которых нет одежды, и такие, у которых нет хлеба. В пурпур одеты иные вдовицы, а иные одеты в рубище. Прокаженные бродят по боло-

там, и они жестоки друг к другу. По большим дорогам скитаются нищие, и сумы их пусты. В городах по улицам гуляет Голод, и Чума сидит у городских ворот. Пойдем же, пойдем — избавим людей от всех бедствий, чтобы в мире больше не было горя. Зачем тебе медлить здесь и звать свою милую? Ты ведь видишь, она не приходит. И что такое любовь, что ты ценишь ее так высоко?

Но юный Рыбак ничего не ответил, ибо велика была сила его любви. И каждое утро он звал Деву морскую, и каждый полдень он звал ее вновь, и по ночам он призвал ее снова. Но она не поднималась навстречу ему, и нигде во всем море не мог он ее отыскать, хотя искал ее в реках, впадающих в море, и в долинах, которые скрыты волнами, и в море, которое становится пурпурным ночью, и в море, которое рассвет оставляет во мгле.

И прошел еще один год, и как-то ночью, когда юный Рыбак одиноко сидел у себя в шалаше, его Душа обратилась к нему и сказала:

— Злом я искушала тебя, и добром я искушала тебя, но любовь твоя сильнее, чем я. Отныне я не буду тебя искушать, но я умоляю тебя, дозвожь мне войти в твое сердце, чтобы я могла слиться с тобою, как и прежде.

— И вправду, ты можешь войти, — сказал юный Рыбак, — ибо мне сдается, что ты испытала немало страданий, когда скиталась по миру без сердца.

— Увы! — воскликнула Душа. — Я не могу найти входа, потому что окутано твое сердце любовью.

— И все же мне хотелось бы оказать тебе помощь, — сказал молодой Рыбак.

И только он это сказал, послышался громкий вопль, тот вопль, который доносится к людям, когда умирает какой-нибудь из Обитателей моря. И вскочил молодой Рыбак, и покинул свой плетеный шалаш, и побежал на побережье. И черные волны быстро бежали к нему и несли с собою какую-то ношу, которая была белее серебра. Бела, как пена, была эта ноша, и, подобно цветку, колыхалась она на волнах. И волны отдали ее прибою, и прибой отдал ее пене, и берег принял ее, и увидел молодой Рыбак, что тело Девы морской простерто у ног его. Мертвое, оно было простерто у ног.

Рыдая, как рыдают пораженные горем, бросился Рыбак на землю, и лобызал холодные алые губы, и перебирал ее влажные янтарные волосы. Лежа рядом с ней на песке и содрогаясь, как будто от радости, он прижимал своими темными руками ее тело к груди. Губы ее были холодными, но он целовал их. Мед ее волос был соленым, но он вкушал его с горькою радостью. Он лобызал ее закрытые веки, и бурные брызги на них не были такими солеными, как его слезы.

И мертвой принес он свое покаяние. И терпкое вино своих речей он влил в ее уши, подобные раковинам. Ее руками он обвил свою шею и ласкал тонкую, нежную трость ее горла. Горько, горько было его ликование, и какое-то странное счастье было в скорби его.

Ближе придвинулись черные волны, и стон белой пены был как стон прокаженного. Белоснежными когтями своей пены море вонзалось в берег. Из чертога Морского Царя снова донесся вопль, и далеко в открытом море Тритоны хрипло протрубили в свои раковины.

— Беги прочь, — сказала Душа, — ибо все ближе надвигается море, и, если ты будешь медлить, оно погубит тебя. Беги прочь, ибо я охвачена страхом. Ведь сердце твое для меня недоступно, так как слишком велика твоя любовь. Беги в безопасное место. Не захочешь же ты, чтобы, лишенная сердца, я перешла в иной мир.

Но Рыбак не внял своей Душе; он взывал к маленькой Деве морской.

— Любовь, — говорил он, — лучше мудрости, ценнее богатства и прекраснее, чем ноги у дочерей человеческих. Огнями не сжечь ее, водами не погасить. Я звал тебя на рассвете, но ты не пришла на мой зов. Луна слышала имя твое, но ты не внимала мне. На горе я покинул тебя, на погибель свою я ушел от тебя. Но всегда любовь к тебе пребывала во мне, и была она так несокрушимо могуча, что все было над нею бессильно, хотя я видел и злое и доброе. И ныне, когда ты мертва, я тоже умру с тобою.

Его Душа умоляла его отойти, но он не пожелал и остался, ибо так велика была его любовь. И море надвинулось ближе, стараясь покрыть его волнами, и, когда он увидел, что близок конец, он поцеловал бе-

зумными губами холодные губы морской Девы, и сердце у него разорвалось. От полноты любви разорвалось его сердце, и Душа нашла туда вход, и вошла в него, и стала с ним, как и прежде, едина. И море своими волнами покрыло его.

* * *

А наутро вышел Священник, чтобы осенить своею молитвою море, ибо оно сильно волновалось. И пришли с ним монахи, и клир⁵⁴, и прислужники со свечами, и те, что кадят кадильницами, и большая толпа молящихся.

И когда Священник приблизился к берегу, он увидел, что утонувший Рыбак лежит на волне прибоя и в его крепких объятиях тело маленькой Девы морской.

И Священник отступил, и нахмурился, и, осенив себя крестным знамением, громко возопил и сказал:

— Я не пошлю благословения морю и тому, что находится в нем. Проклятие Обитателям моря и тем, которые водятся с ними! А этот, лежащий здесь со своей возлюбленной, отрекшийся ради любви от Господа и убитый правым господним судом, — возьмите тело его и тело его возлюбленной и схороните их на Погосте Отверженных, в самом углу, и не ставьте знака над ними, дабы никто не знал о месте их упокоения. Ибо прокляты они были в жизни, прокляты будут и в смерти.

И люди сделали, как им было велено, и на Погосте Отверженных, в самом углу, где растут только горькие травы, они вырыли глубокою могилу и положили в нее мертвые тела.

И прошло три года, и в день праздничный Священник пришел во храм, чтобы показать народу раны Господни и сказать ему проповедь о гневе Господнем.

И когда он облачился в свое облачение, и вошел в алтарь, и пал ниц, он увидел, что престол весь усыпан цветами, дотоле никем не виданными. Странными они были для взора, чудесна была их красота, и красота эта смутила Священника, и сладостен был их аромат. И безотчетная радость охватила его.

Он открыл ковчег, в котором была дарохранительница, покадил перед нею ладаном, показал молящимся прекрасную облатку и покрыл ее священным покровом, и обратился к народу, желая сказать ему пропо-

ведь о гневе Господнем. Но красота этих белых цветов волновала его, и сладостен был их аромат для него, и другое слово пришло на уста к нему, и заговорил он не о гневе Господнем, но о боге, чье имя — Любовь. И почему была его речь такова, он не знал.

И когда он кончил свое слово, все бывшие во храме зарыдали, и пошел Священник в ризницу, и глаза его были полны слез. И дьяконы вошли в ризницу, и стали разоблачать его, и сняли с него стихарь, и пояс, и орарь, и епитрахиль. И он стоял как во сне.

И когда они разоблачили его, он посмотрел на них и сказал:

— Что это за цветы на престоле и откуда они?

И те ответили ему:

— Что это за цветы, мы не можем сказать, но они с Погоста Отверженных. Там растут они в самом углу.

И задрожал Священник, и вернулся в свой дом молиться.

И утром, на самой заре, вышел он с монахами, и клиром, и прислужниками, несущими свечи, и с теми, которые кадят кадилницами, и с большою толпою молящихся, и пошел он к берегу моря, и благословил он море и дикую тварь, которая водится в нем. И Фавнов благословил он, и Гномов⁵⁵, которые пляшут в лесах, и тех, у которых сверкают глаза, когда они глядят из-за листьев. Всем созданиям Божьего мира дал он свое благословение; и народ дивился и радовался. Но никогда уже не зацветают цветы на Погосте Отверженных, и по-прежнему весь Погост остается нагим и бесплодным. И Обитатели моря уже никогда не заплывают в залив, как бывало, ибо они удалились в другие области этого моря.

МАЛЬЧИК-ЗВЕЗДА

Как-то раз двое бедных Лесорубов возвращались домой, пробиваясь через густой сосновый бор. Была зимняя ночь, стоял лютый мороз. И на земле и на деревьях лежал толстый снежный покров. Когда Лесорубы продирались сквозь чащу, маленькие обледеневшие веточки обламывались от их движений, а когда они приблизились к Горному Водопаду, то увидели, что он не-

подвижно застыл в воздухе, потому что его поцеловала Королева Льда.

Мороз был так лют, что даже звери и птицы совсем растерялись от неожиданности.

— Уф! — проворчал Волк, прыгая между кустами, поджав хвост. — Какая чудовищная погода. Не понимаю, куда смотрит правительство.

— Фью! Фью! Фью! — просвиристели зеленые Коноплянки. — Старушка-Земля умерла, и ее одели в белый саван.

— Земля готовится к свадьбе, а это ее подвенечный наряд, — прошептали друг другу Горлинки. Их маленькие розовые ножки совершенно окоченели от холода, но они считали своим долгом придерживаться романтического взгляда на вещи.

— Вздор! — проворчал Волк. — Говорю вам, что во всем виновато правительство, а если вы мне не верите, я вас съем. — Волк обладал очень трезвым взглядом на вещи и в споре никогда не лез за словом в карман.

— Ну, что касается меня, — сказал Дятел, который был прирожденным философом, — я не нуждаюсь в физических законах для объяснений явлений. Если вещь такова сама по себе, то она сама по себе такова, а сейчас адски холодно.

Холод в самом деле был адский. Маленькие Белочки, жившие в дупле высокой ели, все время терли друг другу носы, чтобы хоть немного согреться, а Кролики съежились в комочек в своих норках и не смели выглянуть наружу. И только большие рогатые Совы — одни среди всех живых существ — были, по-видимому, довольны. Их перья так обледенели, что стали совершенно твердыми, но это нисколько не тревожило Сов; они тарасили свои огромные желтые глаза и перекликались друг с другом через весь лес:

— У-уу! У-уу! У-уу! У-уу! Какая нынче восхитительная погода!

А двое Лесорубов все шли и шли через бор, ожесточенно дую на замерзшие пальцы и топая по обледеневшему снегу тяжелыми, подбитыми железом сапогами. Один раз они провалились в глубокий, занесенный снегом овраг и вылезли оттуда белые, как мукомолы, когда те стоят у крутящихся жерновов; а в другой раз они поскользнулись на твердом гладком льду замерз-

шего болота, их вязанки хвороста рассыпались, и пришлось им собирать их и заново увязывать; а еще как-то им почудилось, что они заблудились, и на них напал великий страх, ибо им было известно, что Снежная Дева беспощадна к тем, кто засыпает в ее объятиях. Но они возложили свои надежды на заступничество Святого Мартина, который благоприятствует всем путешественникам, и вернулись немного обратно по своим следам, а дальше шли с большей осмотрительностью и в конце концов вышли на опушку и увидели далеко внизу в Долине огни своего селения.

Они очень обрадовались, что выбрались наконец из леса, и громко рассмеялись, а Долина показалась им серебряным цветком, и Луна над ней — цветком золотым.

Но, посмеявшись, они снова стали печальны, потому что вспомнили про свою бедность, и один из них сказал другому:

— С чего это мы так развеселились? Ведь жизнь хороша только для богатых, а не для таких, как мы с тобой. Лучше бы нам замерзнуть в бору или стать добычей диких зверей.

— Ты прав, — отвечал его товарищ. — Одним дано очень много, а другим — совсем мало. В мире царит несправедливость, и благами она одаряет лишь немногих, а вот горе отмеряет щедрой рукой.

Но пока они сетовали так на свою горькую долю, произошло нечто удивительное и странное. Прекрасная и необычайно яркая звезда упала с неба. Она покатилась по небосводу между других звезд, и, когда изумленные Лесорубы проводили ее взглядом, им показалось, что она упала за старыми ветлами возле небольшой овчарни, неподалеку от того места, где они стояли.

— Слушай! Да ведь это же кусок золота, надо его разыскать! — разом закричали оба и тут же припустились бежать — такая жажда золота их обуяла.

Но один из них бежал быстрее другого, перегнал своего товарища, пробрался между ветлами... и что же он увидел? На белом снегу и вправду лежало что-то, сверкающее, как золото. Лесоруб подбежал, наклонился, поднял этот предмет с земли и увидел, что он держит в руках плащ из золотой ткани, причудливо рас-

шитый звездами и ниспадающий пышными складками. И он крикнул своему товарищу, что нашел сокровище, упавшее с неба, и тот поспешил к нему, и они опустились на снег и расправили складки плаща, чтобы достать оттуда золото и разделить его между собой. Но увы! В складках плаща они не обнаружили ни золота, ни серебра, ни других сокровищ, а увидели только спящее дитя.

И один Лесоруб сказал другому:

— Все наши надежды пошли прахом, нет нам с тобой удачи! Ну какая польза человеку от ребенка? Давай оставим его здесь и пойдем своим путем, ведь мы люди бедные, у нас и своих детей хватает, и мы не можем отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим.

Но другой Лесоруб ответил так:

— Нет, нельзя совершить такое злое дело — оставить это дитя замерзать тут на снегу, и, хоть я не богаче тебя и у меня еще больше ртов просят хлеба, а в горшках тоже не густо, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой, и моя жена позаботится о нем.

И он осторожно поднял ребенка, завернул его в плащ, чтобы защитить от жгучего мороза, и зашагал вниз с холма к своему селению, а его товарищ очень удивился про себя такой его глупости и мягкосердечию.

А когда они пришли в свое селение, его товарищ сказал ему:

— Ты взял себе ребенка, так отдай мне плащ, ты же должен поделиться со мной находкой.

Но тот отвечал ему:

— Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а принадлежит только ребенку, — и, пожелав ему доброго здоровья, подошел к своему дому и постучал в дверь.

Когда жена отворила дверь и увидела, что это ее муженек возвратился домой целый и невредимый, она обвила руками его шею, и поцеловала его, и сняла с его спины вязанку хвороста, и отряхнула снег с его сапог, и пригласила его войти в дом.

Но Лесоруб сказал жене:

— Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем, — и он не переступил порога.

— Что же это такое? — воскликнула жена. — Покажи скорее, ведь у нас в доме пусто, и мы очень во мно-

гом нуждаемся. — И тогда он распахнул плащ и показал ей спящее дитя.

— Увы мне! — горестно прошептала жена. — Разве у нас нет собственных детей! Что это тебе, хозяин, понадобилось сажать к нашему очагу подкидыша? А может, он принесет нам несчастье? И кто его знает, как надо за ним ухаживать? — И она очень рассердилась на мужа.

— Да ты послушай, ведь это Дитя-звезда, — отвечал муж и рассказал жене всю удивительную историю о том, как он нашел этого ребенка.

Но это ее не успокоило, и она начала насмехаться над ним и бранить его и закричала:

— Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка? А кто позаботится о нас? Кто нам даст поесть?

— Но ведь Господь заботится даже о воробьях и дает им пропитание, — отвечал муж.

— А мало воробьев погибает от голода зимой? — спросила жена. — И разве сейчас не зима?

На это муж ничего не ответил ей, но и не переступил порога.

И тут злой ветер, прилетев из леса, ворвался в распахнутую дверь, и жена вздрогнула, поежилась и сказала мужу:

— Почему ты не затворишь дверь? Смотри, какой студеный ветер, я совсем замерзла.

— В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда будет стужа, — сказал муж.

И жена не ответила ему ничего, только ближе подо двинулась к огню.

Но прошло еще немного времени, и она обернулась к мужу и поглядела на него, и ее глаза были полны слез. И тогда он быстро вошел в дом и положил ребенка ей на колени. А она, поцеловав ребенка, опустила его в колыбельку рядом с младшим из своих детей. А на другое утро Лесоруб взял необыкновенный плащ из золота и спрятал его в большой сундук, а его жена сняла с шеи ребенка янтарное ожерелье и тоже спрятала его в сундук.

Итак, Дитя-звезда стал расти вместе с детьми Лесоруба, и ел за одним с ними столом, и играл с ними. И с каждым годом он становился все красивее и красивее,

и жители селения дивились его красоте, ибо все они были смуглые и черноволосые, а у него лицо было белое и нежное, словно выточенное из слоновой кости, и золотые кудри его были как лепестки нарцисса, а губы — как лепестки алой розы, и глаза — как фиалки, отраженные в прозрачной воде ручья. И он был строен, как цветок, выросший в густой траве, где не ступала нога косца.

Но красота его принесла ему только зло, ибо он вырос себялюбивым, гордым и жестоким. На детей Лесоруба, да и на всех прочих детей в селении он смотрел сверху вниз, потому что, говорил он, все они низкого происхождения, в то время как он знатного рода, ибо происходит от Звезды. И он помыкал детьми и называл их своими слугами. Он не испытывал сострадания к беднякам или к слепым, недужным и увечным, но швырял в них камнями и прогонял их из селения на проезжую дорогу и кричал им, чтобы они шли побираться в другое место, после чего ни один из нищих, кроме каких-нибудь самых отчаявшихся, не осмеливался вторично прийти в это селение за милостыней. И он был точно околдован своей красотой и высмеивал всех, кто был жалок и безобразен, и выставлял их на посмешище. Себя же он очень любил и летом в безветренную погоду часто лежал у водоема в фруктовом саду священника и глядел на свое дивное отражение, и смеялся от радости, любуясь своей красотой.

Лесоруб и его жена не раз бранили его, говоря:

— Мы-то ведь не так поступили с тобой, как поступаешь ты с этими несчастными, обездоленными судьбой, у которых нет ни одной близкой души на свете. Почему ты так жесток к тем, кто нуждается в участии?

И старик священник не раз посылал за ним и пытался научить его любви ко всем Божьим тварям, говоря:

— Мотылек — твой брат, не причиняй ему вреда. Птицы, что летают по лесу, — свободные создания. Не расставляй им силков для своей забавы. Бог создал земляного червя и крота и определил каждому из них его место. Кто ты такой, что осмеливаешься приносить страдания в сотворенный Богом мир? Ведь даже скот, пасущийся в лугах, прославляет Божье имя.

Но Мальчик-звезда не внимал ничьим словам, только хмурился и усмеялся презрительно, а потом бежал

к своим сверстникам и помыкал ими как хотел. И его сверстники слушались его, потому что он был красив, быстرونог и умел плясать, и петь, и наигрывать на свирели. И куда бы Мальчик-звезда ни повел их, они следовали за ним, и что бы он ни приказал им сделать, они ему повиновались. И когда он проткнул острой тростинкой подслеповатые глаза крота, они смеялись, и когда он швырял камнями в прокаженного, они смеялись тоже. Всегда и во всем он был их вожаком, и они стали столь же жестокосердны, как он.

* * *

И вот как-то раз через селение проходила одна несчастная нищенка. Одежда ее была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови, словом, была она в самом бедственном состоянии. Изнемогая от усталости, она присела отдохнуть под каштаном.

Но тут увидел ее Мальчик-звезда и сказал своим товарищам:

— Гляньте! Под прекрасным зеленолистым деревом сидит отвратительная грязная нищенка. Пойдем прогоним ее, потому что она противна и безобразна.

И с этими словами он подошел к ней поближе и начал швырять в нее камнями и насмехаться над ней, а она поглядела на него, и в глазах ее отразился ужас, и она не могла отвести от него взгляда. Но тут Лесоруб, который стругал жерди под навесом, увидел, что делает Мальчик-звезда, подбежал к нему и стал его бранить, говоря:

— Воистину у тебя каменное сердце, и жалость тебе неведома. Что сделала тебе эта бедная женщина, почему ты гонишь ее отсюда?

Тогда Мальчик-звезда покраснел от злости, топнул ногой и сказал:

— А кто ты такой, чтобы спрашивать меня, почему я так поступаю? Я тебе не сын и не обязан тебя слушаться.

— Это верно, — отвечал Лесоруб, — однако я пожалел тебя, когда нашел в лесу.

И когда нищая услышала эти слова, она громко вскрикнула и упала без чувств. Тогда Лесоруб поднял ее и отнес к себе в дом, а его жена принялась ухаживать

вать за ней, и, когда женщина очнулась, Лесоруб и его жена поставили перед ней еду и питье и сказали, что они рады предоставить ей кров.

Но женщина не хотела ни есть, ни пить и сказала Лесорубу:

— Верно ли ты сказал, что нашел этого мальчика в лесу? И с того дня минуло десять лет, не так ли?

И Лесоруб ответил:

— Да, так оно и было, я нашел его в лесу, и с того дня минуло уже десять лет.

— А не нашел ли ты вместе с ним еще чего-нибудь? — воскликнула женщина. — Не было ли у него на шее янтарного ожерелья? И не был ли он закутан в золотой плащ, расшитый звездами?

— Все верно, — отвечал Лесоруб. И он вынул плащ и янтарное ожерелье из сундука, в котором они хранились, и показал их женщине.

И когда женщина увидела эти вещи, она расплакалась от радости и сказала:

— Этот ребенок — мой маленький сын, которого я потеряла в лесу. Прошу тебя, пошли за ним скорее, ведь в поисках его я обошла весь мир.

И Лесоруб с женой вышли из дома и стали звать Мальчика-звезду и сказали ему:

— Войди в дом, там ты найдешь свою мать, которая ждет тебя.

И Мальчик-звезда, исполненный радости и изумления, вбежал в дом. Но когда он увидел ту, что ждала его там, он презрительно рассмеялся и сказал:

— Ну, а где же моя мать? Я не вижу здесь никого, кроме этой противной нищенки.

И женщина ответила ему:

— Я — твоя мать.

— Ты, должно быть, лишилась рассудка! — гневно вскричал Мальчик-звезда. — Я не твой сын, ведь ты же нищенка, ты уродлива и одета в лохмотья. Ну-ка убирайся отсюда, чтобы я не видел твоего мерзкого лица.

— Но ведь ты же в самом деле мой маленький сыночек, которого я родила в лесу! — вскричала женщина и, упав перед ним на колени, простерла к нему руки. — Разбойники украли тебя и оставили погибать в лесу, — плача, проговорила она. — Но я сразу узнала тебя, как только увидела, и узнала вещи, по которым тебя мож-

но опознать, — золотой плащ и янтарное ожерелье. И я молю тебя, пойдём со мной, ведь, разыскивая тебя, я обошла весь свет. Пойдём со мной, мой сын, потому что я нуждаюсь в твоей любви.

Но Мальчик-звезда не шевельнулся; он наглухо затворил свое сердце, чтобы ее жалобы не могли туда проникнуть, и в наступившей тишине слышны были только стенания женщины, рыдавшей от горя.

Наконец он заговорил, и его голос звучал холодно и презрительно.

— Если это правда, что ты моя мать, — сказал он, — лучше бы тебе не приходиться сюда и не позорить меня, ведь я думал, что моей матерью была Звезда, а не какая-то нищенка, как это ты говоришь мне. Поэтому убирайся отсюда, чтобы я никогда тебя больше не видел.

— Увы, сын мой! — вскричала женщина. — Неужели ты не поцелуешь меня на прощанье? Ведь я столько претерпела мук, чтобы найти тебя.

— Нет, — сказал Мальчик-звезда, — ты слишком омерзительна, и мне легче поцеловать гадюку или жабу, чем тебя.

Тогда женщина встала и, горько рыдая, скрылась в лесу, а Мальчик-звезда, увидав, что она ушла, очень обрадовался и побежал играть со своими товарищами.

Но те, поглядев на него, начали смеяться над ним и сказали:

— Да ведь ты мерзок, как жаба, и отвратителен, как гадюка. Убирайся отсюда, мы не хотим, чтобы ты играл с нами. — И они выгнали его из сада. Тогда Мальчик-звезда задумался и сказал себе:

— Что такое они говорят? Я пойду к водоему и погляжусь в него, и он скажет мне, что я красив.

И он пошел к водоему и поглядел в него, но что же он увидел! Лицом он стал похож на жабу, а тело его покрылось чешуей, как у гадюки. И он бросился ничком на траву и заплакал и сказал:

— Не иначе как это мне наказание за мой грех. Ведь я отрекся от моей матери и прогнал ее, я возгордился перед ней и был с ней жесток. Теперь я должен отправиться на поиски и обойти весь свет, пока не найду ее. А до тех пор я не буду знать ни отдыха, ни покоя.

Тут подошла к нему маленькая дочка Лесоруба, и положила ему руку на плечо, и сказала:

— Это еще не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами, и я никогда не буду дразнить тебя.

Но он сказал ей:

— Нет, я был жесток к моей матери, и в наказание со мной случилось это несчастье. Поэтому я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не найду свою мать и не вымолю у нее прощенья.

И он побежал в лес и начал громко призывать свою мать, прося ее вернуться к нему, но не услышал ответа. Весь день он звал ее, а когда солнце закатилось, прилег на груди листьев и уснул, и все птицы и звери оставили его, потому что знали, как жестоко он поступил, и только жаба разделяла его одиночество и охраняла его сон, да гадюка медленно проползла мимо.

А наутро он встал, сорвал несколько кислых ягод с дерева, съел их и побрел через дремучий лес, горько плача. И всех, кто бы ни повстречался ему на пути, он спрашивал, не видали ли они его матери.

Он спросил Крота:

— Ты роешь свои ходы под землей. Скажи, не видал ли ты моей матери?

Но Крот отвечал:

— Ты выколот мне глаза, как же я мог ее увидеть?

Тогда он спросил у Коноплянки:

— Ты взлетаешь выше самых высоких деревьев и можешь видеть оттуда весь мир. Скажи, не видала ли ты моей матери?

Но Коноплянка отвечала:

— Ты подрезал мне крылья ради забавы. Как же могу я теперь летать?

И маленькую Белочку, которая жила в дупле ели одна-одинешенька, он спросил:

— Где моя мать?

И Белочка отвечала:

— Ты убил мою мать, может быть, ты разыскиваешь свою, чтобы убить ее тоже?

И Мальчик-звезда опустил голову, и заплакал, и стал просить прощенья у всех Божьих тварей, и углубился дальше в лес, продолжая свои поиски. А на третий день, пройдя через весь лес, он вышел на опушку и спустился в долину.

И когда он проходил через селение, дети дразнили его и бросали в него камнями, и крестьяне не позволя-

ли ему даже соснуть в амбаре, боясь, что от него может сесть плесень на зерно, ибо он был очень гадок с виду, и приказывали работникам прогнать его прочь, и ни одна душа не сжалилась над ним. И нигде не мог он ничего узнать о нищенке, которая была его матерью, хотя вот уже три года бродил он по свету, и не раз казалось ему, что он видит ее впереди на дороге, и тогда он принимался звать ее и бежать за ней, хотя острый щепень ранил его ступни и из них сочилась кровь. Но он не мог ее догнать, а те, кто жил поблизости, утверждали, что они не видели ни ее, ни кого-либо похожего с виду, и потешались над его горем.

Три полных года бродил он по свету, и нигде никогда не встречал ни любви, ни сострадания, ни милосердия; весь мир обошелся с ним так же, как поступал он сам в дни своей гордыни.

И вот однажды вечером он подошел к городу, расположенному на берегу реки и обнесенному высокой крепостной стеной, и приблизился к воротам, и, хотя он очень устал и натрудил ноги, все же он хотел войти в город. Но воины, стоявшие у ворот на страже, скрестили свои алебарды и грубо крикнули ему:

— Что тебе нужно в нашем городе?

— Я разыскиваю мою мать, — отвечал он, — и молю вас, дозвоьте мне войти в город, ведь может случиться, что она там.

Но они стали насмехаться над ним, и один из них, трясая черной бородой, поставил перед ним свой щит и закричал:

— Воистину твоя мать возрадуется, увидав тебя, ведь ты безобразней, чем жаба в болоте или гадюка, выползшая из топи. Убирайся отсюда! Убирайся! Твоей матери нет в нашем городе.

А другой, тот, что держал в руке древко с желтым стягом, сказал ему:

— Кто твоя мать и почему ты разыскиваешь ее?

И он отвечал:

— Моя мать живет подаяниями, так же как и я, и я обошелся с ней очень дурно и молю тебя: дозвожь мне пройти, чтобы я мог испросить у нее прощения, если она живет в этом городе.

Но они не захотели его пропустить и стали колоть своими пиками.

А когда он с плачем повернул обратно, некто в кольчуге, разукрашенной золотыми цветами, и в шлеме с гребнем в виде крылатого льва приблизился к воротам и спросил воинов, кто тут просил дозволения войти в город. И воины отвечали ему:

— Это нищий и сын нищенки, и мы прогнали его прочь.

— Ну нет, — рассмеявшись, сказал тот, — мы продадим это мерзкое создание в рабство, и цена его будет равна цене чаши сладкого вина.

А в это время мимо проходил какой-то страшный и злой с виду старик и, услышав эти слова, сказал:

— Я заплачу за него эту цену. — И, заплатив ее, взял Мальчика-звезду за руку и повел в город.

Они прошли много улиц и подошли наконец к маленькой калитке в стене, затененной большим гранатовым деревом. И старик коснулся калитки яшмовым перстнем, и она отворилась, и они спустились по пяти бронзовым ступеням в сад, где цвели черные маки и стояли зеленые глиняные кувшины. И тогда старик вынул из своего тюрбана узорчатый шелковый шарф, и завязал им глаза Мальчику-звезде, и повел его куда-то, толкая перед собой. А когда он снял повязку с его глаз, Мальчик-звезда увидел, что он находится в темнице, которая освещалась фонарем, повешенным на крюк.

И старик положил перед ним на деревянный лоток ломоть заплесневелого хлеба и сказал:

— Ешь.

И поставил перед ним чашу с солоноватой водой и сказал:

— Пей.

И когда Мальчик-звезда поел и попил, старик ушел и запер дверь темницы на ключ и закрепил железной цепью.

* * *

На следующее утро старик, который на самом деле был одним из самых искусных и коварных волшебников Ливии и научился своему искусству у другого волшебника, обитавшего в гробнице на берегу Нила, вошел в темницу, хмуро поглядел на Мальчика-звезду и сказал:

— В том лесу, что неподалеку от ворот этого города гяуров, скрыты три золотые монеты — из белого золо-

та, из желтого золота и из красного золота. Сегодня ты должен принести мне монету из белого золота, а если не принесешь, получишь сто плетей. Поспеши, на закате солнца я буду ждать тебя у калитки моего сада. Смотри принеси мне монету из белого золота, или тебе будет плохо, потому что ты мой раб, и я уплатил за тебя цену целой чаши сладкого вина. — И он завязал глаза Мальчику-звезде шарфом узорчатого шелка, и вывел его из дома в сад, где росли черные маки, и, заставив подняться на пять медных бронзовых ступенек, отворил с помощью своего перстня калитку.

И Мальчик-звезда вышел из калитки, прошел через город и вступил в лес, о котором говорил ему Волшебник.

А лес этот издали казался очень красивым, и мнилось, что он полон певчих птиц и ароматных цветов, и Мальчик-звезда радостно углубился в него. Но ему не довелось насладиться красотой леса, ибо, куда бы он ни ступил, повсюду перед ним поднимался из земли колючий кустарник, полный острых шипов, и ноги его обжигала злая крапива, и чертополох колол его своими острыми, как кинжал, колючками, и Мальчику-звезде приходилось очень плохо. А главное, он нигде не мог найти монету из белого золота, о которой говорил ему Волшебник, хотя и разыскивал ее с самого утра до полудня и от полудня до захода солнца. Но вот солнце село, и он побрел домой, горько плача, ибо знал, какая участь его ожидает.

Но когда он подходил к опушке леса, из чащи до него долетел крик, — казалось, кто-то взывает о помощи. И, позабыв про свою беду, он побежал на этот крик и увидел маленького Зайчонка, который попал в силки, расставленный каким-то охотником.

И Мальчик-звезда сжалился над Зайчонком, и освободил его из силка, и сказал ему:

— Сам я всего лишь раб, но тебе я могу даровать свободу.

А Зайчонок ответил ему так:

— Да, ты даровал мне свободу, скажи, чем могу я отблагодарить тебя?

И Мальчик-звезда сказал ему:

— Я ищу монету из белого золота, но нигде не могу найти ее, а если я не принесу ее своему хозяину, он по-бьет меня.

— Ступай за мной, — сказал Зайчонок, — и я отведу тебя туда, куда тебе нужно, потому что я знаю, где спрятана эта монета и зачем.

Тогда Мальчик-звезда последовал за маленьким Зайчонок, и что же он увидел? В дупле большого дуба лежала монета из белого золота, которую он искал. И Мальчик-звезда несказанно обрадовался, схватил ее и сказал Зайчонку:

— За услугу, которую я оказал тебе, ты отблагодарил меня сторицей, и за добро, что я для тебя сделал, ты воздал мне стократ.

— Нет, — отвечал Зайчонок, — как ты поступил со мной, так и я поступил с тобой. — И он проворно поспекал прочь, а Мальчик-звезда направился в город.

Теперь следует сказать, что у городских ворот сидел прокаженный. Лицо его скрывал серый холщовый капюшон, и глаза его горели в прорезях, словно угли, и, когда он увидел приближавшегося к воротам Мальчика-звезду, он загремел своей деревянной миской, и зазвонил в свой колокольчик, и крикнул ему так:

— Подай мне милостыню, или я должен буду умереть с голоду. Ибо они изгнали меня из города, и нет никого, кто бы сжалился надо мной.

— Увы! — вскричал Мальчик-звезда. — У меня в кошельке есть только одна-единственная монета, и если я не отнесу ее моему хозяину, он прибьет меня, потому что я его раб.

Но прокаженный стал просить его и умолять и делал это до тех пор, пока Мальчик-звезда не сжалился над ним и не отдал ему монету из белого золота.

Когда же он подошел к дому Волшебника, тот отворил калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из белого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— Нет, у меня ее нет.

И тогда Волшебник набросился на него, и стал его колотить, и поставил перед ним пустой деревянный лоток для хлеба, и сказал:

— Ешь. — И поставил перед ним пустую чашку и сказал: — Пей. — И снова бросил его в темницу.

А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты не принесешь мне монету из

желтого золота, ты навсегда останешься моим рабом и получишь от меня триста плетей.

Тогда Мальчик-звезда направился в лес и целый день искал там монету из желтого золота, но не мог нигде найти ее. А когда закатилось солнце, он опустил на землю и заплакал, и пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок, которого он освободил из силка.

И Зайчонок спросил его:

— Почему ты плачешь? И чего ты ищешь в лесу?

И Мальчик-звезда отвечал:

— Я ищу монету из желтого золота, которая здесь спрятана, и, если я не найду ее, мой хозяин побьет меня и навсегда оставит у себя в рабстве.

— Следуй за мной! — крикнул Зайчонок и поскакал через лес, пока не прискакал к небольшому озеру. А на дне озера лежала монета из желтого золота.

— Как мне благодарить тебя? — сказал Мальчик-звезда. — Ведь вот уж второй раз, как ты выручаешь меня.

— Ну и что ж, зато ты первый сжалился надо мной, — сказал Зайчонок и проворно поскакал прочь.

И Мальчик-звезда взял монету из желтого золота, положил ее в свой кошелек и поспешил в город. Но прокаженный увидел его на дороге, и побежал ему навстречу, и упал перед ним на колени, крича:

— Поддай мне милостыню, или я умру с голоду!

Но Мальчик-звезда сказал ему:

— У меня в кошельке нет ничего, кроме монеты из желтого золота, но если я не принесу ее моему хозяину, он побьет меня и навеки оставит у себя в рабстве.

Но прокаженный молил его сжалиться над ним, и Мальчик-звезда пожалел его и отдал ему монету из желтого золота.

* * *

А когда он подошел к дому Волшебника, тот открыл калитку, и впустил его в сад, и спросил его:

— Ты принес монету из желтого золота?

И Мальчик-звезда ответил:

— Нет, у меня ее нет.

И Волшебник набросился на него, и стал его избивать, и заковал его в цепи, и снова вверг в темницу.

А наутро Волшебник пришел к нему и сказал:

— Если сегодня ты принесешь мне монету из красного золота, я отпущу тебя на свободу, а если не принесешь, я убью тебя.

И Мальчик-звезда отправился в лес и целый день разыскивал там монету из красного золота, но нигде не мог ее найти. Когда же стемнело, он сел и заплакал, и, пока он сидел так, проливая слезы, к нему прибежал маленький Зайчонок.

И Зайчонок сказал ему:

— Монета из красного золота, которую ты ищешь, находится в пещере, что у тебя за спиной. Так что перестань плакать и возрадуйся.

— Как могу я отблагодарить тебя! — воскликнул Мальчик-звезда. — Ведь уже третий раз ты выручаешь меня из беды.

— Но ты первый сжалился надо мной, — сказал Зайчонок и проворно ускакал прочь.

А Мальчик-звезда вошел в пещеру и в глубине ее увидел монету из красного золота. Он положил ее в свой кошелек и поспешил вернуться в город. Но когда прокаженный увидел его, он стал посреди дороги и громко закричал, взывая к нему:

— Отдай мне монету из красного золота, или я умру!

И Мальчик-звезда снова пожалел его и отдал ему монету из красного золота, сказав:

— Твоя нужда больше моей.

Однако сердце его сжалось от тоски, ибо он знал, какая страшная судьба его ожидает.

* * *

Но чудо! Когда проходил он городские ворота, воины низко склонились перед ним, отдавая ему почести и восклицая:

— Как прекрасен господин наш!

А толпа горожан следовала за ним, и все твердили:

— Воистину не найдется никого прекраснее во всем мире!

И Мальчик-звезда заплакал и сказал себе:

— Они смеются надо мной и потешаются над моей бедой.

Но так велико было стечение народа, что он сбился

с дороги и пришел на большую площадь, где стоял королевский дворец.

И ворота дворца распахнулись, и навстречу Мальчику-звезде поспешили священнослужители и знатнейшие вельможи города и, смиренно поклонившись ему, сказали:

— Ты наш господин, которого мы давно ожидаем, и сын нашего государя.

А Мальчик-звезда сказал им в ответ:

— Я не королевский сын, я сын бедной нищенки. И зачем говорите вы, что я прекрасен, когда я знаю, что вид мой мерзок?

И тогда тот, чья кольчуга была разукрашена золотыми цветами и на чьем шлеме гребень был в виде крылатого льва, поднял свой щит и вскричал:

— Почему господин мой не верит, что он прекрасен?

И Мальчик-звезда посмотрел в щит, и что же он увидел? Его красота вернулась к нему, и лицо его стало таким же, каким было прежде, только в глазах своих он заметил что-то новое, чего раньше никогда в них не видел.

А священнослужители и вельможи преклонили перед ним колена и сказали:

— Было давнее пророчество, что в день этот придет к нам тот, кому суждено править нами. Так пусть же господин наш возьмет эту корону и этот скипетр и станет нашим королем, справедливым и милосердным.

Но Мальчик-звезда отвечал им:

— Я недостоин этого, ибо я отрекся от матери, которая носила меня под сердцем, и теперь ищу ее, чтобы вымолить у нее прощение, и не будет мне покоя, пока я не найду ее. Так отпустите же меня, ибо должен я вновь отправиться странствовать по свету, и нельзя мне медлить здесь, хоть вы и предлагаете мне корону и скипетр.

И, сказав это, он отвернулся от них и обратил свое лицо к улице, тянувшейся до самых городских ворот. И что же он увидел? Среди толпы, оттеснившей стражу, стояла нищенка, которая была его матерью, а рядом с ней стоял прокаженный.

И крик радости сорвался с его уст, и, бросившись к своей матери, он осыпал поцелуями раны на ее ногах и

оросил их слезами. Он склонил свою голову в дорожную пыль и, рыдая так, словно сердце его разрывалось, сказал:

— О мать моя! Я отрекся от тебя в дни моей гордыни. Не отринь же меня в час моего смирения. Мать моя, я дал тебе ненависть. Одари же меня любовью. Мать моя, я отверг тебя. Прими же свое дитя.

Но нищенка не ответила ему ни слова.

И он простер руки к прокаженному и припал к его стопам, говоря:

— Трижды оказал я тебе милосердие. Умоли же мою мать ответить мне хоть единый раз.

Но прокаженный хранил безмолвие.

И снова зарыдал Мальчик-звезда и сказал:

— О мать моя, это страдание мне не по силам. Даруй мне свое прощение и позволь вернуться в наш бор.

И нищенка положила руку на его голову и сказала:

— Встань!

И прокаженный положил руку на его голову и тоже сказал:

— Встань!

И он встал с колен и посмотрел на них. И что же! Перед ним были Король и Королева.

И Королева сказала ему:

— Вот твой отец, которому ты помог в час нужды.

А Король сказал:

— Вот твоя мать, чьи ноги ты омыл своими слезами.

И они пали в его объятия, и осыпали его поцелуями, и отвели во дворец, где облекли его в дивные одежды, и возложили на его голову корону и дали ему в руки скипетр, и он стал властелином города, который стоял на берегу реки. И он был справедлив и милосерд ко всем. Он изгнал злого Волшебника, а Лесорубу и его жене послал богатые дары, а сыновей их сделал вельможами. И он не позволял никому обращаться жестоко с птицами и лесными зверями и всех учил добру, любви и милосердию. И он кормил голодных и сирых и одевал нагих, и в стране его всегда царили мир и благоденствие.

Но правил он недолго. Слишком велики были его муки, слишком тяжкому подвергся он испытанию — и спустя три года он умер. А преемник его был тираном.

КОММЕНТАРИИ

ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ (The Picture of Dorian Gray)

Впервые роман опубликован в журнале «Лилпинкотс мансли мэгэзин» в июне 1890 г.; первое отдельное издание увидело свет в апреле 1891 г.

¹ *Калибан* — персонаж пьесы Шекспира «Буря», четвероногое чудовище, олицетворение темных сил, уродства, невежества.

² Исследователи творчества Уайльда признают прототипом *Бэзила Холлуорда* друга писателя — живописца Бэзила Уорда, в мастерской которого Уайльд видел натурщика, чьи черты он придал впоследствии облику Дориана Грея.

³ *Гровенор* — основанная К. Линдсеем в 1877 г. частная картинная галерея на площади Гровенор в центральной части Лондона, где было сосредоточено творчество представителей импрессионизма и иных неакадемических течений в живописи конца XIX в.

⁴ *Академия* — Королевская Академия художеств, существующая с 1768 г., «цитадель» традиционного искусства.

⁵ *Адонис* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, спутник и возлюбленный Афродиты, богини любви и красоты.

⁶ *Антиной* (? — 130) — греческий юноша, наделенный удивительной красотой, любимец римского императора Адриана (76—138, правил 117—138), утонувший в Ниле и обожествленный после смерти: по приказу императора во многих городах были воздвигнуты храмы в его честь, изваяны многочисленные статуи, отлиты монеты с его изображением; для искусства поздней античности Антиной служил идеальным образом юности и красоты.

⁷ *Ист-Энд* — восточные районы Лондона, населенные преимущественно бедной.

⁸ «*Лесные сцены*» — сборник фортепьянных пьес немецкого композитора Роберта Шумана (1810—1856).

⁹ *Уайтчепл* — в описываемое время один из самых бедных, грязных и перенаселенных районов Ист-Энда; здесь идет речь о благотворительном концерте.

¹⁰ *Орлеанский клуб* — один из аристократических клубов Лондона.

¹¹ *Гедонизм* (греч., удовольствие) — этико-психологическое учение, впервые сформулированное греческими философами в V в. до н. э., согласно которому стремление человека к счастью есть высшее благо, а удовольствие или страдание выступают единственным мерилом добра и зла.

¹² *Фавн* — в древнеримской мифологии бог лесов и пастбищ, изображаемый в виде человека с козлиными ногами, рогами и хвостом. *Гермес* — в древнегреческой мифологии покровитель торговли, посланец богов; изображался атлетически сложенной юношей с жезлом в руке, тапочкой на голове и в крылатых сандалиях.

¹³ *Уайт* — один из старейших консервативных клубов Лондона.

¹⁴ *Олбени* — меблированные комнаты в фешенебельном районе Лондона Пикадилли.

¹⁵ *Изабелла II Испанская* (1830—1904) — испанская королева в 1833—1868 гг.; признана совершеннолетней и возведена на престол в 1843 г. после десятилетнего правления регентов; в начале Испанской революции 1868—1874 гг. эмигрировала. *Хуан Прим* (1814—1870) — испанский генерал и политический деятель времен Изабеллы II.

¹⁶ *Синяя книга* — вид справочников (названных так по цвету обложки), в которых содержатся сведения о представителях английской аристократии и лицах, занимающих высокие государственные должности, а также об известных писателях, ученых, бизнесменах и пр.

¹⁷ *Дриада* — в древнегреческой мифологии лесная нимфа.

¹⁸ Речь идет об учении древнегреческого философа *Платона* (427—347 до н. э.), в соответствии с которым идеи представляют собой прообразы вещей и всего сущего, а вещи и явления бытия суть лишь подобие и отражение идей.

¹⁹ *Микеланджело Буонарроти* (1475—1564) — великий итальянский художник: живописец, скульптор, архитектор и поэт; его сонеты были переведены на английский язык и опубликованы в 1878 г. Джоном Саймондсом.

²⁰ *Вакханка* — в античной мифологии спутница и участница экстатических оргий Вакха (одно из имен бога виноградарства и виноделия Диониса, в честь которого устраивали веселые празднества — Дионисеи и Вакханалии); в культовых обрядах Древнего Рима так называли жриц Вакха. *Силен* — в ряде древнегреческих мифов мудрый, полусонный и полупьяный воспитатель и спутник Диониса; очевидно, здесь имеется в виду именно этот образ, хотя

античная традиция включает в себя различные описания упомянутого мифологического персонажа.

²¹ *Омар Хайям* (ок. 1048 — после 1122) — персидский поэт и мыслитель, прославлявший в своих четверостишиях (рубай) любовь к жизни, простые земные радости.

²² Аллюзия на известную немецкую *легенду о флейтисте*, который своей волшебной игрой спас город Гамелин от нашествия крыс, заманив их в воды Везера; когда же городские власти, нарушив обещание, отказались ему заплатить, в наказание флейтист с помощью своего искусства увлек за собой из города всех детей.

²³ *Атенеум* — лондонский клуб, созданный в 1824 г. по инициативе Вальтера Скотта (1771 — 1832) для интеллектуальной элиты: писателей, художников, общественных и политических деятелей.

²⁴ Речь идет о проекте, который воплотился в жизнь лишь в 1901 г., когда была основана Британская академия — ученое общество, призванное способствовать развитию исследований в области истории, философии и филологии.

²⁵ *Мэйфер* — аристократический район в западной части Лондона.

²⁶ *Клодион* — так подписывал свои работы Клод Мишель (1738 — 1814) — французский скульптор, наиболее известные произведения которого представляют собой изящные терракотовые статуэтки в стиле рококо. «*Сто новелл*» — под этим названием печатался во Франции в средние века «Декамерон» Дж. Боккаччо (1313 — 1375). *Кловис Эв* (ум. в 1634) — королевский переплетчик; однако здесь речь, по-видимому, идет о его отце *Николае Эве* (ум. в 1581), парижском книготорговце и королевском переплетчике, дело которого наследовал Кловис.

²⁷ *Маргарита Валуа* (Маргарита Наваррская, 1492 — 1549) — королева Наварры (с 1543), покровительница гуманистов, одна из образованнейших и красивейших женщин своего времени, автор нескольких поэтических сборников и произведений в прозе, наиболее известное из которых — сборник новелл «Гептамерон», написанный в подражание Дж. Боккаччо.

²⁸ «*Лоэнгрин*» — опера известного немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813 — 1883) на сюжет средневековой немецкой легенды.

²⁹ *Уордор-стрит* — улица в Лондоне, в описываемое время центр торговли антикварными изделиями.

³⁰ *Купидон* — в древнеримской мифологии бог любви и любовной страсти (то же, что Амур; в греческой мифологии соответствует Эроту); изображался шаловливым крылатым мальчиком с луком в руках и колчаном со стрелами любви за плечами. *Рог изобилия* —

согласно древнегреческому мифу, младенца Зевса вскормила своим молоком коза Амалфея на острове Крит, где он был спрятан матерью Реей от гнева отца Кроноса; случайно сломанный рог козы Зевс в благодарность сделал рогом изобилия; в античной традиции рог изобилия служил символом богини мира Эйрене и бога богатства Плутоса.

³¹ Подразумевается, что, в отличие от описываемых времен, в эпоху расцвета английской драмы, отмеченную именами Кристофера Марло, Уильяма Шекспира и Бена Джонсона (вторая половина XVI — начало XVII в.), помимо частных театров существовали театры публичные, пользовавшиеся массовой популярностью у всех слоев общества, где царили простые, непритязательные нравы.

³² Речь идет о героинях пьес Шекспира: *Розалинде* (комедия «Как вам это понравится»), *Имоджене* (трагикомедия «Цимбелин»), *Джюльетте* (трагедия «Ромео и Джульетта»), *Офелии* (трагедия «Гамлет»), *Дездемоне* (трагедия «Отелло»).

³³ *Прекрасный Принц* — герой сказки «Золушка» французского писателя Шарля Перро (1628—1703).

³⁴ *Уэст-Энд* — западная фешенебельная часть Лондона.

³⁵ «*Бристоль*» — фешенебельный ресторан в Лондоне.

³⁶ Речь идет о философской концепции итальянского мыслителя *Джордано Бруно* (1548—1600), согласно которой все многообразие бытия, его духовное и телесное начала исходят из единой бесконечной субстанции — мировой души.

³⁷ *Ахилл* (Ахиллес) — храбрейший из греческих героев, сражавшихся в Троянской войне (см. примечание 137 к настоящему разделу); миф о его подвигах находил многообразное воплощение в искусстве разных жанров; в 1822 г. в Гайд-парке была сооружена статуя Ахилла в честь английского полководца и государственного деятеля, победителя Наполеона при Ватерлоо Артура Уэлсли Веллингтона (1769—1852).

³⁸ *Мраморная арка* — монумент у входа в Гайд-парк.

³⁹ *Мессалина* (?—48) — третья жена римского императора Клавдия, известная своим распутством и жестокостью.

⁴⁰ Так называют небольшие терракотовые статуэтки, относящиеся к IV—III вв. до н. э., которые были найдены при раскопках в городе *Танагра* (Греция).

⁴¹ *Миранда* — героиня пьесы Шекспира «Буря».

⁴² *Порция*, *Беатриче*, *Корделия* — героини пьес Шекспира «Венецианский купец», «Много шума из ничего» и «Король Лир».

⁴³ *Ковент-Гарден* — площадь в Лондоне, на которой помимо Королевской оперы располагался городской рынок.

44 *Пьяцца* — открытый коридор в северо-восточной части рынка.

45 *Северский фарфор* — назван по месту изготовления — французскому городу Севр (недалеко от Парижа), где находятся всемирно известные предприятия, производящие фарфоровые изделия.

46 *Аделина Патти* (1843—1919) — итальянская певица, блестящая исполнительница партий колоратурного сопрано, с успехом гастролировавшая во многих странах мира.

47 *Маки* — в культурных традициях многих народов мира символ забвения, сна или смерти.

48 *Асфодель* — растение семейства лилейных с крупными белыми или желтоватыми цветами, согласно древнегреческой мифологии, приносящее успокоение мертвым.

49 *Джон Уэбстер* (1580?—1625?), *Джон Форд* (1586—1640?), *Сирил Тернер* (1575?—1626) — английские драматурги, младшие современники Шекспира, писавшие в жанре «кровавой трагедии».

50 *Дочь Бранбанцио* — Дездемона.

51 «*Глобус*» — английская вечерняя газета, основанная в 1803 г.

52 *Теофиль Готье* (1811—1872) — известный французский писатель, приверженец «чистого искусства».

53 *Марло* — город на Темзе, популярное место среди рыбаков и любителей отдыха на воде.

54 *Парис* — согласно древнегреческим сказаниям, сын царя Трои Приама, отличавшийся необыкновенной красотой, похититель Елены Прекрасной и виновник Троянской войны.

55 Имеется в виду образ *Антиноя*.

56 Имеется в виду образ *Нарцисса*.

57 Более подробно эта мысль раскрыта Уайльдом в новелле «*Портрет господина У. Х.*» (1889). *Мишель-Эйкем де Монтень* (1533—1592) — французский философ, создатель жанра эссе. *Иоганн Иоахим Винкельман* (1717—1768) — немецкий историк античного искусства.

58 По предположению некоторых исследователей творчества Уайльда, имеется в виду роман французского писателя *Жориса Карла Гюисманса* (1848—1907) «*Наоборот*» (1884), герой которого Дез Эссент стремится уйти от действительности, погрузившись в изощренные чувственные наслаждения.

59 *Символизм* как направление в европейской поэзии сложился во Франции к последней трети XIX в.; его крупнейшие представители: Поль Верлен (1844—1896), Стефан Малларме (1842—1898), Артюр Рембо (1854—1891).

60 Эта характеристика, которую Готье относил к самому себе, приведена в дневнике братьев Гонкур (запись от 1 мая 1857 г.).

61 *Пэлл-Мэлл* — улица в центре Лондона, где сосредоточены аристократические клубы.

62 Автор романа «Сатирикон», рисующего падение нравов в римском обществе времен императора Нерона, считается *Гай Петроний* (? — 66), прозванный при дворе императора «законодателем мод».

63 Во время Великого поста цветные облачения католических священнослужителей сменяются черными и совершаются особые богослужения, посвященные «Страстям Христовым»; преломление пшеничной облатки (гостии) в специальном сосуде (портуре) символизирует вкушение тела Господня и входит в католический обряд причащения.

64 Уайльд, по-видимому, говорит о вульгарно-материалистическом направлении в психологии конца XIX в., пытавшемся установить непосредственную связь между психикой человека и физиологическими процессами в его организме.

65 *Альфонсо де Овалле* (1601—1651) — испанский историк-иезуит, живший в Южной Америке. *Куско* — город в Перу, в XI в. и позже служивший столицей империи инков.

66 *Фернандо Кортес* (1485—1547) — испанский конкистадор, после завоевания Мексики в 1522—1528 гг. — губернатор Новой Испании (Мексики). *Берналь Диас дель Кастильо* (ок. 1492 — ок. 1581) — испанский историк и конкистадор, принимавший участие в завоевании Мексики; в книге «Подлинная история завоевания Новой Испании» (1532) оставил описание событий, очевидцем которых был.

67 «*Тангейзер*» — опера Рихарда Вагнера (1844) на сюжет средневековой рыцарской легенды.

68 *Анн-де-Жуайез* (1561—1587) — французский адмирал, герцог, фаворит французского короля Генриха III Валуа.

69 *Альфонсо* (1062—?) — придворный врач короля Кастилии и Леона Альфонса VI, автор упомянутого в романе сборника дидактических рассказов. Имеется в виду *Александр Великий* (356—323 до н. э.) — царь Македонии в 336—323 гг. до н. э. *Эматия* — древнее название Македонии.

70 Вероятно, здесь подразумевается *Флавий Филострат Старший* (ок. 170—245) — древнегреческий писатель, живший в Риме, оставивший в своей книге «Картины» подробное описание эллинистического и древнеримского искусства.

71 *Пьер де Бонифас* (по-видимому, Пьер д'Апоно, 1257—1335) — итальянский врач и алхимик, которому приписывают ав-

торство трактата «Элементы, используемые в магических науках», написанного по-французски.

⁷² *Демокрит* (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) — древнегреческий философ, представитель античного материализма.

⁷³ *Пресвитер Иоанн* — согласно средневековым легендам, царь могущественного христианского государства в Азии, о котором в Европе было известно начиная с XII в.

⁷⁴ *Томас Лодж* (ок. 1558 — 1628) — английский писатель, драматург, автор указанного романа (1596).

⁷⁵ *Марко Поло* (1254 — 1324) — итальянский путешественник и писатель, автор «Книги о разнообразии мира» (1298). *Зипангу* — название Японии в книге Марко Поло (книга III, глава 2).

⁷⁶ *Пероз* (457 — 484) — царь Ирана из династии Сасанидов, воювавший с тюркскими племенами (эфталитами, или «белыми гуннами»); его гибель вместе со всем войском в битве под Бактрией описана византийским историком *Прокопием Кесарийским* (ок. 490 — 562).

⁷⁷ *Анастасий I* (ок. 430 — 518) — император Восточной Римской империи с 491 г.

⁷⁸ Об этом рассказывается в книге Марко Поло (глава 16). *Малабарским побережьем* называется южная часть западного побережья Индии к югу от Гоа.

⁷⁹ Согласно мемуарам *Пьера де Бурдей Брантома* (1540 — 1614), *Чезаре Борджиа* (ок. 1475 — 1507), сын кардинала Родриго Борджиа (который впоследствии стал папой Александром VI) в 1498 г. отправился с великолепной свитой во Францию к королю Людовику XII (1462 — 1515), чтобы вручить ему папскую буллу, аннулировавшую его брак с королевой Иоанной; в награду Борджиа получил от Людовика XII *герцогство Валентинуа* и поддержку при разделе Италии.

⁸⁰ По-видимому, имеется в виду *Карл I Стюарт* (1600 — 1649) — король Великобритании с 1625 г., казненный во время английской буржуазной революции.

⁸¹ *Ричард II* (1367 — 1400) — король Великобритании с 1377 г.

⁸² *Эдуард Холл* (ок. 1498 — 1547) — английский историк, автор «Хроники Холла» (1542). *Генрих VIII Тюдор* (1491 — 1547) — король Великобритании с 1509 г. *Тауэр* — крепость в восточной части Лондона, служившая сначала королевским дворцом, потом тюрьмой для государственных преступников; в настоящее время — музей.

⁸³ *Яков I* (1566 — 1625) — сын королевы Шотландии Марии Стюарт, король Великобритании с 1603 г.

⁸⁴ *Эдуард II* (1284 — 1327) — король Великобритании с 1307 г. *Пирс Гейвстон* (? — 1312) — фаворит Эдуарда II.

⁸⁵ *Генрих II* (1133–1189) — король Великобритании с 1154 г. из династии Плантагенетов, один из самых могущественных правителей XII в.

⁸⁶ *Карл Смелый* (1433–1477) — последний правитель герцогства Бургундия, принадлежавший к роду Валуа; после его смерти Бургундия была захвачена французским королем Людовиком XI.

⁸⁷ *Афина Паллада* — в древнегреческой мифологии богиня мудрости, войны и победы.

⁸⁸ *Велариум* — огромный навес для защиты зрителей от дождя и солнца, сооруженный по приказанию императора Нерона над римским *Колизеем*, колоссальных размеров амфитеатром (отсюда первоначальное название Колоссей) для народных зрелищ, развалины которого сохранились до наших дней.

⁸⁹ *Жрец Солнца* — Гелиогабал (204–222), сирийский жрец, в 14 лет провозглашенный римским императором под именем Марка Аврелия Антония.

⁹⁰ Имеется в виду, очевидно, *Хильперик I* (539–584) — французский король Меровингской династии, жестокий и корыстолюбивый деспот.

⁹¹ По-видимому, здесь подразумевается *Понтийс де Туар* (1521–1605) — французский поэт, член Плеяды, ставший в 1578 г. епископом, духовник короля Генриха III.

⁹² *Карл Орлеанский* (1394–1465) — французский аристократ и поэт.

⁹³ *Реймс* — город на северо-востоке Франции в Шампани, знаменитый готическим собором Нотр-Дам (XIII–XIV вв.). *Иоанна Бургундская* (?–1348) — супруга французского короля Филиппа VI (1293–1350).

⁹⁴ *Екатерина Медичи* (1519–1589) — супруга французского короля Генриха II; после его смерти королева-регентша Франции.

⁹⁵ *Людовик XIV* (1638–1715) — французский король с 1643 г. из династии Бурбонов, прозванный «Король Солнце».

⁹⁶ *Ян Собеский* (1629–1696) — польский полководец, известный своими победами над турками; в 1674 г. был избран королем под именем Яна III. *Смирнская парча* получила название по месту изготовления — древнему городу Смирна на побережье Эгейского моря, где издавна были развиты текстильная промышленность и производство ковров. Дальше речь идет о событиях 1683 г., когда, нарушив мирный договор, турки с большой армией выступили против охваченной междоусобицей Австрии и осадили Вену, которая была спасена лишь благодаря вмешательству польского короля Яна Собеского.

⁹⁷ *Святой Себастьян* — христианский великомученик; соглас-

но легенде, римский воин, за распространение христианского вероучения приговоренный императором Диоклетианом (243—313) к смерти и расстрелянный лучниками.

⁹⁸ *Черчилл-клуб* — один из аристократических клубов Лондона.

⁹⁹ *Филипп Герберт*, граф Монтгомери и четвертый граф Пемброк (1584—1650) — один из фаворитов короля Якова I; существует портрет Филиппа Герберта с семьей кисти Ван Дейка. *Фрэнсис Осборн* (1593—1659) — английский писатель, автор трактатов на историко-моральные темы, а также указанных мемуаров (1658).

¹⁰⁰ *Джованна II* (1371—1435) — королева Неаполитанского королевства с 1414 г., известная своим распутством.

¹⁰¹ По-видимому, имеется в виду *Ширли Лоуренс, граф Феррарс* (1720—1760), приговоренный к повешению за убийство сборщиков налогов; о нем известно, что он приехал к месту казни в камзоле, расшитом серебром, и в собственном ландо, запряженном шестеркой коней.

¹⁰² Здесь речь идет об эпизоде из жизни *принца Уэльского Георга* (1762—1830), назначенного в 1811 г. в связи с психическим заболеванием его отца короля Георга III регентом и ставшего впоследствии королем Георгом IV; в молодости он сочетался тайным браком с *Мэри Энн Фицгерберт* (1756—1837), который потом был расторгнут. *Второй лорд Бекингем* — это, по-видимому, Ричард Гренвилль (1776—1839), второй маркиз Бекингемский, ставший при Георге IV герцогом и кавалером ордена Подвязки. *Карлтон-Хаус* — дворец в Лондоне, резиденция Георга в его бытность принцем-регентом.

¹⁰³ *Эмма Гамильтон* (ок. 1765—1815) — жена английского дипломата и археолога, любовница адмирала Горацио Нельсона; отличалась редкостной красотой.

¹⁰⁴ *Тибериус* (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император с 14 г.; в последние годы жизни постоянно пребывал в своем имении на острове Капри. *Элефантида* (I в. до н. э.) — греческая писательница-гетера, известная своими произведениями на эротические темы.

¹⁰⁵ *Калигула* (12—41) — римский император (37—41), согласно исторической традиции, сумасбродный деспот; желая унижить сенат, возвел в сенаторы своего коня; был убит в результате заговора.

¹⁰⁶ *Домициан* (51—96) — римский император с 81 г.; был убит вольноотпущенниками, составившими против него заговор.

¹⁰⁷ Очевидно, имеется в виду *Филиппо Мария Висконти* (?—1447) — миланский герцог, известный своей жестокостью и уродством.

108 *Пьетро Барби* (1417 — 1471) стал в 1464 г. папой Павлом II.

109 По-видимому, здесь подразумевается *Джовани Мария Висконти* — сын Джана Галеаццо Висконти, с 1402 г. миланский герцог; за свою жестокость был убит заговорщиками в 1412 г.

110 Итальянская историческая традиция считает *Чезаре Борджиа*, известного своими жестокостью и коварством, виновным в смерти его старшего брата *Джованни*; ему также приписывается отравление гуманиста *Никколо Перотто*.

111 *Пьетро Риарио* (1445—1474) — на самом деле не сын, а племянник папы *Сикста IV* (1414—1484), при поддержке которого стал патриархом Константинополя, архиепископом Флоренции и т. д.

112 *Элеонора Арагонская* (?—1480) — королева Наваррская. *Ганимед* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, похищенный Зевсом и унесенный им на Олимп, где он стал возлюбленным Зевса и виночерпием богов. *Гилас* — любимец и постоянный спутник Геракла; во время похода аргонавтов был похищен речными нимфами, плененными его красотой.

113 *Эззелино да Романо* (1194—1259) — один из первых итальянских тиранов, правитель Вероны, Падуи и др.; вошел в историю как беспощадный деспот.

114 *Джамбаттиста Чибо* (1432—1492) — с 1484 г. папа Иннокентий VIII, беспринципный политик, учредивший для пополнения казны особую таксу за отпущение грехов убийцам и грабителям.

115 *Сиджизмондо Малатеста* (1417—1468) — тиран Римини; речь идет о том, что он, умертвив двух жен, женился на *Изотте*, в честь которой перестроил готическую церковь Св. Франциска в пышный, чисто языческий храм, где впоследствии и была погребена Изотта.

116 *Карл VI Безумный* (1368—1422) — король Франции с 1390 г.; его брат Людовик Орлеанский был женат на Валентине Висконти (1370—1408), известной своей необычайной красотой и обаянием.

117 *Грифонетто Бальони* — представитель семейства, правившего Перуджей в конце XV — начале XVI в. и постоянно раздираемого внутренними распрями; здесь речь идет о событии, связанном с так называемым «великим предательством» 1500 г., когда Грифонетто Бальони составил заговор против своих родственников, приурочив его осуществление ко дню свадьбы Асторре Бальони; перебив на свадьбе многих Бальони (в том числе упомянутых Уайльдом Асторре и Симонетто), сам Грифонетто вскоре был убит их сторонниками. *Аталанта* — мать Грифонетто.

118 *Дадли* — частная картинная галерея в Лондоне, принадлежавшая лорду Дадли.

119 Евангелие от Луки, XI, 4.

120 Ветхий Завет, Книга Пророка Исайи, I, 18.

121 Поэтический сборник Теофиля Готье «*Эмали и камни*» был выпущен французским издателем и книготорговцем *Жерве Шарпантье* (1805—1871); *Жюль Фердинанд Жакмар* (1837—1880) — французский художник и гравер.

122 Речь идет о стихотворении «*Этюды рук*», входящем в упомянутый сборник. *Пьер-Франсуа Ласнер* (1800—1836) — вор и убийца, преступления которого потрясли Францию, казненный по приговору суда; мумифицированная кисть руки Ласнера хранилась в частной коллекции, где ее видел Готье.

123 Стихотворение «*Лагуны*» из того же сборника.

124 *Лидо* — знаменитый пляж в Венеции с ресторанами и парками.

125 *Кампанिला* (ит. campanila) — колокольня.

126 *Якопо Тинторетто* (1518—1594) — итальянский художник, один из крупнейших представителей позднего Ренессанса в Венеции.

127 Речь идет о стихотворениях Готье «*Что говорят ласточки* (Осенняя песня)», «*Луксорский обелиск*» и «*Контральто*» из сборника «*Эмали и камни*». *Лувер* — дворец на правом берегу Сены, в прошлом королевская резиденция, с 1793 г. — национальный музей.

128 *Антон Рубинштейн* (1829—1894) — русский пианист, дирижер, композитор; с успехом концертировал во многих странах мира.

129 «*Забросить чепец за мельницу*» («*to throw the bonnet over the mill*») — английский фразеологический оборот, означающий «*поступить безрассудно; пуститься во все тяжкие*».

130 *Елизавета I* (1533—1603) — королева Великобритании с 1558 г.

131 *Джон Дебретт* (?—1822) — лондонский издатель, выпускавший справочники, содержащие сведения об английских аристократических семействах.

132 Библейская аллюзия: Книга Пророка Исайи, XIV, 12.

133 Согласно христианской морали, к *семи смертным грехам* относятся: гордыня, алчность, похоть, гнев, невоздержанность в еде, зависть и праздность.

134 Обыгрывается английский фразеологический оборот «*называть лопату лопатой*» («*to call a spade a spade*»), означающий «*называть вещи своими именами*».

135 Ироничное, по аналогии с семью смертными грехами, обозначение *семи основных христианских добродетелей*, к которым

традиционно причисляют веру, надежду, милосердие, благоразумие, справедливость, стойкость и воздержание.

136 *Гартюф* — персонаж одноименной комедии Мольера (1664), ставший символом лицемерия и религиозного ханжества.

137 Фразеологический оборот, восходящий, очевидно, к событиям Троянской войны, смысл которого — «встреча достойных противников; нашла коса на камень»: согласно греческой мифологической традиции (подтвержденной данными археологических раскопок), после похищения Елены Прекрасной — жены спартанского царя Менелая — троянским царевичем Парисом коалиция ахейских правителей во главе с царем Микен Агамемноном выступила против Трои войной; троянцы мужественно держали осаду в течение 10 лет, но в конце концов потерпели поражение. Троя пала и была захвачена ахейцами (ок. 1250 до н. э.).

138 *Парфянское царство* (на территории современного Ирана) подвергалось постоянным набегам кочевников, опустошавших города; по преданию, *парфяне* во время сражений прибегали к военной хитрости: симулировали бегство, а затем поражали стрелами преследующего их и не ожидающего сопротивления противника.

139 *Артемида* — в древнегреческой мифологии богиня охоты; изображалась в виде прекрасной девушки-охотницы, вооруженной луком и стрелами.

140 «*Земляничные листья*» — иносказательное обозначение герцогского титула, берущее начало от эмблемы в виде земляничных листьев на герцогской короне.

141 Обыгрывается английское фразеологическое выражение «*снять шишечку с рапиры*» («*to take the button off the foil*»), смысл которого — «приготовиться к настоящей борьбе; обнажить клинки».

142 *Пердита и Флоризель* — персонажи пьесы Шекспира «*Зимняя сказка*» (1610—1611).

143 *Диего де Сильва Веласкес* (1599—1660) — великий испанский живописец, представитель барокко, классик мирового искусства.

144 Слова короля, обращенные к Лаэрту, в трагедии Шекспира «*Гамлет*» полностью звучат так: «Скажите мне, Лаэрт, / Вы чтите не шутя отцову память, / Иль, как со скорби писанный портрет, / Вы лик без жизни?» (*перевод Б. Пастернака*).

145 Библиейская аллюзия: Евангелие от Матфея, XVI, 26.

146 В 1838—1839 гг. *Фредерик Шопен* (1810—1849) и Жорж Санд жили на острове *Майорка* в Средиземном море.

147 *Марсий* — в древнегреческой мифологии фригийский фавн, искусно игравший на флейте и в порыве гордыни вызвавший

на состязание Аполлона, чьей волшебной игрой на кифаре заслушивались олимпийские боги; потерпевшего поражение Марсия Аполлон наказал, велел содрать с него кожу, а его флейта, согласно легенде, была принесена в дар Аполлону.

¹⁴⁸ *Роберт Браунинг* (1812–1889) — известный английский поэт, близкий традициям романтизма.

РАССКАЗЫ

«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ. Материально-идеалистическая история» («THE CANTERVILLE GHOST. A Hylo-idealistic Romance») — первое прозаическое произведение Уайльда — и «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА. Размышление о чувстве долга» («LORD ARTHUR SAVILE'S GRIME. A Study of Duty») впервые опубликованы в журнале «Корт энд сосайети ревью» в 1887 г. (т. IV, февраль — март, май). В 1891 г. вошли в отдельное книжное издание — сборник «Преступление лорда Артура Сэвила и другие рассказы».

КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ

¹ *53-я Западная улица* — близкий к центру Нью-Йорка район, где живет состоятельная часть населения города; в Нью-Йорке улицы, обозначенные номерами, идут параллельно с юго-востока на северо-запад; перпендикулярно к ним, с юго-запада на северо-восток, расположены авеню, большинство которых также имеет номера; центр города находится в районе сороковых улиц.

² Здесь Уайльд явно иронизирует над концепциями некоторых американских лингвистов, которые еще в конце XIX в. считали английский язык США особым американским языком, неправомерно преувеличивая его различия с английским языком Великобритании.

³ *Джордж Вашингтон* (1732–1799) — американский государственный деятель, первый президент США (1789–1797).

⁴ *Ньюпорт* — в конце XIX в. популярный курорт на юго-востоке штата Род-Айленд; *казино* — не только игорный дом, но и увеселительное заведение с рестораном, танцевальным залом и т. п.

⁵ *Гардения* — декоративное растение с душистыми цветками.

⁶ Намек на звездно-полосатый американский флаг.

⁷ *Тюдоры* — королевская династия, правившая Великобританией с 1485 по 1603 г.; для тюдорианского интерьера характерны

облицовка стен деревянными панелями и обилие лепных украшений.

⁸ *Ф. Майерс* (1843—1901) и *Э. Подмор* (1856—1910) — английские адепты спиритизма, способствовавшие созданию общества по изучению парапсихологических явлений (телепатии, спиритизма и т. п.), авторы двухтомного сочинения «Фантасмы живых».

⁹ *Фанни Давенпорт* (1850—1898) — американская актриса, пользовавшаяся на родине признанием. *Сара Бернар* (1844—1923) — великая, всемирно известная французская актриса. Абсурдность такого сравнения подчеркивает ироническое отношение Уайльда к стремлению американцев доказать превосходство своей цивилизации над европейской.

¹⁰ *Уильям Уайти Галл* (1816—1890) — известный английский невропатолог.

¹¹ *Вольтер* (наст. имя Мари-Франсуа Аруэ, 1694—1778) — французский писатель-просветитель, философ и историк, ревностный борец с религиозным фанатизмом, предрассудками и суевериями.

¹² *Крокфорд* — известный игорный дом в Лондоне.

¹³ *Свободная американская реформированная епископальная церковь* — одно из направлений в американской протестантской церкви, которое не признает иерархии священнослужителей и призывает к упразднению религиозных обрядов.

¹⁴ Речь идет о культе грубой силы и жестокости нравов, царивших среди золотоискателей Калифорнии.

¹⁵ *Генри Уордсуорт Лонгфелло* (1807—1882) — американский поэт-романтик, автор эпических и рыцарских поэм, наиболее известная из которых — «Песнь о Гайавате» (1855); здесь содержится намек на балладу Лонгфелло «Скелет в доспехах» из сборника «Баллады и другие поэмы» (1842).

¹⁶ *Кенильворт* — старинный город в Уорикшире, известный развалинами замка XII в.; замок и события, происходившие там в конце XVI в., легли в основу романа Вальтера Скотта «Кенильворт». *Королевой-девственницей* называли английскую королеву Елизавету I.

¹⁷ *Шантеклер* — имя петуха в «Романе о Ренаре», крупнейшем памятнике средневекового городского эпоса; здесь используется как возвышенное обозначение петуха и его крика, возвещающего приближение зари.

¹⁸ *Гретна-Грин* — деревня в Дамфрисшире, в Шотландии на границе с Англией, куда после 1754 г. устремлялись влюбленные пары, намеренные как можно скорее обвенчаться, поскольку по шотландским законам того времени для заключения брака было до-

статочно согласия жениха и невесты, выраженного в присутствии свидетелей (в отличие от английских законов, требовавших лицензии, оглашения в церкви и соблюдения других формальностей).

¹⁹ *Лакросс* — командная игра в мяч ракетками; *юкер* — разновидность карточной игры.

²⁰ *Майорат* — форма наследования имущества (прежде всего земельной собственности), при которой оно безраздельно переходит к старшему из наследников.

²¹ *Церковь Святого Георгия* — одна из фешенебельных лондонских церквей.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА СЭВИЛА

²² *Жорж Эрнест Буланже* (1837—1891) — французский генерал, в 1886—1887 гг. военный министр; стремясь к установлению военной диктатуры, вступал в стовор с различными политическими силами; потерпев поражение, покончил жизнь самоубийством.

²³ Согласно древнегреческому мифу, *Горгона Медуза* — единственная смертная из трех сестер Горгон, женщин-чудищ с покрытыми чешуей телами и змеями вместо волос, от взгляда которых все живое обращалось в камень, — была убита Персеем благодаря помощи Афины; отрубленная Персеем голова Горгоны сохранила прежнюю магическую силу, и Афина поместила ее на свой щит-эгиду для устрашения богов и людей.

²⁴ Аллюзия на пьесы Шекспира: *Гильденстерн* — в трагедии «Гамлет» — олицетворение лживости и лицемерия под маской верности; *принц Хэл* — персонаж хроники «Король Генрих IV» (так Фальстаф обращается к принцу Гарри); «*Весь мир — театр*» — цитата из комедии «Как вам это понравится».

²⁵ *Аркадия* — в древности область в центре Пелопоннеса (Греция), населенная пастухами и охотниками; в европейской литературной традиции — идиллическая страна счастливых пастухов и земледельцев.

²⁶ «*Шератон*» — стиль мебели XVIII в., отличающийся неоклассической простотой форм и изяществом; назван по имени английского краснодеревщика Томаса Шератона (1751—1806).

²⁷ «*Букингем*» — аристократический клуб в Лондоне.

²⁸ «*Справочник Раффа*» — ежегодное справочное издание, содержащее информацию о скачках, жокеях, лошадях; впервые увидел свет в 1842 г., назван по имени первого составителя. «*Бейлиз мэгэзин*» — популярный журнал, посвященный спорту и развлечениям.

²⁹ *Площадь Святого Марка* — одна из достопримечательностей Рима, славящаяся расположенным здесь собором Св. Марка, великолепным архитектурным сооружением, построенным в честь покровителя города. «*Флориан*» — популярное кафе на площади Св. Марка.

³⁰ *Декан* — сан старшего священника, предшествующий сану епископа. *Чичестер* — город в графстве Суссекс, на юго-востоке Англии.

³¹ *Блумсбери* — район в центральной части Лондона.

³² *Сохо-сквер* — площадь в центральной части Лондона в районе Сохо, в описываемое время населенном в значительной мере иностранцами и пользовавшимся дурной славой из-за своих притонов, ресторанов, тайных игорных домов.

³³ *Мэншин-Хаус* — резиденция лорд-мэра, главы муниципалитета Лондона.

³⁴ *Мьюди* — книжный магазин и библиотека в Лондоне; названы по имени владельца, английского издателя Чарльза Мьюди (1818—1890).

³⁵ *Доркасское общество* — женская церковная благотворительная организация, занимающаяся сбором и изготовлением одежды для бедных.

³⁶ *Фригийский колпак* — головной убор с загибающимся вбок верхом, который носили жители Фригии (Малая Азия); в Древней Греции и Риме стал принадлежностью освобожденных рабов (обычно рабы ходили с непокрытой головой) и потому получил значение символа свободы; в этом качестве использовался во время Великой французской революции.

³⁷ *Блэкфрайерз* — мост через Темзу в центральной части Лондона (построен в 1865—1869 гг.), а также район Лондона.

³⁸ *Собор Святого Павла* — одна из достопримечательностей Лондона; построен в 1675—1710 гг. по проекту архитектора К. Рена.

³⁹ «*Игла Клеопатры*» — обелиск из розового гранита, датированный примерно XVI в. до н. э., вывезенный из Египта и установленный на набережной Темзы в Лондоне в 1878 г.

⁴⁰ «*Гейети*» — название лондонского мюзик-холла.

ПОРТРЕТ Г-НА У. Х.

Напечатано в «Блэквуд мэгэзин» (Эдинбург), июль 1889 года. Помимо «Портрета г-на У. Х.», Шекспиру посвящен также этюд Уайльда «Истина масок» (1885).

Первой публикации шекспировских сонетов отдельным изданием в 1609 году издатель книги Томас Торп предпослал посвящение некоему лицу, скрытому за инициалами W. H. Многими поколениями шекспироведов выдвигались и обосновывались различные гипотезы о том, кто имеется в виду под этой анаграммой. Наиболее часто назывались имена графа Сауттемптона и графа Пемброка — оба сыграли заметную роль в биографии Шекспира. Упомянутый Уайльдом немецкий филолог Барншторф в своей книге «Ключ к сонетам Шекспира» (1886) расшифровал посвящение как «to William Himself», т. е. «мистеру Уильяму собственной персоной», на этом основании выдвинув идею лирического двойника как протагониста сонетов. Существуют и иные предположения, ни одно из которых не обладает, впрочем, достаточным фактологическим обоснованием.

О том, что W. H. — это Уилл Хьюз (Will Hughes), юный актер шекспировской труппы «Слуги лорда Камергера», впервые писал в 1776 году Томас Тируит. Эта гипотеза, державшаяся довольно долго, впоследствии была окончательно признана несостоятельной. Уайльд, однако, был увлечен ею настолько, что заказал живописцу Чарлзу Риккстсу портрет юноши шекспировской эпохи, написанный на изъеденной временем дубовой доске и окантованный источенной червями рамкой. Этот портрет висел в гостиной писателя. Эту Уайльда, написанный в форме новеллы, не преследует, конечно, целей доказать верность теории Тируита, оставаясь художественным произведением.

⁴¹ Упоминаются знаменитые мистификации, сохранившиеся в анналах английской литературной истории. Джеймс Макферсон (1736 — 1796) выдал свои обработки кельтских сказаний за подлинные песни легендарного барда Оссиана, издав в 1765 г. сборник «Сочинения Оссиана, сына Фингала». Уильям Генри Айерленд (1777 — 1835), сын антиквара, изготовил поддельные рукописи Шекспира (контракты с актерами, деловые бумаги, любовное письмо и даже пьесу, которую у него купил для театра «Друри-Лейн» Шеридан), объявив, что эти документы подарил Шекспир его отдаленному предку, спасшему драматурга, когда он тонул в реке. История мистификации раскрылась после провала поставленной в «Друри-Лейн» пьесы; подробности изложил сам Айерленд в своей «Исповеди» (1805). Томас Чаттертон (1752 — 1770) выдавал свои стихотворения за тексты мифического поэта XV в. Раули.

⁴² Клуэ Франсуа (ок. 1505 — 1572) — французский придворный художник, фламандец по происхождению; прославился портретами членов королевской семьи.

⁴³ *Миерс* — точнее Мерес Френсис, автор «Рассуждения о наших английских поэтах в сравнении с греческими, латинскими и итальянскими авторами» (1598), книги, являющейся одним из наиболее ценных биографических источников для историков творчества Шекспира и его времени.

⁴⁴ *Чапмен* Джордж (1559? — 1634) — поэт, переводчик Гомера и драматург, писавший в основном на сюжеты из средневековой французской истории.

⁴⁵ ...*аллейновских рукописей*... — Имеется в виду ведущий актер труппы лорда Адмирала, игравшей в театре Генсло, Эдуард Аллейн, современник Шекспира; *Даллидж* — пригород Лондона, здесь расположена старинная мужская школа (открыта в 1360 г.).

⁴⁶ Театр «Блэкфрайерс» открыт в 1576 г. в помещении бывшего доминиканского монастыря, многократно перестраивался в результате пожаров; с 1608 г. здесь находился своего рода «зимний филиал» театра «Глобус», в котором не было крыши.

⁴⁷ ...*отцу Сиднеевой Стеллы*. — Подразумевается цикл сонетов Филипа Сидни (1554 — 1586) «Астрофил и Стелла», рассказывающий о любви молодого аристократа к замужней даме. В образе Стеллы современники узнавали Пенелопу Деверикс, дочь лорда Эссекса, скончавшегося в 1576 г. Перед смертью он выразил пожелание, чтобы тринадцатилетняя Стелла вышла замуж за Сидни, однако брак не состоялся. С Пенелопой поэт, как предполагают, познакомился лишь пятью годами позднее, когда она уже была женой барона Рича, и сделал ее героиней своей любовной лирики.

⁴⁸ С культом бога растительности и покровителя виноградарства и виноделия Диониса были связаны обряды переодевания, от которых ведут свое начало греческий театр, трагедия и комедия.

⁴⁹ *Вифинский раб* — т. е. Антиной. См. комментарий 6 к роману «Портрет Дориана Грея».

⁵⁰ *Уври* Пьер-Жюстен (1806 — 1879) — французский художник и литограф.

СФИНКС БЕЗ ЗАГАДКИ

⁵¹ *Тори* — консерватор, приверженец консервативной партии.

НАТУРЩИК-МИЛЛИОНЕР

⁵² *Быки и медведи* — биржевые маклеры.

СКАЗКИ

Сказки (сам автор их называл «этюдами в прозе, для которых избрана форма фантазий») «Счастливый Принц» («The Happy Prince»), «Соловей и Роза» («The Nightingale and the Rose») и «Преданный друг» («The Devoted Friend») вошли в составленный самим Уайльдом сборник «Счастливый Принц и другие рассказы», изданный в 1888 г. и посвященный Карлосу Блэкеру; сказки «Юный Король» («The Young King»), «День рождения Инфанты» («The Birthday of the Infanta») и «Рыбак и его Душа» («The Fisherman and His Soul») были опубликованы в сборнике «Гранатовый домик» («A House of Pomegranates») в 1891 г. с общим посвящением жене Уайльда Констанс Мэри Уайльд; некоторые из сказок впервые увидели свет ранее в журнальном варианте (например, «Юный Король» в журнале «Ледиз Пикториэл» в 1888 г., «День рождения Инфанты» в «Парижском иллюстрированном журнале» в 1889 г.) и имеют особые посвящения.

СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ

¹ Имеются в виду *египетские пирамиды* — огромные каменные сооружения древних египтян (3—2-е тысячелетия до н. э.), служившие гробницами для фараонов.

² *Бог Мемнон* — в древнегреческой мифологии сын богини утренней зари Эос, царь Эфиопии, участвовавший в Троянской войне на стороне троянцев и погибший в единоборстве с Ахиллом; изображением Мемнона греки считали одну из двух колоссальных фигур, воздвигнутых в Фивах при фараоне Аменхотепе III, которая при восходе солнца издавала звук, подобный звуку разорванной струны; считалось, что так Мемнон приветствует свою мать Эос.

³ *Баальбекский храм* — развалины огромного храма Юпитера, сооруженного во II—III вв. до н. э., в городе Баальбек (древнее название Гелиополис — «город солнца») на территории современного Ливана.

⁴ *Сфинкс* — здесь, очевидно, имеется в виду персонаж древнеегипетской мифологии, существо с телом льва и головой человека (реже животного), символ верховной власти и мудрости; наиболее известна статуя сфинкса около города Гизе, сооруженная ок. 2620 г. до н. э.

СОЛОВЕЙ И РОЗА

⁵ *Сирены* — в древнегреческой мифологии демонические полуптицы-полуженщины, своим дивным пением заманивающие моря-

ков в скалы и губящие их; в классической античности появляется образ сладкоголосых и мудрых сирен, каждая из которых сидит на одной из восьми небесных сфер мировой оси; в последнем значении, очевидно, и упоминается Уайльдом.

ЮНЫЙ КОРОЛЬ

⁶ *Рани* — титул супруги раджи. *Саравак* — территория на острове Калимантан, с 1841 г. владение английского авантюриста Дж. Брука, в 1888—1963 гг. протекторат, а затем колония Великобритании, ныне штат Малайзии.

⁷ *Римини* — город в Северной Италии.

⁸ Аллюзия на цикл средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, где *Садом радости* (*la Garde Joyeuse*) называется поместье рыцаря Ланселота.

⁹ Имеется в виду, очевидно, *Антиной*. *Вифиния* — древняя страна на северо-западе Малой Азии, населенная фракийцами, в 74 г. до н. э. ставшая римской провинцией.

¹⁰ *Эндимион* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини Луны Селены, которого Зевс по ее просьбе погрузил в вечный сон, навсегда сохранив его молодость и красоту.

¹¹ *Ормуз* — старинный город в Иране, основанный в XIII в.; в широком смысле — символ Востока.

¹² *Татария* — древнее название обширной области между Днестром и Японским морем.

¹³ *Изида* (Исида) — в древнеегипетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ семейной верности, покровительница наук и искусства, сестра и жена Озириса (Осириса), одного из наиболее почитаемых египетских богов, дарующего жизнь и влагу, покровителя и судьи мертвых.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНФАНТЫ

¹⁴ *Инфанта* — в Испании и Португалии титул принцессы королевского дома.

¹⁵ *Арагон* — историческая область на северо-востоке Испании, в средние века самостоятельное королевство. *Гранада* — главный город одноименной испанской провинции.

¹⁶ *Альбукерк* — город на юго-западе Испании.

¹⁷ *Замок Фонтенбло* — старинный замок в городе Фонтенбло недалеко от Парижа, летняя резиденция французских королей.

¹⁸ *Папский Нунций* — официальный представитель Римского Папы в государствах, имеющих с Ватиканом дипломатические отношения; посланник Папы.

¹⁹ *Эскуриал* — знаменитый дворец-монастырь недалеко от Мадрида (1563—1584), резиденция испанских королей.

²⁰ *Лутодафе (порт.)* — букв. акт веры; приведение в исполнение приговора инквизиции, публичное сожжение еретиков и еретических сочинений.

²¹ *Трапписты* — католический монашеский орден, основанный в XII в. во французском аббатстве Солиньи ля Трапп; отличался строгим уставом, требовавшим неустанного труда, постоянных молитв и абсолютного молчания.

²² По-видимому, *Карл V Габсбург* (1500—1558) — король испанский (1516—1556) и император Священной Римской империи (1519—1556).

²³ Имеется в виду *Реформация* — социально-политическое и религиозное движение, возникшее в Западной Европе в XVI в.; в Нидерландах борьба против вселия католической церкви совпала с борьбой против испанского владычества за экономическую и политическую независимость.

²⁴ *Идальго* — в средневековой Испании представитель рыцарства. *Гранд* — титул представителя высшего испанского дворянства.

²⁵ *Старшая Камерера* — старшая камеристка, должность придворной дамы.

²⁶ *Севилья* — город на юге Испании, главный город Андалузии.

²⁷ *Софонисба* — дочь карфагенского полководца Гасдрубала, жена нумидийского царя Сифакса; согласно преданию, после падения Карфагена в 203 г. до н. э. Софонисба приняла яд, чтобы не стать добычей победителей — римлян; этот сюжет лег в основу произведений многих европейских писателей (в том числе Корнеля, Вольтера и др.).

²⁸ *Церковь Эль Пилар* в городе *Сарагоса* на северо-востоке Испании, по преданию, построена возле столба (*исп. pilar*), где апостолу Иакову явилась дева Мария; в церкви, расписанной фресками Веласкеса и Гойи, устраиваются торжественные богослужения.

²⁹ *Каффарелли* (Газтано Маджорано, 1703—1783) — итальянский певец-кастрат, исполнявший женские оперные партии.

³⁰ *Сиеста (исп.)* — в жарких странах отдых в полуденное время.

³¹ *Эльфы* — в германской мифологии духи, дети воздуха, маленькие человечки, любящие водить хороводы при лунном свете.

³² *Пан* — в древнегреческой мифологии божество стад, лесов и полей, существо, покрытое волосами, с рожками, копытами и коз-

линым хвостом, спутник Диониса; одна из нимф, испугавшись его преследований, обратилась в тростник, из которого Пан сделал себе свирель; считается ценителем и судьей пастушеских состязаний в игре на свирели.

³³ *Тоledo* — один из старинных городов в центральной части Испании.

³⁴ *Габсбурги* — династия, правившая в различных европейских государствах с XIII по XX в., в Испании и ее владениях — в XVI—XVIII вв.

³⁵ В средневековой Испании ходили легенды о *компрачикос* — бандах, похищавших и уродовавших детей для продажи их в придворные шуты или в балаганы.

³⁶ *Кордовская кожа* — название по месту изготовления, старинному испанскому городу Кордова, который издавна славился кожевными изделиями и изделиями из золота и серебра.

³⁷ *Кастилия* — историческая область Испании в центральной части Пиренейского полуострова, в средние века королевство, вокруг которого происходило объединение испанского государства; на гербе Кастилии (от *исп.* castellos — замок) изображен замок, на гербе главного города Кастилии Мадрида — крылатый лев.

³⁸ *Филипп II* (1527—1598) — сын и преемник Карла V на испанском престоле (1556—1598).

³⁹ *Ганс Гольбейн Младший* (1497—1543) — немецкий художник и гравер, автор серии из 58 рисунков «Образы смерти», или «Пляска смерти» (1524—1526), впоследствии гравированных на дереве Г. Лютцельбургером и впервые изданных в Лионе в 1538 г.

⁴⁰ *Лукка* — город в Италии (Тоскана), с XI в. славящийся производством шелка.

⁴¹ *Венера* — в римской мифологии аналог греческой Афродиты.

⁴² *Индии* — испанские владения в Америке.

РЫБАК И ЕГО ДУША

⁴³ *Тритоны* — в древнегреческой мифологии морские божества, сыновья бога моря Посейдона, составившие его свиту; изображались в виде юношей или старцев с рыбьими хвостами, дующих в морские раковины.

⁴⁴ Аллюзия на поэму Гомера «Одиссея», в одном из эпизодов которой рассказывается, как Одиссей спас себя и своих спутников от чарующего пения сирен, приказав всем находящимся на корабле залить уши воском, а себя привязать к палубе.

⁴⁵ *Гриффы* (грифоны) — в древнегреческой мифологии чудо-

вишние птицы с орлиным клювом и телом льва; согласно преданию, грифы — «собаки Зевса» стерегут золото в мифической северной стране гипербореев.

⁴⁶ *Окс* — древнее название реки Амударья.

⁴⁷ *Луна в созвездии Скорпиона* — луна на ущербе.

⁴⁸ *Тир* — в древности финикийский город-государство на восточном побережье Средиземного моря (на месте современного города Сур в Ливане). *Сидон* — некогда главный город Финикии; искусство его ремесленников восхвалялось в поэмах Гомера.

⁴⁹ *Аштер* (Иштар) — в ассиро-вавилонской мифологии центральное женское божество, богиня плодородия, любви и войны.

⁵⁰ *Дервиш* (перс. бедняк, нищий) — мусульманский мистик, странствующий проповедник, нищенствующий мусульманский монах. *Мекка* — по преданию, город, где родился основатель ислама Магомет; священный город мусульман и место их паломничества (хаджа), расположенный на северо-западе современной Саудовской Аравии.

⁵¹ *Нубия* — в древности государство на северо-востоке Африки, на территории современного Египта и Судана, первые упоминания о котором восходят к 3-му тысячелетию до н. э.

⁵² *Рысий глаз* (кошачий глаз) — разновидность драгоценных камней.

⁵³ *Самария* — древнее государство Израиль.

⁵⁴ *Клир* — священнослужители одной церкви, одного прихода.

⁵⁵ *Гномы* — в западноевропейской мифологии фантастические существа, карлики, обитающие в недрах земли и гор и охраняющие подземные сокровища.

А. Зверев, В. Мурат

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| <i>А. Дорошевич. Король жизни</i> | 5 |
| <i>Хроника жизни и творчества Оскара Уайльда</i> | 18 |
| ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ. Роман. Перевод М. Абкиной . . . | 21 |

РАССКАЗЫ

| | |
|--|-----|
| <i>Кентервильское привидение. Перевод М. Ликуардопуло</i> | 247 |
| <i>Преступление лорда Артура Сэвила. Перевод Д. Аграчева</i> . . . | 278 |
| <i>Портрет г-на У. Х. Перевод С. Силищева</i> | 311 |
| <i>Сфинкс без загадки. Перевод М. Ричардса</i> | 344 |
| <i>Натурщик-миллионер. Перевод М. Ричардса</i> | 350 |

СКАЗКИ

Сборник «Счастливый Принц»

| | |
|--|-----|
| <i>Счастливый Принц. Перевод К. Чуковского</i> | 359 |
| <i>Соловей и Роза. Перевод М. Благовещенской</i> | 368 |
| <i>Великан-эгоист. Перевод Т. Озерской</i> | 374 |
| <i>Преданный друг. Перевод А. Соколовой</i> | 379 |
| <i>Замечательная Ракета. Перевод Т. Озерской</i> | 390 |

Сборник «Гранатовый домик»

| | |
|--|-----|
| <i>Юный Король. Перевод М. Кореновой</i> | 404 |
| <i>День рождения Инфанты. Перевод В. Орла</i> | 417 |
| <i>Рыбак и его Душа. Перевод К. Чуковского</i> | 435 |
| <i>Мальчик-звезда. Перевод Т. Озерской</i> | 470 |
| КОММЕНТАРИИ | 488 |

Оскар Уайльд

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый



Редактор *А. Дорошевич*
Художественный редактор *И. Марев*
Технический редактор *И. Гаврилина*
Корректор *Т. Семочкина*
Верстка *И. Понятых*

Изд. № 0403207.

Подписано в печать 30.10.03 г.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага офсетная.

Гарнитура «Петербург». Печать высокая.

Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 27,61.

Заказ № 0314260.

ТЕРРА—Книжный клуб.
115093, Москва, ул. Щипок, 2.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.



Как бы ни менялась литературная мода,
какое бы множество превратностей ни испытала
оценка произведений Оскара Уайльда в связи
с переменами во вкусах и взглядах, сама фигура
«Короля жизни» и его драматическая судьба всегда
интересовали публику. «Символ искусства и культуры
своего века», как он сам назвал себя,
Уайльд может многое рассказать
«о времени и о себе»
сегодняшнему читателю.

ISBN 5-275-00919-4



9 785275 009194